

НОВАЯ МИРА

НОВАЯ МИРА

1958

3

1958

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 3

Март, 1958 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — <i>Навстречу ветру</i> . Сцены из деревенской жизни | 3 |
| ГРУЗИНСКАЯ ТЕТРАДЬ. Из стихов 1957 года | 37 |
| Предисловие Бесо Жгенти. — Григол Абашидзе. Я — поколение. Перевел С. Липкин. — Ираклий Абашидзе. Ни от чего не смог я отказаться... Перевел А. Межиров. — Шалва Амисулашвили. Два обелиска. Перевел Евг. Винокуров. — Реваз Асаев. Ночной пароход на Волге. Перевел с осетинского Юрий Левитанский. — Хута Бериулава. На Великой Китайской стене. Перевел М. Максимов. — Александр Гомнашвили. Солёные озера. Перевел М. Максимов. — Иосиф Гришашвили. Бессмертное множество лет. Перевел Мих. Луконин. — Карло Каладзе. По дороге в Тквибули. Перевел Евг. Евтушенко. — Михаил Квливидзе. Маленькая баллада. Перевел Вл. Соколов. — Нази Киласония. Охотник. Перевел Евг. Евтушенко. — Мурман Лебанидзе. Зелёная песня. Перевел М. Максимов. — Георгий Леонидзе. Маленький камень в Патардзеули. Перевел Евг. Евтушенко. — Реваз Маргиани. Латфари (Отрывок). Перевел М. Максимов. — Мухран Мачавариани. Знакомая луна. Перевел Евг. Евтушенко. — Алио Мирцхулава (Машашвили). Кузнец. Перевел Н. Гребнев. — Маквала Мрвлишвили. С самолета. Перевел М. Максимов. — Иосиф Нонешвили. Когда танцует ты... Перевел А. Межиров. — Арчил Сулакаури. Весна. Перевела Елена Николаевская. — Народный поэт Грузии Галактион Табидзе. Наши знамена. Перевел Евг. Долматовский. — Фридон Халваши. Зрелость стиха. Вольный перевод с грузинского Константина Симонова. — Отар Челидзе. Смерть кузнеца. Перевели Елена Николаевская, Ирина Снегова. — Симон Чиковани. Думы о Риони. Перевел А. Межиров. — Сандро Шаншиашвили. Под солнцем Октября. Перевел Николай Тихонов. — Алеко Шенгелия. Завтра будет хороший день. Перевел Н. Гребнев. — Баграт Шинкуба. Сон. Перевела с абхазского Б. Ахмадулина. | |
| С. ГОЛУБОВ — <i>Птицы летят из гнезд</i> , роман. Окончание | 66 |
| СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — <i>Материки, народы, века...</i> Стихи | 124 |
| А. КОРЕНЕВ — <i>Счастье. В девятнадцатом году...</i> Спутница, стихи | 125 |
| ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — <i>В соловьином городе</i> , стихи | 128 |
| — | |
| С. ЗАЛЫГИН — <i>Янцзы — бесконечная река</i> | 130 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

| | Стр. |
|--|------|
| ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ | |
| Ю. СТЕКЛОВ — Как я бежал из ссылки (Странички из воспоминаний) | 177 |
| Трибуна писателя | |
| КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Перечитывая Твардовского (Короткие заметки) | 191 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| Т. ТРИФОНОВА — Книга, о которой спорят... (О романе Галины Николаевой «Битва в пути») | 203 |
| С. МАШИНСКИЙ — В борьбе за классическое наследие | 214 |
| <i>К 90-летию со дня рождения А. М. Горького</i> | |
| М. ГОРЬКИЙ — С Всероссийской выставки. Публикация О. Семеновского | 240 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | 248 |
| Серго Чилая. Из недавнего прошлого Грузии. — Ю. Либединский. На жизненном пути. — Н. Бабин. Свет в джунглях. — Лариса Исарова. Один год. — В. Жданов. Повесть об Иване Никитине. — Вл. Лидин. В гостях у Смирдина. — Геннадий Фиш. Повести и рассказы Пентти Хаанпяя. — Р. Орлова. Быль, ставшая легендой. | |
| <i>Политика и наука</i> | 266 |
| Доктор географических наук Э. Мурзаев. Молодость древней столицы. — Доктор географических наук Д. Лебедев, кандидат географических наук Л. Каманин. История географических открытий — В. Шрагин. Арабы в борьбе за независимость. — Ф. Молок. Рассказ о Курте Конраде — друге Фучика. — Б. Боссарт. Книга о книге. | |
| ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО | 276 |
| Горький говорит с рабкорами. Публикация В. Земскова. — А. Бодрова. История одной рукописи. | |
| МЕЖДУ ПРОЧИМ... | 280 |
| И. Беленький. Герцен, Ксанф и басни об Эзопе. | |
| КОРОТКО О КНИГАХ | 282 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 285 |

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Сцены из деревенской жизни

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛЕБОВ, главный инженер МТС,
26 лет.

СТЕПАН РОМАНОВИЧ, бригадир тракторной бригады, 48 лет.

ВЕРА СЕРГЕЕВНА, агроном, 27 лет.

ГРИГОРИЙ СОФРОНОВИЧ ЛОШАКОВ, пенсионер, 50 лет.

СЕМЕН ИЛЬИЧ, почтальон, 50 лет.

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ КАРАСЕВ, тракторист, 25 лет.

ПАВЕЛ АРЕФЬЕВИЧ ШУБИН, директор МТС, 45 лет.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ СОЛОВЬЕВ, секретарь партбюро МТС,
40 лет.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, бухгалтер МТС, 38 лет.

КУЗЬМА ФИЛИППОВИЧ САВЧЕНКО, бригадир тракторной
бригады, 50 лет.

ДАРЬЯ МИРОНОВНА, жена Степана Романовича, 45 лет.

Трактористы, их жены, колхозники, колхозницы, участники
художественной самодеятельности.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина первая

Поле. Вдали небольшой лесок. Солнечный весенний день. Стан тракторной бригады. Полевой вагончик, бочки с горючим, трактор со снятым мотором, пустые ящики, банки. На ящике у вагона сидит бригадир Степан Романович, на коленях у него разобранный карбюратор, что-то подчищает напильником. Возле него почтальон Семен Ильич с сумкой, отдыхает, на земле лежит его велосипед. В вагоне прямо на полу спит Федор, из открытой двери торчат его ноги.

Семен Ильич. Значит, кончаете сегодня, Степан Романыч?

Степан Романович. Да, к вечеру добьем. Завтра переедем на пары.

Семен Ильич. Вот хорошо. И мне ближе будет почту вам возить. Савченко тоже завтра к селу переезжает... Романыч! Где у тебя тут ненужные железки? Мне надо одну штучку найти.

Степан Романович. Чего доброго, железок у нас хватает. Вон *(повел рукой вокруг)*, ищи.

Семен Ильич. Два болтика мне надо на мою машину, а то скоро совсем рассыплется. На бечевочках езжу.

Степан Романович *(посмотрел на велосипед)*. Да, машина у тебя тово...

Право первой постановки в Москве принадлежит Театру имени М. Н. Ермоловой.

Семен Ильич. Казенная.

Степан Романович. Поищи в той куче, под вагоном.

Семен Ильич (*порылся в куче старого железа*). Вот, кажется, подходящие.

Степан Романович. Инструмент тебе? Ключи там, в ящике, подбирай.

Семен Ильич (*чинит велосипед*). Казенная... До меня четыре почтальона ездило, я пятый. А на ремонт не дают ни копейки. Ты, говорят, мэтэес обслуживаешь, у тебя там сто приятелей, пусть починят так, по дружбе, за хорошие письма.

Степан Романович. Что там чинить? Выкрасить его да выбросить.

Семен Ильич (*подкручивает гайки*). Не слышно твоих тракторов. Далеко, что ли, работают?

Степан Романович. За Фатеевской дорогой.

Семен Ильич (*прислушивается*). Вроде один гудит.

Степан Романович (*прислушивается*). Нет, то Федор храпит.

Федор. А?.. (*Поднимается.*)

Степан Романович. Я тебя не звал.

Семен Ильич. Ишь ты, как чутко спит! Заячий сон.

Степан Романович. Он думал, обедать зовут. Еще не привезли.

Федор (*зевает*). Ильич! Мне писем нет?

Семен Ильич. Нету. Пишут.

Федор. Ну, поплю еще. (*Ложится.*)

Степан Романович. В ночной смене работал. Отдыхает.

Семен Ильич (*возится с велосипедом*). А что, Романыч, тот волк, что с вашей бригадой подружился, что ходил за плугами на Городенском, живой еще? Инспектор по качеству?

Степан Романович. Должно быть, живой. У Савченко недавно ребята его видели... Инспектор — это верно! Так и ходил то за одним плугом, то за другим. Старый уже, немощный, с крупной дичью не справится, так он приспособился мышей за плугом в борозде ловить. На тракторе фара назад, и видно хорошо ночью, на свету, как мыши из нор выскакивают. Этой весной их что-то много было. Плуг землю переворачивает, и они из своих нор врассыпную, кто куда. А он их и ловит всю ночь. Набьет брюхо, как барабан, днем отлеживается где-то в кустах.

Семен Ильич. Чего ж вы его не убили? Можно было его с трактора — из ружья.

Степан Романович. Зачем? Он мне на посевной был за помощника. При нем уж прицепщик не заснет ночью и не свалится с плуга. Хоть и старый, облезлый, а все же страшно. Волк! Да он и не подходил на выстрел. Метров сто пятьдесят — не ближе... А как кончилась у нас пахота, видит, после сеялок добычи нет, — перешел в Арсенову бригаду, там еще гектаров двести весновспашки оставалось. Профессор!

Семен Ильич (*кончил чинить велосипед, сложил инструмент в ящик*). Всё. Как новенький! (*Потряс велосипед за седло и за руль.*) Тарахтит, будто собаке к хвосту банку привязали, ну ничего. Километров пятьсот еще пройдет. (*Порылся в сумке.*) Вот вам газетки: три районных — подписчикам — и твоя, областная.

Степан Романович. Положи там. В обед почитаем.

Семен Ильич. Сегодня и в газетке про волков пишут. (*Разворачивает газету.*) Вот тут. Слышь. (*Читает.*) «На днях в Мухинское отделение Союзпушнины лесник товарищ Шемякин принес шесть волчат двухмесячного возраста, пойманных им в логове. Добычливый охотник получил приличное вознаграждение от государства за истребление хищников, злейших

врагов колхозного животноводства». Не пишут сколько, но я знаю — по пятьсот рублей платят, все равно, хоть за старого волка, хоть за волчонка. Три тыщи отхватил! Вот это кусочек! А?

Степан Романович. Кусочек, да.

Семен Ильич. Мне год работать за такую сумму. А вот, слышь, Степан Романыч, я уж не первый раз читаю в газете такие заметки, и ни разу не было сказано, чтоб эти охотники, лесники и волчицу возле норы подстерегли. А чего проще? Раз выследили логово — и мать туда же обязательно придет. Сделать засаду — и ее можно убить. А вот не убивают. Почему?

Степан Романович. Не знаю. Болтятся, может.

Семен Ильич. Нет! Тут другое соображение. Зачем же им убивать волчицу, ежели она на тот год еще штук шесть-семь волчат принесет? Вот нашел лесник на своем участке два-три таких логова и бережет их про себя. Волчат каждый год забирает, а волчиц не трогает. Ему волчица — что корова. Да куда там корова! От коровы столько доходу не возьмешь, как он берет за волчат. Мудрецы! Каждый человек из своей профессии выгоду извлекает... У меня вот только такая профессия — ничего не извлечь. Ни горючего остатков, чтоб продать, ни налево не сработать. Бывает, правда, человек за какое-нибудь хорошее известие сто грамм поднесет. *(Роется в сумке.)* Вот тут еще два письма вашему инженеру Андрею Николаичу. В конторе его не застал — говорят, в бригады уехал. К тебе он не завернет?

Степан Романович *(поднимает голову)*. А вон он сам идет.

Семен Ильич *(смотрит на дорогу)*. Да, он. И агрономша с ним. Ну, ей письма на колхоз идут, ежели кто ей пишет.

Подходят Андрей и Вера.

Андрей *(продолжая разговор)*. Нет уж, тот случай, Верочка, простите, пожалуйста, нам в вину никак нельзя ставить! Трактор простоял потому, что действительно в тот день не надо было еще начинать там культивировать, размазывать грязь по полю. Наш главный агроном сказал, что не подпишет акт, бросьте ерундить! И вы же сами знаете, что грязь была, хуже бы сделали, если б пустили трактор. Вы же сами агроном!

Вера. Да мне что, я хоть сейчас его порву, этот акт. Председатель нажимает!.. А вы там в дирекции порвите тот акт, что на нас составили, когда в третьей бригаде семена нечищенные вывезли.

Андрей. Ишь ты! Вы нам простите наши грехи, мы — вам. Давно ты, Вера, работаешь здесь агрономом?

Вера. Третий год.

Андрей. И уже научилась?.. Здравствуйте! *(Задерживается на минуту возле разобранного трактора.)*

Вера. А я уж сегодня здесь была. Вас только не видела, Семен Ильич. Здравствуйте!

Семен Ильич. Добрый день!

Степан Романович. Здравствуйте!

Андрей. Степан Романыч!

Степан Романович. Ась?

Андрей. Пятый номер надо обязательно ставить на ремонт. Я вам дал два дня отсрочки, больше график ломать не буду. Да и машина уже не тянет, я был сейчас возле пятого, их *(к Вере)* председатель подвез меня туда. Он вам за неделю полтонны пережога делает.

Степан Романович. Так и наметили, Андрей Николаич. До вечера работает, а ночью Мищенко отгонит его в мастерскую.

Андрей. Все в борозде, кроме *(указывает на разобранный трактор)* этого?

Степан Романович. Все.

Андрей. Радиатор еще не привезли?

Степан Романович. Нет. Я сказал нашему горючевозу, чтоб заехал в мастерскую.

Андрей. Я утром был в мастерской. Готов, сделали... А все-таки неплохо получается, Степан Романович, а? Кончаем сев, и все тракторы на ходу, кроме тех, которым по графику пришло время стать на ремонт. Это что радиатор потек (*на разобранный трактор*) — пустяки, сегодня же его и соберете. И выходит, из шести машин у вас пять в работе. И в тех бригадах все в борозде. И осенью у нас будет так же. Кончим пахать зябь, и все машины будут отремонтированы, кроме очередных.

Степан Романович. Конечно, по круглогодовому графику лучше ремонтировать, чем так, как раньше было: добьем весь парк до ручки, а потом сразу все трактора гоним в мастерскую.

Федор (*вылезает из вагончика*). Привет начальству!

Андрей кивает ему.

Вера. Здравствуй, трудящийся. Запах ты, Федор Алексеич.

Федор. Да, маленько переспал. Сон хороший снился, жалко было просыпаться.

Вера. Какой же?

Федор. Будто вы, Вера Сергеевна, замуж за меня выходили.

Вера. А, интересный сон. Сон под субботу сбывается на другой день к обеду. А сегодня вторник.

Федор. Какая жалость! (*Идет к водовозке, умывается, расчесывает мокрые волосы, заглядывая, как в зеркало, в ведро с водой.*)

Семен Ильич. Вам два письмеца, Андрей Николаич.

Андрей берет письма, садится, держит письма, не распечатывая, на коленях. Вера заглядывает через его плечо.

Вера. Как будто не от девушек письма. Хотя иногда бывает и у девушки такой твердый, мужской почерк.

Андрей. У девушки с твердым характером. Нет, это от институтских друзей.

Семен Ильич. Три друга у вас, я уж заметил по штемпелям. Один пишет с Дальнего Востока, другой из Харьковской области, а третий без марок шлет, солдатские. Подтверждаю, Вера Сергеевна, от девушек он не получает, таких писем я ему не доставляю.

Вера. Мало же у вас друзей. Только трое?

Андрей. Мало, зато хорошие друзья.

Вера. У вас на рубаше одна пуговица осталась, и та еле держится.

Андрей. Пришлите.

Вера. Что же пришью? Нужны пуговицы.

Андрей. Пуговицы — вот они, в кармане.

Степан Романович. А иголка с ниткой у нас есть. (*Поднимается по ступенькам в вагончик, выносит оттуда катушку ниток и иголку.*) Черные. Ничего, сойдет. Белых не держим, не по нашей одежде.

Вера пришивает Андрею пуговицы к рубаше.

Степан Романович. Семен Ильич! Почему так любят девушки пришивать пуговицы к рубаше парням, особенно если парень девушке нравится? А почему жены мужьям не любят пришивать?

Семен Ильич. Не любят!

Вера. Неужели так, Степан Романыч?

Степан Романович. Верно! Вот я в субботу был дома. Пожалуйста, посмотрите! (*Показывает — на рубаше недостает двух пуговиц.*)

В е р а. Ну, ничего, я и вам пришью.

Ф е д о р (*просматривает пуговицы на своем обмундировании*): Все на месте. (*Отрывает одну пуговицу.*) Нет, и у меня одной не хватает!

В е р а. Ну, это уж вы бросьте! Я вам не портниха. Мне надо вон-еще к тем сеялкам, в шестую бригаду, пройти.

Ф е д о р. Выходит, зря оторвал? Придется самому и пришивать?.. (*Садится на корточки и пристально смотрит, как Вера пришивает пуговицу.*) Товарищ агроном!

В е р а. А?

Ф е д о р. Вера Сергеевна!

В е р а. Ну?

Ф е д о р. Верочка!..

В е р а. Ну говори же, что?

Ф е д о р. Не можете вы мне объяснить такое дело? Почему всякий раз, когда я встречаю очень красивую девушку, меня берет какое-то сомнение?

В е р а. В чем сомнение?

Ф е д о р. Причем девушку такую, уже не совсем молоденькую, не шестнадцати-семнадцатилетнюю...

В е р а. Ну-ну, ладно, продолжай. В чем сомнение?

Ф е д о р. На меня находит какая-то робость, безнадежное настроение. Хороша Маша, да не наша. Очень уж красивая! Не может быть, чтобы такая девушка никем не была занята. Конечно, ее многие любят, не один ты восхищаешься ее красотой, и она уже кого-то полюбила. Тут твое дело, Федор, не попляшет... И еще такая мысль приходит в голову. Но почему же все-таки она, такая красавица, до сих пор не замужем? А. может, ее все избегают, потому что у нее есть какой-то скрытый недостаток?..

В е р а. Что-о? Какой недостаток?

А н д р е й. Федор, ты бы полегче.

Ф е д о р. Я сейчас объясню. Мой отец был заядлый лошадиник, очень любил лошадей и разбирался в них. И хотя я родился и вырос уже при колхозах, единоличного хозяйства мы не вели, он все же давал мне такие советы. Если, говорит, будешь когда покупать лошадь на базаре, не гонись за очень красивой и сытой лошадию; у такой красавицы, может, под салом какие-то скрытые пороки. (*Андрей качает головой.*) Погоди, погоди, Андрей Николаич, все будет прилично! Лошадь, говорит, надо покупать в среднем теле или даже худую, лишь бы она была молодая и здоровая. У худой все недостатки, если они есть, налицо. А сало — дело наживное. Поставишь ее на хороший корм — вот тебе через месяц и сало.

В е р а. Ну, у тебя ж и сравнения, Федя! Девушки, лошади, сало!..

Ф е д о р. Так это я просто так, для ясности. А может, у той девушки, насчет которой я сомневаюсь, порок не в теле, может, у нее характер очень плохой. Вот я о чем говорю! И все об этом ее недостатке знают, один я, дурак, ничего не знаю, люблюсь ее красотой и поражаюсь — почему до сих пор не замужем?..

В е р а (*помолчав*). Ничего не могу тебе объяснить, Федя... Вот, может быть, в этом и несчастье мое. Все, как ты, робеют передо мной, впадают в уныние, думают, что опоздали, что я уже занята, и никто не предлагает мне руку и сердце.

Ф е д о р (*изображая восторг*). Да? Вера Сергеевна! Верочка! Это правда? Не занята?..

В е р а. Правда.

Ф е д о р. И, значит, я могу?.. (*Опускается на одно колено.*)

С е м е н И л ь и ч. Погоди, Федор, наивный ты человек! Тебе же глаза отводят. Тут, можно сказать, ухаживание идет полным ходом, а ты лезешь не в свои сани.

А н д р е й. Есть, Федя, такая игра: третий лишний. Знаешь, на сколько ты опоздал? Ровно на одну минуту. Мы только что сейчас с Верочкой сказали все друг другу глазами.

В е р а, наклонившись к Андрею, перекусывает нитку у самой его груди.

Ф е д о р (*хватается за сердце*). Ох! (*Встает, шатаясь, идет к водозовке, берет ведро, где воды на доньшке, и делает вид, будто выпивает целое ведро воды.*)

С т е п а н Р о м а н о в и ч (*улыбается*). Молодежь!..

С е м е н И л ь и ч. Вот так, с шуток, может, и свадьбу сгуляем? А?

В е р а. Давайте теперь вам, Степан Романович. А у вас пуговицы есть?

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Есть, есть. (*Вера пришивает пуговицы к рубашке Степана Романовича.*) Свадьба — дело неплохое. Не все ж сеять и пахать — надо и свадьбы гулять. Я вот осенью приглашу вас всех к себе на серебряную. Двадцать пять лет. Сколько лет наша мэтэес существует, столько лет и я женатый. Два года ухаживал за Дарьей — ни в какую, на другого парня заглядывалась, на секретаря нашего сельсовета. А как сел на трактор, как проехал мимо ихнего дома на третьей скорости два раза туда-сюда — не устояла. Тогда трактористы были в почете у девок!.. Двадцать пять лет отмучился! Ого! В переводе на мягкую пахоту...

С е м е н И л ь и ч. Заговорился я с вами, а еще в три бригады надо развезти почту. (*Встает.*) Ни у кого ничего нет на почту передать?

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Вроде ничего.

Ф е д о р. Погодите, кто-то из ребят написал письмо, видел в вагончике на столе. (*Выносит из вагончика письмо.*) Вот, бросьте там в ящик.

С е м е н И л ь и ч. Ну, будьте здоровы! До востребования!.. А отец правильный дал тебе совет, Федя! (*Садится на дребезжащий велосипед и уезжает.*)

В е р а кончает пришивать пуговицы, обрывает нитку. Ф е д о р сносит к вагону ящики, банки, инструмент. С т е п а н Р о м а н о в и ч делает что-то у разобранного трактора.

Ф е д о р. Так сегодня ночью снимаемся отсюда?

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Да вот если этот не задержит. Тут и сборки всего на два часа, был бы радиатор. (*Смотрит на дорогу.*) Не едет Николай?

Ф е д о р (*смотрит*). Не видать.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Сколько раз доказывал председателю: обязательно нужна нам при тракторной бригаде хорошая лошадь с повозкой, кроме тех, что горячее и воду возят! Для всякого такого случая. Вот надо быстро отвезти в мастерскую какую-то деталь или оттуда что-то забрать. Рысака нужно! Чтоб за час туда и обратно смотаться! Не дает. То лошадь не подберут, то ездового нет, то повозки не находится. Покупайте, говорит, мотоцикл, вы много денег зарабатываете.

А н д р е й. А если б у них эти тракторы были свои, колхозные, все бы нашлось — и лошадь и повозка.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. О, тогда бы все нашлось! Свое — что говорить! Совсем другая забота.

А н д р е й. Колхоз смотрит на тракторы как на чужие, а мы на колхозную землю — как не на свою. А, Степан Романыч?

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Да есть и такой грех.

Полевой дорогой к стану подходит Лошаков с полевой сумкой через плечо.

Л о ш а к о в. Здравствуйте, товарищи!

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Здорово, товарищ Лошаков. Ходишь?

Л о ш а к о в. Хожу. (*Садится на ступеньки вагона, слушает разговор.*)

А н д р е й (помогает Степану Романовичу устанавливать на трактор снятые части). Земля — колхозная, тракторы, что ее обрабатывают, — государственные, трактористы — не то рабочие, не то колхозники... (Федор и Вера подходят к Андрею и Степану Романовичу, Федор тоже помогает им собирать трактор.) А как вы думаете, товарищи, не пришло время передать это все в одни руки?

Ф е д о р. Как — в одни руки? Совхоз, что ли, сделать? Я и в совхоз пойду, мне все равно, где работать.

В е р а. И я согласна на совхоз. Там агроному твердая зарплата.

А н д р е й. Может быть, на базе какой-то МТС надо и совхоз организовать, если колхозники согласятся... А может, просто продать колхозам все наши машины? И пусть они сами обрабатывают ими свою землю. А? Колхозы сейчас крупные, экономически уж оперились, — что они, не справятся с техникой? Мастерские так можно и оставить ремонтными мастерскими. А кадры — вот они. Перейдете в колхоз и будете работать на этих же тракторах и комбайнах уже как полные их хозяева.

Л о ш а к о в. Интересно!..

Степан Романович толкает локтем Андрея, тот не понимает его знаков.

А н д р е й. Что интересно, товарищ Лошаков?

Л о ш а к о в. Главный инженер МТС вносит предложение о ликвидации МТС!

А н д р е й. Да уже многие председатели колхозов об этом поговаривают. Дайте, говорят, нам всю эту технику, и мы сами с нею управимся не хуже вас.

Л о ш а к о в. Так то председатели говорят! У них свои цели. А вы — главный инженер государственной машинно-тракторной станции. Вы же работаете в этой системе. Вы должны отстаивать интересы государства, а не колхозов.

А н д р е й. Разве у колхозов не те же интересы, что у государства? Я думаю, товарищ Лошаков, самый главный государственный интерес сейчас — как можно больше поднять урожайность в колхозах.

Л о ш а к о в. Вот и работайте в этом направлении! Улучшайте состояние тракторного парка, повышайте у каждого тракториста чувство ответственности за урожай! Влияйте на колхозы! Требуйте от правлений колхозов точного соблюдения договорных обязательств!

А н д р е й. Требуем, как же. Колхозы пишут на нас жалобы в райком, мы на них. Если б по каждому случаю нарушения договоров затевать тяжбы, так директор бы из суда не вылезал.

Л о ш а к о в. Ваша священная обязанность, товарищ Глебов, всячески поднимать организующую роль МТС и укреплять ее авторитет в массах! А вы его подрываете!

А н д р е й. Чем подрываю?

Л о ш а к о в. Вот такими разговорами. Мы, МТС, не можем, не в состоянии навести порядка в колхозном производстве и обеспечить резкое повышение урожайности — пусть передадут тракторы колхозам. Расписываетесь в собственном бессилии! Хорошенькое дело! Конечно, если у самого главного инженера такое настроение!.. А может, вы просто хотите остаться не у дел, чтоб поскорее вернуться в город?

А н д р е й. Почему — вернуться? Я не горожанин. Я в городе жил только, пока в институте учился. Я сам из села, родился в селе и жил там до двадцати лет.

Л о ш а к о в. Из какого села?

А н д р е й. Из села Артюхово, Дубовецкого района, нашей области.

Л о ш а к о в. Если вы хоть немного знакомы с политэкономией, то должны бы знать, что высшей формой социалистического хозяйства

является государственная, общенародная собственность на орудия и средства производства. А колхоз — это только общественно-кооперативная форма. Так что же вы предлагаете — из высшей формы перейти в низшую?.. Может, и станки с крупных государственных заводов продать как-нибудь артелям кустарей?

А н д р е й. Политэкономия-то я немножко знаю...

Л о ш а к о в. Вот именно — немножко!

Л о ш а к о в поднимается по ступенькам в вагончик. Пока он там что-то осматривает, все молча стоят, глядят в сторону вагона.

Л о ш а к о в (*выйдя из вагона, достал из полевой сумки блокнот, что-то записал*). Опять не вижу свежего боевого листка.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Вон он висит! Мы его снаружи прищипили, к вагончику, чтоб виднее было. И стенгазета там.

Ф е д о р. Даже моя персона там фигурирует.

В е р а. С какой стороны?

Ф е д о р. В стенгазете — с отрицательной, а в боевом листке — с положительной. В этом, говорят, мой главный недостаток — не выдерживаю ровного стиля в работе. Неделю тому назад заснул ночью на тракторе, в канаву заехал. А вчера полторы нормы дал.

Л о ш а к о в. А обязательства надо было в рамку завести, под стекло. Кто-то отполосовал уже кусок на сигарку.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Заведем в рамку. У меня дома есть такая пустая рамка, принесу.

Л о ш а к о в. Да, интересное дело! До чего договорились: тракторы надо колхозам продать! Мобилизуете механизаторов на успешное завершение весеннего сева!

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Мы сегодня заканчиваем сев, товарищ Лошаков. На пять дней раньше, чем в прошлом году.

Л о ш а к о в. Это вы во всех тракторных бригадах такие политбеседы проводите, товарищ Глебов? Или только начали с этой бригады?

А н д р е й. Только начал.

Л о ш а к о в. Не советую продолжать. (*Увидел идущую по дороге машину, машет кепкой, кричит.*) Э-эй, стой! Наша машина. Стой! Федоренко, ты куда едешь? В Ушаковку? Погоди, меня подвезешь. (*Перекидывает полевую сумку через плечо.*) До свидания, товарищи!

Уходит по дороге быстрым шагом.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Прощайте.

Ф е д о р. Будьте здоровы!

А н д р е й. Чего вы меня толкали, Степан Романыч?

С т е п а н Р о м а н о в и ч (*качает головой*). Дернул тебя черт, Андрей Николаич, прости за выражение, при нем такие вещи говорить! Ты же не знаешь этого человека!

А н д р е й. Как не знаю? Знаю. Бывший секретарь партбюро МТС.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Ох, не знаешь! Он где-то в другом районе работал секретарем райкома, не то вторым, не то третьим. Там его прокатали на конференции. Потом прислали его к нам. Два года сушил он нам мозги. А на прошлых выборах и мы его прокатали! Не прошел тайным голосованием в бюро. Но ему уже под пятьдесят, инвалид какой-то группы — в общем, вышел на пенсию, а живет здесь и на учете состоит в нашей парторганизации. Никак не можем от него отделаться. Вот видишь — берет партпоручения, ходит по бригадам, копаются, как скорпион, в бумажках!

В е р а. Какой ты неосторожный, Андрей!

Ф е д о р (*грустно*). Уже на ты перешли!

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Когда он был у нас секретарем, не прохо-

дило ни одного партсобрания, чтобы он в заключительном слове не предложил либо исключить из партии кого-то, либо выговор ему записать. Только и видел одно средство, как помочь человеку, если он в чем-то ошибается или слабо работает,— наказать его! Не собрания были, а судилища! И, знаешь, так заговорит всех, так подведет вопрос, как будто он и прав! Нельзя с ним не согласиться!

В е р а. О политэкономии он верно говорит — так и написано там о формах хозяйства.

А н д р е й. Только не написано там, как выйти из такого вот положения, когда над колхозной землей два хозяина распоряжаются! Наш главный агроном приказывает трактористам: «Так надо сеять», а колхозный агроном говорит: «Нет, хоть тракторы и ваши, а посевы наши, я не позволю так сеять, а надо сеять вот так-то!» Кому-кому, а тебе, Вера, все это лучше, чем мне, известно. Разве это порядок?

В е р а (*пожала плечами*). Не нами он установлен, не нам его ломать. Надо агрономам просто договариваться как-то между собой. Так мы и делаем.

А н д р е й. А если я говорю на черное — черное, а ты говоришь на черное — белое, сможем мы с тобой когда-нибудь договориться?

В е р а (*улыбнулась*). Ну, может быть, сойдемся на том, что скажем на черное — серое.

А н д р е й молча развел руками.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Нет, это тебе так не пройдет, Андрей Николаич, вот посмотришь! Он тут чего-то раздует! Записал что-то в свою книжечку.

А н д р е й. А что я такого говорил? Это мои личные предположения — как сделать, чтобы эта же самая техника работала еще лучше и чтобы нам с колхозами не сваливать друг на друга ответственность за урожай. Пусть пишет что хочет! Подумаешь, какие страхи!.. Ты куда хотела идти, Вера? К сеялкам? Пойдем, провожу. А я, Степан Романыч, возьму там у Савченко мотоцикл, добегу в Макаровку и позвоню оттуда из правления колхоза в мастерскую. Может, там наша походка стоит — пусть привезут вам радиатор.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Давай, давай, позвони! Чтоб нам не застрять тут до завтра.

А н д р е й. До свидания!

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Всего хорошего!

Ф е д о р. Будьте здоровы!

А н д р е й и В е р а уходят.

Ф е д о р (*смотрит им вслед*). Инженер... Все-таки высшее образование украшает человека. А у меня — среднее, незаконченное... (*Глянул на солнце.*) Когда же нам привезут обед?

С т е п а н Р о м а н о в и ч копается в моторе разобранного трактора. Ф е д о р, взгромоздившись на крыло трактора, сидит, с большим чувством, выразительно, чуть раскачиваясь в такт, напевает без слов какой-то очень грустный мотив.

Картина вторая

Комната партбюро в конторе МТС. Обстановка в беспорядке, только секретарский стол и кресло на месте. На полу связки книг, свернутые в трубку плакаты. С о л о в ь е в прибывает на стены диаграммы и плакаты.

Входит Ш у б и н.

Ш у б и н. С добрым утром!

С о л о в ь е в. Привет!

Шубин (*оглядывает комнату*). Ну, тут тебе лучше будет, на новом месте?

Соловьев. Мне и там было неплохо, не обо мне речь, Павел Арефьич. Тесно было там. Придут три человека — и негде им сесть. А тут мы и партсобрания сможем проводить.

Шубин. Да, тут кубатура подходящая. Мебели надо добавить.

Соловьев. Десяток стульев надо еще поставить. Не таскать же всякий раз из твоего кабинета! И тот диван взять, что в бухгалтерии стоит.

Шубин. В том диване клопики есть. Я на нем спал три ночи, когда приехал сюда на работу.

Соловьев. И я спал, знаю. Мы их уничтожим теми химикалиями, что получили для опыления сахарной свеклы.

Шубин. Полочки надо для книг поделать. Ладно, пришлю к тебе плотника и выпишу десяток досок.

Соловьев (*разворачивает плакат*). Ну вот. «Соблюдайте правильный режим кормления грудного ребенка». Это нам не подходит. Отставить. (*Разворачивает другой плакат.*) День Морского флота. Тоже к нам не относится, мы люди сухопутные... Слушай, Павел Арефьич, а День тракториста или День механизатора, как они тут называют, будем проводить? К воскресенью, пожалуй, закончим вспашку паров, тракторы станут, люди свободные — самое подходящее время. Между парье.

Шубин. Не знаю, как с этим Днем тракториста... Нет же ведь Указа Верховного Совета насчет такого праздника.

Соловьев. Да, праздник этот недекретированный, но здесь люди сами издавна начали его проводить. Во всех МТС района. Тут это уже в традицию вошло. И райком не возражает, я уж говорил. Праздник проводить на вольном воздухе, в роще, на берегу реки. Выезжают туда машинами, пищепром вывозит воды, мороженое, самодеятельность выступает.

Шубин. В прошлом году тут, говорят, в День железнодорожника двое пьяных в речке утонуло.

Соловьев. Ну что ж, из-за двух пьяных теперь все праздники прикрывать? Ничего, Павел Арефьич, все будет аккуратно, беру ответственность на себя. Поговорим с бригадирами, с коммунистами. Жены трактористов приедут, тут же будут, с мужьями, присмотрят за порядком. Нет, нет, нельзя, надо провести! Обидятся люди. Они уж привыкли, что здесь механизаторы в почете, отмечается их праздник. Вот недельки через две управимся как раз со всеми работами, погода установится, потеплеет совсем, лето в разгаре — можно и погулять на лоне природы!

Шубин. Если проводить такой праздник, то надо бы как-то отметить на нем передовиков весеннего сева. Я-то вообще не прочь. Это, конечно, поднимает дух. Премии бы дать ребятам, подарочки хорошие, кому часы, кому велосипед. Но денег на это дело у нас, кажется, ни шиша. Сейчас узнаем. (*Открывает дверь в соседнюю комнату, зовет.*) Татьяна Ивановна! Зайдите на минутку!

Входит Татьяна Ивановна, бухгалтер МТС, полная женщина, в очках.

Татьяна Ивановна. Слушаю вас, Павел Арефьич.

Шубин. Татьяна Ивановна! Будем проводить День механизатора.

Татьяна Ивановна. Очень хорошо. Я в прошлом году выступала на этом празднике в самодеятельности. Кажется, имела успех. Подготовлю новый репертуар.

Шубин. Деньжата найдутся у нас на премии?

Татьяна Ивановна. Нет ничего.

Шубин. Директорский?..

Татьяна Ивановна. Пусто.

Шубин. Я вчера договорился с райпотребсоюзом. Они покупают у нас...

Татьяна Ивановна. Что бы они ни купили у нас, Павел Орехович, все такие суммы поступают на соответствующие счета, и на премии оттуда мы не можем взять ни копейки.

Шубин. Какой я вам Орехович?

Татьяна Ивановна. Простите, пожалуйста! Слышу часто, как вас другие называют, и сама обмолвилась.

Шубин. Но у нас же есть всякие экономии! Неужели нельзя там несколько тысконок выгадать? Для святого дела! Для премирования передовиков весеннего сева и вспашки паров!

Татьяна Ивановна. Перечисления из статьи в статью категорически воспрещены.

Шубин. А я вот возьму у вас под отчет пять тысяч, куплю подарки передовикам, а вы потом в какую хотите статью заносите их!

Татьяна Ивановна. Ну что ж, это уже будет уголовная статья. Растрата.

Шубин. Ушлю вас в отпуск, без вас сделаю! С Иваном Никифоровичем!

Татьяна Ивановна. Только через мой труп.

Шубин. Да... Тяжелая вы женщина, Татьяна Ивановна!

Татьяна Ивановна. Вы хотели сказать — тяжелый у меня характер?

Шубин. Да, да! Именно — характер!

Татьяна Ивановна. Какой есть. *(Пожала плечами.)*

Соловьев. Но можно у вас взять диван хотя бы из бухгалтерии для этого кабинета?

Татьяна Ивановна. Пожалуйста! С удовольствием отдам. Забирайте хоть сейчас. Я на него никогда не сажусь... Можно идти?

Шубин. Можно. *(Татьяна Ивановна уходит.)* Все ясно. Кремень! Ни копейки из нее не выжмешь!..

Соловьев. Ну, ничего, Павел Арефьич, и без премий проведем. Отметим передовиков в приказе, объявишь им благодарности, отпечатаем в типографии грамоты, вручим им принародно. Знаешь, есть пословица: не дорого пиво, дорого диво. Наши механизаторы не так уж мало зарабатывают, что им стоит самим купить те часы. Важно внимание проявить к людям!

Шубин. Ну ладно, договорились. Посмотри по календарю, какой там будет подходящий день в конце месяца.

Соловьев. Да вот ищу календарь, не помню, куда я его прибрал. *(Открывает ящики стола, находит бумажку.)* А, вот еще дело... Поступило заявление в партбюро, Павел Арефьич, на нашего молодого инженера, на Глебова.

Шубин. Какое заявление?

Соловьев. Разлагает массы. Ведет пропаганду...

Шубин. Что?..

Соловьев. Агитирует против МТС. Короче сказать, в одной тракторной бригаде завел разговор с трактористами о том, что надо бы продать наши тракторы колхозам. А заявление на него написал при сем присутствовавший товарищ Лошаков.

Шубин. Лошаков! Он везде присутствует! Ну-ка, дай заявление. *(Прочитал заявление, повертел его в руках, положил на стол.)* Да, продать тракторы колхозам... Не знаю, как бы оно получилось... Конечно, есть много таких колхозов, что с этой техникой справятся уже не хуже нас. Умному председателю дай машины в руки — он еще больше поумнеет. Он получит самостоятельность, простор, ему есть где инициативу

проявить! А дай машины дураку!.. У нас же есть еще такие председатели, которые только потому и держатся в колхозах, что кто-то за них пашет, сеет, убирает хлеб. Да вот взяты по нашей зоне. (*Перебирает по пальцам.*) Десять колхозов у нас: «Двадцатый съезд», «Путь Ленина», «Красный Октябрь», так... «Победа», ну, имени Мичурина — тоже... Семь колхозов таких, что можно смело продать им машины, и это им пойдет только на пользу. А три колхоза — я не знаю, там надо что-то делать. Вот этот наш знаменитый очковтиратель, передовик по взятым обязательствам товарищ Бубликов. Это же барышник, шибай, а не председатель! Он будет на тракторах картошку возить в Донбасс продавать! Или Сидоркин. Называется тридцатитысячник! Приехал поднимать колхоз «своими руками» и с первого дня поглядывает, как бы своими ногами назад удрать!.. Если передавать машины из МТС в колхозы, то надо тогда еще раз пересмотреть кадры председателей! Тут уж нигде нельзя оставлять разгильдяев или таких, что ни рыба, ни мясо, ни богу свечка...

Соловьев. Погоди, Павел Арефьич, ты вроде как уже всерьез начал обсуждать предложение Андрея. Не в этом же дело. Тут о самом Андрее речь. Загнул парень! О нем надо что-то решать.

Шубин. Не знаю, что тут решать!..

Входит Лошаков с кипой книг под мышкой. Из книг торчат закладки.

Лошаков. Здравствуйте, товарищи!

Шубин. День добрый... Вот счастливый человек! В бессрочном отпуску! Я бы на твоём месте, Григорий Софроньч, справил ружьишко, удочки, сети и целыми днями из речки не вылезал! Погода-то какая стоит! А сомята, говорят, как берутся сейчас на переметы!..

Соловьев. Между прочим, Григорий Софроньч, наш рабочком открыл лодочную станцию на реке. Три лодки там у них, двухвесельные. Они, правда за деньги, дают их напрокат, по рублю в час, что ли, но тебе, как почётному пенсионеру, можно и бесплатно. Мы договоримся. Бери лодку хоть на целый день и плыви куда-нибудь подальше!..

Лошаков. Как — подальше?

Соловьев. Ну... по реке туда, к самым красивым местам, под Гремячее или под Любимовку. Вот там-то, Павел Арефьич, и сомят берут — под Любимовкой, где белая гора. Знаешь то место? Возле парома. Да не сомят, а сомов! Вот таких (*показывает*), по пуду!

Лошаков. Я этими делами не занимаюсь.

Шубин. Не любишь природу? Зря! Переночевал бы хоть раз на лесном озере или на речке, у костра, послушал бы, как птицы восход солнца встречают, как под утренним ветерком лес просыпается, листва шепчется, травка на полях шелестит. Это, знаешь, так очищает душу!..

Лошаков. Я восход солнца каждый день в своем дворе вижу. И птиц у нас хватает на тополях, грачей особенно. Чуть станет рассветать — орут, проклятые, спать не дают... Заявление мое еще не разбирали?

Соловьев. Да нет еще. Бюро было три дня назад, а партсобрание по плану двадцать девятого.

Лошаков (*выкладывает книги на стол*). Вот я здесь подобрал все решения о машинно-тракторных станциях начиная с первой МТС, что была организована у нас в Советском Союзе в 1928 году. Шевченковская МТС Одесской области. Слыхали про такую? (*Раскрывает книги перед Соловьевым.*) Вот одно решение. Вот другое решение. Вот третье развернутое решение. Вот еще. Вот еще. Везде, где закладки, это об МТС. И во всех решениях подчеркивается, что МТС являются не только хозяйственными организациями, но и политическими. Им принадлежит организующая, направляющая роль. Я оставлю все это у вас. Прочтите внимательно.

Соловьев. Зачем? У меня есть все эти решения. Я только не привел еще в порядок библиотеку.

Лошаков. Ничего, ничего. Там вы будете искать, а здесь я уже все нашел и отметил. Прочтите. Вот, пожалуйста. *(Читает.)* «Машинно-тракторные станции осуществляют организующую роль и являются крупными государственными предприятиями». Или вот: «МТС представляют собою индустриальную материально-техническую базу колхозного строя и являются решающей силой в развитии колхозного производства». А вот как сказано: «МТС — это важнейшие опорные пункты в руководстве колхозами со стороны Советского государства». Понятно? И после этого говорить, что МТС нам не нужны, что их надо ликвидировать, а тракторы продать колхозам! Это же оппортунизм!..

Шубин. Я пошел, товарищи! Меня ждут во дворе. Посылаю машины на станцию за шифером.

Соловьев. Павел Орехович!.. Тьфу, прости, ради бога! Если увидишь там Андрея, скажи ему, пусть зайдет сюда.

Шубин. Скажу. *(Раскрывает дверь.)* Уже увидел. Вот он стоит. *(Подзывает Андрея, пропускает его в дверь.)* Заходи, ты... ликвидатор!

Андрей входит, Шубин уходит.

Андрей. Вы звали меня, Виктор Петрович?

Соловьев. Да. Садись.

Андрей и Лошаков сидят, Соловьев продолжает развешивать плакаты и диаграммы.

Соловьев. Что ты там натворил, Андрей Николаич?

Андрей. Где? Чего натворил?..

Соловьев. А вон возьми *(указывает на заявление, лежащее на столе)*, прочти.

Андрей взял заявление, прочитал, поглядел на Лошакова, пожал плечами.

Андрей. Да, был такой разговор.

Соловьев. Не отрицаешь?

Андрей. Нет, конечно... С самого первого дня, как стал работать в МТС, я все время, Виктор Петрович, об этом думаю. Мы, работники МТС, держим в своих руках судьбу колхозного урожая, а фактически нам все равно, хороший будет урожай или плохой. Какой бы урожай ни вырастили, натуроплату по твердым ставкам берем, жалованье свое получаем регулярно, и, в общем, нам не очень болит, если даже будет совсем плохой урожай. На нас, механизаторов, возложена обработка колхозных полей, и в то же время мы меньше всего заинтересованы в повышении урожайности! Я говорю о материальной заинтересованности. От плохого урожая ведь мы не страдаем. Страдает только колхоз. Но ведь не он же виноват, что земля плохо обработана! Тракторы — наши, мы пахали, сеяли!.. Что же это такое? Так же нельзя дальше жить! Все время думаю об этом.

Лошаков. Он думает! Мыслитель какой! Вы приехали сюда работать, товарищ Глебов, а не предаваться всяким раздумьям!

Андрей. Человек так устроен, что у него есть голова. Значит, он должен ею думать.

Лошаков. О какой заинтересованности вы говорите, товарищ Глебов? Вы считаете, что наших людей можно увлечь только рублем на достижение новых побед в социалистическом строительстве? Этот только вид заинтересованности признаете — брюхо? Вы забываете, что все наши трактористы — советские люди, и им колхозные интересы должны быть дороги, как свои собственные! И мы с вами обязаны не покладая рук трудиться над воспитанием коммунистического сознания у наших механизаторов, вести среди них упорную, повседневную, кропотливую массовую работу!.. Но, если мне память не изменяет, в тракторной бригаде не об

этом был разговор — не о материальной заинтересованности. Вы что-то начинаете тут крутить!

А н д р е й. Одно с другим связано. Я и об этом думал: если уж оставлять МТС, как они есть, то надо тогда перестраивать систему оплаты труда механизаторов.

Л о ш а к о в. «Думал», «думал»! Да кому нужны ваши политически вредные, путанные мысли? Вы сами признались, что не разбираетесь в политэкономии! Если у вас даже зашевелилась там какая-то нездоявшаяся мыслишка — совсем не обязательно выносить ее в массы. Держите ее при себе!

Л о ш а к о в встает, расхаживает по кабинету, потом, увлекшись, садится по-хозяйски на секретарское место за стол, продолжая разговор, машинально переставляет посвоему на столе чернильный прибор, пепельницу, графин, складывает книги одну на другую.

Л о ш а к о в. Ваш разговор в тракторной бригаде — это по существу выступление против решений партии! Вы отдавали отчет своим словам? Ликвидировать МТС! Вот, смотрите, что партия говорит об МТС! *(Резким жестом подвигает к Андрею через стол стопу книг.)* Вам знакомы эти книги? Или только по обложкам?.. *(Андрей берет книгу, раскрывает ее на закладке.)* Чему вас учили там, в институте! Монпонсаном, вероятно, зачитывались, а решения партии и правительства не изучали!..

С о л о в ь е в, кончив прибавлять плакат, обернулся, увидел Лошакова на своем месте, чуть усмехнувшись, переглянулся с Андреем. Л о ш а к о в не спеша поднялся с кресла, отошел от стола.

С о л о в ь е в. Григорий Софроныч! Мне все ясно. Ты оставь заявления, а когда у нас будет бюро или собрание, я тебя, конечно, извещу. Без тебя не будем разбирать. Там расскажешь все, что имеешь сообщить по этому делу. Идет? Что у тебя еще ко мне?.. Ты просил у Шубина машину, дров привезти из лесу. Давали тебе машину? Привез?

Л о ш а к о в. Привез.

С о л о в ь е в. Очень хорошо! *(Лошаков вынимает из полевой сумки бумагу.)* А это что у тебя? *(Берет бумагу.)* А, итоги проверки соцсоревнования бригад на весеннем севе. Я уже имею эти сведения, наш рабочий комитет проводил проверку. И ты тоже провел? Ну, ничего, маслом каши не испортишь. Оставь мне. *(Посмотрел цифры.)* У Полякова — страшный пережог, больше тонны. Но это не по их вине, там их этот старый дизель подводит. Гроб — не машина. Верно, Андрей Николаич?

А н д р е й. В этот дизель на восстановительный ремонт всадили столько денег, сколько новая машина не стоит. Его давно пора выбраковать.

С о л о в ь е в. Не знаю, разрешат ли нам его выбраковать, а норму горючего для него надо пересмотреть обязательно, иначе трактористу и зарплату не хватит за пережог рассчитаться. Я поговорю с Шубиным... Ну, всё?

Л о ш а к о в. Пока всё.

Не прощаясь, уходит. С о л о в ь е в идет за ним к двери, плотно ее прикрывает, возвращается на середину комнаты, берется за живот, крутит головой, хохочет.

С о л о в ь е в. «Монпонсаном зачитывались»!.. Ой, не могу!..

А н д р е й. Вам смешно, Виктор Петрович, а я не знаю, смеяться мне или плакать. Будете обсуждать меня на партсобрании?

С о л о в ь е в. Ну, раз уж поступило такое заявление, то не подошьешь же его просто к делу. Придется разобрать. Ты, конечно, сделал глупость. У тебя могут быть всякие личные соображения насчет структуры МТС и наших взаимоотношений с колхозами, но зачем же высказывать их трактористам? Ты не учел, что являешься представителем дирекции МТС и

должен всячески укреплять у наших рядовых сотрудников чувство любви к своей МТС и ответственности за свой участок работы. Не с трактористами, конечно, обсуждать такие проблематичные вопросы.

А н д р е й. Почему же — не с трактористами? Кто больше тракториста знает о всех наших неурядицах?

С о л о в ь е в. Ну, ладно. Я могу быть с тобою несогласен, могу и буду с тобой спорить по самому существу вопроса — о передаче тракторов в колхозы. Но я, в общем, не считаю, что ты сделал большое преступление и что тебя надо казнить. Я вот нашел тут у Вольтера интересное изречение. *(Берет со стола книгу, перелистывает.)* А, вот! Слушай. *(Читает.)* «Я могу не соглашаться с тем, что вы говорите, но буду бороться на смерть за ваше право говорить это». Здорово сказано?

А н д р е й. Здорово. Хотя эти слова и не ко всякому случаю жизни подходят.

С о л о в ь е в. Да, конечно. За право врага вести против нас вражескую пропаганду мы бороться не будем.

Во дворе загудели тракторы. Стучат топоры плотников на строительстве новой мастерской, вызывают молотки в кузнице, визжит центробежная пила — шум рабочего дня на усадьбе МТС.

В открытое окно со двора заглядывает Ш у б и н.

Ш у б и н. Андрей!

А н д р е й. Что, Павел Арефьич?

Ш у б и н. Ты собирался в Любимовку ехать? Машина сейчас отправляется.

А н д р е й. Еду, еду! Пусть подождет минутку!

Ш у б и н отходит от окна.

С о л о в ь е в. Ты к Максиму?

А н д р е й. Да. Он звонил утром. Два дня как взяли трактор из ремонта — и планетарка полетела.

С о л о в ь е в. Для таких случаев у нас есть разъездные механики.

А н д р е й. Нет, я сам хочу проверить, кто тут виноват: наша мастерская или там ребята чего-то накуролесили. Это у Максимова при мне уже вторая авария.

С о л о в ь е в. Поеду и я с тобой! А здесь вечером порядок наведу. *(Закрывает створки окон на крючки, свертывает в трубку все неразвешанные плакаты, складывает книги в одну кучу в угол.)* Вчера в райкоме целый день продержали, позавчера с этими сведениями по кадрам возился — три дня в поле не был. Ты на попутной?

А н д р е й. На горячевозе. А обратно вечером товарняком приедем. Максимов расположился возле самой железной дороги, и там, на подъеме, поезда идут тихо, можно на ходу вскочить.

С о л о в ь е в и А н д р е й идут к двери. Соловьев пропускает Андрея вперед, на пороге приостанавливается, хлопает его по спине, хохочет.

С о л о в ь е в. «Кому нужны ваши мысли, товарищ Глебов? Держите их при себе!» «Монпонсана начитались!» *(Хохочет.)*

Уходят.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина третья

День механизатора. Поляна в роще на берегу реки. Жаркий летний день. Где-то на другой поляне, которую не видно за небольшими деревьями и кустами, идет многолюдное собрание, а здесь, на сцене, — не вместившиеся на той поляне участники праздника. Среди них — Степан Романович, Дарья Мионовна, Федор,

Андрей, Вера, Савченко. Слушают доклад, глядя куда-то в глубь сцены через кусты. Доносится голос Соловьева, заключительные слова речи: «На этом мы, товарищи, заканчиваем официальную часть, и можно будет переходить к дальнейшей программе нашего праздника. После небольшого перерыва начнутся выступления участников художественной самостоятельности. Кто проголодался, может тем временем и подкрепиться у кого есть чем». Аплодисменты, смех, говор, движение. Заиграл вдали баян, послышались песни. Гуляющие, разбившись на группы, расходятся в разные стороны. Кто располагает отдохнуть под кустом, кто идет к берегу речки. Под берегом — уже слышно — купаются. Плеск воды, голоса: «Не прыгай, Семен, с того камня, там мелко, голову разобьешь! Сюда давай, ко мне!», «Водичка теплая, как парное молоко!» В укромных уголках, в тени под деревьями появляются уже на разостланных скатертях закуски, бутылки. Выехавшие на праздник ларьки пищеторга торгуют прохладительными напитками, мороженым.

К группе трактористов и женщин, где стоят Степан Романович, Федор и Дарья Мироновна, подъезжает на велосипеде Семен Ильич, слезает с велосипеда, ставит его в кустах. А там, кроме его велосипеда, стоит уже немало машин, видны и мотоциклы, по краям сцены выглядывают из зелени кузова грузовиков, на которых привезли гуляющих.

Семен Ильич. Не опоздал?

Степан Романович. На торжественную часть опоздал, а на все прочее — как раз вовремя.

Федор. А какое вы, собственно, имеете отношение к Дню механизатора?

Семен Ильич. А вот какое. *(Достает из кармана четвертную бумажку.)* Кто у вас складчину собирает?

Дарья Мироновна. Кто ж — жена бригадира, так уж заведено.

Семен Ильич *(отдает ей бумажку, к Федору)*. Вот тебе и отношение. Может, и печать поставить?

Федор. Принимаем без печати.

Степан Романович. Даша, так ты хлопочи. Слышишь, перерыв объявили.

Дарья Мироновна. За нами дело не станет. *(Расстилат с женщинами скатерть под кустами, расставляет посуду.)*

Из глубины сцены выходит, вытирая платком лицо и шею, Соловьев.

Степан Романович. Молодец товарищ Соловьев! Двадцать минут держал речь.

Федор. Если б Лошаков, тот бы на четыре часа развез, и на художественную часть времени бы не осталось.

Соловьев подходит.

Степан Романович. Хвалим тебя, Виктор Петрович.

Соловьев. За что?

Степан Романович. Хороший доклад сделал.

Соловьев. Понравился?

Степан Романович. Короткий. *(Отзывает Соловьева в сторону.)* Как же мне быть, Виктор Петрович? У меня в бригаде только два коммуниста: я и Снегирев. Что же нам, отделяться от остальных-прочих?

Соловьев. Не понимаю. Куда отделяться, зачем отделяться?

Степан Романович. А разве ты не знаешь, что у меня строгий договор есть — за то, что с беспартийными пил?

Соловьев. Первый раз слышу. В учетной карточке у тебя чисто, я смотрел.

Степан Романович. Значит, осталось в протоколе, а туда не записали. Это еще в позапрошлом году было дело. Купил я корову. Ну, как

водится, — магарыч. Соседей позвали, еще кое-кто подвернулся — крепко гульнули. Так что на другой день я и на работу на час опоздал — в мастерскую мы ходили на ремонт. Так меня товарищ Лошаков не за то пенял, что выпили много, что шум был у нас и на работу я опоздал, а что с беспартийными пил. Это его особенно возмутило!.. Вот я теперь и не знаю, как же мне быть. Вот, скажем, у меня жена беспартийная — значит, я с нею не должен никогда и четвертинки раздавить? Опять же, буду осенью дочку замуж выдавать. И она беспартийная, и зять нареченный — беспартийный. И с ними не могу выпить?..

Соловьев (*чуть улыбнулся*). Ладно, нечего вам со Снегиревым отделиться, гуляйте вместе, только смотри, чтоб порядок был.

Степан Романович. Порядок будет. Жинка взяла это дело в свои руки. По сто пятьдесят на брата и маленький резерв — на случай, ежели кто подойдет.

Соловьев. А насчет того выговора подай заявление. Ты член партбюро, неудобно тебе ходить со взысканием, хоть и не занесено в учетную карточку. Опозданий на работу с тех пор не было?

Степан Романович. Ни разу, ни одного.

Соловьев. Напиши заявление. Разберем на партсобрании, снимем.

Степан Романович. Ты чего такой хмурый, Виктор Петрович? Голова болит, солнце напекло?

Соловьев. Нет, голова не болит. Испортил мне этот Лошаков весь праздник!

Степан Романович. Это ты про ту статью в газете говоришь?

Соловьев. Ну да. Написал он заявление на Глебова, я ему сказал: двадцать девятого у нас партсобрание. Так не дождался собрания — еще и в газету послал статейку! И там уж он и меня разрисовал! Главный инженер ведет агитацию за продажу тракторов колхозам, а секретарь партбюро не борется с его антигосударственной агитацией. Укрывательство, попустительство, гнилой либерализм. Ну, да ты читал, чего тебе рассказывать... А после этой статейки на Андрея еще поступил материал.

Степан Романович. Что ты говоришь!

Соловьев. Да. Получил я письмо. Анонимное, правда, но я сегодня, когда ехали сюда, показал его Андрею — кой-чего не отрицает. Пишет о нем кто-то из Каменевского района, что его исключали из института, что он строгий выговор имел по административной линии, когда работал на практике в Каменевской МТС, и что он бросил девушку с ребенком там, где учился в институте. Последнее Андрей отвергает, а насчет прочего сказал: было. И главное, скрыл это все, не написал в автобиографии, когда поступал сюда на работу.

Степан Романович. Такое говоришь, что аж не верится!..

Подходит Шубин.

Шубин. О чем загрузили?

Соловьев. Да об этом же самом. О статье, об Андрее...

Шубин. Да, брат, Виктор Петрович, какие дела закрутились! Я сначала не придавал значения — думал, чепуха, Лошакову просто делать нечего, вот и пишет всякие кляузы, а теперь вижу — придется разбирать!..

Степан Романович. Вон он ходит. (*Указал глазами в сторону, где прохаживаются Андрей с Верой.*) Парень тоже расстроенный... Дела-а!..

Шубин. Да, как-то оно все не ко времени. Однако праздник будем все же отмечать.

Степан Романович (*посмотрел туда, где собралась его бригада и женщины раскладывают еду на скатерти*). Так что ж... Павел Арефьич!

Виктор Петрович! Там у наших хозяек уже все готово. Может, подсядете к нам, за компанию?..

Соловьев. Нет, я сейчас не могу. Обойду все кругом, посмотрю, что там и как. Спасательный пост на всякий случай выставлю на речке, чтоб кто-нибудь в ту крутилку под мостом не заплыл. Я, может, потом подойду. А ты, Павел Арефьич, садись, если хочешь.

Соловьев уходит. Женщины кричат: «К нам, Павел Орехович, подходите!», «Просим к нам в гости, Павел Орехович!»

Шубин. Если будете меня звать «Орехович», не пойду!

Женщины поправляются: «Арефьич, Арефьич!», «Вот вам самое лучшее место оставили — на пеньке!» Шубин и Степан Романович подходят к компании. Дарья Мироновна, как хозяйка, рассаживает всех по местам, раскладывает вилки, ножи, расставляет стопки.

Дарья Мироновна. Нарезь хлеба, Степа. Это мужское дело. Но в это время с большой поляны слышится песня. Поет женский голос под баян — «Соловья» Алябьева.

Федор. Самодеятельность началась. Ну, я могу пока посидеть. Мне — во втором отделении.

Все прислушиваются к песне, встают, подходят туда, откуда лучше слышно.

Шубин. Кто это поет? (*За кустами не видно, кто поет.*) Какой чудесный голос! Черт возьми! Не знал, что у нас есть такие певицы! Это же, это же... Нежданова!

Федор перемигивается со Степаном Романовичем и женщинами. Пенне окончено. Буря аплодисментов, крики: «Браво!», «Бис!», «Просим, Татьяна Ивановна!»

Шубин. Что? Татьяна Ивановна?..

Из кустов выбегает взволнованная, покрасневшая, растрепанная, без очков Татьяна Ивановна, вытирает платком очки. Федор навстречу ей расставляет руки. Татьяна Ивановна сослепу попадает прямо в его объятия.

Федор (*ведет Татьяну Ивановну к «столу»*). Дорогая, уважаемая Татьяна Ивановна! Земной поклон вам от всех ценителей чистого искусства!

Женщины и трактористы освобождают Татьяне Ивановне место. «К нам в компанию, Татьяна Ивановна!», «Вам — первую чарку, вы уже заработали!»

Степан Романович (*разливает*). Ну, за наш праздник День механизатора и за тех, кто его выдумал!..

Федор. За Татьяну Ивановну! За скрытые таланты!

На большой поляне продолжается концерт. Баянист исполняет сольные номера.

Шубин. Татьяна Ивановна! Скажите, пожалуйста, это вы сейчас пели?

Вопрос Шубина приводит в чувство счастливо, бессмысленно смеявшуюся Татьяну Ивановну.

Татьяна Ивановна (*выпив вино*). Я. Что вас удивляет?

Шубин. Вот бы никогда не подумал!

Татьяна Ивановна. А мне рассказывали люди, как вы на Первом мая в парке за спором лазили на макушку дуба доставать грачиные яйца из гнезда. Тоже никогда бы не подумала.

Шубин (*смутился*). То меня там раззадорили. Не поверили мне, что я в тридцать восьмом году на паруснике «Товарищ» плавал фок-марсовым.

Федор. Матросом были? По мачтам лазили?

Шубин. Не по мачтам, а по вантам.

Дарья Мироновна (*оглядела тучную фигуру Шубина*). Не верится что-то, Павел Арефьич!

Женщины. Не верится! Не верится!

Шубин. Бросьте! Тут нет такого дуба.

Федор. Да-а... Вот сейчас мы все слушали Татьяну Ивановну, наслаждались ее пением. Какой голосок! Это же ангел небесный пел, а не женщина!.. Но попробуйте вы у этого ангела выпросить аванс, когда у вас не сойдутся концы с концами!

Татьяна Ивановна. Дорогой Федор Алексееч! Авансы — очень вредное явление в нашей жизни и финансовой политике. Не стройте свое благополучие на авансах. Бюджет каждого трудящегося должен быть рассчитан так, чтобы не прибегать к авансам. Ведь и вам самим неприятно, когда в получку остается только расписаться за то, что было получено раньше.

Федор. Ой-ой-ой! И эти уста только что исполняли «Соловья» Алябьева!..

Шубин. Да, Степан Романыч. Если бы не эта... не этот ангел, ты и твои ребята получили бы сегодня еще кой-чего, кроме похвальных грамот.

Татьяна Ивановна. Павел Арефьич! Это нечестно — выдавать наши деловые гайны! Мало ли чего не бывает у нас в конторе. Жалуйтесь на меня на производственном совещании, но не здесь.

Шубин. Да не сердитесь вы! Вас хвалят, а вы ерепенитесь! Молодец! Прекрасно пели! Можно вас за это поцеловать в щечку?

Татьяна Ивановна. Нельзя. У вас жена есть.

Шубин. Ну, нельзя так нельзя... Жена в гости уехала к родным в Ленинград.

Концерт за кустами продолжается. Андрея и Веру видно было в других группах гуляющих, потом они ушли на большую поляну. От другой бригады трактористов, расположившихся в стороне, подходит бригадир Кузьма Филиппович Савченко.

Савченко. Хлеб да соль!

Женщины. Садись с нами, Кузьма Филиппыч!

Савченко. Павел Арефьич! Просим к нашему шалашу! Тут погостевали — теперь к нам.

Шубин. Погоди, Кузьма Филиппыч, так дело не пойдет! Вас много, я один. У нас в МТС пятнадцать бригад. Если с каждой бригадой мне по сто грамм выпить — это сколько получится?

Савченко. Не так много — полтора килограмма.

Шубин. В ящик сыграешь от такого «немного»! Нет, лучше ты к нам присоединяйся. Садись тут, поговорим! (*Женщины усаживают Савченко, угощают его.*) Расскажи — помнишь, ехали мы как-то с тобой из района, и ты мне по дороге рассказывал, — как ты тут после немцев МТС восстанавливал.

Савченко. Да что, Павел Арефьич, это разговор такой, не для праздника.

Шубин. Расскажи, расскажи! Вот как раз на таком празднике и не мешает вспомнить, что было тогда.

Савченко. Да кому рассказывать? Они знают, на их глазах это все было. Ну, тогда налей, что ли, Степан Романыч. (*Степан Романович наливает Савченко.*) Обогнал ты меня, сосед, на пятьдесят восемь гектаров, ну ничего. Я тебе на уборке покажу! Будем здоровы! (*Выпивает.*) Так рассказать про сорок четвертый год?.. Ну что? Пришел я до-

мой по ранению, рана-то была не тяжелая, пулевая, в ногу, отлежался бы и послали б меня обратно на фронт, но к тому же потерял зрение на один глаз, правым почти совсем не вижу. Дали мне чистую. Подлечил ногу — пошел работать на старое место, в МТС. Один я — из фронтовиков, эти все (*указывает на мужчин*) еще воевали. Стали мы собирать железки, где колесо, где радиатор валяется, давай клепать из них трактора. Вот такая была техника. За зиму кое-как собрали из утильсырья двенадцать машин. И подсудобили мне бригадку — семь девчат. Как раз, как в песне поется: семь девок, один я. Ну, я после фронта худой был, больной, мне не до ихней красоты. А тут и работа у нас весной пошла такая, что последний жир потерял, остались от меня одни святые мощи. Они ж все только с курсов, да и курсы-то были какие — месяц всего поучились. Машины — барахло. Четыре трактора было в бригаде. Один там остановится — за три километра, другой там — километра два беги к нему, а те тоже стоят черт-те где. Язык на плечо, и бегаешь по всему полю, ни днем, ни ночью тебе отдыха. Она ж сама и мотор не заведет, и ручку ту с места не сорвет, и случись какая-нибудь ерунда — ну, трубочка масляная из гнезда выскочит или бензопровод забьется, — уже ревет: «Ой, машину поломала!» Хлебнул я горя с ними!.. А все ж теми четырьмя колесниками мы за весну семьсот гектаров весновспашки подняли и столько же засеяли. Три колхоза на ноги поставили!.. Да что им рассказывать! Они всё знают. Эти ж девчата у меня в бригаде были. Вот Дунька была, Настя была, Мария была. Это, Павел Арефьич, учтите — всё трактористки сидят. А потом повыходили замуж, детишки у них пошли — побросали машины. Теперь у них мужья зарабатывают, а они как барыни. И на колхозную работу не ходят.

Женщины зашумели: «Не все! Которые не ходят, а которые и ходят!», «Это ты брось, Филиппыч, твоя, может, не ходит, а мы ходим!», «Когда двадцать копеек на трудодень платили, тогда не ходили, а теперь ходим!», «У меня сто сорок трудодней и двое детей на руках!», «У нас только одна Кузьменьчиха не работает, так у нее справки от врачей!»

Савченко (*схватился за голову*). Затронул! Загалдели, как сороки! Вот так, Павел Арефьич, я с ними и работал! Им слово, а они тебе двадцать! Ни в чем никогда не переспоришь!.. Да мне за то время, за сорок четвертый год, когда я с ними мучился, надо бы все ордена, какие только есть в Советском Союзе, присудить!..

Семен Ильич (*к Федору*). Ты не опоздаешь?

Федор. Нет. (*Вынимает из кармана программу концерта.*) Вот программка. Там сейчас выступает фокусник из района, потом будет выступление акробатов, потом хор учащихся средней школы. Я — после хора.

Дарья Мионовна. Девчата, спели бы!

Женщина (*к Савченко*). Подтянете? (*Погладила его по лысине, запекает.*)

На верши-и-не его-о не расте-ет ничего-о...

Женщины подхватывают. Поют недолго, обрывают песню после первого куплета.

Дарья Мионовна. Слов не знаем.

Савченко (*надевает кепку*). Издеваются!.. Это я из-за вас лысым стал. Обтер волосья об шапку — головой вертел, поглядывал во все стороны, где там у какой несчастье случилось.

Вторая женщина. Постарел наш Кузьма Филиппыч!

Третья женщина. У него уже клапана пропускают.

Савченко. Слышишь, Павел Арефьич? Клапана, говорят! Все знают! Трактористки!..

Женщины запевают вполголоса другую песню.

В глубине сцены не раз появляются Андрей с Верой. Андрей, хмурый, расстроенный, что-то рассказывает, объясняет Вере. Та внимательно его слушает. Появляются, уходят.

Федор (*к Степану Романовичу и Семену Ильичу*). Заскучал что-то наш инженер. Ходит с девушкой, а вид у него такой, будто перед начальством в чем-то оправдывается.

Семен Ильич. Заскучаешь, ежели такое на человека свалится.

Степан Романович. Слышал, что с ним?

Федор. Да, слышал...

Поют уже и в той группе трактористов, откуда ушел Савченко. С разных сторон доносится пение. Торгуют ларьки с водами и закусками. На середине сцены встречаются Соловьев и Лошаков.

Лошаков (*оглядел происходящее*). Я бы посоветовал вам, товарищ Соловьев, выделить в каждую группу ответственного прикрепленного.

Соловьев. Для чего?

Лошаков. Для порядка.

Соловьев. Не вижу пока большого беспорядка.

Лошаков. Послушайте, как поют. Что это за пение?

Соловьев. Поют вразброд, потому что каждая компания свою песню тянет. Надо сюда просто дирижера. Или перенесем сюда половину концерта. Вот Федор Карасев сейчас здесь споет... Не утерпели, товарищ Лошаков? И статейку в газету послали? Я же вам сказал, что двадцать девятого будет партсобрание и мы ваше заявление разберем.

Лошаков. Я почувствовал по вашему несерьезному настроению, что вы склонны замять это дело. Вы не дали должной политической оценки поведению Глебова. И даже когда я посоветовал вам прочитать постановления партии и правительства об МТС, то вы мне ответили: «Зачем?»

Соловьев. Что?.. Я сказал: зачем оставлять книги, они у меня есть.

Лошаков. Я так вас понял... А там что, драка уже начинается? (*Указывает рукой за кусты.*)

Соловьев. Нет, то боксеры приехали из Юрьевска. Будут еще ракеты пускать, не подумайте, что перестрелка.

Лошаков уходит.

Соловьев (*посмотрел ему вслед, плюнул и что-то прошептал. Подзывает Федора*). Давай, Федя, выступай здесь. Вон и баянист идет.

Федор. Можно и здесь.

Соловьев. Там вон, у буфетчицы, я видел пустые ящики из-под лимонада. Поставь штуки три один на другой — и будет тебя видно и слышно во все концы. Устраивает тебя такая эстрада?

Федор. Вполне устраивает! (*Идет на указанное место.*)

Крики: «Просим!», «Федора Карасева просим!», «Ноченьку!», «Бродягу!», «Коробейников!» Федор мстит себе из ящиков эстраду, взбирается на нее, откашливается.

Конферирует баянист.

Баянист. Тракторист седьмой краснознаменной тракторной бригады Федор Алексеевич Карасев исполнит старинный романс на слова Тютчева: «О, не тревожь меня укорой справедливой!» Аккомпанирую я.

Федор исполняет романс. Аплодисменты, крики: «Браво!», «Бис!», «Бис!»

Баянист. В том же исполнении: «Что так грустно, что так скучно». Федор поет. Аплодисменты, крики «Бис!», но Федор раскланивается, соскакивает с ящиков.

Баянист. Учительница средней школы Любовь Панфиловна Уткина исполнит: «Я по бережку шла».

Но названная исполнительница категорически отказывается выступать. «Нет, нет, нет! Я на эти ящики не полезу! Я все время буду думать, как бы с них не упасть, и не смогу хорошо спеть!» Пока публика уговаривает ее, баянист просит внимания, подняв руку.

Баянист. Задержка по техническим причинам. Объявляется перерыв на неопределенное время.

Дарья Мионовна. А когда же спляшем?

Баянист выходит наперед, играет плясовую.

Федор (*делает выход*).

Эх!.. Не сама машина ходит,
Человек машину водит.

С Федором пляшут еще несколько парней и девушек.

Девушка.

Трактор едет по дороге,
А девчонки — от него.
Без привычки было страшно,
А привыкли — ничего.

Парень.

Председатель блины пек,
Бригадир подмазывал.

Другой парень.

Кладовщик муку таскал,
Счетовод не сказывал.

Лошаков подошел к девушке, торгующей пряниками и газированной водой.

Лошаков. Что это они поют? К чему такие слова на танцах?

Девушка-продавщица. А у нас в колхозе, где я работала, точно так было! Пока другого председателя не выбрали.

Лошаков (*подает продавщице деньги*). Два пряника и стакан воды.

Берет пряники и стакан, отпивает глоток. Постояв немного, отходит в сторону за ларек, выливает воду в кусты, достает из кармана четвертинку, переливает ее содержимое в стакан, выпивает. Переводит дух, не разжимая губ, на лице никакого движения, совершенно незаметно, что выпил спиртное. Жестом просит продавщицу налить ему еще стакан воды.

Танцы продолжают.

Девушка.

Говорят, что я горда.
Это правда, это да.
На два вечера знакомиться
Не стану никогда.

Вторая девушка.

Я нашла себе милого:
Он молчит, и я ни слова.
Дивовалися на нас:
Вот так пара собралась!

Третья девушка.

Я иду, а трактор пашет,
Тракторист платочком машет.
Ты платочком не маши,
Ты получше зябь паши!

Л о ш а к о в стоит в стороне, смотрит на танцующих. Одна нога у него чуть подпрыгивает, будто и ему тоже хочется танцевать.

Семен Ильич (*подходит к баянисту*). Давай всеобщую!

Баянист переходит на польку. Все пляшут. Среди танцующих и Андрей с Верой. Андрей по-прежнему невеселый. Шубин и Соловьев стоят на авансцене.

Семен Ильич (*приглашает Дарью Мироновну*). Дарья Мироновна! Кума! Ваш праздник! Ну-ка!..

Федор (*танцует с Татьяной Ивановной*). День тракториста раз в году бывает!..

Соловьев (*Шубину*). И тот незаконный. Сами выдумали!

Танцы продолжают. Пляшущие втягивают в круг и Соловьева с Шубиным.

Картина четвертая

Сельская улица. Светлая лунная ночь. Приехавшие с праздника расходятся по домам. Слышны голоса, шум подъезжающих и отъезжающих машин. Где-то далеко играет баян запомнившийся с праздника мотив. Улицей идут Андрей и Вера.

А н д р е й. Ну вот я тебе все и рассказал... Что молчишь?

В е р а. Трудная будет у тебя жизнь, Андрей.

А н д р е й. Почему так думаешь?

В е р а. Сужу по началу.

А н д р е й. Что, плохое начало?

В е р а. Я не говорю — плохое. Трудное.

А н д р е й (*помолчав*). Тебя проводить домой?

В е р а. Да... Давай посидим еще здесь немножко. (*Садятся на лавочку у плетневого забора.*) Вон еще машины едут. Должно быть, последние. (*Слышны песни, баян.*) Молодежь не расходится, ей еще бы погулять.

А неплохо прошел праздник, а?

А н д р е й. Неплохо...

Долгая пауза.

В е р а. Ну что ж, Андрей, я думаю, что все эти обвинения отпадут, останется только вот этот твой злосчастный разговор на бригадном стане о продаже тракторов. А по этому вопросу тебе надо будет просто сказать, что вот, мол, я обдумал все, осознал, я тогда ошибался, а сейчас перечитал все постановления и признаю свою ошибку. И ничего тебе не сделают.

А н д р е й. Я тебе целый день толкую, почему я пришел к такому убеждению, что тракторы надо передать колхозам, а ты мне: обдумал, осознал. Да ничего я не осознал!

В е р а (*сухо*). Ну, тем хуже для тебя.

А н д р е й. Милая Верочка! Ты только на год старше меня, а по трудовому стажу — на два года. Всего на два года больше меня работаешь в колхозах. Но откуда у тебя такая зрелая житейская мудрость?

В е р а. Мудрости за собой я особой не замечаю, а просто не дура.

А н д р е й. Просто не дура...

В е р а. Живи просто, проживешь лет со сто.

А н д р е й. Ты какой-то другой смысл в эту пословицу вкладываешь. Деды наши говорили: рано вставай, рано спать ложись, ешь простую пищу — будешь здоров и долго проживешь. Вот о чем они говорили.

В е р а (*смеется*). Ну и я тоже рано встаю, рано ложусь, целый день провожу на воздухе.

А н д р е й. Нет, ты, пожалуйста, не хитри. Я тебя начинаю понимать... Вот ты, Вера, всего три года работаешь агрономом, а успела уже за это время и отречься от тех авторитетов, которым поклонялась в институте, и опять признать их. Успела и распахать в колхозе клевера и опять их посеять.

В е р а. А что я могла сделать? Надо мною есть начальники постарше, и в колхозе и в районе.

А н д р е й. Что могла сделать? Лечь перед трактором! «Не пущу плуги на клеверные поля! Не позволю!..»

В е р а. Ох, какой героизм! Лечь под трактор!..

А н д р е й. Можно было, конечно, под трактор и не ложиться. Но ты даже не возмущалась, когда рассказывала мне об этой истории с травами. Другой бы агроном просто плакал! «Вот меня заставили те люди, которые всегда держат нос по ветру, распахать клевер, а ведь он у нас прекрасно растет, и мы без клевера в севообороте не можем жить, нельзя нашу местность равнять с какими-то там южными областями!» Человек с ума бы сходил от того, что собственными руками сделал преступление! А ты — ничего. Рассказывала и смеялась: распахали, мол, а теперь опять рекомендуют нам сеять клевер.

В е р а. Чего еще недоставало — чтоб мне с ума сходить из-за клевера! Если все так переживать, как ты говоришь, так мне нервов и на пять лет жизни не хватит.

А н д р е й. Знаю, знаю, слышал уже: живи просто, проживешь лет со сто. Очень ты себя бережешь! Но зачем же выбрала такую беспокойную профессию? Почему ты стала агрономом? Почему не библиотекарем? Не фармацевтом?

В е р а. А я тоже, как и ты, не горожанка и не очень гонюсь за всякими там театрами, музеями. Я люблю село. У меня мать в Березниках живет, у нас там и дом свой. Если не переведут меня в тот колхоз, то мы перевезем сюда дом. Мне здесь дают хорошую усадьбу. Я очень люблю, когда во дворе есть сад, хозяйство. На городской квартире, где-то на седьмом этаже, я бы просто зачахла с тоски... А в общем, довольно меня допрашивать: почему я агроном, почему я так делаю, а не так. (*Встала.*) Ты меня понял, Андрей, и я тебя поняла. С тобой жить — и дня не будешь спокойной. Не за себя, так за тебя будешь болеть. Да и не уживешься ты долго на одном месте. Такие не уживаются. Вот снимут тебя здесь с работы и погонят куда-нибудь на целину, а оттуда на Камчатку, а там — еще куда-нибудь. А я не большая охотница до таких переездов... Так-то, Андрюша! И не верь ты, пожалуйста, этой болтовне Федьки Карасева, будто меня женихи избегают. Я не такая уж старуха, не тороплюсь, найду человека по своему вкусу.

А н д р е й (*встал*). Мне, Вера, что-то расхотелось провожать тебя домой.

В е р а. Да?

А н д р е й. Да. Идти тебе недалеко, ночь светлая, народ на улицах, собак не слышно — дойдешь одна благополучно.

В е р а. Не пойдешь?

А н д р е й. Не пойду.

В е р а. Ну что ж... (*Уходит.*)

А н д р е й стоит один посреди улицы. Идут Степан Романович, Семен Ильич и Дарья Мироновна. Семен Ильич ведет в руках велосипед.

Семен Ильич. Что он у меня все шатается? Не погнулось ли колесо?

Степан Романович. А не ты ли это шатаешься?

Семен Ильич. А, товарищ инженер! Наше вам!

Степан Романович (*поглядел вслед уходящей Вере*). Что ж ты девушку не провожаешь?

Андрей. Пусть идет.

Степан Романович. Совсем, что ли, расстались?

Андрей. Как будто...

Семен Ильич. Вот оно что.

Степан Романович. Должно быть, из-за того письма?

Андрей. Вам Соловьев показывал его?

Степан Романович. Рассказывал.

Андрей. Вранье в том письме!.. Но с Верой у нас не из-за письма.

Дарья Мироновна. А что там, Андрюша, говорят про вас, будто вы ребенка где-то бросили?

Семен Ильич. Кого что, а женщин больше всего это интересует!

Андрей. Никакого ребенка у меня нет, Дарья Мироновна! Это выдумки!

Дарья Мироновна. А девушка была?

Андрей. Девушка была.

Семен Ильич. А у кого их не было?..

Андрей. Я знаю, кто письмо писал. На конверте штамп — из Каменевского района.

Семен Ильич. Точно! Из Каменевского района!

Андрей. А в Каменевской МТС работает один парень, с которым я учился в институте. Вот мы с ним ухаживали за этой девушкой. Ну и еще были у нас там с ним стычки.

Степан Романович. Так ты что, отбил у него девушку?

Андрей. Да не отбил же! Нет ее у меня. Я же холостой.

Семен Ильич. А кому ж она досталась?

Андрей. Ни мне, ни ему. Вышла замуж за третьего, который устроился на работу в областное управление сельского хозяйства. В том городе и живет, где мы учились. А ребенка у нее нет и не было.

Семен Ильич (*поглядел в ту сторону, куда ушла Вера*). Значит, это тебе уже со второй девушкой не повезло?

Андрей. Со второй...

Степан Романович. Ну ничего, может, с третьей повезет!

Семен Ильич. А вообще, Андрей Николаич, насчет удачной женитьбы, — вот мы со Степаном люди старые, бывалые, — я тебе такой пример приведу, не при куме Дарье будь сказано. Возьми ты пробку, разрежь ее на две половинки и брось эти половинки — ну куда? — в Черное море, одну с нашего берега, а другую с турецкого, и ежели эти две половинки сплывутся на середине моря, вот это значит — удачно женился, счастливый брак!..

Андрей. Спасибо, утешили...

Дарья Мироновна. Ну ты, Семен Ильич, в самом деле, как скажешь! Человек в расстройстве, а ты еще печали ему придаешь. Не верьте ему, Андрюша! Много есть хороших девушек!

Семен Ильич. Все девушки хороши, а откуда злые жены берутся?..

Дарья Мироновна. Себя спрашивайте! Берете хороших, а почему плохими делаемся?.. Сам-то каков гусь! Уехал один на праздник гулять, а жену дома бросил!

Семен Ильич. У меня, кума, сегодня выходной. Понятно? Выходной! Могу, стало быть, выйти из дому и — куда глаза глядят!.. Ну, пойдем, Степан Романыч, по домам. Надо и ангелам покой дать.

Дарья Мироновна. Каким-таким еще ангелам?

Семен Ильич. Ну, знаешь же, по священному писанию — у каждого человека есть ангел-телохранитель. И вот пока тот человек не спит, колобродит, и ангел следом за ним ходит, оберегает его от всякого греха...

Дарья Мироновна. То-то вы, смотрю, такие береженные, негрешные, прямо святые!

Семен Ильич. Да. А когда человек уснет, то, значит, и ангел-телохранитель ложится отдыхать.

Степан Романович. А у Андрея тоже ангел есть?

Семен Ильич. Андрей человек молодой, у него и ангел молодой, пусть со своим ангелом еще погуляют.

Улицей идут Федор, баянист, парни, девушки. Музыка, песни.

Семен Ильич. Вон сколько их! Одна другой краше!..

Степан Романович, Семен Ильич и Дарья Мироновна уходят. Девушки, парни окружают Андрея. «Пойдем с нами, Андрей Николаич!», «Эту ночь никому спать не дадим!», «Гулять так гулять, до утра!», «И день — тракториста и ночь — тракториста!», «Пойдем, инженер, догуливать!»

Федор (*берет Андрея под руку, декламирует*). «Эх, товарищ, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой!».. Чего ж она пошла одна домой?

Андрей. Не по пути нам.

Федор. Не по пути?..

Андрей. Боится, что на моем пути кочек будет много.

Федор. Вон что!.. Верно я подметил, Андрей Николаич, — есть какой-то скрытый недостаток! Отец мне дельные советы давал! Он-таки знаток был по этой части!.. Ничего! Не только свету, что в окне! Полюбуйся, сколько их! Глаза разбегаются! И вообще, не смотри ты на это высшее образование, не избегай наших колхозных девушек, сам же колхозником был! Образование — дело наживное, подучится заочно, и такая ж будет культурная, как и ты. А вот когда у нее вместо сердца кусок вареной говядины — это хуже, тут ничем не поможешь, другое сердце не вставишь!.. Хорошо, что вовремя ее раскусил! А то женись, а потом разведись! Так лучше, меньше волокиты!..

Андрей. Пошли гулять!..

Все уходят. Песни и музыка слышны еще долго и после того, как сцена остается пустой.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина пятая

Те же декорации, что во второй картине, — комната партбюро, но уже обжитая, все развешано, расставлено в порядке. Соловьев и Андрей то присаживаются к столу, то ходят по комнате, то останавливаются у раскрытых окон.

Соловьев. Ты еще совсем молодой коммунист. Нельзя, слушай, Андрей, так легкомысленно смотреть на свое положение члена партии! Запачкать партбилет, заработать взыскание — это в самом начале жизненного пути! Партбилетом надо дорожить!

Андрей. Простите, Виктор Петрович, я что-то не совсем вас понимаю. Как я должен дорожить своим партбилетом? Если мне его дали, то

я должен сесть и дрожать над ним — чтоб, боже упаси, мне где-нибудь чего-нибудь не записали!.. Чтобы сохранить в чистоте свой партбилет, я должен, значит, на собрании выступить и сказать, что я не я и хата не моя? Вчера я думал так, но я ошибался, каюсь, прошу прощения, а сегодня я уже все пересмотрел, думаю совсем иначе. То есть должен со- врать, обмануть партийную организацию? Чему вы меня учите?..

С о л о в ь е в. Но ты же теперь, небось, прочитал решения об МТС? Те все материалы, что я тебе дал? Едумался в них? В самом деле, о чем в них говорится? О какой роли МТС? А «Экономические проблемы социализма в СССР» читал?

А н д р е й. То все было написано и сказано в свое время. Но жизнь движется вперед, развивается. Нельзя превращать в догмы то, что было сказано о вчерашнем дне.

С о л о в ь е в. Ну, и нельзя также открыто осуждать те решения партии, которые пока что не отменены!

А н д р е й. Вот и вы уже так говорите: осуждать решения партии! Да я ничего не осуждал! Я просто высказал то, что мне пришло в голову после всего, что приходилось слышать от трактористов и колхозников об этой двойственности в управлении колхозным хозяйством.

С о л о в ь е в. Ну, а после всего, что было дальше, надо признать, что ошибся, не разобрался, наболтал лишнего, и это послужит тебе уроком на будущее: не заниматься отсебятиной в таких серьезных вопросах, в каких ты еще слабо подкован и теоретически и практически.

А н д р е й (*вздыхнув*). Отсебятина!.. А есть еще слово — инициатива.

С о л о в ь е в. Что?.. Ну, не всякая инициатива нам на пользу. (*Помолчав.*) Ты понимаешь, я знаю настроение наших коммунистов, их отношение к тебе. Если я даже расценю твой разговор с трактористами в бригаде как политически вредное выступление и предложу объявить тебе взыскание, — вряд ли со мною согласятся и поддержат меня. Но тогда, представляешь себе, какая заварится каша! Этот же Лошаков будет писать в райком, в обком, в Цека! Тогда уж он не одного меня, а всю парторганизацию обвинит в попустительстве и либерализме! Нам придется возвращаться к твоему делу еще десять раз!..

А н д р е й. Значит, чтобы этого избежать, мне надо либо покривить душой и покаяться, либо самому попросить, чтоб мне записали строгий выговор? Чтобы удовлетворить Лошакова?..

Молчанье.

А н д р е й. Виктор Петрович! Меня ждут в мастерской. Там привезли с завода станки с каким-то браком. Надо составить акт. Я могу идти?

С о л о в ь е в. Иди. В шесть часов партсобрание.

А н д р е й уходит. С о л о в ь е в садится за стол, перебирает бумаги.

На минуту задергивается занавес. Свет в зал не дается.

Картина шестая

Те же декорации. Партсобрание. За столом, на диване, на стульях у стены сидят: Соловьев, Шубин, Степан Романович, Савченко, Татьяна Ивановна, Лошаков, еще человек семь-восемь коммунистов. Андрей стоит у стола.

А н д р е й. Насчет института я уже рассказывал Виктору Петровичу. Да, исключали меня. Это было в 1953 году. Я тогда учился на втором курсе. Меня послали на практику в Кашиновский район. Там мне пришлось поработать и в колхозах и в МТС. Ну, вы знаете Кашиновский район, сколько лет он был отстающим. Очень тяжелое положение было там в колхозах. На трудодни давали граммы, копейки, трактористы раз-

бегались, на уборке работали одни мобилизованные, колхозники сидели дома. Вернулся я в институт и в своем отчете о практике показал все, как оно было. Это не относилось к теме моей работы, но я описал подробно все, что видел там, в колхозах. Думаю, может, по моей записке все же примут какие-то меры. Ну вот тогда меня и исключили из института — за клевету на нашу колхозную действительность. Комсомольская организация меня поддерживала, но дирекция — ни в какую! «Что он врет, где он видел такие страсти-мордасти?» Ровно десять дней не ходил я на лекции. Учебный год начался первого сентября, а седьмого открылся Пленум Цека, сентябрьский Пленум. А на этом Пленуме тогда было все сказано откровенно о положении в сельском хозяйстве: и насколько сократилось поголовье скота, и что с зерном у нас плохо, и что убита материальная заинтересованность колхозников. Я как прочитал газету — сейчас же побежал в институт. Ну, а там товарищи тоже уже поняли, что перегнули палку. Через два дня директор отменил приказ о моем исключении, и я стал опять учиться.

Ш у б и н. Так, ясно...

А н д р е й. Можете написать в институт, проверить. Я не знаю, правда, кто там сейчас, тот ли директор, что меня исключал. Если тот, то ему, конечно, неприятно, он может и приврать чего-нибудь. Напишите в партком, в комсомольскую организацию. Да и у меня самого есть копии всех приказов — и когда меня исключали и когда восстанавливали. Там сказано, что исключен был ошибочно. Могу вам представить их.

Т а т ь я н а И в а н о в н а. А что у вас, товарищ Глебов, было в Каменевской МТС?

А н д р е й. Так. В Каменевской МТС. Там у меня было другое. Туда я ездил уже с четвертого курса. Тоже на уборку. Ну, там меня использовали не как специалиста, а просто прикрепили уполномоченным к одному комбайну. Убирали мы сортовой участок, семена. И вот налетел один товарищ из района. Завтра пятидневная сводка, ночью надо как можно больше зерна отправить на элеватор — заставляет колхозников везти эту сортовую пшеницу. Два года колхоз выводил свои семена, сорт признали очень хорошим, высокоурожайным, и — гони его на элеватор, сыпь в общую кучу! Я не дал. «Вы, говорю, уполномоченный, и я тоже здесь уполномоченный и не позволю такими вещами заниматься». А тут и агроном разволновался, подъехал председатель, тоже набрался храбрости. В общем, не дали мы ту сортовую пшеницу пустить в хлебозаготовку. Ночью нам подбросили еще один комбайн, переключили все на продовольственные участки, и оттуда возили зерно на элеватор. Не знаю, что потом этот товарищ рассказал обо мне в районе. В письме написано, что мне там строгий выговор объявили. Это неправда. Никакого выговора не было, но дали мне такую характеристику с практики, что хоть не появляйся с нею в институте. Волчий билет. Я пошел в обком. Несколько раз ходил, потом меня принял секретарь обкома. Я рассказал ему все как было. Он звонил в Каменевку, выяснял, а те ничем не могут подтвердить характеристику, кроме того, что я не дал вывезти сортовые семена. Он страшно возмутился, порвал ее на моих глазах, ругался. В общем, дня через три я получил по почте совсем другую характеристику. Вот что было в Каменевской МТС.

Молчание.

Ш у б и н. А все-таки ты, Андрей Николаевич, скрыл это, не написал в автобиографии, когда поступал к нам. *(Андрей пожимает плечами.)* А, впрочем, чего ж писать, самому на себя пятно класть, поскольку все это другим концом обернулось? *(Оглядывается сзади.)* А?..

А н д р е й. Вот и я так подумал. Зачем писать об этом? Ведь отменено же все.

Степан Романович. А что это за приятель такой, товарищ Глебов, пишет на тебя из Каменевского района?

Андрей. Я не могу точно утверждать, что это именно он, но догадываюсь. Больше некому. Был такой парень, вместе с ним учились, сейчас он в Каменевской МТС работает на такой же должности, как и я здесь. Вот он прочитал в областной газете статью товарища Лошакова, узнал мой адрес, видит, что у меня тут большие неприятности, решил еще добавить... Что за человек? Очень грязный человек. Получал повышенную стипендию по подложным справкам, живого отца сделал покойником по документам. Брал у наших студенток деньги и не отдавал. Одну зиму я жил с ним в общежитии в одной кабинке. Дня не проходило, чтоб не поругались. Только и разговору было: деньги, деньги, деньги. Кто как устроился, кто выгодно женился, кто сколько зарабатывает.

Шубин. Это вы с ним девушку не поделили?

Андрей. С ним. Но за девушку он никак не может на меня обижаться. Она же не вышла за меня... О ребенке еще раз говорю: не бросал я нигде никаких детей. Это уж он просто из пальца высосал, решил — гадить так гадить. Я дам адрес этой девушки, напишите ей. Она уже замужем. Я у нее был не первый и не последний, и не я виноват, что она не захотела со мной регистрироваться, не поехала в село. Она хоть и немножко такая, легкомысленная, но совесть у нее есть, напишет вам правду, врать не будет.

Пауза. Андрей сел.

Савченко. Да... Такие-то дела...

Лошаков (*поднимает руку*). Разрешите, товарищ Соловьев? (*Встает.*) Для меня это все новость — письмо, исключение из института, брошенные дети. Меня перед собранием никто об этом не информировал. Пусть не все было так, как объяснил нам сейчас товарищ Глебов, но в данный момент нам не представляется возможности проверить его утверждения. Это нужно было раньше сделать, товарищ Соловьев, такую проверочку! Написать в институт, в Каменевскую МТС, той женщине, о которой он говорил, а потом уж выносить все на широкое обсуждение. Но ладно, оставим это пока. Меня удивляет, почему товарищ Глебов ни слова не сказал о самом главном?

Андрей. А что — самое главное?

Лошаков (*развернув газету, указывает на свою статью*). Вот. Ваша агитация против МТС. Об этом пишет областная газета. Не обращайтесь внимания на подпись. Тут могла бы стоять подпись и не «Лошаков», а, скажем, «Сидоров» или «Иванов». Пока статья или заметка только написана, она является личным достоянием, выражает личное мнение ее автора. Но с той минуты, как она напечатана в газете, это уже слово органа областного комитета партии... Что вы на это ответите?

Один из коммунистов. Да что ему об этом говорить! Он написал объяснение, мы его все читали, и вашу статью, товарищ Лошаков, мы читали. Что двадцать раз об одном и том же! Давайте прямо обсуждать!

Пауза.

Степан Романович. Можно, Виктор Петрович? (*Встает.*) Я хочу сказать о нашем главном инженере, о товарище Глебове... Я на тракторах работаю уже двадцать пятый год, ну, если фронт откинуть, четыре года, значит, двадцать первый. Не могу сказать, чтобы мне, как старому практику, очень уж помогал наш главный инженер. Такого не было, чтоб какая-то там техническая причина, и я не мог в ней разобраться, и вот товарищ Глебов пришел, указал мне на мою ошибку, и я понял, что вот этого я, старый тракторист, до сих пор не знал. Как он учился в институте,

силен ли он по теории, не знаю, но практики у него маловато. Был даже случай, когда он с Михаилом Кравченко полдня возились, не могли запустить дизель, а я видел, в чем там дело, но не могу же я подрывать авторитет главного инженера перед трактористами. Я отвел его в сторонку и шепнул ему: загляни вон туда, там, мол, вся причина. И он пошел, сделал это, и сразу запустили мотор. Как инженер он еще, конечно, слабоват. Для мэтэес, может, лучше было бы, если б у нас главным инженером работал человек с большим опытом, как вот, скажем, в Пальцевской мэтэес. Там главный инженер такого возраста человек, как Павел Арефьич. Был и заведующим мастерской и разъездным механиком, трактор видит насквозь, как стеклянный, по нашему делу — профессор! Ну ладно, что ж. Раз прислали нам молодого инженера, будем работать с молодым. Но я вот скажу, как товарищ Глебов к делу относится. Очень хорошо относится! И к своему делу и к людям. Были мы на ремонте — не вылезал из мастерской, вместе с нами с начала до конца. Не из тех начальников, что даст команду и пошел, или что бояться руки об грязное железо запачкать. Опять же, придет в поле — и в вагончике с нами заночует, а не то и под копной, и книжку ребятам прочитает, и поговорит с ними, пошутит. Душевный парень, простой. И еще скажу. Вот я пожилой человек, он мой начальник, но ни разу мне не «тыкнул», всегда: Степан Романыч, вы. Это тоже приятно — вот такое отношение. Не зазнается. В общем, мое мнение такое: главный инженер у нас на месте, свое назначение оправдывает. (Сел.)

Савченко. Разрешите, товарищ Соловьев? (Встает.) Что ты, Степан Романыч, тут сморозил: инженер он не очень знающий, слабый инженер. Да ведь он год всего как из института! Разве большие специалисты так сразу и родятся? А ты сам сразу, что ли, стал таким передовым бригадиром? Не вместе ли мы с тобою на курсах были? Не варил ты в радиаторе картошку? Помнишь, как я тебя застукал на этом деле, а ты говоришь: «Ну и что ж такого, не пропаду, туда керосин не проходит». Изучил уже технику, узнал, что в радиатор керосин не попадает! Да не о тебе, говорю, печаль, твое луженое брюхо, может, и от керосина не лопнет, так соты, трубочки забьет картошкой разваренной! Так же и я всякие штуки откалывал. Один раз так подтянул подшипники, что как дал хорошие обороты, так сразу все четыре шатунных и сгорели! Специалисты были! А сейчас вот уже ничего, кой-чего смыслим. Неопытность, молодость, Степан Романыч, — это не грех. Этого недостатка в человеке с каждым днем убывает. (Сел.)

Степан Романович. Да ты меня не понял, Кузьма Филиппыч! Я не говорю, плохой он инженер, я говорю: опыта нет.

Савченко. А! Это дело наживное!

Степан Романович. Ну, конечно, наживное! И я ж тебе об этом толкую!

Соловьев. Ясно. Кто еще хочет сказать?.. Прошу все-таки говорить по существу вопроса — о статье товарища Лошакова. В статье обвиняются два человека: товарищ Глебов — в агитации против МТС, и я — в попустительстве. Так вы уж о нас обоих и говорите.

Шубин. Разрешите, Виктор Петрович! (Встает.) Я тоже не против молодых специалистов. Каждый старый человек был в свое время молодым, каждый молодой станет стариком. Конечно, лучше было бы, если б институты выпускали инженеров сразу с двадцатилетним стажем, но до этого у нас наука еще не дошла... Теперь об этой самой передаче тракторов колхозам. Конечно, много у нас всяких ненормальностей. Колхозы на нас обижаются, что мы не болееем об урожае и гонимся зачастую только за мягкими гектарами. Что ж, обижаются, надо сказать, правильно. Но опять же с этим вопросом надо разобраться! Не от хорошей жизни мы

нагоняли мягкие гектары! Планирование было такое! Это сейчас нам дали немножко самостоятельности, а раньше как было? Устанавливают нам общий объем тракторных работ на год, и к тому же еще планируют каждый вид работы в отдельности. Если общий план выполнен, но какая-то работа не выполнена — считается, МТС сорвала план. И было так: лето, скажем, сухое, сорняков мало, почву не надо бы лишней раз тревожить, а мы по четыре-пять раз культивируем пары. Зачем? План. Всю площадь паров — культивировать четыре раза. Как будто оттуда, из областного управления, виднее, какие у нас сорняки растут на полях и сколько влаги в почве. И колхозники ругаются — это ж с них лишняя натуроплата за пустую работу — и мы ругаемся. Я двенадцатый год работаю директором МТС. В Акимовке меня, как практика без диплома, заменили специалистом с высшим образованием, инженером с кондитерской фабрики, а теперь вот опять, как старого практика, назначили директором сюда. У вас я недавно, но общие порядки знаю. И у вас было то же самое.

Г о л о с а: «Было, было!», «И сейчас еще есть!», «Никак те порядки не изживем!»

Ш у б и н. Колхозники ругаются, думают, что это мы сами выбираем себе такую работу, какая полегче, а нас планирование жмет! Опять же — горячее. Нормы, что нам дают, не всегда правильные, а пересмотреть сами их не можем. И приходится покрывать перерасход горючего на тяжелых работах экономией на легких, потому и бороним или культивируем лишней раз. Конечно, очень много нелепостей и в самой нашей организации и в наших взаимоотношениях с колхозами. И та договорная система, которая существует, уже устарела. И дело так дальше не пойдет, если мы...

С о л о в ь е в (*постукивает карандашом по столу*). Павел Арефьич! Ты говори о Глеbove.

Ш у б и н. А что я могу сказать о Глеbove? Человек и года еще не работает у нас. Но вижу — берется за дело неплохо, старается. У меня, как директора МТС, никаких претензий к нему нет. Есть кое-что, но это мы с ним в рабочем порядке обсудим. (*Сел.*)

Л о ш а к о в. Товарищи умышленно уходят от существа дела! И Глебов молчит!

В т о р о й к о м м у н и с т. Так ты же это все так поворачиваешь, что если мне выступить вот здесь в защиту товарища Глеובה, сказать, что я с ним согласен, и сам в оппортунисты попадешь!

Л о ш а к о в. Вопрос ставится ребром: говорили вы, товарищ Глебов, что тракторы надо продать колхозам?

А н д р е й. Говорил.

Л о ш а к о в. И как вы сами расцениваете вот такие разговоры с трактористами?..

Т а т ь я н а И в а н о в н а (*начинает возмущаться*). Прямо как на суде: «Признаете вы себя виновным?»

А н д р е й (*встал*). Нет, не признаю... Я только в том виноват, что разрешил себе думать о вещах, которые и не входят в круг моих обязанностей как главного инженера. Мне надо бы думать о запчастях, горючем, ремонте, а я осмелился подумать и о завтрашнем дне нашей деревни. Если это можно назвать моей виной, называйте... Но я все-таки иначе смотрю на эти вещи. У нас еще в сельском хозяйстве много непорядков. С урожайностью зерновых в колхозах дела еще не блестящие. Тут нам что-то мешает. Может быть, колхозники недостаточно еще заинтересованы в том, чтобы вырастить высокий урожай, а может, вот это мешает, что над землей два хозяина. Надо всем нам об этом думать — как еще быстрее двинуть вперед сельское хозяйство!.. Я маленький человек, рядовой коммунист, к тому же молодой коммунист. Но я отвечаю за

будущее своей Родины, за судьбы социализма не меньше, чем и какой-нибудь большой руководитель.

Степан Романович. Разрешите еще, товарищ Соловьев! *(Встал.)* Скажу еще пару слов, чтоб товарищ Лошаков не говорил, что мы уклоняемся. Вот я, бригадир тракторной бригады, не первый год работаю, на своей шкуре, можно сказать, все испытал. Приезжает председатель колхоза, говорит мне: делай то-то. Приезжают директор мэтэес или главный агроном, говорят: нет, делай то-то! Один: «Запрягай!», другой: «Выпрягай!» Я на службе в мэтэес, мог бы председателя и послать подальше, так у меня семейство в колхозе. Не потрафлю председателю — сена не даст, корова без корму подохнет, лошади не даст на базар съездить. Так и крутишься между мэтэесом и колхозом, как тот наш разъездной механик Сенька Хваткин, у которого две жены было: одна в Любимовке, а другая в Теткином.

Савченко. Правильно говорит!

Степан Романович. Я согласен с товарищем Глебовым. Надо все это дело в одни руки передать. Как, в чьи руки — не знаю, но в одни. Либо, чтоб директор был хозяином над всем, либо машины отдать колхозам. А вопрос о товарище Глебове я предлагаю вообще закрыть. Никаких решений не выносить. Вроде как и не было этой статейки. *(Сел.)*

Соловьев. Как же не было, когда есть она!..

Лошаков. Какие смелые заявления: «Я согласен!», «Надо передать в одни руки!» Да кто у вас вообще спрашивает, с кем и с чем вы согласны! Что за дискуссия здесь такая открылась? Кто вам разрешил ее проводить?..

Шум: «Эк куда гнет!», «Что за человек!», «Никому слова сказать не дает!»

Соловьев стучит карандашом по столу. **Андрей** стоит. Выждав паузу, продолжает говорить.

Андрей. Мне, товарищи, очень нетрудно было бы сейчас здесь сказать, что я, перечитав старые решения об МТС, убедился, что говорил тогда в бригаде у Степана Романовича глупости и сейчас от тех слов отказываюсь. Мне и в институте тогда кое-кто советовал: пойдешь к директору, возьми назад свою записку, скажи, что ошибся, не разобрался в обстановке, не понял, что это все трудности роста... Это очень легко — признать ошибки. Язык без костей, повернется куда хочешь. Но трудно мне будет потом жить!.. Не хотелось бы мне смолodu учиться врать. Это, знаете, как на болоте: идешь и бережешься, пока не набрал в сапоги через голенища, а как набрал — тогда пошел по грязи смело, хоть по пояс.

Савченко. Я думаю, товарищи, на такого человека больше надежды, который твердо стоит на своем. А вот те, про которых девчата в песне поют, не помню начала, что-то там: «...целу ночь целуется, утром отмежуется», — то люди неверные, опасные.

Соловьев. Смотря на чем твердо стоит! В чем упорствует! Может быть, его упорство — вразрез с линией партии?..

Коммунист. Товарищ Глебов стоит на том, что старые решения о машинно-тракторных станциях вроде как бы отживают. И мы все это чувствуем. А какие новые будут решения — не знаем. Но слово свое об этом сказать можем.

Андрей. Я должен еще заявить партийной организации, что все свои мысли по поводу наших отношений с колхозами, все, что слышал от людей, что сам видел и передумал за это время, я не буду это все таить про себя. Я напишу большое письмо, с фактами, с цифрами, возьму из колхозов материалы и пошлю письмо в Центральный Комитет.

Лошаков. Сказал: в Центральный Комитет пошлет! Цека без вас не знает, что ему делать? Там люди сидят и ждут, прямо изнывают от

нетерпения: когда же товарищ Глебов придет нам свои руководящие указания?.. Советчики — при Центральном Комитете!

Т а т ь я н а И в а н о в н а (*вскочила*). Ох, какой вы страшный человек, товарищ Лошаков!.. Товарищ Соловьев! Разрешите!.. Простите, я волнуясь... (*Шубин налил ей стакан воды, подал, она отпила глоток.*) Я хочу рассказать о товарище Лошакове, один штришок из его личной жизни...

С о л о в ь е в. Мы не обсуждаем сейчас Лошакова.

К о м м у н и с т. А зря не обсуждаем! Может, надо бы обсудить?..

Т а т ь я н а И в а н о в н а. Когда у него умерла жена — это было в пятьдесят пятом году, он тогда работал секретарем, — прошло несколько месяцев, я замечаю, что он начинает ухаживать за мной. То до квартиры проводит вечером, то билет в кино предложит. Дальше, больше — чувствую, что он скоро должен мне сделать предложение. И вдруг узнаю, что он ходил в эмвэдэ справляться, нет ли там каких-нибудь материалов на меня. Что же это такое? Он коммунист, я коммунистка, он хочет жениться на мне и не может прямо спросить меня: кто были мои родители, жила ли я на оккупированной территории, нет ли у меня родственников за границей. Да я бы все ему сказала откровенно, зачем же ходить туда?.. Ах, какие люди бывают, какие люди!..

Л о ш а к о в (*к Соловьеву*). Ответить? (*Встает.*) Что ж, товарищи, я действительно хотел провести такое мероприятие — жениться на Татьяне Ивановне. Но я знал ее всего каких-нибудь полгода, по совместной работе в МТС, и только. А как она жила раньше, что она вообще из себя представляет — это мне было неизвестно. Вполне естественно, что я пошел выяснить некоторые вопросы, посоветоваться. Вы тогда совершенно напрасно обиделись на меня, Татьяна Ивановна. Сказано: доверяй, но проверяй! (*Садится.*)

Т а т ь я н а И в а н о в н а. Я не обиделась на вас. Я послала вас к черту!

Под окном знакомые звуки — дребезжание велосипеда почтальона. С е м е н И л ь и ч ставит к стене велосипед, заглядывает в окно.

С е м е н И л ь и ч. Товарищи, можно беспартийному зайти на минутку?

С о л о в ь е в. У нас собрание.

С е м е н И л ь и ч. Я знаю, читал утром здесь объявление. Я на одну минутку. Очень важное дело. (*Исчезает, через минуту входит в дверь. Без сумки, несколько номеров газет в руках.*) Вот у нас на почте только что получили газеты. Это мне завтра надо развезить, но я как прочитал вот это, вижу, кажись, то самое, что вы обсуждаете на собрании. Об Андрее Николаиче решаете? Ну вот, прочитайте, тут как раз об этом сказано.

Газеты расходятся по рукам, все встают, читают в одиночку и группами. С е м е н И л ь и ч указывает пальцем отчеркнутые места. Слышны только короткие замечания:

«Так...», «Так, так!», «Вот, это самое!», «Здорово!» Л о ш а к о в закашлялся.

С а в ч е н к о. Что, товарищ Лошаков?

Л о ш а к о в. Ничего.

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Читай, читай, товарищ Лошаков!

Л о ш а к о в. Что?

С т е п а н Р о м а н о в и ч. Да вот что держишь в руках. Вслух читай!

Л о ш а к о в (*начинает читать*). «Районным работникам надо заботливо воспитывать людей, работать с ними. У нас иной раз встречаются на посту председателей колхозов люди...»

Ш у б и н. Не то читаешь. Я прочитаю, послушайте. (*Читает отдельные места.*) «МТС перестали играть ту политическую роль, которую они играли на первом этапе колхозного строительства»... «...не лучше ли машины

продать колхозам, пусть они сами используют технику в интересах хозяйства»... «Эти вопросы Центральный Комитет КПСС и Совет Министров тщательно изучают»... Что говоришь, товарищ Лошаков?

Лошаков. Ничего. Я читаю... Ну да, конечно, вот, слушайте. (*Читает.*) «Машинно-тракторные станции сыграли историческую роль в утверждении новой, социалистической системы хозяйства в деревне»... «МТС помогли колхозам окрепнуть в организационно-хозяйственном отношении, подготовить замечательные кадры трактористов, комбайнеров и других работников»... Ну, ясно! На определенном историческом этапе нужна была такая форма, а сейчас изменившаяся обстановка требует принятия каких-то других решений.

Степан Романович. Но ты-то что говорил?!

Лошаков. Кто не работает, тот не ошибается.

Савченко. Ну, как его назвать?.. Что это такое? Как это называется?..

Андрей.

— Итак, повернем карусель,

Как сказал Жан-Жак Руссель.

— Послушайте, не Руссель, а Руссо!

— Ну, тогда повернем колесо.

Шубин. Что, что?

Андрей. Стихи одного поэта. Не помню чьи.

Соловьев (*хлопает ладонью по газете, лежащей на столе*). Черт побери! Век живи, век учись!.. (*И опять углубляется в чтение.*)

Семен Ильич. Ну что, хороша газетка? Вовремя доставил?

Степан Романович. Вовремя! Молодец!

Савченко. Так у нас что, перерыв или совсем закрыли собрание?

Лошаков. Товарищи, я вношу предложение об изменении повестки дня! Давайте прочитаем полностью этот документ и примем его к неуклонному исполнению!

Один из коммунистов. Так это пока еще проект.

Лошаков. Проекты даются не для обсуждения, а для выполнения!

Савченко (*с усмешкой глядя на Лошакова*). Зарапортовался!..

Шубин подходит с графином и стаканом к Татьяне Ивановне, которая, забившись в угол дивана и закрыв лицо руками, не то смеется, не то плачет. Шум.

Каждый по-своему переживает происшедшее.



ГРУЗИНСКАЯ ТЕТРАДЬ

Из стихов 1957 года

Листая тетрадь грузинской поэзии 1957 года, невольно думаешь о том, что с древних времен и до наших дней — на всем протяжении многовековой истории — поэзия занимает выдающееся место в духовной жизни грузинского народа. В труде и в битве, в пору раздумья и в час игр и развлечений, на веселом пиру и в печали траурного ритуала неизменно присутствует поэтическое слово — стих и песня.

Именно в поэтическом творчестве грузинский народ наиболее глубоко и ярко выражал лучшие черты своего национального характера: свободолюбие и преданную любовь к Родине, мужество и отвагу, стремление к торжеству добра и правды. Патристическими идеями, глубокими человеческими чувствами и мыслями озарены лучшие образцы грузинского поэтического фольклора и неувядаемые творения великих классиков грузинской поэзии: Шота Руставели и Давида Гурамишвили, Николоза Бараташвили и Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и Важа Пшавела. Без преувеличения можно сказать, что весь грузинский народ знает наизусть, повторяет и распевает стихи любимых поэтов. Воплотив в своих творениях духовный облик народа и высшее проявление его творческого гения, плеяда великих поэтов Грузии создала поэтическому искусству всенародный авторитет.

На благотворной почве замечательных традиций возникла и развивается современная грузинская поэзия, обогащенная светлыми идеями и высокой тематикой нашей советской действительности. Живительный источник, питающий грузинскую советскую поэзию в ее развитии, — это ее активное творческое общение с поэтической культурой великого русского народа и всех других братских народов СССР. На родном языке, в переводах лучших своих поэтов, знакомятся ныне грузинские читатели со всей богатейшей сокровищницей многонациональной советской поэзии. А благодородный и последовательный переводческий труд выдающихся русских поэтов сделал достижение классической и современной грузинской поэзии достоянием не только всего многонационального и многомиллионного советского народа, но и всего прогрессивного человечества.

Никогда еще грузинская поэзия не имела такой обширной аудитории и не выходила на такую широкую арену, как в наше время. Это обстоятельство способствует, естественно, расширению ее идейно-тематического диапазона, масштаба, ее резонанса. В свою очередь, грузинская поэзия вносит в сокровищницу поэзии братской семьи социалистических наций свой глубоко самобытный вклад, отмеченный всем своеобразием духовного облика, темперамента, нравов и обычаев народа, неповторимым колоритом грузинской природы, сложившимися в веках национальными традициями поэтического искусства.

Год от году развивается поэзия Советской Грузии. Она углубляет свои связи с жизнью, расширяет свой тематический кругозор, каждый год приносит с собой новые радостные удачи. Богат был в этом смысле и минувший, юбилейный 1957 год. В историю он вошел как год, в котором величественные итоги сорокалетнего пути, победоносно пройденного новым, социалистическим обществом, были подкреплены новыми, поразившими весь мир достижениями советской научной мысли и доблестного труда советских людей. Успехи эти показали огромное превосходство нашего общественно-политического строя, еще более укрепили позиции социализма и демократии в мировом общественном мнении, вновь поддержали и воодушевили мужественную борьбу свободолюбивых народов против идеологов и оруженосцев новой войны.

В жизни советской литературы истекший год характеризовался острыми спорами и дискуссиями по основным идейно-творческим проблемам нашего искусства. Борьба эта завершилась полной победой принципов эстетики социалистического реализма, еще раз с новой силой обоснованных в партийном документе — в выступлениях товарища Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа».

Большое творческое оживление вызвал минувший год и в грузинской поэзии. Наряду с поэтическими картинами природы и быта, изображающими мир личных

переживаний, чувств и мыслей советских людей, красоту и силу их морального облика, появились также и яркие образцы политической лирики, отражающей пульс жизни народа, мир его высоких устремлений и созидательных подвигов. Мы услышали живые поэтические голоса, увидели самобытные, индивидуальные черты творчества поэтов, преодолевающих парадность и одописную помпезность, что нивелировало облик ряда поэтов в минувшие годы.

1957 год. Листая страницы грузинской поэтической тетради, помеченной этой датой, мы увидим, как часто обращался со страниц газет и журналов к сердцу искренне любящих его читателей народный поэт Грузии Галактион Табидзе. Его на редкость мелодичная и обаятельная поэзия живо откликнулась на важнейшие события времени и находила горячий отклик в народном сознании. Новыми образцами патриотической лирики порадовал читателей и один из популярнейших наших поэтов, Иосиф Гришашвили. Светлые краски, яркая жизнерадостность его певуче-декламационных стихов как бы подтвердили слова поэта о том, что «пока еще не побелели его чернила и в рифмах тоже не видно седины». Активной творческой жизнью жили также и многие другие видные представители старшего, дооктябрьского поколения поэтов. Важным событием литературной жизни 1957 года в Грузии явилось опубликование не изданных дотоле стихов Тициана Табидзе — замечательного поэта, чье творчество, как и поэзия другого высокоталантливого поэта — Паоло Яшвили, в продолжение почти двадцати лет несправедливо замалчивалось.

Но особенно заметны в лирической тетради 1957 поэтического года новые циклы, созданные грузинскими поэтами, выросшими и творчески сформировавшимися в нашу, советскую эпоху.

В первый же день минувшего года Георгий Леонидзе обратился к Родине со стихотворением, изображающим и восславляющим необоримую силу и несравнимую красоту нашей советской Отчизны. А в последний день года он опубликовал поэму, воспевающую созидательный героизм народа, чудотворную силу труда, порождающего новые богатства Родины. Во многих стихах прошедшего года и в лирической поэме, посвященной сорокалетию Великого Октября, с новой силой проявился лирический пафос Георгия Леонидзе и его чудесный талант поэтической живописи.

Остротой и актуальностью лирической мысли, а также тонкостью поэтического мастерства отмечены два новых цикла стихов Симона Чиковани — «Думы о Риони» и «Тбилиссские орнаменты». Обновленный облик родной природы, юношеские воспоминания и исторические реминисценции сменяются в них пластично и слитно, освещенные оптимистическим мировоззрением советского человека. Глубоко впечатляющее стихотворение «Сумерки на горе Давида» с новой силой показывает нам исторические корни извечной дружбы русского и грузинского народов.

Поэздки по Индии вдохновили Ираклия Абашидзе на создание лирического цикла, обогатившего грузинскую поэзию новым тематическим мотивом. Поднимая свои впечатления до уровня больших социальных обобщений, поэт раскрыл перед грузинским читателем новый яркий мир и вместе с тем воплотил идущие из глубины веков традиции духовного родства грузинского народа с народами Индии. Большое эстетическое удовлетворение доставили читателям новые лирические стихи Ираклия Абашидзе «Как только потеплеет», «У Алазани», «Приближение к полувековому возрасту», «Ни от чего не смог я отказаться» и другие. Поэт с искренним, захватывающим лирическим голосом, заостренным слухом и тонким вкусом достиг в этих стихах большой эмоциональной силы, глубины поэтической мысли и осязаемого воплощения светлых, возвышенных человеческих чувств.

Исключительно плодотворным был минувший год для Карло Каладзе. В его широкой поэтической панораме — большом цикле стихов, озаглавленном «Опять горам Грузии», — с особой яркостью проявились своеобразные черты художественной индивидуальности поэта, смело вносящего эпические мотивы в структуру лирического стиха. В стихотворениях, посвященных Самеду Вургуну и Саят-Нова, поэт воспел возвышенные чувства дружбы и братства народов нашей Родины.

В грузинской поэтической тетради прошлого года примечательны яркие стихи одного из основоположников грузинской советской поэзии, выдающегося мастера политической лирики Алио Мирцхулава и стихи представителей молодого поэтического поколения — Иосифа Нонешвили и Реваза Маргиани. Один из лучших мастеров современной грузинской поэзии, Григол Абашидзе за последнее время работал преимущественно в области художественной прозы. Большим историческим романом «Лаширела» поэт открыл новую полосу в своей творческой биографии. Но он систематически выступает и с новыми стихами, отличающимися свежестью замысла и завершенностью формы.

Живой отклик вызвали также интересные стихи Александра Гомишвили, посвященные великим подвигам китайского народа, стихи Хута Берулава, новые стихи Мурмана Лебанидзе, Шалвы Амисулашвили.

К числу ярких поэтических произведений истекшего года относится пронизанное глубоким драматизмом и отмеченное большим патриотическим звучанием стихотворение Отара Челидзе «Крцаниси горче Цицамури», а также его небольшая поэма «Два кабардинца», посвященная о волнующей дружбе великого грузинского поэта-

Никогда не ходил
 принимать я причастье,
 Исповедоваться
 не ходил я к попу.
 Я пришел,
 потому что пришло наше счастье —
 На весеннюю, новую
 вышло тропу.

Революцией
 было мне солнце открыто.
 За два дня лишь родился я
 пред Октябрем.
 Мальчуган,
 не усвоив еще алфавита,
 С новым сблизился,
 свыкся я календарем.

Вижу детство мое.
 Я избрал этот жребий,
 Это трудное детство
 столетья-борца.
 О, как часто
 мы, дети,
 мечтали о хлебе,
 Самодельной игрушкой
 теша сердца!

Ну и что ж?
 Яркий свет не бывает без тени.
 Мы запомнили
 возраст отчизны весенний,
 И разруху,
 и споров горячий накал.
 Мы расстались навек
 с господами былыми,
 По картинкам
 знакомились мы с крепостными,
 И для мира грузинский язык
 зазвучал.

Зарубежных вояк мы встречали,
 не дрогнув.
 Комсомольских собраний
 зажгли мы огни.
 На уроках
 учил меня правде географ:
 — Есть два мира на глобусе —
 мы и они!

Многоцветную карту
 найдешь лишь в музее,
 Ну, а ты к одноцветной,
 ты к красной привык.
 ...Самому мне прийти к тебе?
 Это труднее,
 Пусть придет к тебе книга моя
 среди книг.

Ты прочтешь —
 и о жизни узнаешь ты краткой
 И о месте моем,
 назначенье простом.
 Я шагал впереди,
 начиненный взрывчаткой,
 И прошел ты по мне,
 ибо был я мостом.

Кто отступит на миг,
 вдруг почувствовав робость,
 Кто предаст
 моего поколения мечту,
 Тот взорвется на мне,
 рухнет в мрачную пропасть,
 Тот в грядущие дни
 не пройдет по мосту.

Посмотри:
 победили мы косность и тленье,
 Одолели преграду
 веков и часов.
 Позови — и услышишь:
 мое поколение
 Звоном сердца
 на твой откликается зов.

Перевел С. Липкин.

Ираклий Абашидзе

* * *

Ни от чего не смог я отказаться —
 И в этом, право, не моя вина.
 Порою начинает мне казаться,
 Что жизнь — прибой,
 А я — ее волна.

Я жаждал взять у жизни все земное
 И вширь и вглубь, и вдоль и поперек.
 В ее прибое
 Был я лишь волною,
 Но не жалел себя и не берег.

Я не был скуп,
 Но был по-детски жаден —
 От счастья отказаться я не смог,—
 Раздавленные гроздья виноградин
 Мне посвящали свой мятежный сок.

Меня звала родная Имерети —
 Земля и море детства моего.
 Росой окропленный на рассвете,
 Не отказался я ни от чего.

Ни от весны, цветением объята,
 Впивающей апрельские лучи,
 Ни от ее травы голубоватой,
 Осыпанной цветами алычи.

Из края виноградников и пашен
 Летел мечтой
 К багдадским небесам.
 Я жаждал дружбы с теми, кто бесстрашен,
 И храбрым быть
 Всегда старался сам.

Меня к рионским берегам манило,
 Влекла высокогорная гряда,
 От поднятого зверя
 В Саингило
 Не мог я отказаться никогда.

Сверкнет в лесу гремучая зарница —
 И смолкнет эхо дальнее.
 Но вдруг
 Тоской щемящей в чаще повторится
 Тот жизнью не насытившийся звук.

Не позабыл
 И позабыть не в силах
 Свеченье взглядов, затаивших пыл,
 Смятенье рук, беспомощных и милых,—
 О женщины, которых я любил!

Я вас искал,
 Как рощу ищет птица,
 Бежал за вами,
 Как река с горы,—
 И под какую крышей мне не спится,
 Знал лишь рассвет над берегом Куры.

Не смог я отказаться от зеленых
 Садов на Вере,
 Плещущих листвой,
 От жгучих полдней,
 Зноем напоенных,
 И от крцанинской памяти живой.

И от медовой осени тбилисской,
 И от всего того, что впереди...
 Мне Родина
 настолько стала близкой,
 Как будто всю
 прижал ее к груди.

Перевел А. Межиров.

Шалва Амисулашвили

ДВА ОБЕЛИСКА

Я вернулся
давно,
но доньше
нет покоя мне,
сердце горит:
на чужбине,
на дальней
чужбине,
брат мой
в землю сырую
зарыт.

Лишь война
отошла,
и на месте,
где был брат мой любимый
сражен,
меж высоких цветов,
в Будапеште,
был простой
обелиск
водружен.

«Здесь герои-разведчики
пали» —
золотые мерцают
слова.
На сверкающем пьедестале
два гранитных
наступились
льва.

Я грузинское имя
на меди
прочитал
среди сибирских имен.
Он был смелым солдатом,
и в смерти
среди смелых
находится он.

Хлеб,
что мать испекла моя
в горе,
преломлю я
в родимом краю,
и без брата я
о Цивгомбори
нашу старую песню
спою.

Тополь стройный
за тихой дорогой

взвился вверх,
как зеленый фонтан,
от листвы его,
светлой
и строгой,
серебристый
исходит туман.

Перед тем как на битву
ушли мы,
брат на тополе
взрезал кору:
«Пусть он
верно
хранит мое имя
годы долгие,
если умру».

И душа моя
грустью
объята,
и не в силах
я сдерживать
слез:
тополь имя
любимого брата
под высокое небо
вознес.

Если участь у брата такая —
умереть
не в родимом дому,
этот тополь
среди отчего края
обелиском пусть будет ему.

Перевел Евг. Винокуров.

Реваз Асаев

НОЧНОЙ ПАРОХОД НА ВОЛГЕ

Нас море качает у Рыбинска,
и спать до утра неохота.
Лишь чайка полночная мечется,
да шаткая лодочка месяца
скользит за кормой парохода.

Над нами Большая Медведица,
как семь неразлучных красавиц —
семь девушек, схожих по облику,
склоняются к белому облаку,
руками к нему прикасаясь.

Прядут они пряжу отменную,
ладонями нить растирают

и ткань невесомую с блестками,
не яркими очень, не броскими,
над Волгой ночной расстилают.

Но светят огни гидростанции,
над черной водою мигая,
и зайцы, напуганы лампами,
проворно работают лапами,
вдоль берега перебегая.

А Волга заметно подернулась
предутренней зыбью несмелой,
и месяц качнулся у бережка,
как ломтик, что вырезан бережно
из дыни рукою умелой...

Мы, как по ступеням, спускаемся,
о Волга, твоими волнами.
Как вольное море, безбрежная,
как Разина песня мятежная,
раскинулась ты перед нами.

*Перевел с осетинского
Юрий Левитанский.*

Хута Берилава

НА ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЕ

Вот и показалась лестница святая,
Что уходит в небо древнего Китая.

Далеко от дома я в бескрайнем свете,
Что ж мне здесь знакомо, как в Тбилиси, в Мцхете?

Выше, выше, выше вместе со стеною,
А перед глазами — близкое, родное!

О народ Китая, может, чуть иные
И народ мой строил стены крепостные.

Стены Ананури, Хорнабуджи, Тмогви
Со стены Китайской я увидеть смог бы!

Полземли меж нами, но предельно все же
Друг на друга в главном крепости похожи!

Как щиты народов перед вражьей силой,
Эти стены мудрость их соорудила.

Враг ломал о камни копыя и тараны —
Не могли иначе выжить наши страны.

О, не то бы лучше им в священном жаре
Воздвигать побольше храмов, вроде Джвари,

Что стоит донине, взоры удивляя,
Как свеча, над сердцем Грузии пылая.

Но не храм защита трудового люда —
Не помог бы слабым ни Христос, ни Будда.

Свет любви к стчизне озарял дороги
Тем, кто эти стены возводил в тревоге.

Между нами, братья, полземли, но все же
Как народы наши судьбами похожи!

Пусть на ту ступеньку, где стою я ныне,
Забредут с веками спутники иные.

Подтвердит потомок, в этой выси стоя,
Правоту сегодня сказанного мною.

Выше, выше, выше — рядом туча тает,
Мне видней отсюда мужество Китая!

Даль уже открылась с птичьего полета.
Мне видней отсюда вся его работа.

Возле древней башни — я да стаи птичьи,
Мне видней отсюда все его величье.

Потому вознесся, над стеной взлетая,
Мой сердечный возглас: — Наш привет Китаю!

И со мной едины в братском том привете
Голоса в Тбилиси и в старинном Мцхете!

И тому привету эхо вторит сразу
И в горах Тянь-Шаня и в горах Кавказа.

Перевел М. Максимов.

Александр Гомиашвили

СОЛЕННЫЕ ОЗЕРА

Рассказали мне утесы
Сказку ту, что всех древней.
В ней блестят народа слезы,
И горит светильник в ней.

Пламя вздрагивает странно,
Ворон каркает в ночи,
Конь несется ураганом
И подковами стучит.

За конем не пыль клубится —
Пар кипит все горячей.
Негде всаднику напиток:
Пересох в горах ручей.

А сквозь этот пар гремучий
С плугом юноша идет.
Старец ищет в небе тучи,
Руставели песнь поет.

А над ними — ветра косы,
Рыжий ветер в знойной мгле,
И сливаются их слезы,
Растекаясь по земле.

Реки слез уходят в дали,
Как светильника лучи,
От немыслимой печали
Солоны и горячи.

И уже открылись взору
Между гор, в ущельях их,
Те соленые озера
Из горячих слез людских...

В этой сказке столько горя,
Сколько слез страна лила.
Сказка вышла из Самгори,
Сказка землю обошла...

Сказка вышла из Самгори,
Стала дряхлою она...
Пусть теперь в Тбилисском море
Грива пены солона,

Но стеклись озера эти
Воедино не для слез:
Обвевает море ветер,
Высеваает свежесть рос.

И звенит волна Иори,
Побеждая вечный зной.
Тростники стоят над морем
Вечно свежеею стеной.

Сказка та порой им снится
В предрассветные часы,
И тогда на их ресницах
Слезы пресные росы.

Перевел М. Максимов.

Иосиф Гришашвили

БЕССМЕРТНОЕ МНОЖЕСТВО ЛЕТ

Ты, которому существование наше вонзается в грудь,
Взгляни на Тбилиси, если позволим взглянуть:

Просторы Советской страны навсегда расцвели.
Кровною дружбой прошиты знамена земли.

Мир, а не войны, — поем мы, — не рознь, а любовь,
Под ленинским стягом идем по ступеням годов.

Надулся и дуешь ты. Дуй! Не смигнет никогда
Дыханьем народов зажженная наша звезда!

Идет наш свободный Союз по дорогам побед.
Октябрю и Отчизне — бессмертное множество лет!

Перевел Мих. Луконин.

Карло Каладзе

ПО ДОРОГЕ В ТКВИБУЛИ

Ах, сколько простора!
Ах, сколько света!
Мы в небо и в небо летим по прямой.
Чуть видится где-то
внизу Моцамета
и Красная Речка...
Ах, братец ты мой!
Лечу я в вагоне,
гляжу из вагона —
вращаясь,
вокруг пролетают миры.
Успела лишь брови поднять удивленно,
на миг появившись,
вершина горы.
Я, полный восторга и удивленья,
гляжу,
счастливый,
по сторонам.

Завидую
тысячелетним деревьям
и пятилетним
вон тем пацанам.
А поезд летит...
Нарастает рокот,
и я во весь голос
безмолвно пою,
и слышу я скал взрываемых грохот,
как будто молодость слышу свою!
У поезда силы пойдут на убыль,
если он углем не будет сыт.
Ему,
паровозу,
надобен уголь —
и он об этом
вам, горы,
гудит!

И взрывы гремят,
деревья качая,
и волны
по травам идут
на лугу...

Я очень вас, горы,
люблю в молчаньи,

но больше,
 ей-богу,
 такими люблю!

О, как вы сегодня меня воскресили,
 в стихи превратиться вот-вот норовя,
 и старый Гелати
 и старый Хресили,
 своим обновленьем
 меня обновя!
 Бьет не в глаза мне, а в душу солнце.
 И около тракторной колес
 греет старинная крепость сонно,
 греет усталые кости свои...

Поезд несется
 по перелескам,
 через ущелье,
 через ручей...
 И скоро Тквибули нас встретит блеском
 угольных черных своих очей!

Перевел Евг. Евтушенко.

Михаил Квливидзе

МАЛЕНЬКАЯ БАЛЛАДА

Очнется он среди мертвой тишины —
 И рядом не окажется жены...
 Толкнет рукой он треснувшую доску,
 С себя, как одеяло, землю сбросит.
 Пойдет искать жену. Он всех опросит
 Живых
 на всех возможных перекрестках.
 Он будет думать в смутной укоризне:
 «Ушла». И звать — то грозно, то уныло —
 Ту, для любви к которой не хватило
 Ему одной, земной, минувшей жизни.

Перевел Вл. Соколов.

Нази Киласония

ОХОТНИК

Бродяги, фантазеры, табакуры —
 охотники уходят в Табацкури.
 В воде хрустальной дремлют облака,
 и сам тростник,
 и тени тростника,
 и сладко тянет горечью дымка
 и кажется —
 все это на века...

Охотники уходят...

Ну, а ты?

Ты столько раз бродил до темноты,
за зверем шел в ущелье по пятам,
стрелял,

но никогда не попадал.

Охотником неважным, видно, был:
все целился,

но только мимо бил.

Ну, а в меня и целиться не стал,
а прямо в сердце самое попал...

Перевел Евг. Евтушенко.

Мурман Лебанидзе

ЗЕЛЕНАЯ ПЕСНЯ

Там,
Где в зарницах зреет пшеница,
Там,
Где искрится горячая сталь,
Там,
Где целинная вспашка ложится,
Там,
Где открыта для подвигов даль,
Молодость песню поет.

Там,
Где ручьи каучука и пота,
Там,
Где каналы текут по костям,
Там,
Где голодные ищут работы,—
Все-таки даже и там
Молодость песню поет.

Пусть же под солнцем летним, каленым
Плеском зеленым листвы и волны,
Шумом зеленым к юным, к влюбленным
Песня летит от страны до страны.

Морем соленым — на Крит, на Ямайку,
Птицами в небе и ветром в траве...
Юный француз наряжается в майку
Для фестиваля в Москве.

Молодость любит колеса и крылья,
Молодость любит мосты и пути,
Хочет девчонка из жаркой Севильи
Об руку с финном пройти.

Пусть не похожи оттенками кожи
Сотни для дружбы протянутых рук,
Мышцами, жилами, кровью похожи
Руки труда, мой ровесник и друг.

Шумом зеленым землю обвили
 Мирных и юных лесов пояса.
 Разве, ровесник, мы сделать не в силе,
 Чтоб на гробы не рубились леса?

Мы — человечества новая смена —
 Песнь нашей жизни сумеем сложить,
 Важно лишь только знать себе цену,
 Силой и дружбой своей дорожить.
 В мире просторном сердцу не тесно,
 Дружбе открыто мое и твое.
 Чтоб не кончалась зеленая песня,
 Сызнова грянем ее!

Там,
 Где ручьи каучука и пота,
 Там,
 Где каналы текут по костям,
 Там,
 Где голодные ищут работы,—
 Все-таки даже и там
 Молодость песню поет.

Там,
 Где в зарницах зреет пшеница,
 Там,
 Где искрится горячая сталь,
 Там,
 Где целинная вспашка ложится,
 Там,
 Где открыта для подвигов даль,
 Молодость песню поет.

Перевел М. Максимов.

Георгий Леонидзе

МАЛЕНЬКИЙ КАМЕНЬ В ПАТАРДЗЕУЛИ

Ветви сходятся,
 свод образуя,
 над могилою мамы в селе...
 Камень маленький в Патардзеули,
 сколько скорби таишь ты в себе!
 Терном пахнет,
 песком и полынью.
 Свеж еще у могилы цветок.
 Все —
 как будто на камне поныне
 возлежит материнский платок...
 Убегал я,
 а ты не пускала.
 Как об этом сегодня грущу!
 Раньше здесь меня мама искала,
 а теперь ее сам я ищу.
 Раньше, если я был невеселый,

приходила со сказкой ко мне,
сказкой, чистой, как снег невесомый,
не лежавший еще на земле.
Оживали деревья и камни.
От видений был сам я не свой.
Ты стояла,
как добрая Картли,
над горящей моей головой.
Ты все силы свои напрягала
и, моею судьбой дорожа,
незаметно меня направляла
и была для меня, как Важа.
Задыхаясь от запахов, звуков,
я лежал и писал на траве,
и стихи мои нежно, как внуков,
мама гладила по голове.
Ты растила меня,
умывала.
Ты учила смеяться и петь.
И, когда ты одна умирала,
мне хотелось с тобой умереть.
Ты лежала мертво,
одиоко.
Ты была еще, мама, жива,
но как будто из мира иного
доносились глухие слова.
И с лицом просветленным и темным
ты сказала в тиши и тени:
«Схорони меня, сын мой, под терном
и могилу мою сохрани...»
Головою седою поникнув,
ты сказала:
«Уж все решено.
Вижу:
роздали вы для поминок
на балконе хлеба и вино.
Поминайте,
запасов не прячьте —
наливайте вина похмельней.
Только вы над могилой не плачьте —
напевайте тихонько над ней...»

Взгляд последний..
Во взгляде тревожность,
и — конец,
и — ослабленность век..
Словно кисть виноградная съежась,
твое тело застыло навек.
Мне казалось,
все тонет,
тонет
и назад никогда не придет.
Остывало забытое «тонэ»¹,
пол темнел,
засыхал огород.

¹ «Тонэ» — глиняное углубление, где пекут хлеб.

Но вошла ты в накидке тумана
с тем же прежним задором в очах
и спросила, как прежняя мама:
«Это кто погасил наш очаг?!»

Пусть под терном,
печальный и темный,
возлежит он среди тишины —
этот маленький камень, истертый
от дождей и от взглядов луны.
О тебе моя память —
не в камне.
Что ни делал бы в жизни —
во всем
молока материнского капли.
Стала каждая капля стихом!

Когда ты умирала, в апреле,
снег не шел
и не шли дожди.
Люди мрачно на небо смотрели:
«Снега нет —
урожая не жди...»
Но, когда мы твой гроб поднимали
в день великого горя для всех,
выпал снег,
и мы все понимали —
это ты посылаешь нам снег...

Твой характер я знаю, мама...
Если зной иссушает,
паля,
и спасительной тени так мало,
то дождем ты летишь на поля.
Ты в любой и травинке и почке.
Я с земли тебя не пущу!
В приходящей с рассветами почте
я письмо твое жадно ищу.
Ты в любом абрикосе поспевшем,
в зябком шелесте лепестков,
в виноградном сборе поспешном
и в неспешном вязаньи носков!
Ты моя справедливость и сила,
я тобой от тоски излечен.
И, как маленький луч из светила,
я тобой из тебя излучен!

Ветви сходятся, свод образуя,
над твоею могилой в селе...

Камень маленький в Патардзеули,
сколько света таишь ты в себе!

Перевел Евг. Евтушенко.

*Реваз Маргиани***ЛАТФАРИ**

(Отрывок)

Латфари ты, Латфари,
 Сванская гора!
 Два шага, не более,
 От ночи до утра:
 Ночь — внизу,
 А наверху —
 Искры серебра.

Наверху — бела зима,
 А внизу — весна,
 Наверху — снега,
 Внизу —
 Роща зелена.
 Латфари ты, Латфари!
 Юность. Седина.

Ты у нас, как пленница:
 Крепкая спина
 Бечевой тропинок вся
 Перевязана.
 Ты у нас, как школьница:
 К знойной неге дня,
 Заспанная, тянешься,
 Родником звеня.
 Над тобой пчелиная
 Мудрая возня.

Латфари ты, Латфари,
 Принимай меня!

По твоим тропинкам я
 К небу побреду,
 За собою в поводу
 Лошадь поведу,
 А устану к вечеру —
 В саклю не пойду.
 Без подушек пуховых
 И без одеял
 Я на склонах Латфари
 Крепче засыпал.

Лишь чепрак под голову,
 Лягу на лугу,
 Облаком укутаюсь,
 Сон подстерегу.
 Синий, красный, красочный
 Ясный сон весны.
 Лишь на склонах Латфари
 Есть такие сны.

Перевел М. Максимов.

Мухран Мачавариани
ЗНАКОМАЯ ЛУНА

Сейчас в Москве трамвай грохочет
под белой медленной луной,
и скомкан маленький платочек
в руках у девушки одной.
Куда она так поздно едет
и так оделась для кого?
Ее случайные соседи
не замечают ничего.
Без рассуждений неуместных
они, не двигаясь, спешат,
и на пластмассовых подвесках
спокойно руки их лежат...

Я это вижу из деревни.
В давилльне юноша стоит.
Обряд он совершает древний,
и мокрый лоб его блестит.
Я слышу хлюпанье, и скрипы,
и запах дуба и сосны.
Его пружинистые икры,
как ноги голубя, красны.
И погреб сон обуревают,
и где-то бродят голоса,
и все кувшины закрывают
свои пунцовые глаза...

Луна сквозь тучи и деревья
свершает путь обычный свой
над вечеряющей деревней,
над вечеряющей Москвой.
Я знаю все. Я не в обиде.
Сейчас ты дважды далека,
но нас луна обоих видит —
большая капля молока.
Глядит устало, виновато,
большой нерадости полна,
и вспоминает, что когда-то
нас вместе видела она.

Перевел Евг. Евтушенко.

Алио Мирцхулава (Машашвили)

КУЗНЕЦ

Он не дает покоя мне недаром.
И в тишине ночной и в шуме дня —
Всегда я слышу мерные удары.
Они зовут, они ведут меня.

Теперь я стар, а был когда-то молод,
Но вечно в кузнице — в моей груди —

Ковал кузнец и, поднимая молот,
Повелевал:

«Люби! Твори! Иди!»

Я слушался, я ждал его совета,
Он вел меня в просторы без границ.
О кузница моя, источник света,
Гнездо моих стихов — крылатых птиц.

Кует кузнец то звонче, то печальней,
И я под этот стук тружусь, иду.
Стучит, стучит кузнец по наковальне..
Нам отдых не написан на роду!

Во мне покуда сердце не двоилось,
Не разбивалось в прах..
Кузнец кует.
С его работой жизнь в меня вселилась,
С его покоем жизнь во мне замрет.

День—ночь, день—ночь он отдыха не знает.
Я слышу стук во сне и наяву.
Как знать, крепит он или разрушает?
Кует кузнец, а значит, я живу.

Перевел Н. Гребнев.

Маквала Мревлишвили

С САМОЛЕТА

Усадили гостью в кресло штурмана:
Мол, отсюда Киев мне понравится.
И объяла сердце радость бурная —
Подо мной в огнях река-красавица.

Улетала я, богатством гордая,
Прилетела — стала королевою:
Так похожи два красавца города,
Словно крылья — правое и левое.

А внизу, как ожерелья вяжутся,
Лампочка за лампочкою нижеется.
Я лечу над Киевом, но кажется,
Подо мной еще Тбилиси движется.

Подо мной не ночь, не сумрак серенький —
Крылья между двух столиц расправлены,
Слева — над Днепром сверкают зироньки,
Справа — над Курой горят варсклавеби¹.

Перевел М. Максимов.

¹ Зироньки — звездочки по-украински, варсклавеби — по-грузински.

Когда танцуешь ты...
 О нет! Когда ты пляшешь,
 Звездой восходя на небосклон судьбы,
 И распрямляешь стан и веткой пальмы машешь,
 Осознают себя
 вчерашние рабы.

Ветрам
 не засушить
 цветущий лотос Нила.

Громам
 не заглушить
 свободы торжество,

Ничем
 не задушить
 всего, что обновило

Непобедимый дух
 народа твоего!

Перевел А. Межиров.

Арчил Сулакаури

ВЕСНА

Она снега в горах расплавила,
 Разрушила громады льда
 И, окна распахнув, заставила
 Убраться стужу без следа.

Как клад пропавший, за высотами
 Найти мне солнце помогла...
 Но потревожу я заботами
 Спокойствие ее чела!

Пускай, полна звенящей бодрости,
 Она вздымать пласты начнет,
 Пускай зерном заполнит борозды
 И юной порослью качнет,

Сады оденет белой дымкою,
 Усы подкрутит на лозе —
 И с ней, как брат, пойду в обнимку я
 Навстречу солнцу и грозе.

Нас встретят,
 Светом осчастливлены,
 Туманы, реки,
 Шелест рощ...
 Да не побьются всходы ливнями!
 Да не размочит пашню дождь!

Она за горными высотами
 Найти мне солнце помогла...
 Но потревожу я заботами
 Спокойствие ее чела.

Скажу: любовь меня, как молния,
 Пронзила —
 Так вот и живу...
 Сияньем землю переполню я,
 Одежды зимние сорву.

Ты выйдешь в легком платье, чинная,
 Ты, как миндаль, белым-бела!..
 И я пойму — весна причиною
 Волненья моего была.

Она снега в горах расплавил,
 Вихрь лепестков взметнула вдруг
 И грусть на лбу моем расправила,
 Как старый закадычный друг.

Перевела Елена Николаевская.

Галактион Табидзе

Народный поэт Грузии

НАШИ ЗНАМЕНА

Эти года возбуждают и радуют,
 Сердце наполнив октябрьскою правдою.
 словно могучая ясная радуга,
 Реют знамена Советских Республик,

И озарились полотнища красные
 Мира и дружбы небесными красками.
 В атомный век солидарностью братскою
 Веют знамена Советских Республик.

Зори Востока струят свое золото,
 Шлют свой привет наковальне и молоту.
 Наша Республика бодро и молодо
 Трудится в славном Союзе Республик.

Жизнь утверждается братства законами,
 Пальмой и лаврами вечнозелеными,
 Мы осенили себя и знаменами
 наших великих Советских Республик.

Ленин повел нас дорогой неведомой,
 Знались мы с вьюгами, бурями, бедами.
 Нынче мы вправе гордиться победами,
 Ярким расцветом Союза Республик.

Дальше и выше идем мы, бесстрашные,
 Мир обнадежен успехами нашими.
 Кровью героев и солнцем окрашено
 Алое знамя Советских Республик.

Перевел Евг. Долматовский.

*Фридон Халваши***ЗРЕЛОСТЬ СТИХА**

Юность стиха — как любви пора,
 Как усы у мальчика над губой;
 Вдруг огонь и земля, волна и гора —
 Все разом заговорят с тобой!

Юность стиха — как сентябрьский шум
 Молодого вина, что обручи гнет.
 Сделать дело ему не придет на ум,
 А незнакомой звезде кивнет.

Но если, два крыла отрастив,
 Он взлетит до высот настоящей любви,
 Он оттуда все увидит, твой стих:
 Оленя ранят — а стих в крови!

Он не ищет себе небесных красот,
 Ты бездельем райским его не томи.
 Он на бой против рабства с неба сойдет
 И под пули станет рядом с людьми.

Это значит, душа у него не глуха,
 Значит, в ней, кроме песен, люди живут!
 Так сначала приходит зрелость стиха,
 А потом уж тебя поэтом зовут.

*Вольный перевод с грузинского
 Константина Симонова.*

*Отар Челидзе***СМЕРТЬ КУЗНЕЦА**

...Но вот и конец
 Твоим дням наступает,
 И вот ты беспомощен
 Перед судьбою..
 И видишь отчетливо:
 Смерть подступает
 С косою, изготовленной
 Тоже тобою.
 Царящей вокруг
 Тишины не приемля,
 Твой молот лежит
 В непривычном покое...
 Могучее дерево
 Валит на землю
 Топор, что твоей
 Изготовлен рукою, —
 На дом твой последний
 Пошли его доски,
 Последний твой дом,
 Тебе данный судьбою...
 И врезалась в комья
 Земли твоей жесткой
 Лопата, что сделана
 Тоже тобою.

Тебя провожало
 Весеннее поле,
 Тобой изготовленным
 Поднято плугом,
 Родимой земли
 Золотое раздолье,
 И луг над рекою,
 И небо над лугом...
 И жнец, и погонщик, и пахарь,
 Печальны,
 Стояли без шапок
 В молчании долгом.
 Добро, что ты делал им,
 Ближним и дальним,
 Осталось на них
 Неоплаченным долгом.

Перевели Елена Николаевская,
 Ирина Снегова.

Симон Чиковани
ДУМЫ О РИОНИ

1

Бывало,
 На корнях могучих дуба
 Сушу одежду, глядя с высоты,
 Как мчатся мимо,
 Связанные грубо,
 Твои, Риони, зыбкие плоты.

Бывало,
 ты когтишь меня волнами,
 А я плыву,
 плыву,
 плыву,
 плыву,

На берег выйду
 И за валунами
 Вальюсь в твою колючую траву.

Казалось мне,
 Что ты и в самом деле
 Передо мной покачивал слегка
 Лежащие в зеленой колыбели
 Поля,
 Туманы,
 Горы,
 Облака.

Что на меня смотрел отцовским оком
 И надо мной, расщедрившись, зажег
 В грузинском небе,
 Ясном и высоком,
 Рассвета петушиный гребешок.

В рассветный час поры моей весенней
 Ты сеть любви
 Закинул в грудь мою
 И окружил ветвями сновидений,
 По милости которых я пою.

Моя любовь с твоей волною схожа:
 Порывами восторга и тоски
 Ворвалась в жизнь,
 Ломая и корежа.
 Удобный мост разрушив на куски.

Как на скрижалях,
 На мосту разбитом
 Я ревность вырезал,
 Судьбу кляня.
 Но юношеским бедам и обидам
 Ты не позволил победить меня.

Ты одарил влюбленных гордой силой,
 Ткемалей снег
 Рассыпал на пути.
 И камешки свои, как слезы милой,
 Помог собрать мне
 В бережной горсти.

Ты парус мой
 Наполнил ветром свежим,
 Дал опереться о свою волну.
 К твоим, Риони, влажным побережьям,
 Как ветка засыхающая, льну.

Не дай же мне увянуть раньше срока,
 Хотя бы потому, что я всегда
 Туман твоих ущелий
 Издалека
 Улавливаю взглядом без труда.

Не дай же мне засохнуть, словно ветке, —
 Окутай горло тучей дождевой
 И для лесов
 грядущей пятилетки
 Гони плоты,
 Чтоб долг исполнить свой.

Ты не сдаешься старости на милость, —
 Быть может, мне уже не по плечу
 Рабочая твоя неутомимость,
 Но я об этом думать не хочу.

Твою волну студеную целую,
 Вхожу сторожко
 в мир весенний мой.
 Так спой мне снова про любовь былую
 И с тела моего
 Усталость смой!

2

Старею.
Мне уже не суждено
В твоей воде плескаться, как бывало,
Взлетать на гребне пенистого вала
И опускаться,
Доставая дно.

Туманы над тобой отголубели,
Листву чинар
Унес в ущелья шквал.
Ты осыпал цветами колыбели
И звездами могилы выстилал.

У каждой песни есть исток и устье, —
Из Рачи песня вылилась твоя,
Неразделимость радости и грусти
В рождественской мелодии тая.

И снится мне,
Что я сегодня снова
На берегу оставил след босой,
Дышал парами молока парного
И душу окропил твоей росой.

Но признаюсь, что этого мне мало, —
Я захотел,
Чтобы твоя волна
В теснине скалы грозные взломала,
Чтоб новым светом
Вспыхнула она.

Пробив дорогу в каменной громаде
Мешавших твоему движенью скал,
В моей душе,
Как в небе над Гумати,
Ты увеличил световой накал.

И снится мне
Твой паводок бурливый,
Клубящаяся полая вода,
Заплаканная тень плакучей ивы,
Гуматигэс косые провода.

Идут года.
Все дальше мы уходим
От невозвратной юности былой!
Клуби мои раздумья половодьем
И сердце рань
Закатною стрелой.

Не дай отстать.
Не опечаль разлукой.
А если я устану, —
Подожди
И для меня в ущельях убаюкай
Прозрачные апрельские дожди.

Перевел А. Межиров.

Сандро Шаншиашвили
ПОД СОЛНЦЕМ ОКТЯБРЯ

Здесь раньше были пустоши одни.
Топча кусты колючей ежевики,
Здесь пробирался в зарослях кабан,
Не встретишь поля в этой чаще дикой.
Но вид иной открылся мне сейчас —
Дворец в саду стоит передо мною,
Веселый шум, повсюду молодежь...
И только я украшен сединою!

Куда б ни шел я по родной стране,
Повсюду стройки землю украшали,
И много новых зданий, видел я,
Труды людей достойно завершали.
Опередив мечты мои давно
И строя жизнь на прочном основанье,
Шел мой народ под солнцем Октября,
Под новых песен светлое звучанье.
Седой поэт, я рад был сердцем старым
Дышать величья трудового жаром.
Эх, где ты, где ты, молодость моя,
Чтоб вновь воспеть с непобедимой силой
Героев тех, кто высоко вознес
Своим трудом края отчизны милой!
Завет мой внукам, правнукам моим,
И тот завет всегда пусть будет с вами:
Идти вперед и преданно нести
В лучах Октябрьских Ленинское знамя!

Перевел Николай Тихонов.

Алеко Шенгелия
ЗАВТРА БУДЕТ ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Даль отгремела, молния сгорела,
Усыпав небо звездами вдали.
И волнам волноваться надоело —
Утихнув, в берега они вошли.

И юный месяц, в облаках не кроясь,
На землю бросив просветленный взгляд,
Серебряный надел на море пояс,
А это к ведру, люди говорят.

Приморское селенье сном забылось,
И стала близкой каждая звезда,
Как будто к ним дорога сократилась
И можно взять и полететь туда.

Перевел Н. Гребнев.

Баграт Шинкуба

СОН

Себя, молодого, я видел во сне,
себя, молодого, на черном коне.
Я был смельчаком. Я коня понукал.
Цветы задевали меня по ногам.
Ах, мама, к чему бы мне видеть во сне
себя, молодого, на черном коне?

И мама сказала печально и мудро:
«Те горы — не горы, а утро — не утро.
То зрелость влечет тебя...
Что же, лети!
Будь счастлив.
Желаю удачи в пути!»

Мне снилось: я криком коснулся вершин,
Я подвигов много в пути совершил,
Я падал и снова коня горячил,
А воздух был свеж и немного горчил,
И я улыбался себе самому...
Ах, мама, к чему бы все это, к чему?

А мать улыбнулась мне тихо и слабо:
«Работай, мой сын, то влечет тебя слава.
Ты славы добьешься.
Ну что же, лети!
Будь счастлив.
Желаю удачи в пути!»

Дыша от усталости часто, неровно,
Народ я увидел, много народу,
Стоял тот народ, головою качал
И на вопросы мои отвечал.
Как странен мой сон. Я его не пойму.
К чему эти старцы? И дети к чему?

А мама коснулась ладоней моих:
«К тому эти люди, чтоб помнить о них.
Ты их не забудь!
Ну что же, лети!
Будь счастлив.
Желаю удачи в пути!»

Перевела с абхазского Б. Ахмадулина.



С. ГОЛУБОВ

★

ПТИЦЫ ЛЕТЯТ ИЗ ГНЕЗД

О детстве и юности великого болгарина Христо Ботева,
о друзьях и недругах его ранних лет

Роман*

Глава тридцатая

Выстрел и отдача

«**M**ulta cadunt inter calicem supremaque labra...»¹. Чашу заменял собой стакан крепкого чаю или даже, если угодно, большой, черный от копоти медный чайник. Керосиновая лампа в железном кольце под намордником освещала просторную комнату с кроватью за занавеской, обтерханым, распружинившимся диванчиком у стены и маленьким письменным столиком вроде дамского бюро. На стенах висели коричневые фотографии: одна изображала человека в очках со сложенными на груди руками — Чернышевский; на другой явственно выделялась широкая крестьянская борода Прудона. На этажерке с книгами — целое картонажное сооружение. Это игрушечный эшафотик с виселицей, и на ней вырезанный из какого-то журнала бумажный трупик Наполеона Третьего. Хозяин комнаты, Любен Каравелов, сидел на диване. Он был одет в красный фланелевый пиджак. Черные глаза его, не мигая, глядели на лампу. Но едва ли он видел эту лампу: кабы видел, то, наверно, встал бы с дивана и убавил расплывшийся фитиль.

«Multa cadunt...» Многое, многое проходит... И прежде всего воспоминания. Каравелов думал о своем прошлом, и множество ярких картин рождалось в затемненных временах и заботой глубоких уголках его памяти. Вот Копривштица, откуда он родом, — тихий городок между пятью высокими вершинами: Большим и Малым Богданом, Волком, Бунаем и Андреевой горой. Десятки прохладных ручьев со всех сторон омывают Копривштицу. Весело рассыпают они по горным ущельям голубоватый жемчуг своих брызг и так несутся вперед все стремительнее и бурливее, пока не сольются наконец в реке-матери Тополнице. Хорош городок Копривштица! Турки зовут его Аврат-Аллян² по причине редкостной красоты тамошних женщин. Вспоминается Каравелову скупой и грубый отец — чорбаджия-прасол, скупщик скота, разводивший овец на границе между Фракией и Болгарией. У старика была фантазия. Он вел свой род от легендарного купца, некогда пригнавшего из Константинополя в Копривштицу сорок мулов, нагруженных пиастрами. Здесь купец построил для каждого из своих слуг по отдельному

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1 и 2 с. г.

¹ «Многое проходит между чашей и краями губ» (латинская поговорка).

² Женская красота (тур.).

дому, а лошади, на которой любил ездить, назначил пожизненную пенсию. Но фантазия старика переставала работать, как только поднимался вопрос о будущем сына. Прасол не мог придумать для Любена ничего лучшего, как сделать из него обыкновеннейшего портного. А Любен тянулся вдале.

«*Multa cadunt...*» И вот Каравелов в Москве. Вот он зачислен вольнослушателем в здешний университет. И с тех пор существует на стипендию Славянского благотворительного общества. Только стипендия эта очень мала. Страшные лишения обрушиваются на молодого болгарина. Не одни материальные лишения, а еще и духовный голод. Университетские профессора — лжецы. Август и Тит — для них славные люди. Для борцов же за свободу — для Брута, для Катона, для Касия — у них не находится ни единого доброго слова. Постепенно Каравелов совсем разочаровался в официальной русской науке. Это обстоятельство вкупе с безденежьем внушило ему мысль о литературном труде. Вместе с «Современником» он верил в великие творческие силы народа. Вместе с «Русским Словом» возлагал твердые надежды на критически мыслящую личность, которой предстояло со временем пересоздать общественную среду.

На почве этих воззрений возникли его связи и отношения с кое-какими деятелями быстро революционизировавшейся Москвы. Каравелов и не знал, что давно состоит под секретным и весьма бдительным полицейским надзором. А когда узнал, близость его отношений с противоправительственным лагерем была уже установлена тысячу раз.

Близость? В том-то и заключалась неясность ситуации, что близости не было, а существовала всего лишь одна ее видимость. Настоящего доверия к себе со стороны Рыжовых Каравелов никогда не ощущал. Рыжовы подозрительно смотрели на широту общественных интересов Каравелова, на либеральные оттенки его политических взглядов, на приверженность его к легким радостям жизни и на откровенную любовь к ее красивой пестроте. Но больше всего раздражало их его многописание чуть ли не во всех полупрогрессивных, полуретроградных газетах Москвы, точно были в Москве еще и другие газеты, в которых он мог бы печататься. Что ж, не писать совсем? Но Каравелов был журналистом по призванию и по профессии — жил, чтобы писать, и писал, чтобы жить. Кроме того, газетная работа была единственным для него способом довести до слуха русского народа глухие стоны поработанных на Балкане болгар. Любен Каравелов помнил, ох, как хорошо помнил свой долг перед родиной! Вот и сейчас в этом маленьком письменном столике лежит рукопись его последней работы: «Страницы из страданий болгарского племени». Так служил он Болгарии на далекой чужой земле. И рассчитывал рано или поздно увидеть родину с твердых позиций «собственного» корреспондента какой-нибудь из наиболее видных московских газет.

Между тем полицейский надзор не спал: ковыряли, копались, выясняли суть дела. Постепенно определилось, что настоящей близости у Любена Каравелова с российской революцией нет и что уклон его патриотической журналистики совершенно для Санкт-петербургского правительства безвреден. И тогда в конце прошлого, шестьдесят пятого, года ему было объявлено о снятии надзора. Было бы это совсем чудесно, кабы не Рыжовы. Прежде Рыжовы хоть и отказывали ему в доверии, но соблюдали при том некоторые приличия; а теперь попросту начали шархаться в сторону и по-рыбьи наглатывать воды в рот. А что до восторженных дурней вроде долговязого студента Кошица, то уже и сам Каравелов вынужден был теперь отпихивать их от себя, боясь променять свое родное болгарское несчастье на чужую русскую беду...

«Multa cadunt...» Бесконечной лентой вьется свиток воспоминаний. Но ведь не только воспоминания проходят между чашей и губами человека. Проходят иной раз и события. Каравелов вздрогнул. Ни с того ни с сего ему стало не по себе: по телу — мороз и в голове — ледяной застой. Он протянул руку к стакану с чаем...

...Никто не постучал в дверь. Она как бы сама открылась и впустила голодранца в дырявом зипуне и расхлестанных лаптях. Запьянцовская личность эта медленно стянула с косматой головы прожженный на маковке войлочный колпак, и тогда прямо на Каравелова глянули близорукие рачьи глаза Рыжова, казавшиеся странно беспомощными без всегдашних очков. Илья Данилыч остановился посреди комнаты.

— Божьей немилостью...

Каравелов вскочил с дивана.

— Что?

— Не знаешь?

Рыжов с заметным усилием отодрал от пола растоптанное лыко своих лаптей и не спеша вытащил из подвешенной к плечу холщовой сумы свежий газетный листок.

— На!

Листок жалко трепетал в его большущей, волосатой, сильной руке.

«Сегодня в четвертом часу пополудни, в то время, когда государь император, кончив свою прогулку в Летнем саду, изволил садиться в коляску, неизвестный выстрелил в его величество из пистолета. Божие провидение предохранило драгоценные дни августейшего нашего государя. Преступник задержан. Расследование производится. С.-Петербург. 4-го апреля».

Против Каравелова стоял безмолвный, неподвижный человек. Вот оно, вот! Удивительно, с какой легкостью зрелые и глубокие убеждения Герцена и Чернышевского переселяются в готовые для их принятия человеческие души. Самые тонкие, самые благородные струны начинают звучать в этих душах. Пламя и жар костра не убывают — наоборот. Соседняя сучковатая мелочь занимается, вспыхивает, и тогда возникает пожар. Каравелов приложил пальцы рук к курчавым вискам. «Болгария, — думал он, — Болгария... Не с ними я, нет, — с тобой!»

— А ведь ты уверял меня, — сказал он Рыжову, — будто...

Рыжов молчал, опустив лохматую голову.

— Саратовец?

Илья Данилыч вздрогнул, но не поднял головы. Страх, сидевший в нем, был так огромен, что даже самое тайное из всех тайных слов, вдруг слетевшее сейчас с посторонних уст Каравелова, даже оно не могло уже его испугать. Голова его опустилась еще ниже.

— Теперь завозимся, забегаем, ровно тараканы в огне...

Каравелов крепко, до боли крепко нажал пальцами на виски.

— Я ведь теперь не под надзором, — тихо проговорил он, — оставайся у меня...

Рыжов быстро поднял голову.

— Зачем? У тебя свое дело. А я... Позычь-ка мне малость грошиков, Любен, и — ауфвидерзеен!

* * *

Семенце вышел на лестницу.

— Видите, какая площадка? — с восхищением воскликнул великий конспиратор, он же «землеройка».

— А что?

— А то, что в случае обыска можно укрепиться на этой площадке, и лестницу отсюда обстреливать, и от целого взвода полиции отбиться.

После этого разговора Семенце уже никогда не встречал «землеройку»: через сутки бедняга поехал с визитом к «Макару». Не слышно было, чтобы отъезд его сопровождался стрельбой по жандармам или каким-либо другим вооруженным сопротивлением. «Землеройку» арестовали очень тихо и немедленно отправили в Петербург. Вскоре затем был захвачен на Лубянке в номерах Кузовлева почти поголовно весь кружок. Семенце не попался случайно — опоздал и, с улицы заметив неладное, тотчас дал ходу. По всей Москве брали молодежь. Но в Савельевом доме было тихо и укомно. Семенцу не сиделось на спокойном месте. Он то и дело срывался и уходил в город. Задача заключалась в том, чтобы установить, кто уцелел. Трудная задача!

В синеватом сумраке улиц мерцали водянистые огни газовых фонарей. Молодой человек, очень худой, безбородый, с копной русых волос под шапкой и в огромных синих «консервах» на бледном носу, пересек Остоженку и углубился в переулок. Семенце охотился за Рыжовым. Вот и большой кирпичный дом — тот самый. Осторожно одолев полсотни ступенек, заплеванных и склизких от помоев и еще от какой-то дряни, Семенце остановился перед знакомой дверью. Рваная клеенка висела на ней ключьями, и из-под клеенки выбивался грязный войлок. Семенце постучал, уделяясь мягкой глухости своего стука. В квартире этого стука могли, пожалуй, и не услышать. Однако дверь тотчас приотворилась ровно настолько, чтобы в узеньком ее разъеме явственно обозначилось синее холстинковое платье худой женщины с туго подвязанной щекой. Семенце подумал: «Та, что горохом Илью кормила...» Женщина пронзительно всматривалась в пришельца. Он ей не нравился — и сам, и его большущие синие очки, и то, что он глядел не сквозь очки, а поверх них, наклоняя для этого голову, отчего казалось, будто он глядит исподлобья.

— Чего надо? — грубо спросила она, по-видимому совершенно не узнавая Семенца.

— Я старый знакомый Ильи Данилыча...

— Одним миром мазаны! — задыхаясь от злости, закричала женщина. — Я тебя, прокуратора, и на том свете узнаю. Нет тут Ильи и не будет! И забудьте вы про него, окаянные, чтоб вам...

— Да где он? Мне-то сказать, чай, можно?

— Ну, и скажу: в Киев с нищими на богомолье подался. Съел? И чтоб всем вам...

Но это вторичное пожелание уже не долетело до Семенца, ибо худая женщина с невероятной силой рванула на себя дверь и столь же энергично защелкнула замок.

* * *

Семенце шел по знакомой дороге из города в Петровское и чувствовал себя так странно, точно родился во второй раз. Наглые и вместе с тем испуганные взгляды шпииков провожали его только до заставы. А уж потом открылась перед ним совсем свободная дорога, и мысль, выведенная из сумятицы и приведенная в порядок долгой ходьбой, заработала с новой, свежей силой. Семенце решал вопрос: бежать из Москвы или уходить в подполье? «Из двух зол надо выбирать, во-первых, меньшее, — думал он, — а во-вторых, старое». И это казалось правильным. Значит, в подполье. В ушах Семенца зазвучали подпольные клички. «Беглый дьячок Сидорка», например, чем плохо? Жизнь под чужим именем требует, чтобы все личные связи были порваны, сношения прекращены, чувства спрятаны в глубоких тайниках души. А какие, собственно, у Семенца личные связи, отношения и чувства? Никаких.

Его жизнь и сейчас всего лишь поденка, нервный эксцесс и погоня за призраком революции. Но точно ли это призрак, а не реальность? Семенце оглядывался кругом и видел широкое, раздольное поле, похожее на Россию. Дым клубился над полем: пропаганда «Колокола» и «Современника», крестьянские бунты, студенческие волнения, польское восстание, революционные кружки, выстрел саратовца... Нет, это не призрак революции, это она сама!..

И, очутившись почти внезапно перед тяжелыми воротами Савельева дома, грузно обвисшими на железных петлях, Семенце так и не решил, что же ему делать...

День был светлый, ясный и теплый. Потоки солнечных лучей врываются в комнату, и с ними — шепот старых сосен, росших за домом в могучей и вольной красоте. Редко бывает, чтобы календарь перевалил за октябрь, а природа все еще радовалась. Да и радоваться-то было нечему. Вчера, четвертого, повесили в Петербурге саратовца Каракова. Сегодня узнала об этом Москва. Савелий бранил саратовца.

— Вот и в живи его негути. А какого страху наделал! На худое у нас всегда много охотников. На доброе нет, а на худое — всегда. Ах, чтобы ему лапа отсохла! Да мало его повесить! И на приятелей его взыск наложить надоть...

— Чего это ты, Савелий Титыч, взъелся? — спросил Семенце. — Сам под царем жизни не видишь. Из России подаваться хотел...

— И уйду! — гневно топыря бороду, зашипел Савелий. — Досель полной твердости во мне не было. А ноне есть. Плохо под царем было. Да уж коли у него, батюшки, неустойка выйдет — еще того хуже станет. В этаких делах нашему брату путлякаться не гоже. Хороших делов тут никаких нет и быть не может. С царем управитесь — за нас возьметесь...

Он с презрением и несправедливостью посмотрел на Семенца.

— А ты не навяливайся! Не бывать голышам надо мной в господах...

И, оборвав речь на этом сильном пункте, отвернулся. Семенце поблел.

— Договаривай, что ж ты?

Савелий все еще глядел в сторону.

— Уйду на Дунай, — тихо проговорил он. — И ране хотел уйти, а теперь побегу. Слышь? Складаться приказ дал.

В соседней горнице громко плакала Мотя. Утешающий голос Кирюхи звучал резонно, но подрагивал от волнения.

— Слышь? — повторил Савелий. — Сбираются. Был я хозяин, и есть, и останусь. Все по-моему. Мыр... мыр... так мырну, что и следу не будет!

— Ну, — с горечью вымолвил Семенце, — досказывай.

— А изволь. Сквозь тебя вижу. И кто ты такой есть, знаю. Одна шайка-лейка. Слесарь... Оба... Будя! Нет у меня для вас больше фатеры, господа. Съезжать пора, вот как! Седни брысь! До ночи! Не то...

— Что?

— В полицию сдам вас, так-растак...

Савелий стоял перед Семенцем, красный, с разлетом белого пуха кругом лысины, сгибаясь в сухой надломленной поясице, и, размахивая руками, кричал:

— Цареубивцев!

Семенце быстро пошел к двери. В сенцах Базникин ругался с Кирюхой. Что говорил слесарь, Семенце не расслышал. А Кирюха, злобно скаля белые чистые зубы, ехидно спрашивал:

— Куды ж ты теперь, Андрей Тимофенч? В острог, что ля?

Ночевали Семенце и Базникин верст за пятнадцать от Петровского, в каких-то пустынных выселках, в старой, приземистой и темной бревенчатой избе о трех окнах на улицу. Хозяин, тощий мужик в синей пестрядиной рубахе, всклокоченный и с густой бородой, пустил постояльцев за четыре гривны, не спрашивая, ни кто они, ни зачем хоронятся. Жестяная лампочка с осколком черного стекла распространяла по избе мутный красноватый свет. Хозяйка пряла, качая ногой зыбку, задернутую рваным пологом. На полатах белели детские головенки. Поужинали спартанской тюрей из хлеба, кваса и лука. Семенцу казалось: разумная жизнь и добрые мысли живут в этой бедной избе. Да, хороший поступок лишь тогда по-настоящему хорош, когда его можно было бы и не совершать. Укладываясь спать на соломенном сбросе близ печи, Семенце сказал Базникину:

— Вот, брат Андрей, что с нами приключилось! Думаешь?

— Думаю,— мрачно отвечал Андрей.— Такое приключилось, что курицу за соловья примешь, а бурьян — за ягоду.

«Полюй мускул» крепко давал ему себя знать. Мотины глаза так и стояли перед ним, залитые горячими слезами.

— Э-эх!

Но ходу назад не было. Утром ляжет на траву серебристый налет инея, и закраины деревенских прудков прикроются тонкой корочкой стеклянного льда. А через месяц-два застучит мороз по худым стенам деревенских изб, точно кто топором по ним заколотит. Что делать? Этого ни Семенце, ни Андрей пока не знали...

Между тем будущее уже отыскивало их и раскрывало перед ними свои завлекательные, бурно деятельные дни. Вот пройдет еще несколько лет, и будущее решит за Семенца и за Андрея, куда им податься и над чем работать. Еще немного лет — и вместе с сотнями своих сверстников выйдут они на новую дорогу и лицом к лицу станут с великой идеей прямой и самоотверженной службы народу, мужику. Пропаганда... Еще немного быстрых, как блеск молнии, лет — и хождение в народ сделается смыслом и целью существования Семенца, Андрея и других, как они. Здесь будет устраиваться ферма, там — кузница. Здесь лавочник откроет мелочную торговлю, там заведется в волости безбородый писарек в синих очках. Молодежь ринется в народ со страстным желанием сжиться с ним и двинуть его за собой.

В народ! В народ! Еще недолго... Но пока ни Семенце, ни Андрей не знали и не ведали, что ждет их впереди.

Глава тридцать первая

На Фонтане

Развертывался лист на деревьях, тонкий и нежный до прозрачности. С юга на север тянулись одна за другой птичьи стаи. Оглушительно-радостные крики птиц вливали в душу силу и свежесть. Христо смотрел на небо и чуял на себе его юношески чистое дыхание. Он был серьезен и неразговорчив. «Помолчим,— думал он,— помолчим и послушаем, как шумит весна...» Он молчал, молчал и вдруг в один из таких именно светлых весенних дней сказал Главанакову:

— Решено, Божил: я переезжаю на дачу к Рудзиевским...

— Как? — Главанаков чуть не свалился со стула.— Почему?

— Пани Рудзиевская предложила мне стол и квартиру за уроки с сыном — Адамчиком. Словом, я буду репетитором. Мне стыдно, Божил, что я так долго был твоим нахлебником.

— Это пустое. Но...

Впрочем, Главанаков не спорил. Он был доволен и не считал нужным притворяться.

— Когда?

— Сегодня...

Рудзиевские снимали дачу на Фонтане, неподалеку от садовника Шульца из немецкой колонии Люстдорф. Как и на всех подгородних одесских дачах, здесь тоже было мало зелени: тощие кустики айлантуса да божьего дерева, пыльные заросли шелюги и жидкие-жидкие, малорослые акации — Христо даже и на цыпочки не поднимался, чтобы увидеть через верхушки этих акаций море. На даче Рудзиевских постоянно толпился народ — бывшие польские повстанцы-шляхтичи. Христо с интересом приглядывался к ним. Они удивляли его своей этикетностью, к которой прибегали без всякой надобности. За самое малое одолжение — кто-то перед кем-то открыл дверь, кто-то кого-то пропустил вперед — они обливали друг друга потоками благодарностей. Особенно много было всего этого на пасхе, когда к даче на Фонтане то и дело подкатывали парные извозчицы пролетки с русскими кучерами на козлах и высаживали то одного, то другого визитера в чемарке и белой шляпе с длинным черным пером...

...Поляки шли к тому месту, где было обрублено их государственное прошлое, — шли для того, чтобы оттуда двинуться дальше. Трудно сказать, чего в этом стремлении было больше: отчаяния или веры. Грохот петербургского выстрела потряс их. Новость доставил на Фонтан доктор Клещев. Совсем для себя неожиданно Люпус зазимовал в Одессе. Еще три месяца назад отправил он в Петербург рапорт с просьбой о «чистом абшиде» и с той поры ждал у моря погоды — приказа. А приказ все не приходил, и Люпус не трогался с полюбившегося места. Грозная новость громом упала на Фонтан. Пани Рудзиевская побледнела холодной фарфоровой бледностью и безмолвно опустила на соломенный диван. Панна Евелина шепнула: «Шимон...» Но пан Свентославский ударил кулаком по столу и зычно прокричал:

— Каждый поляк украшен двойным золотым венцом: доблесть и несчастье. Кто стрелял в цезаржа? Только поляк способен быть героем такой славной мести!

Люпус вынул из кармана «Северную Почту» и развернул.

— Стрелял русский, — проговорил он тихо, — русский из Саратовской губернии...

* * *

В сознании Христо совершался глубокий и важный перелом: из инстинктивного протестанта против турецкого гнета он начинал превращаться в сознательного борца за политическое освобождение своего народа. Перелом этот возник под прямым воздействием русской общественной мысли и закреплялся по мере того, как складывалась новая связь Христо с Янеком Борутой. Изгнанный паном Свентославским из дома Рудзиевских, Борута не появлялся больше на городской их квартире. Но на Фонтане его тщедушная рыжая фигурка мелькала постоянно и всегда поблизости от заветной дачи.

Ах, эта дача на Фонтане! Много, очень много странного происходило на ней в ту памятную весну, в тихие звездные ночи, когда светлое небо ложилось на землю, как живое горячее тело из прозрачного блеска, и счастливая земля принимала в безмолвной радости его ласковую близость. Не раз случалось Христо в подобные ночи слышать чутким ухом осторожную поступь босых ножек покоювочки Зоси. Куда пробиралась Зося? Кто ожидал ее за воротами в поздний этот час?

И панна Евелина в окошке своей комнаты, вся залитая светлым холодом лунного блеска, с распущенными по плечам темными волосами, с нежной смуглостью гладких щечек и тонких рук, с глазами, широко-широко раскрытыми и такими же яркими, как большая цыганская звезда. Серьезен и грустен взгляд девушки, упорно высматривающей что-то впереди. А что там, впереди? И с трудом сдерживает панна Евелина слезы на тоскующих глазах...

Однако в ту майскую ночь, когда Христо сидел в саду на скамейке, думая обо всем этом, да и еще о многом, отыскивая исчезнувший с весеннего неба Сириус и дивясь красному лучу Альдебарана,— в ту ночь не происходило на даче Рудзиевских ничего необыкновенного. Зося видела уже не первый сон в своем тесном чуланчике; и на темном окне панны Евелины сонно колыхалась белая кружевная занавеска. Христо сидел неподвижно. Месяц выбрался на самый верх неба и светил с такой яркостью, что в белесоватом круге его сияния не было видно ни одной звездочки. Длинная тень человека ложилась на широкую дорожку, которая вела к дому от крытой беседки с разноцветными стеклами, вдоль кирпичной стенки с разросшимся перед ней прошлогодним бурьяном. Дорожка эта всегда была тиха и пустынна, и днем бесконечное множество золотистых шпанских мушек вилось над ней в густой древесной листве.

Но сейчас не было мушек. Зато Христо ясно видел, как длинная тень человека поднимает голову на кирпичной стене. Человек медленно передвигал ноги, и тень волочилась за ним — огромная. Через минуту рыжий парень в сером пальто опустился рядом с Христо на скамейку и быстро провел рукой по коротким волосам. Это был Янек Борута.

— Тоже? — проговорил он ясным и свежим голосом, от звуков которого Христо вздрогнул и, будто сорвавшись с какой-то необычайной вышины, вмиг пролетел сквозь необозримое пространство между далеким и близким.

— Что — тоже?

Взявшись за учительство при Адамчике, Христо понятия не имел о случившемся до того с Янеком. Тоже! Да если бы Христо знал, что пан Иозеф Свентославский выгнал Янека из дома, что потому лишь и очутился в этом доме сам Христо,— да разве согласился бы он на такое? Узнав обо всем, Христо тотчас же принял самое твердое решение уйти с места, уготованного для него несчастьем Янека. Но что-то мешало ему уйти немедленно. Он откладывал уход до разговора с Янеком. Почему? Неизвестно. И вот наконец встреча состоялась. Сейчас определится все.

— Что — тоже?

— Не понимаешь?..

— Понимаю. Я решил отсюда уйти, Янек.

— Почему же не уходишь?

Христо опустил голову. Янек прав: это надо было сделать давно. Голой фальшью было думать: сперва увижусь с Янеком, а уйду потом. По мере того как затягивался уход, все труднее и труднее было на него решиться. Христо закрыл лицо руками. Да, теперь он понимал все.

Янек положил ладонь на плечо Христо. Станный Янек! Он никогда не испытывал ревности и даже не ведал, что это за чувство. Он думал: «Евелина не любит меня и никогда не полюбит. Она предназначена другому. Но зато никакой другой не найдет в ней того счастья, какое нашел бы я. Счастье для меня не сбудется. Что ж! Зато и быть ему ничьим...» Он был уверен в этом и потому отдавался сердцем судьбе. Он знал, что Евелина умна, образованна, обучена порядку — вела счета по хозяйству в графленных тетрадках,— аккуратна, грациозна — из нее готовилась для кого-нибудь очаровательная жена. Для кого? Он посмот-

рел на склоненную голову Христо, на его судорожно прижатые к лицу руки и улыбнулся. Для него? «Счастью быть ничьим...» И, окончательно отдаваясь сердцем судьбе, Янек спросил:

— Очень любишь?

Глаза Христо сверкнули между разжавшимися пальцами. Но он не ответил. Странно, до дикости странно! Как человек, внезапно сбитый бурей с ног, напрасно пытается встать и идти, так и Христо, вдруг захваченный наплывом мыслей, догадок, изумления и еще тысячи чувств, из которых каждое было сильнее другого, напрасно пытался сообразить, что же именно произошло. Янек Борута говорил сейчас о себе, о Христо и о... панне Евелине. Буря! Какая буря! Христо не сумел ни встать, ни отряхнуться, ни сдвинуться с того места, на которое был повержен. Он не сказал Боруте: «Оставь меня в покое» или «Я не хочу говорить с тобой об этом»,— нет, ничего подобного не сказал он. А только, опустив еще ниже голову, прошептал:

— Я уйду...

— Глупости,— твердо проговорил Янек,— и не думай. Ведь со мной кончено...

Потом Христо не раз встречался с Янеком — и на Фонтане и в Одессе, между акациями и сиренью Дерibasовского сада, в густых чашах которого прячутся по ночам бездомники, а на рассвете полиция снимает с сучков самоубийц, натужливо высовывающих синие языки. Но уже никогда больше Янек не говорил о «ней», и Христо никогда его не спрашивал. Не раз потом толковали они. Но это было о революции, о народе, о народной революции...

— Восстание без народа,— твердил Янек,— только военная демонстрация. Без народа справиться с его врагами нельзя...

Христо жадно смотрел в круглые желтые глаза Боруты и слушал, слушал...

— С мая шестьдесят третьего года, когда красные и белые столкнулись в Жонде, кончилось главное — революции не стало...

— Как так?

— Не стало. Мы еще бились и умирали. Но мученичество свято и прекрасно только тогда, когда необходимо. Народная война превратилась в мелкое партизанство — засады, стычки, убийства, налеты... Это уже не общенародное восстание, нет. Это лишь жалкий его символ... Игра в восстание... Вот во что превратилось великое польское дело...

Христо думал: «А наше хайдутство? Янек прав: для народной войны, для революции мало одного геройства. И без настоящей революции не может быть освобождения...»

— Свелось к тому,— говорил Янек, и желтые глаза его пылали, как два фонаря,— что белые из Жонда начинали ненавидеть революцию. Они и не думали о хлопках, об их правах и надеждах, об обещаниях, данных им революцией, или о том, чтобы обнять хлопков восстанием,— не думали. Зато эти сонные белые петухи мечтали об экспедициях на Кавказ... Дур-рачье! — сквозь зубы выкрикнул Янек и злобно сплюнул.

— Счастливый ты, Янек! — с завистливым убеждением сказал Христо.— Ты бился и умерал за свою родину. Душа моя с тобой. Я хочу свободы для Польши, потому что готов отдать жизнь за свободу Болгарии. Ты и я — мы вместе, потому что одна цепь сковывает нас обоих...

И вдруг, будто вспомнив что-то, смолк. И Янек молчал. Любовь к панне Евелине была еще одной цепью, которая сковала их.

Так закреплялся крутой перелом в сознании Христо по мере того, как складывалась его новая связь с Янеком Борутой. И, сравнивая Янека с Божилом Главанаковым, Христо холодел от обиды за своего старого болгарского друга.

* * *

Адамчик и Христо возвращались домой с дальней прогулки. Как ни устал мальчик, но, увидев красные шторы на освещенных окнах фонтанной дачи — уже начинало смеркаться, — запрыгал от радости и, вырвав ручонку из жесткой ладони Христо, бросился к дому. Однако перед крыльцом Адамчик остановился, разглядывая «малмахузу» и стоявшего рядом с ней почти совершенно голого извозчика в большом картузе и с длиннейшим кнутом под мышкой.

В доме царило радостное оживление. Все столпились вокруг высокого, худого и жилистого английского моряка, только что приехавшего из города на «малмахузе». У моряка были узенькие бакенбарды, острый подбородок и пристальный взгляд единственного странно белого глаза, — на месте другого густо темнела мертвая впадина зажившей раны. Он стоял, широко расставив длинные и тонкие, туго обтянутые гетрами ноги, и поигрывал кепкой с вышитым на ней изображением трех корабельных палуб.

— Англичанин?

— Да, миледи, — отвечал моряк. — Штурман океанского плавания. Много видел, много испытал, но никогда не был счастлив.

Пани Рудзиевская в десятый раз перечитывала доставленное ей из Марсея письмо. Прижатый к ее лицу платочек был мокр от слез.

«Я стоял, — писал Шимон матери, — отвернувшись, и глядел на дорожку, на снежное поле, на крест над ручьем и на длинную полосу черных лесов у горизонта. Отец, отец... Еще ночью, еще утром мы были рядом, запертые в двух соседних конюшнях. И вот, душа его

Умчалася далеко от земли,
В то небо мнимое, которое поэты
На гибель нам изобрели...!

Отец, отец... Я ждал, когда поведут меня. Пришли. Повели. Но не туда... а к лесу. Стоит передо мной русский офицер (запомните, ради бога, его имя: поручик Смоленского пехотного полка Константин Крупский²) и что-то говорит мне. Расстегивает кобуру. Вынул и протянул браунинг. Что ж? Это лучше, неизмеримо лучше «того». Бедный отец! Я ухватился за браунинг, как за спасение. Сейчас, сейчас... И висок мой уже сам прижимается к холодному круглому дулу.

— Стоп!

Поручик Крупский быстрым и сильным ударом вышибает из моей руки револьвер.

— С ума сошли! Спрячьте его в карман — пригодится. Бегите в лес. Живо! Марш!

Поручик исчез. Через минуту я шел по лесу. Ну и лес! Надо было до боли задирать голову, чтобы разглядеть над собой крохотный клочок неба. А вокруг, куда ни помотришь, — сосны, ели, темное провалье без путей...»

Пани Гедвига поцеловала письмо. И пан Иозеф прильнул к ее руке.

— Помните ли вы, панове, — закричал он, — дивные слова Гейне: «На колени! Или, по меньшей мере, шапки долой! Я говорю о женщинах Польши», — помните эти слова, панове? Итак: на колени!

И пан Иозеф действительно бултыхнулся вниз перед пани Гедвигой и с неистовым жаром приник губами к краю ее платья.

— Святая!..

¹ Из Мицкевича.

² Отец Н. К. Крупской.

...Панна Евелина и Зося рассматривали фотографическую карточку, изображавшую горбоносого сицилийца с черными, как смоляной вар, курчавыми волосами.

— Езус! — восторженно говорила Зося. — И это пан Шимон! Из каждого ока сто тысяч дьяблов! Почему же он такой красивый?

— Он всегда был такой, Зося, — гордясь братом, сказала панна Евелина, — просто вы раньше этого не замечали!

Пани Рудзиевская обратилась к моряку:

— Нет пределов моей благодарности, господин Блэйфил. Какое счастье знать, что сын благополучно добрался до Марселя и едет в Париж, боже! Ведь это означает, что он наконец в...

Пани Рудзиевская вспомнила об осторожности. Но моряк производил впечатление человека, совершенно не интересующегося политической стороной обстоятельств, с которыми его сблизил случай.

— Я всегда готов помочь хорошим людям, — заговорил он довольно правильно по-русски, но не произнося, а как бы вылаивая слова. — Что такое Марсель — Одесса? Рядом. А вот однажды я собрался проводить одного молодого русского на Маркизские острова. И что бы вы думали? Этот молодой человек оказался отъявленным мошенником...

— Ха-ха-ха! — захохотал пан Свентославский. — Ничего удивительного!

— Скажите его имя, — вдруг вцепился в моряка Христо.

— Бахметев...

Христо качнулся, как от удара. Да это и был удар, страшный удар...

— Он не был мошенником. Вы... ошибаетесь!

Блэйфил пожал плечами и повернулся к пани Рудзиевской.

— Простите меня, миледи, но вы можете верить, что это было именно так, как я говорю: мошенник надул меня и прыгнул в море вместе с чемоданом...

— Со своим? — быстро спросил Христо.

— С моим, конечно.

— Сам прыгнул?

— Не я же ему помог? Странно!

— Зачем прыгнул?

— Это его дело...

— Ха-ха-ха! — гремел пан Свентославский.

— Вот что иногда бывает, миледи. Надеюсь, однако, что между нами не произойдет недоразумений. Вероятно, ваш сынок пишет...

— Да, он просит меня вознаградить вас... Чем я могу?

— С тех пор, как изобретены денежные знаки, — сказал Блэйфил, — это уже не вопрос...

...Пани Рудзиевская рассчитывалась с Блэйфилом. Звенели желтые полумпериальчики, шушали разноцветные ассигнации.

— Четыреста золотых... Еще... Еще... Тысяча золотых...

— Две тысячи, — нагло сказал Блэйфил, — ни гроша меньше, миледи!

— О-о-о!!!

Глава тридцать вторая

Любовь

Синее море лежало перед Христо гигантским полукругом. Серебряная бахрома его рокочущих волн звонко плескалась о голый безлюдный берег. Что же было в этом море такого, отчего казалось оно сейчас Христо новым, никогда еще не виданным до сих пор? Конечно, море было прежним. Но сегодня Христо впервые увидел в темных глазах панны Еве-

лины его прозрачный блеск, и от этого стало море другим, в сто раз прекраснее, чем прежде, да и весь мир исполнился небывалой красоты.

Молодые люди стояли на гребне оползня, высоко-высоко над синевшей у них под ногами водной гладью, и горячо обсуждали вопросы, важнее которых нет и не может быть на свете. Живя непримиримыми идеями будущего, Христо свято верил в третий сон Веры Павловны. Его мирозерцание было упрощенно ясное, твердое и вполне революционное. Кипучая деятельность заключалась в отчаянной борьбе с предрассудками. А отсюда и огненная страстность его проповедей.

— Да, я готов на эшафот за Дарвина,— говорил он, сверкая глазами,— готов! Я хочу знать только факты, одни лишь факты, каковы бы они ни были... Только вера в силу разума... Всякий человек — эгоист...

С этим панна Евелина не была согласна. Против знаний, против разума и решающего значения фактов, против естественного стремления людей к радостям жизни она ничего не имела, не возражала ни слова. Но первая же попытка Христо огульно обвинить все человечество в эгоизме заставила ее возмутиться.

— Как? — негодуя, зашпорила она. — Как вы можете говорить, будто все люди — эгоисты? Разве моя мать или Шимон, мой брат,— эгоисты? А я? Будь так, как вы говорите, люди давно бы съели друг друга...

Христо смеялся, умиряя свою горячность,— мягко, понимающе и терпеливо.

— Я ни в чем не виню людей. В эгоизме их нет ровно ничего дурного. Они никогда не съедят друг друга, так как их эгоизм разумен.

— Эгоизм не может быть разумным...

— Может! Когда человеческий эгоизм ограничивает себя во имя разумной общественной целесообразности, он становится разумным. Здесь начало отзывчивости и гуманности, забвения личных интересов для общей пользы...

— Да зачем же люди станут ограничивать свой эгоизм?

— Спросите Писарева. Вот его ответ: если люди умеют мыслить, достаточно просвещены и чужды предрассудков, им остается лишь повиноваться приказам своего эгоизма, чтобы прийти к общему благу. Почти дословно. Спросите еще Добролюбова...

— А он?

— Он скажет: охраняйте самостоятельность своих мыслей и чувств от всего, что навязывается вам авторитетами под лживым понятием долга...

Евелина прошептала:

— Ах, как это...

— Что?

— И странно, и страшно, и... хорошо!

— Почему страшно? По-настоящему в жизни страшно лишь одно — одиночество.

— Ах, страшно!

Откуда Евелина знала, что такое одиночество? А если не знала, то почему так пугалась этого слова? Христо и она стояли на двух выступках береговой кручи, уже не первый год сползавшей в море глыбистой осыпью песка и камня. Глубокий, казавшийся сверху бездонным, провал чернел, врезываясь в берег между ними. И так, они были вместе и в то же время не вместе. Но никто не мог бы сказать, что она или он одиноки. Христо спохватился. О чем это он думает? Как он смеет думать таким образом о себе и о ней? Что значит — вместе? Не одиноки? Однако он не только думает об этом, но еще и говорит. Он видит, как влажны блестящие глаза панны Евелины, и говорит:

— Да, любовь рождается прежде всего из страха перед одиночеством. Любовь — эгоизм. Какой? Спросите Чернышевского. Прочитайте: любовь — эгоизм честных, откровенных и чистых отношений...

— Я очень боюсь одиночества, — прошептала Евелина и, сделав шаг к черной трещине широко раздавшейся между ними земли, протянула тонкие руки над ее бездонной прорвой. — Я не хочу быть одна... Не могу! И как мне жаль Янека...

Куда ни помотришь, чем ни займешься, — она да она. Все-то вьется она перед глазами Христо, все-то идет, неотступная, ему на мысль. И откуда взялось, нагрянуло, захватило, повлекло? Кроме того, что написано в книгах, Христо не знал о любви ничего. Райна... Да разве то была любовь? Дети любят по-детски. Они прижимаются с нежностью котенка к тому, кто зовет их ласковым взглядом. И все. Эх, Райна, смуглая, голубоглазая, русоголовая Райна... Было давно и осталось далеко. А вот это — сегодня, сейчас, каждую минуту — рядом. Христо и Адамчик читают в комнате «Капитанскую дочку». С террасы доносится мягкая польская речь — звонкий голосок панны Евелины. Боже! Как случилось, что, еле заслышав этот голосок, уже хочется Христо плакать от счастья?..

Любовь — эгоизм. Но, чтобы эгоизм был разумен, надо ограничивать себя в нем. Христо был очень и очень скрытен, когда дело касалось сокровенной жизни его сердца — сердечных горестей и страданий, радостей и восторгов. Он умер бы от стыда, загляни кто-нибудь в эту вторую жизнь его. Вечное чувство внутренней неудовлетворенности — источник великих дел. Но не о них, вовсе не о них думал теперь влюбленный Христо. Рахметов у Чернышевского не прикасается к женщине. Почему? Ясно: потому что любовь есть нарушение общественной справедливости. Однако Вера Павловна, несомненно, стремится к общему счастью; а вместе с тем она человек, вполне независимый как в любви, так и в труде. Христо сравнивал панну Евелину с Верой Павловной. Ничего не получалось. И вообще из всех этих размышлений не получалось ничего, кроме путаницы. Вот статьи Писарева — «Разрушение эстетики», «Кисейная барышня». Неужели они были написаны лишь оттого, что не существовало около Писарева девушки, такой загадочно умной, как Евелина, такой обаятельно прелестной, как она, и с той же постоянной улыбкой влажных, затуманенных глаз?

Христо любил по-особенному: отвлеченно и возвышенно. Не только не заикался никогда перед Евелиной о своей любви, но и от себя самого прятал необходимость признания. Ему чудилось даже, будто ответное чувство может быть чем-то оскорбительным для Евелины; то есть, полюбив его, она тем самым как-то оскорбит себя. Что это? Самоограничение, делающее разумным эгоизм любви? Или другое что-то, гораздо большее, чего нельзя оправдать никакими требованиями разума? Любовь, в мир которой вход разуму вовсе воспрещен? «Что это? Что?» — с отчаянием спрашивал себя запутавшийся Христо. Чему-то непременно надлежало случиться, чтобы освободилась наконец от безмолвия его приглушенная сомнениями любовь. Христо ждал этого освобождения и готовился к нему. Вместе с любовью вселилась в него новая сила. Он ожилился и воспрянул. Если бы для одоления препятствий понадобилось совершить чудо, он совершил бы его. И тяжелое иго книжности, лежавшее до сих пор на его чувстве, он тогда и приподнял бы и сбросил, как легкое покрывало. Но чему-то надлежало для этого случиться...

Зося внесла свечи и расставила их по столикам. Острые ленточки бледно-желтых огней взвились и заплясали. До этой минуты сумерки предощущались только в ожидании; теперь же, войдя в комнату вместе

с Зосей, они сразу ощутились как реальное начало тьмы. Сумерки — атмосфера мечты, тихая буря воображения. Христо прислушивался к тишине, чем-то пораженный. О, как не походила его любовь к Евелине на то, что называлось этим именем у Чернышевского, у Писарева! И он уже не мог больше ни думать, ни понимать: да что же такое любовь? В комнате Адамчика он подсел к мальчику, спел ему, жалко срываясь с тона, старую песню про Вылко-знаменосца, уложил Адамчика в его складную шестиногую кровать и, чувствуя тепло в глазах и мучительную сладость в груди, медленно зашагал в сад. На террасе было темно. Тонкое белое пятно слабо проступало из тьмы над ступеньками. Не созвучие ли рождает мелодию? Пятно шевельнулось, и Христо шагнул к нему. Грустный, глубокий и любящий взгляд Евелины приковал его к месту. Мелодия родилась — они заговорили о любви.

— Я не знаю,— сказал Христо,— я ничего не знаю... Но то, что я говорил вам там, на берегу моря, — это не любовь... Моя любовь — совсем, совсем по-другому...

Итак, он еще ровно ничего не знал о настоящей любви. Начинают чувством, усваивают мыслью и заканчивают словом. Христо ничего не усвоил в любви мыслью, зато чувство переполняло его, выливалось наружу и с такой неудержимой силой приближало к белому пятну на террасе, что вмиг растаяли все его умственные предубеждения против признания. Еще недавно он боялся обидеть Евелину, сказав ей о своей любви, а теперь совершенно не думал об этом. Если бы ему сказали сейчас: «Любовь — это разумный эгоизм», он возмутился бы, вознегодовал: «Как? Коли любовь, то при чем тут эгоизм, да еще разумный?» То, чему надлежало непременно случиться, чтобы освободилась наконец от безмолвия приглушенная сомнениями любовь Христо, совершилось. Христо, как и все, начал чувством, но миновал мысль и теперь заканчивал истинно страстным словом:

— Жизнь моя... Счастье! Моя любовь!

Он шумно вздохнул — сердце его сжималось и разжималось с огромной силой двух-трех сердец. Собственно, он сказал все. Панна Евелина молчала. Ей было нужно время — пусть маленькое и короткое, но все же время, — для того чтобы понять прекрасные слова Христо в их полном значении и смысле, чтобы сродниться с ними и сделать их своими словами и самую его любовь — тоже своей. Христо трогал ее тонкую холодную руку — просил и ждал ответа, трепетный и горячий, как пламя ночного костра. И панна Евелина, подумав, — ей казалось, что она о чем-то думала, — сказала млеющим и вместе с тем серьезным и чистым голосом, вздыхая так же глубоко, как и он:

— И я... Я очень люблю вас, пан Христо!

* * *

Цветы были только что спрыснуты свежей водой, и казалось, будто в их раскрытых чашечках сверкает утренняя роса. Сидя светлым майским полднем в садике при фонтанной даче Рудзиевских, доктор Клещев и пан Богумил Ягницкий так и этак повертывали, и кувыркали, и подбрасывали, и подхватывали главную, решающую тему своего бесконечного спора.

— Теория разумного эгоизма,— сердито говорил доктор Ягницкий,— выгашена Чернышевским из Фейербаха. Отсюда — ее рассудочность, абстрактность, нежизненность...

— Да в чем нежизненность?— возражал Люпус.— Человек не должен обманывать, воровать, подличать прежде всего потому, что это противно его натуре и вредно другим людям. Нанесешь им вред — повредишь се-

бе. Уж очень тесно связаны интересы обеих сторон. Стало быть, человек честен, потому что он эгоист. Честен из личного расчета. Это и есть рациональный эгоизм, то есть, попросту говоря, честно понимая выгода. В «Что делать?» прямо сказано: «Приносить жертвы... Их не бывает, никто не приносит; это фальшивое понятие: жертва — сапоги в смятку. Как приятнее, так и поступаешь».

Доктор Ягницкий крепко не любил Чернышевского за теорию разумного эгоизма, а Люпуса — за приверженность к этой теории. Но не взлюбил Ягницкий Люпуса именно в ту рождественскую ночь, когда отказался идти к умирающему бродяге, а Люпус пошел. Получилось так, будто враждебное отношение Ягницкого к Люпусу родилось вовсе не из непримиримого противоречия их философских взглядов на жизнь, а из чего-то случайного, очень конкретного, но мелкого. И мысль эта своей бестолковой несправедливостью обижала, мучила и злила старого идеалиста. Он старался придать спорам с Люпусом побольше значительности, свойственной всем серьезным разговорам об отношении к жизни. Но то и дело срывался на мелочах.

— Как мы, католики, шепчем «Pater noster»¹, — язвил старик, — так и вы твердите наизусть тексты из «Что делать?». Однако ведь это всего лишь плохой роман...

— Откуда вы взяли, что плохой?

Пан Ягницкий подскочил, негодуя.

— Потому плох, что люди в нем не знают ни заблуждений, ни увлечений, ни ошибок, ни страстей! Жизнь их идет без соблазнов, без драм и страданий. С их уст не срываются проклятия судьбе, их сердца не разрываются от боли, их души не мрачатся ненавистью...

Люпус усмехнулся.

— Смеетесь? — воскликнул Ягницкий, яростно пройдясь по сухому темечку своей маленькой желтой ручкой. — Знаю, почему смеетесь. Тогда, ночью... безбожник пошел к больному... а не я, христианин... Да ведь зато я плакал, плакал потом, когда узнал, что больной вовсе не был... нигилистом! А вы... разве вы можете плакать?

— Да с какой стати мне плакать? — весело сказал Люпус.

— Вот-вот... И люди из этого вашего романа — тоже. Им тоже не надо плакать. Это какие-то до отвращения трезвые, уравновешенные и счастливые люди. Но разве бывают такие люди, а? Я вас спрашиваю?

— Сколько угодно. Например, я. Или...

Люпус показал на застекленную решетку террасы.

— Видите? Нигилист Христо и панна Евелина. Уж им-то, наверно, не до слез.

Полы суконного сюртука всплеснулись над острыми коленками доктора Ягницкого, как два черных флага. Да, да, да... Нигилист Христо и панна Евелина... Стоило взглянуть сейчас на молодых людей, чтобы увидеть вместо ненависти, злобы, зависти или отчаяния самое настоящее счастье. Именно оно, это безоблачное счастье, сверкало сейчас на их светлых, прекрасных лицах. Влюбленным никогда не бывает скучно, хотя они всегда говорят только о самих себе. Евелина вышивала фон на пальцах. Христо помогал ей. Дело не шло. Крестики оказывались не похожими друг на друга, гарусный клубок никак не распутывался. Но, боже, как им было хорошо!

— Видите? — повторил не совсем твердым голосом растрогавшийся Люпус и, быстро выхватив из кармана платок, вытер им глаза. — Видите?

Пан Ягницкий застыл в пароксизме холодного гнева. «О пани Гедвига! Как же вы допустили?»

¹ «Отче наш» — молитва (лат.).

— И все-таки роман Чернышевского противен требованиям эстетики, — через силу наконец вымолвил он.

— Тэк-с! — откровенно торжествовал Люпус. — Тэк-с! Однако нам художественные красоты и не нужны. Нам нужны указания на то, как должен действовать и мыслить новый человек...

Несколько дней Клещев не показывался на Фонтане. А потом вдруг явился с новостью: приказ об отставке им получен. Отныне Люпус — вольный казак. Пани Гедвига ахнула.

— Почему так бывает: чем дольше ждешь, тем неожиданней приходит? Поздравляю! Поздравляю! Что же вы теперь будете делать?

— Делать? — удивился Люпус. — Начну с того, что пересеку Новороссийскую степь в северном направлении. Хороша в мае степь! И цветы и травы по брюхо лошади... Эх! А потом...

Доктор Ягницкий курочкой пробежал по комнате.

— Делать? Без романа «Что делать?» едва ли можно что делать. Надо по рецепту... Так называемую свободу мыслей имеете? Отлично. Развитая подруга жизни есть?

— Нет, — сказал Люпус.

— Обзаведитесь.

— Не так-то просто. Имрется на примете идеальчик. Только не знаю, куда запропастился...

— Назовите же нам вашу избранницу, дорогой друг, — попросила пани Гедвига.

— Извольте-с. Девица Анна Михельсон. Та самая девица, о которой в газетах печатали, что она букет цветов бросила Чернышевскому на эшафот. Впрочем, признаться должен: слыхал, будто собой недурна, но в глаза никогда не видывал. Надеюсь, что из заключения уже освобождена. И замуж еще не...

— Весьма удобно и просто, — съехидничал пан Ягницкий. — Наверно даже освобождена. А с другой стороны, российскому императорскому правительству нужны образованные люди — военные, штатские, всякие, лишь бы состояли у него на жалованье. Вы же вполне интеллигентный человек. Остается найти себе дело по вкусу. Найдете — разумный труд в кармане. Итак: свобода мыслей, развитая подруга жизни, разумный труд. Вот вам и весь рецепт из нового завета господина Чернышевского.

Люпус хотел, но не мог рассердиться.

— Спасибо за добрый совет, — тоже не без издевки сказал он. — Только работу я получу не от правительства. Засяду в деревенской больнице, буду лечить народ. А на совет ваш отвечу просьбой. Не смешивайте Россию с ее правительством. Россия — не Зимний дворец и не Петербург. Она далеко-далеко за пределами табели о рангах. И сильна она, эта Россия, ох, как сильна! Протяните-ка ей лучше руку. Ее пожатие вас не обмарает. Сторонитесь не России, а всевозможных квартальных агитаторов в вицмундирах, действительных статских пилигримов, мелькающих на дороге между Ватиканом и Афонской горой. Их сторонитесь, а не России. Она вам верный друг!..

— Так! Так!

Христо стоял посреди комнаты, бурно-смелый и громкоголосый.

— Слово болгарское: так!

Он бросился к Люпусу, обхватил его, неуклюжего, своими ловкими руками и, обнимая, все повторял и повторял:

— Как бы сойтись нам в Болгарии! Ах, дядо Иван!

Глава тридцать третья

Обвал

Это случилось в июне, вскоре после ареста пана Станислава Гржегоржа — человека с искалеченным телом и несломанной душой.

Ночь была по-июньски теплая и тихая, такая тихая, что даже и на открытом воздухе огонь свечи казался неподвижным. Адамчик спал в своей постельке. Но деревянная кровать Христо с соломенным тюфяком и такой же подушкой была пуста. Христо сидел за столиком у окна и смотрел на небо, на месяц, на море, любуясь его зеленовато-синими переливами. Хорошо, когда человек не знает, что с ним будет через минуту! Свое отдаленное будущее еще может предвидеть человек. А близкое — нет...

Через минуту Христо, взлохмаченный и босой, стоял в темных сенях перед дверью, в которую с улицы ломилась толпа вооруженных людей.

— Именем закона!

Христо открыл дверь. Его изумленные глаза уперлись в высоченную фигуру, окутанную военным плащом. Это был человек могучего телосложения: встряхнулся — и крыльцо под ним затрещало. Офицер приложил руку к козырьку кивера с «распатым воробьем» и шагнул прямо через порог. Из группы полицейских чинов, толпившихся за его спиной, с необычайной юркостью выскочила другая офицерская фигура, маленькая и шуплая, в жандармском кепи; вмиг обогнав богатыря-пограничника, она без малейшего промедления растворилась в темноте внутренних комнат. Пограничник сбросил плащ на руки солдата и, тщательно расправив черные усы, сказал густым басом, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Знобит... Холод так по лопаткам и ходит...

— Это она вас бьет,— тотчас отозвался из темноты тоненький голос жандарма,— лихорадка. А по мне, теплей теплого, прямо-таки сенегальская жара!

Полицейские ввалились в сени. Пани Гедвига уже стояла в гостиной со свечой в руке, такая же, как всегда,— прямая, строгая и спокойная, в неизменном своем черном платье. Из комнаты Адамчика доносился горячий шепот: Евелина успокаивала мальчика. Евелина, переставшая с некоторого времени заходить в эту комнату, была сейчас там. Но Христо не двигался с места. Ему казалось, вот-вот произойдет нечто ужасное. За обыском — арест, насилие, стрельба... Кулаки Христо сжимались, твердея, как камень, глаза загорались огнем живой ярости, и весь он трепетал в порыве страстной злобы к людям, которых впустил сюда. Да он ли впустил их? Они вошли...

— Именем закона, сударыня!— сказал жандармский офицер, снимая кепи и поводя, как таракан, острыми крашеными усами, веером торчавшими на его одутловатом, дряблом лице. — По ком вы носите траур, сударыня?

— По отчизне...

И вдруг пани Гедвига увидела, что жандарм уже роется в верхнем ящике ее письменного стола.

— Что вы там ищете, господин офицер?

Он оглянулся через плечо, как собака, которую позвали, когда она трудится над костью.

— Я ишу, сударыня, революционные песни... Или еще что-нибудь... недозволенное.

— Недозволенное вот здесь,— показала пани Гедвига на правый боковой ящик стола.

Жандарм мгновенно прекратил возню и очень вежливо повернулся лицом к женщине.

— Великая вещь — человеческая совесть, — проговорил он, самым благопристойным образом разводя своими цепкими руками, — но совесть нужна бывает по преимуществу в частном семейном быту. На службе же, к несчастью, ее заменяют распоряжения начальства.

Жандарм сокрушенно вздохнул. Пограничник, которого все еще лихорадило, посмотрел на него с восхищением. Черта ли в том, что пограничник — старый капитан, бывал в огне, у Пясковой Скалы, собственно-ручно пристрелил изменника Потebníю, — черта ли во всем этом? Эх, простота хуже воровства! А жандармский поручик, д-да... Пограничник искренне считал поручика замечательным фокусником, умеющим, коли нужно, то и шпагу проглотить.

— Где-с? — осведомился жандарм. — Запрещенное где-с?

Вскоре он вытащил газетную пачку, аккуратно перевязанную, с крупным заголовком на верхнем листе: «Słowo». Эта польская газета издавалась в 1859 году в Петербурге, но была остановлена на пятнадцатом номере. В ней печатались статьи Огрызко, Чернышевского, Сераковско-го и дважды упоминался покойный пан Людвик Рудзиевский. Этим последним обстоятельством и объяснялось присутствие газеты в доме пани Гедвиги.

— Повоевали с Россией, — хмуро сказал перебиравший номера «Слова» пограничный капитан, — а что получилось? Э-эх!

Звонкий голос Христо заставил обоих офицеров поднять головы.

— Однако история не дает ни одного примера, когда бы успех получился без борьбы...

Уж не вздумал ли сумасшедший мальчишка, потерпев неудачу с босяками, заняться теперь политическим просвещением офицеров российской армии? Но жандарм не поддался.

— Это вы из господина Чернышевского, — понимающе засмеялся он. — Как же, как же... И мы читали. Только у господина Чернышевского сказано попрямей, понаглей...

— А как? — заинтересовался капитан.

— Точно: «Без войны никакой народ ни от какого чужого ига не освобождается».

— И ведь этакое допускали! Этакое печатали! — грозно пробасил пограничник.

— Да-с, было. Но теперь сочинитель сих младенческих утопий в Сибири. Да и гнездо ихнее, «Современник», слава богу, тоже не существует. Потому-то смотреть теперь на все это можно вот так...

Жандарм приставил ладонь к правому глазу, прищурил левый и как будто держал в руке мишеньку с дырочкой в центре для проверки куркового спуска. Пограничник угрюмо молчал...

...И обыск продолжался, и пограничника продолжало лихорадить, несмотря на два хороших куфеля «горжалки» из запасов пани Гедвиги. Жандарм философствовал, вежливо разводил руками и, роясь во всех ящиках и углах, бранил кого-то — уж не начальство ли? — за холодную расчетливость, неумеренное самолюбие и крайний эгоизм.

— Вот и ночь к концу. Сегодня ночь, завтра ночь... Толку никакого... А где жизнь-то, а?

Он мечтательно поглядывал в сад, любясь полосой света, льющейся из окна. Темно-зеленые листья деревьев ясно выступали из мрака, неподвижно повиснув в тихом, теплом воздухе ночи. Но чуть подалее уже не было видно листьев, очертания деревьев казались смутными и неопределенными, и весь сад выглядел черной прорвой.

— Жизнь-то где, молодой человек, а?

Жандарм обыскивал комнату Адамчика. Полицейские шарили под матрацами. Сам поручик занимался столиком, что у окна. Там были сложены учебные тетради Адамчика и особой стопкой гимназические работы Христо. Однако жандарм держал в руке нечто совсем другое — печатный листок с криво сползавшими к углу строчками крупных букв. Что это? Откуда? Христо жадно вытаращил глаза и не прочитал, а «поймал» с лету:

«Льется польская кровь, льется русская кровь...

.

Все ль пойдем под знамя правой мести?

Иль на камень брошено зерно?..

Нет! На ниве вольности и чести

Плод желанный принесет оно!

«Земля и Воля», 1863 г.»

— Ага!— с торжеством проговорил поручик.— Вот и не без толку наш труд... Ага!

— Листовка!— отчаянно крикнул Христо.

— Несомненная-с...

— Но ведь вы же, господин офицер, сами засунули-ее в бумаги... Я видел.

Кто сказал это? Только не Христо. За настезь раскрытым окном — Янек Борута. Минуту назад было пусто за окном — ничего, кроме слабых отсветов фонаря в черном провалье ночи. И вот уже Янек стоит на свету и говорит решительно и смело:

— Я видел! Вы!

Что он делал в саду? Зачем был там? Уж не проводит ли он там добрую половину каждой своей ночи, поглядывая, как колышется под вздохами ветра сплетенная панной Евелиной кружевная занавесь на окне?

— Я видел,— жестко повторил Янек,— вы подсунули листовку, господин офицер!

Янек не мог солгать. Да и откуда взялась бы в бумагах Христо прокламация, о которой он знать не знал? Однако правда эта губила Янека безвозвратно. Громадный пограничник с «распятым воробьем» на кивере — он так и не снимал кивера с головы — подумал о Христо: «Вот сейчас и этот заголосит: подсунули... видел...» Не колеблясь, он ухватил Христо за воротник рубашки и, с неистовой силой встряхнув, отшвырнул, как ветошку, в угол.

— Раньше в тюрьме сгниешь, чем докажешь! Понял?

— Понял!— смиренно подтвердил Христо.

Он действительно понял, и даже гораздо больше, чем от него требовалось, понял то, чего, как видно, вовсе не понимал глупый капитан. Революционная листовка была «обнаружена» в бумагах Христо. А Христо — турецкий подданный... Его не угонишь за листовку в Сибирь... Экое счастье, что сдурил жандарм и подсунул улику не в бювары пани Гедвиги, а сюда, сюда... Счастье!

Между тем офицеры живо набрасывали протокол.

— Признаете прокламацию своей?

— Не отрекаюсь...

— Угодно подмахнуть?

И Христо с поющей душой подмахнул. А Янек?..

...Двое полицейских держали за локти Янека Борута. Жандармский офицер приподнял фонарь и внимательно оглядел парня.

— Гм! Да мы знакомы,— проговорил он,— ей-богу, знакомы. Я поручик Егупов, переведен сюда из Польши. А вы, молодой человек,— тот

самый кинжальщик, который в шестьдесят втором году бросился на меня в Варшаве на углу Краковского предместья и Саксонской площади. У Европейской гостиницы, помните? Блуза, пояс из пеньковой веревки с железным кольцом на конце,— вы?

— Я,— сказал Янек.

— Вот и отлично! К протокольчику изготовим приписку. Пускай полицеймейстеры рапортуют господам губернаторам о благополучии городов во время пожара, губернаторы — о благополучии их губерний во время голода, полковники — о благополучии их полков, когда лошадь только что убила солдата, пусть! Поручик Егупов не таков! Не таков-с! Он никого успокаивать не станет. Наоборот-с! Он вывернет всякую измену с изнанки на лицо. Вот она, измена, во всей красе своей, глядите-с!

Редкие волосы без седины, похожие на сухой войлок, еле прикрывали безжалостно уродливую голову жандарма. И весь он, говоря о своих служебных талантах, был темен и холоден, как грифельная доска. Он повел вокруг острыми, до болезненности злыми глазами.

— Глядите-с!

Пограничный капитан торжествовал.

— Браво!

Пан Иозеф Свентославский был потрясен происходившим. Огнистая рубка так и плясала в его кривых зубах. Надо было действовать. Ух, ух! Оглядываясь совершенно по-волчьи, он подступил к жандарму.

— Дозвольте, пане поручнику...

— Что-с?

— Дозвольте, мой ласкавец, поблагодарить вас...

— Ась?

— ...за то, что со свойственной вам пронизательностью...

Пан Иозеф вытянул вперед длинный тонкий палец и показал на Янека.

— Нуте-с?

— ...забираете отсюда этого лобуза. Надеюсь, он сам расскажет вам, пане, как я его вытолкал в шею...

— За что?

— За... неблагонадежность! Бог свидетель — такой наглец! Каб ему сульбя и мульбя, и буйные и дробные...

— А кто вы есть?— спросил Егупов.— Родственник дома?

Пан Иозеф скрестил на груди кулаки, пряча их под усами.

— Если вам того надо, не скрою... Я... я жених здешней хозяйки.

Произнося эту ложь, пан Иозеф находился во власти самых необыкновенных фантазий. Не внезапных, нет... Со дней гибели пана Людвика Рудзиевского эти фантазии не оставляли его ни на минуту. Пан Иозеф — бедный рыцарь. Пани Гедвига — богатая красавица. Пан Иозеф... Да чем же в самом деле плох пан Иозеф как жених?! Если бы не Егупов с его устрашающими приемами сыска, Свентославский ни за что не выболтал бы своих планов. Правда, случалось ему и прежде сообщать о них кое-кому из друзей, но всегда под строжайшей тайной. А так вот, вслух,— никогда! Однако слово слетело с уст — не поправишь. И в голове пана Иозефа мелькнула бешено-веселая мысль: «Пани Гедвига слышала... Что-то скажет теперь пани Гедвига?»

Между тем пани Гедвига давно уже следила за всей этой сценой с выражением глубокого страдания в близоруких и оттого казавшихся сейчас огромными глазах. Что сделал пан Иозеф? Не пощадил ни Янека, ни ее, ни себя. Кто же пан Иозеф, кто? Рыцарь... О-о-о! Будь жив пан Людвик, он сказал бы настоящее слово. И как был бы прав!

Белые руки пани Гедвиги поднялись высоко-высоко и заломились до хруста в костях. Если пана Людвика нет, то не должна ли сама она ска-

зять настоящее слово? Пронзительная догадка острой болью входила в ее сердце, глубже, глубже...

— Пан Йозеф сошел с ума!

Никогда еще не звучал так громко голосок Евелины, и ни разу еще горячие пальцы Христо не сжимались так сильно ее холодной рукой. Пани Гедвига грозно усмехнулась.

— Нет, дитя мое, пан Йозеф в своем рассудке. И это много, много хуже...

«Трус, трус», — висело на кончике ее языка. Но она не произнесла галкого слова, сдержалась. Чего ей это стоило? Офицеры глядели на нее с недоумением. Светославский — умильно, с жалкой надеждой в песнях глазах. Евелина — с тоской и страхом, Христо — с восторгом, ибо уже чуял силу нового презрения этой женщины к бесстыжему предателю Янека Боруты...

...Обыск закончился. Ушли офицеры и полицейские. Увели с собой Янека. Унесли протокол с подписями Христо и пани Гедвиги, а также скудную вещественную добычу: пятнадцать номеров газеты и стихотворную листовку. «Slowo» — не аргумент для серьезных обвинений. Листовка... Но откуда бы она ни взялась, ее нашли не у Рудзиевских, а у домашнего учителя, живущего в их семействе по найму, — у турецкого подданного Ботева. Сплоховали жандармы! В доме все улеглось. Растрепанная Зося еще немножко пошлепала звонкими голыми подошвами и отправилась досыпать. Свечи потушены. Бледный свет сам собой рождается в саду между деревьями. Розовеет небо над морем. Занимается утро...

Итак, Христо спас Рудзиевских. Вот он глядит сейчас на маленького Адамчика, разметавшегося в жарком сне на своей шестиногой кровати, и другой образ, бесконечно нежный и милый, встает перед его смущенными очами. Да, он взял на себя спасение Евелины. А Янек бедный? Случай, слепой случай... Жаль, очень даже жаль, что случай этот не грозит ничем особенно страшным ему, Христо. Арестуют — подержат — выпустят. Не в том беда. А в чем? Вдруг волосы качнулись на голове Христо. Вышлют... Вышлют из Одессы, из Руси. Ни Евелина не погибнет, ни он — пропадет их святая, прекрасная любовь...

Вера Павловна говорит о Рахметове и ему подобных: «Они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь». Хорошо. Но вот Христо удалось сегодня слиться с общим делом. Да, конечно, так. И лишь удалось, как мучительная тоска завилась клубком в его душе. Тоска! Почему? Не потому ли, что Рахметов не знал и не хотел знать женщин, а он, Христо, жить не может без Евелины? Верно... Христо уже давно не сидел у окна и не смотрел в сад — он ходил, бегал по комнате взад и вперед. Верно... Его вышлют... Вышлют... Евелина! В немом отчаянии он бился головой о подоконник и не видел ни солнца, ни неба, ни бледной девушки, стоявшей за окном.

Глава тридцать четвертая

Раковский

Письмо из Калофера... Христо взял его в руки. У-у, каким тяжелым оно ему показалось! Распечатал. Начал читать, и слезы покатались по его смуглым щекам.

«Любезный сын Христо, — писал Ботю, — вот уже не первый год, как братец твой Петко лежит недвижим в параличе. Но судьбе того мало, и новое горе посетило нашу семью. Скончалась сестра твоя, а моя родимая

дочь, Анна Груева. Отпевали ее в церкви св. Богородицы, и когда во время заупокойной службы я воспел громким голосом: «Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека», — вдруг закрылась моя гортань для священных слов, и хлынула из нее потоком огненная кровь. Тут же и скорчило меня в три погибели, как оно прежде бывало после холодного купания в речке Стреме. Припал я согбенным телом к церковному столбу и оторваться не мог — все кашлял да изблеывал из себя кровавую гниль. Вернулся с похорон домой и, обессилев, лег полумертвый.

Есть у нас теперь в Калофере врач — Димитр Николич. Он серб из Нового Сада, доктор медицины, хирург и окулист. Мюдюрину нашему все мерещится, будто Николич — австрийский шпион. А Николич и не глядит на мюдюрину. С виду молчалив, задумчив; но выпить весьма не дурак. Пришел, осмотрел меня, бедного, навзничь лежащего и на весь Галюв-дол хрипящего.

— «Учительская гостья», — говорит, — чахотка.

А я и сам про то давно знаю...

...До лета пил теплое кобылье молоко. Летом же поднялся с одра и ползлелся в училище. Смерть... Думал я раньше, что смерть — судьба. А теперь вижу: простая очередь. Пока я болел, у задней стены училищного двора поставили фонтан. Красиво отделали его зелеными камнями, устроили мраморный сток. Из двух больших медных кранов непрерывно струится быстрая холодная балканская вода. Над кранами выточен каменный шкафчик; в нем на цепочке белый луженый кувшин. Я часто сижу теперь у этого источника и освежаюсь горной водой. Слаб я теперь, сыне, очень слаб и бессилен. Мало делаю для училища. И все же настоятельство платит мне четыре тысячи грошей. О большем не прошу. Благодарен и за это...

...Сукно дорожает. Торговцы везут в Калофер сумы с деньгами. Хаджи Паро вздыхает: «Нет Драгана Вылчанова... Вот бы когда ему свои дела поправить!» Но о Драгане ни слуху ни духу. Ты знаешь, каков был раньше хаджи Паро. Все-то ходит, бывало, по улицам и, как увидит у фонтана или у печки собравшихся женщин, которые наперебой трещат, шумят и ругаются, так и набросится на них, закричит и разгонит. А теперь уже не кричит. И даже женщины говорят тихо о беде, приключившейся с Митю Брататым...

...Всего одну недельку прожил Добри в отцовском доме, когда приходил весной на побывку. Симо остался в горах, а Добри пришел один и скоро собрался в обратный путь. Была у него малая кутийка, в ней — честно древо от божьего гроба, величиной с просяное зернышко, обвитое ватой и залитое в чистый воск. Заплакал Митю, прощаясь с Добри, и Добри заплакал. Достали они кутийку, поцеловали. И оба думали: «Слава богу. С этакой святыней на груди не может пропасть человек». А что вышло?..

...Месяца через три, темной летней ночью, нагрязнул в Доймушларе Мехмед-чауш с двумя заптиями, схватили Митю Брататого, связали ему руки за спиной и увели из дому. Увидела это старая баба Тана — с ног наземь; и не встала, свезли на погост. Принялись Любица с Райной вдвоем горе мыкать. А потом и Райна пропала. Однако вернулась — худая, бледная, стоит и качается, словно тень на стене, когда ветер дует на огонь. Видела она в горах Симо. Узнала от Симо: погиб Добри в лесном бою. Искромсали его ятаганамы турки — глядели в лицо мертвому и не могли признать. Так бы и не разгадали. Но, когда стали обыскивать труп, нашли кутийку. На ней — имя. И стало ясно: пал Добри, Митев сын. А тогда уже и до самого Митю добрались... Услыхал Чифиджик-бей — враз согнал Любицу со своей земли. Что ж? Живет она теперь в верхнем женском монастыре, а дочь ее, Райна, — у нас...

...Слушай, Христо: вероятно, все еще очень думает о тебе Райна. Никогда не спросит: «Как Христо?» Ни-ни... А ведь это верный знак. Да и что мог бы я сообщить ей о тебе? Забыл ты свой дом и тех, кто тебя любит...»

...Христо закрыл глаза и увидел Райну — голубоглазую, цветущую, сильную, смелую, такую, какой он ее знал и запомнил навсегда. Отец пишет: изможденная и худая, шатающаяся, как тень от полупотухшего огня. Нет, такой Христо не может представить себе Райну. Это не она. И вообще не прав отец. Христо ничего не забыл, ни дома своего, ни девушки, которая его любит. Но почему же все это стало иным, чем было, — далеким, чужим? Вот хаджи Паро бежит по городу, разгоняет женщин, праздно болтающих у фонтанов, бранит набеленных и насурмленных. Крадется за молодой, муж которой уехал вчера по торговым делам в Казанлык, хочет проследить, куда она идет и зачем. Встречает беременную женщину и — за посох.

— Прочь иди с улицы, прочь! Брюхо с дом! Срамота! В сукновальню свекровь за тебя сходит, а ты постыдилась бы!

Почему же картина эта уже не смешна? Почему она кажется пошлой и глупой, и Христо готов от нее отвернуться? Картина пропадает. А вместе с ней и дом на Галюв-доле и девушка из Доймушларе. Христо открывает глаза. Под окном в тумане солнечного утра стоит другая девушка ослепительно близкой красоты. И Христо протягивает к ней руки.

— Евелина!..

«...Иной раз мне кажется, — писал дальше Ботю, — что в конце концов ты поумнеешь, характер твой смирится, стихнет, и тогда ты сможешь не только вернуться, но и беспрепятственно жить в Турции. Но если и будет так, то едва ли скоро. А пока страх за твою судьбу пронзает меня дрожью. Не скрою, боюсь и за всю нашу семью. Ее добрый гений — по-прежнему Найден Геров. Недавно он предложил мне место в Пловдиве. Я отказался. Калоферская молодежь слышать не хочет о моем отъезде. Так по крайней мере уверяют меня мои ученики. Если они думают иначе, — грех на их душах. Впрочем, есть и такие благодетели, вроде векила Манджукова, которые давят меня своей дальновидностью. Вот их совет: «Если в Пловдиве выгоднее, поезжай туда, копи запас на старость, не слушай детских сказок». Кому верить? А все-таки я верю первым, — не вторым. Обо всем этом написал я на днях господину Герову. Итак, остаюсь в Калофере. Согласно училищному уставу, вчера начался у нас новый учебный год...»

Письмо выпало из рук Христо. Он сидел за столом, опершись на него локтями и крепко сжав голову кулаками. Он думал...

* * *

Давно уже не бродил Христо по жарким одесским улицам и не глотал горячей пыли, которую забрасывала в город огнедышащая Пересыпь. Но теперь его счастливому затворничеству наступил конец. Встреча с Божилом Главанакковым состоялась на бульваре — там, где бульвар скатывается к гавани. Почти молча дошли друзья до Дерibasовской и засели в задней комнате кондитерской Волочанского. Здесь-то и развернулся между ними большой разговор. Выслушав рассказ Христо, Божил не удивился. Действовала его старая способность сохранять при всех обстоятельствах внутреннюю неподвижность. Когда-то он бесил этим Христо, а теперь...

— Уезжай, — спокойно сказал Божил, — но не жди, когда тебя вышлют. Уезжай сам, теперь же...

— Куда?

До боли резкая нота прозвучала в этом вопросе: куда? Огромная, прихотливая судьба, в которой ничего нельзя было разобрать и предвидеть, вела и толкала Христо и гнала его прочь отсюда по ей лишь ведомым путям. Неужели нельзя без страданий осмыслить жизнь? Он сидел за кофейным столиком, подперев смуглую щеку кулаком, и не отрываясь глядел на приятеля.

— Куда?

И Главанаков тоже глядел на Христо и видел в его черных глазах ясный пламень мятущейся мысли и тоскующей любви, но не понимал и не мог понять, что это такое.

— Когда-то ты проповедовал, — безжалостно сказал Божил, — что болгарин не должен оставаться в Руси из личных интересов, пока Болгария страждет и нуждается в помощи. И о себе говорил: не могу учиться, раз мой народ терзается под ужасным игом. Правда, ты и не учишься. Но найди же в себе силы, Христо, чтобы быть последовательным до конца...

— Я продолжаю так думать, — тихо вымолвил Христо. — Суровее всех чувств человеческих — долг. Куда ехать?

Божил внимательно осмотрелся и так круто перегнул через мраморный столик свое худое, тонкое тело, что губы его очутились рядом с ухом Христо.

— Не я тебе скажу, — прошептал он, — не я. В Одессе Раковский...

— Что?

До черноты загоревшее лицо Христо вдруг стало коричнево-белым. Если бы он услышал, что в Одессе обнаружился живехонький Наполеон Первый, то и тогда не изумился бы больше. Раковский... Слава и честь бедной болгарской родины... Оттого, что Раковский в Одессе, поблизости, рядом, и сама родина как бы придвинулась вплотную к Христо, ощутилась вокруг и внутри. О. Болгария, мила майка!

Много слышал Христо о Раковском. Много из того, что говорилось о нем в доме Мирановича Тошкова, знал от Божила. Дивился Тошков мужеству, ловкости, неутомимости Раковского. Хвастался: как ни «ужасно решителен» Раковский в политике, а он, Миранович, еще решительнее в своих торговых делах. Индюк! Никто никогда не преследовал господина Тошкова. А кто не преследует болгарского героя? И турки, и немцы, и румыны, и сербы... Но Раковский хоть бы что! То прогуливается по белградскому парку Топчидере — двое конных спереди, двое сзади. Откуда конные? То фланирует по шумным улицам Афин об руку с черногорским капитаном и с двумя фантастическими адъютантами за спиной. То в Бухаресте... И все для Болгарии, все для тебя, мила майка!

Разговоры о Раковском постоянно велись в гостеприимном доме господина Тошкова. Многие спрашивали: чем бы мог еще Раковский послужить Болгарии? Тошков закрывал сонные глаза. Завязывался спор. «В шестьдесят втором году Раковский всю Болгарию поднял. А для кого? Для Сербии». — «Он не хотел...» — «Еще бы хотеть! Однако сербская политика села тогда верхом на болгарскую свободу...»

Христо вздрогнул, и черный лес кудрей шевельнулся на его голове.

— А ведь это верно!

— Не знаю, — хмуро сказал Божил, — знаю только, что теперь бай Георгий с румынскими политиками на ножах. Они его ловили на свой крючок, а он не шел. Пустили в ход полицию: схватить и выдать туркам его и славного войводу Панайота. Как быть? Подались оба в Русию. Дошли до Кубея — заболел бай Георгий, пролежал три недели, все кашлял и за грудь держался руками...

«Чохотка, отцовская болезнь», — подумал Христо и спросил озабоченно:

— Значит, и Панайот-войвода в Одессе?

— Не, драги, не. Он остался в Киприяновском монастыре — ждать бая Георгия.

— А где живет бай Георгий? Если у Тошкова, не пойду...

Божил махнул рукой.

— Не! Тут такое дело...

— Какое?

Тотчас по приезде в Одессу Раковский приступил к Мироновичу с просьбой о деньгах. Он просил десять тысяч рублей на формирование регулярных чет и для переброски их на Балканы. Но Миронович запел: «Эх, друг Георгий, дела мои идут, ох, как плохо! Торговля вовсе дышит на ладан. Потерял зимой двести тысяч рублей,— шутка?» Хныкал, хныкал. А кончил тем, что дал восемь сотен и запер кабинет на ключ.

— Приглядел Миронович имение под Киевом, хочет купить за большие деньги. Вот и...

Христо думал о Раковском: велик человек! Но отчего же кажется сейчас Христо, будто величие Раковского уже не в настоящем и не в будущем борьбы, а в ее вчерашнем дне? Кажется... Больше: Христо не сомневался в этом. Янек любил говорить: «Восстание без народа — только военная демонстрация. Без народа справиться с его врагами нельзя...» Без народной войны, без революции может быть только игра в восстание. Впервые Христо услышал о революции от человека, приезжавшего ночью в Калофер к хаджи Паничкову под видом торговца. Кто был этот человек? Не сам ли Раковский? А может быть, его посланец? От него-то и услышал Христо грозные слова: бунт, революция. Но теперь лишь понял по-настоящему, что такое бунт и что революция и чем они отличаются друг от друга, понял, слушая шумные польские споры в доме Рудзиевских и проникаясь мыслями несчастного Янека. Многие понял Христо и для себя и для борьбы за Болгарию. Раковский... Янек... Господин Тошков отказал Раковскому в деньгах...

— Мироновичу не до хайдутской лихорадки,— сказал Христо,— а под Киевом — гладкое место и нет гор. Чтобы верить в успех хайдутской войны с Турцией, надо быть не Тошковым, а Раковским.

— Как? — изумился Главанаков.— Так ты...

И тут только Христо понял, что думает вслух.

— Грусть меня объяла,— тихо проговорил он,— страшная грусть. Трудно, Божил, прощаться с детской мечтой!

И вдруг вскопил из-за столлика, высокий, сильный, с развернутыми в линию плечами и широкой грудью,— витязь из старой болгарской песни.

— Воспрянем духом, Божил! Глянь мне в лицо, видишь? — Веселый блеск сиял на его лице. — Видишь? Мы — это и есть будущее. Чую его в себе. О чем же мне спрашивать Раковского?

Минуту или две оба молчали.

— Но все равно веди! — приказал Христо.

— Зачем? — заспорил было Главанаков.— Зачем, если ты всех умней?

Он был поражен и внезапной сменой настроений приятеля, и его самоуверенностью, да еще, кроме того, и обижен за бая Георгия. Но Христо словно холст рвал:

— Веди!

— Зачем?

— Веди!

Вдохновение и восторг огнем подступили к горлу Христо, огненной влагой — к его глазам. Плача и смеясь, он крикнул:

— Да живей болгарский народ!.. Смерть турецким поганцам!

Божил в ужасе метнулся к стене.

— Бешеный!

На счастье, некому было услышать вопль «бешеного». Никто не отозвался на него и не вошел. Главанаков схватился за шляпу.

— Скорей идем!

Подходя к пустынному хуторку близ Сухого Лимана, Христо не сомневался: первый же взгляд на Раковского откроет, кто был тот таинственный купец, встреча с которым в калоферском домике хаджи Паничкова положила когда-то начало постепенному разрушению детских иллюзий Христо. За купцом — Русия, «Современник», Рудзиевские, Янек... Кто был тот купец? Перед Христо стоял высокий, с темным лицом, длинными черными усами, хорошо одетый в европейское платье человек. Он был строен, держался с достоинством. С лица его почти не сходило выражение сосредоточенного раздумья. Тон его слов был энергичен и резко безапелляционен. Был ли он тем купцом? Христо не знал. А не спросить прямо, начистоту? Умные черные глаза Раковского зорко вглядывались в Христо. Может быть, и он вспоминал о чем-то? Добрая улыбка осветила его мужественное лицо, медленно и будто с трудом проступая изнутри. Да, вспоминать ему было нелегко. Чего не нагромоздила жизнь в его памяти, какими впечатлениями не врезалась в нее!

Совсем еще, кажется, недавно готовил Раковский восстание в Болгарии, крепко рассчитывая на верную помощь братской Сербии. Уже шел Панайот Хитов с отборными четами к древней болгарской столице Тырнову. Уже отыскились два кандидата на новый трон: князь Михаил Обренович Сербский и болгарский князек Конаки-Богориди. Но Европа сорвала план. Пришлось Раковскому распустить легион болгарских патриотов. Удар, от которого другой и на ногах не устоял бы! А Раковский даже не покачнулся. И вот уже снова втихомолку трудится он над созданием антитурецкого союза на Балканах. Афины... Здесь он посредничает между сербским и греческим правительствами. Играет главную роль в вопросе о провозе оружия для Сербии из России...

Многое помнит Раковский. Но из-за этого многого не забывает ничего. Вера его бурного, хоть и усталого сердца по-прежнему громадна, — и энергия, и жестокая ненависть к султанской Турции, и предприимчивость, и хитрость, и самолюбие, и острое внимание к мелочам в сношениях с людьми, к случайным и мгновенным соприкосновениям с ними. Он или не он? Вдруг, позабыв все русские приличия, Христо жадно прижался губами к большой, в толстых жилах и узлах, руке бая Георгия.

— Это вы были тогда в Болгарии?

Раковский сдержанно улыбнулся.

— Когда?

— Пять лет...

— Был ли я пять лет назад в Болгарии? Гм! Люди об этом болтают.

— Какие люди?

— Калоферское «солнце», кир Тодораки Митров... Или, например, ты... Только можно ли верить болтунам?

Раковский засмеялся, а Христо покраснел. «Ироничен, язвителен... На любого заводит в памяти личный счет: враг, друг, враг, друг...»

— А что вы думаете обо мне, бай Георгий?

Раковский не удивился вопросу.

— Спроси сперва, что я вообще думаю.

Христо опять покраснел — очень сильно, до боли в глазах.

— Молю, скажите!

— Думаю: смелость в том, чтобы, решив, уже не колебаться. И что даже плохо работать все-таки лучше, чем предаваться самым радост-

ным мечтам. Думаю: когда хочешь делать прочное дело, обнажай его от всяких иллюзий. Как отсекаются прутья с дерева, срубленного для постройки, так и ты освобождай себя от излишней тяжести чувств. Думаю...

Раковский отошел в сторону и присел на скамью у белого деревянного стола — другой мебели в комнате не было — спиной к Христо, лицом к свежему запаху жидкой известью обмазанной стены...

— ...Был я весной шестьдесят третьего года в Афинах, — говорил Раковский. — Греция искала тогда короля. А я работал над тем, чтобы объединить ее силы с сербскими и черногорскими против турок. Виделся со старым Канарисом¹. Он свел меня с болгаринном, который состоял на греческой военной службе, а жёнат был на крещеной турчанке. Я появился в его доме — солидный и спокойный по наружности холостяк, с бакенбардами, в цилиндре, с бамбуковой тростью и в парадном сюртуке. Фросо... Она была дочерью этого болгарина — нежная, как лотос, тонкая, как пальмовый ствол. Староболгарский Белбог смилостивился тогда надо мной — послал мне светлые дни, и зацвело мое сердце радостью и весельем. Я полюбил Фросо. Но она уже была невестой. В Афинском университете учился сын Тодораки Митрова — Аристотел. Кудрявый, улыбчивый, хитренький молодой старичок с двумя глубокими морщинками вдоль углов рта на розовом лице. И тоже — цилиндр, тоже — бамбуковая палка. Только по-болгарски ни слова. Сидит, помалкивая, рядом с невестой, гладит холодные пальчики Фросо и нагло усмехается мне в нос. Однажды Фросо выискала момент — было это утром на пустой галерее, — пригнула мою голову к себе и шепнула: «Молю! Уедем!» Боже, как зажглось тогда мое израненное сердце чуждым огнем небывалой силы. «Все брошу, — подумал я, — все... Жить один раз!» И сказал: «Фросо, любимая! Собирайся...» Однако вечером того же самого дня уведолил меня старый Канарис, что донос Аристотела уже лежит в греческом министерстве, а копия летит в Стамбул. Как проникла эта гадина в мои дела, не знаю. Я призадумался... Сразу вспомнились мне все мои обстоятельства, и поднялось все плохое, чего мог я ожидать для себя в будущем. Словно облако подо мной раздалось, чтобы рухнул я вниз, на землю. Рухнул! И замерло мое сердце, объятное скорбью и отравленное гневом. Я не простился с Фросо, не смог. Но через сутки меня уже не было в Афинах. Я умчался в Цетинье и канул в воду...

Раковский все еще сидел на скамейке у стола, спиной к Христо. «Спиной к целому миру...» А может быть, он просто не хотел, чтобы Божил и Христо видели сейчас его лицо? Кто знает, не было ли оно таким же белым, как стол, у которого сидел он, или как стена, к которой предусмотрительно повернулся?..

— Летом Фросо умерла. Аристотел уехал доучиваться в Париж. И от всего этого осталось...

Раковский закашлялся.

— Что? — тихо спросил Христо.

Грудь Раковского хрипло дышала. Он встал со скамьи и подошел к Христо. Нет, лицо его вовсе не было белым.

— Осталось глубокое убеждение: когда человек хочет бороться, он должен сорвать с себя тяжесть ненужных для борьбы чувств. Жертвовать чувству свободой — нельзя!

Смутно почуялось Христо в этих словах нечто, относившееся прямо к нему. И было это так внезапно, что он вздрогнул. А бай Георгий взял его за рукав и подвел к маленькому круглому зеркальцу, висевшему

¹ Герой греческого восстания 1822—1824 гг., воспетый Гюго.

на стене. Из зеркала глянули на Христо-пылающие глаза, блеск жгучего румянца...

— Сказать теперь, что думаю о тебе? — прозвучал над ним спокойный голос. — Пока ничего хорошего.

— Почему? — еле выговорил Христо.

— Да ты посмотри на себя. Каков? И сердце твое и любовь твоя — все на моей ладони.

От страшного стыда Христо закрыл, даже не закрыл, а прямо-таки захлопнул глаза. «Проклятый Божил! — мелькнуло в его мыслях. — Ах, проклятый! Это он разболтал...»

— Не вздумай только врать, — говорил Раковский, — не обманешь. Мне никто не сказал об этом, я сам узнал.

— Как? — пролепетал Христо.

— Просто. Когда дикий петух влюбляется в курицу, он меняет перья и напускает на себя яркий фазаний цвет. И люди... Стоит русскому юнаку влюбиться, он уж и голову мочит квасом. А ты... Взглянул на тебя и сразу догадался!

Он весело засмеялся. А Христо все еще не открывал глаз и только слышал, как смеялся вместе с Раковским проклятый, проклятый Божил...

...О многом еще говорил бай Георгий. И, вероятно, было это очень серьезно и очень важно. Но Христо никак не мог прийти в себя и почти ничего не понимал.

— Полгода назад, — говорил Раковский, — князь Куза слетел с румынского престола и подписал свое отречение. Революция в Бухаресте... Переворот... И Россия и Турция были очень недовольны. Турция даже поставила сильную армию на высоком дунайском берегу. Тогда главные «переворотчики», Братиану и Росети, начали подбивать болгар, бежавших в Румынию, на разные затеи. Конечно, они вовсе не думали о том, что из этого выйдет, — сколько скатится наземь болгарских голов без всякой пользы для будущего. Им нужно было только, чтобы турки бросили заниматься румынскими делами и вцепились в Болгарию. Я жил тогда на улице Куза-Вода. В начале мая приезжает ко мне господин Братиану — худ, тщедушен, черноволос, быстр и нервен. Раскрывает объятия. «Господин Раковский, мы вас умоляем: соберите нам тысячу болгарских добровольцев. Можете вы это сделать?» — «Могу. За пять дней соберу пять тысяч. И они совершат чудеса. Но...» — «Что?» — «Зачем понадобился вам болгарский легион?» — «Мы присоединим его к румынским войскам и будем воевать с Турцией, если ее армия перейдет через Дунай». Я подумал: ага, история повторяется. Этому политику нужно, чтобы Болгария таскала каштаны из огня для Румынии, как она таскала их в шестьдесят втором году для Сербии. Живо вспомнилось мне, как вывел я тогда из Сербии двести человек болгарских легионеров на голод и безделье. Жестокий урок! Повторить ошибку — совершить преступление. Ненавижу сербское правительство, румынское, все правительства на свете. Не могу без гнева и возмущения говорить о них. Новая игра походила на старую. Недопустимо! Если Братиану ищет помощи у болгар для Румынии, так пусть же и Румыния поможет болгарам. Я сказал, как отрубил: «Это можно сделать. Но — при условии». — «Каком?» — «Румынское правительство вооружит болгарских легионеров и снабдит всем, чем надо. Болгарское знамя...» — «Э, нет! — закричал маленький Братиану. — Этого не будет!» Я сразу понял причину этой жалкой трусости: пять тысяч болгар с Раковским впереди и под знаменем родины — да что может быть опаснее, страшнее для румынских политиков? Братиану ударил себя по лбу, словно увидел сокровенное. «Никогда!» Я встал и поклонился. «Говорить больше не о чем».

Братиану ушел, довольный, что дешево отделался от такого страшного человека, как я, и с мыслью обязательно выжить меня из Румынии. Вскоре прибежал к нему Иван Касабов. Не слыхал про такого? Он был моим секретарем в Белграде — ничтожество, гниль. Давно уже расплевался я с бухарестскими чорбаджиями, — как иначе? Ждут толстобрюхие жареного ягненка из Руси и ни о чем другом не желают знать. Но Иван Касабов не лучше. Самый что ни на есть облезлый хвост болгарской интеллигентской эмиграции в Бухаресте. Прибежал — и в ноги. «Вам нужен, господин Братиану, болгарский легион, чтобы было кому умирать за Румынию? Извольте, будет-с. Угодно, чтобы болгары учредили в Бухаресте тайный комитет наподобие румынского? Будьте благодарны, учредим-с! Желательно, чтобы Раковского не было больше в Румынии? Раз, два — и не будет. Только...» — «Что? Знамя?» — «Какое знамя? Зачем оно нам? Просто семьсот минцев за такую большую работу, меньше никак не возможно». Господин Братиану видит, что перед ним за человек, подумал и согласился. Но тут положение изменилось. На овдовевший после Кузы румынский трон воссел немчура, Карл Гогенцоллерн, и Турция сразу убавила прыть. Господин Братиану тоже приободрился, перестал метаться в поисках поддержки. А шут балаганный Касабов, поделив со своими подручными румынские желтицы, принялся выполнять договор. Легиона не надо, а деньги есть. Хайде — пошли заседать и цитеронствовать в болгарском тайном комитете, таком тайном, что лишь одни ленивые о нем не знают. Хайде — подписывать протоколы, сочинять какую-то «Священную коалицию» — и все это для блага румынских бояр. Жил тогда Касабов в отеле Фиески, но часто толкался по базарам. Вижу однажды бородатую рожу в очках — сам господин президент комитета. «Слушай, — говорю, — Иван: зачем опутываешь ты простой народ клятвами и ложью? К чему ты готовишь народ? К восстанию? Но ведь у тебя ни пороху нет, ни твердых порядков. Висит твое дело в воздухе, и действуешь ты вслепую. Кому это выгодно? Только тебе...» Эх, Христо! Ты убедился сегодня, что я вижу насквозь. Мне ясен был смысл касабовской проделки, потому я и говорил так. Если бы я был неправ, мог бы Иван поднять меня на смех. Но Касабов чувствовал свое бессилие и мою правоту. Слова мои его озлили, — немощный честолюбец! «Сначала сам поклянись в верности, — сказал он мне, — потом что-нибудь от меня узнаешь». Как? Чтобы я клялся, я, Раковский, который всю жизнь служил Болгарии на тысяче путей! Кто с кого требует клятву? Кто от кого скрывает? «Ах ты, черная, неблагодарная, злая душа!» Я хотел его ударить, но кто-то схватил меня за руку. Гляжу: Хитов. А Касабова след простыл. «О Панайоте, Панайоте!» И вместе пошли ко мне. Но лживое сердце не спало. Касабов так разрисовал меня перед господами Братиану и Росети, что полиция повела на нас с Хитовым большую охоту, и нельзя было сомневаться, что не нынче-завтра окажемся мы в турецких когтях. И пришлось нам подаваться из Румынии в Одессу. А Касабов — на полной свободе. Рассылает своих людей по Болгарии — и в Шумен и в Тырново — и клянется румынским «переворотчикам», что за несколько недель поставит всю Болгарию на дыбы...

Раковский закашлялся и долго не мог остановиться.

— На нас жгут рубаху, — хриплым голосом наконец выговорил он, — а между тем Касабов глуп. И такой же революционер, как ты, Христо, — игумен. Потому и допустить нельзя, чтобы святейшее дело болгарской свободы оставалось в его дурацких руках. Кто ходил по нашим селам и живал между нашими крестьянами, тот знает, какие добрые сердца и чистые души имеет болгарский народ. Во мраке рабства и невежества жигы семени его счастливого будущего...

— Так зачем же Касабов? — вскрикнул Христо.

И, решительно справляясь с последним натиском стыда и смущения, выбежал на середину комнаты.

— Зачем Касабов, когда и без него... Ведь в Турции все запутано... Копилось веками... Я видел, знаю...

Ему хотелось рассказать о судьбе своего отца, и Драгана Вылчанова, и Митю Брадатого, и двух его старших сыновей, и о Спасе Куюнджиолу, и о Чифиджик-бее и еще об очень многом, что он сам видел и знал. Но говорить пришлось бы долго, чрезвычайно долго. Мысль его прыгнула и понеслась вперед.

— Султанские чиновники — воры... По всей Болгарии они кормятся даром... В статье Чернышевского...

Раковский вскинул голову.

— Когда Чернышевский писал об этом?

Христо подумал и сказал твердо:

— Давно. Лет шесть тому.

— Шесть лет!

Раковский опустил голову.

— Шесть лет! Кто любит народ, тот ведет его под пушки. Будить надо спящий народ! Касабов ничего не сделал и не сделает. Значит...

— Что? — разом спросили Божил и Христо.

— Значит, мне надо делать. И для этого — ехать из Одессы.

— По Тираспольской улице от Черепенникова моста до Таможенной заставы, — деловито и озабоченно подсказал Божил, — на Кишинев.

Раковский взглянул на него, не ответив. И мелькнула в этом взгляде усмешка.

— В Киприяновском монастыре ждет меня Панайот. Оттуда — в Бухарест. Может быть, немецкий князь, которого взяли себе румыны, окажется подобнее Кузы. Постучусь и в его дверь. Ей-ей, для Болгарии всякое средство отлично!

Легок и быстр полет мыслей Раковского. Неужто же мысли Божила способны долетать только до Таможенной заставы? Христо давно заметил: стоит подумать о человеке что-нибудь уничижительное, как тотчас же приоткрывается в нем неожиданная высота. Так оно и случилось, когда приятели возвращались с Лимана в Одессу. Христо подступил было к Божилу:

— Ты разболтал баю Георгию...

Но Божил приложил обе руки к груди и честно-честно посмотрел в полные гневного подозрения глаза Христо.

— Клянусь, ни полслова!

И, полагая дело тут же поконченным, пустился в рассказы об удивительных вещах. Будто кто спустил малоречивый язык Божила с привязи — так он вдруг разговорился. И начало выясняться многое: и то, что хуторок на Лимане, где живет бай Георгий, принадлежит отставному гимназическому учителю Нечайскому; и то, что свел Раковского с чудаковатым стариком Божил; и что задержался Раковский в России из-за трудностей, возникших в связи с юридическим оформлением завещания Нечайского, коим завещал Нечайский все свои сбережения на дело болгарской свободы; и что первым, кто с подлинно деловой сноровкой, приобретенной на службе у господина Тошкова, заметил опасность неточности завещательного текста (этак и касабовский комитет мог бы заявить свои права на наследство!), был не кто иной, как Божил...

— Драги!

Христо обнял друга, прижался к его щеке своей горячей щекой.

— Любовь? Что за любовь, коли народ страдает?..

На дачу Рудзиевских Христо вернулся в самом сбивчивом духе. Как вчера недавнее прошлое тянуло его к себе, вселяя ужас и отчаяние перед мыслью о высылке из Одессы, так сегодня далекое будущее звало и манило прочь отсюда. Что с ним сделал Раковский, какое совершил над ним чудо? Не советовал, не направлял. Да и не искал у него Христо советов, пришел не за тем. Начни бай Георгий советовать, еще бы и заспорил, пожалуй. А что-то сделал бай Георгий такое, отчего в тоске и немом смятении сердца повторяет теперь растерянный Христо:

— Что за любовь, коли народ страдает!

Глава тридцать пятая

Влашко

Киприяновский монастырь, Кишинев, Камрат, Кубей, Болград, Тумарево, Галац... Чем ближе Дунай, тем чаще можно видеть, как сладко блаженствуют в широком разливе приречных озер медлительные буйволы, выставив наружу добродушные головы с огромными рогами и черные хребты. Вступая на румынскую землю, Раковский всегда произносил не то всерьез, не то подшучивая над кем-то:

— Приключения чаще всего случаются с теми, кто до них охоч. Поглядим, как на сей раз будет...

Скажет, засмеется. А на сей раз смолчал. Откупившись двумя червонцами от пограничных румынских стражников (удивительно схожи эти люди с изображениями пленных даков на Трояновой колонне в Риме), он вздохнул глубоко-глубоко, но не сказал ни слова. Был погожий августовский денек. Еще не успевшие пожелтеть ярко-зеленые листья весело звенели на пышных деревьях. Войвода Хитов искоса взглянул на Раковского. Худ и бледен показался он ему, как-то не по-всегдашнему бледен и худ. Да и в теплом его сюртуке, столь мало подходившем к нынешнему дню, тоже померещилось Хитову нечто до слез печальное. Что же такое? Как взболела в Русии грудь у Раковского, так и не отходит. Что такое?

Славный народный войвода Панайот Хитов был коренастый человек, небольшого роста, с сухим лицом, маленькими черными глазками и большущими черными усами вразлет на обе стороны. Подбородок у Панайота был тяжелый и твердый, словно его сделали из чугуна, скулы широкие, а кожа на них желто-красная, как камень Родопских гор. Уже больше двух лет не занимался войвода своим прямым воеводским делом. В шестьдесят четвертом году, около Георгиева дня, вывел он из Сербии чету на Стара-Планину, к месту, называемому Три Бугра, у большого каменного креста. Оттуда двинулись на Софийскую дорогу. Но за четой уже мчалась погоня. Войвода укрылся во Врачанском Балкане, у речки Искер. На троицу слегка подрались с запятыми, да и повернули в Сербию. И уже потом получилось так, что с самой той осени до нынешней весны прожил Панайот Хитов в Сербии, промышляя торговлей и хлебопекарством. Эх, войвода!

Весной Хитов встретился в Бухаресте с Раковским. Оттуда пустились в Русию. Войвода засел в Киприяновском монастыре — сидеть. Хоть Раковский и не привез из Одессы ни денег, ни здоровья, но засиживаться в монастыре не желал. Незримая сила поднимала его с одра, наполняя собой тошую, подорванную непрерывным кашлем грудь. Хитов пытался унять больного. «Оставь, оставь меня, брате Панайоте!» Раковский стремился в Румынию. Касабов не давал ему покоя, и он кричал, зады-

хаясь: «Все погубит, каналья... Но и я им такую сварю кашу, что любое брюхо лопнет!» И вот снова Румыния...

Браила — городок известный. Весь он дышал контрабандой, конокрадством и фальшивыми паспортами. Из огороженных заборами улиц предместья люди выходили на центральную площадь, очень большую и пересеченную дорогами во все концы. Сквозь пыль, туманом висевшую в воздухе, робко глядели домики, аккуратно сложенные из тесаного камня, с плоскими крышами, цветными ставнями и резными крылечками. Спрашивал человек встречного человека о пути и никогда ничего не слышал в ответ, кроме: «Нушти»¹. Только Русский сад с памятником был известен в городе всем. А неподалеку от сада, на церковном дворе, в малой хибарке, густо пропитанной запахами скипидара и типографской краски, жил старый калоферец хаджи Димитр Паничков. Жил он так незаметно и тихо, что даже всеведущий браильский комиссар Земфиреску, то и дело проносившийся пыльным вихрем по городу с полудюжиной здоровенных доробанцев, не мог бы сказать о нем ничего положительного дурного, только подозрительно огляделся бы.

Не сразу и не просто очутился хаджи Димитр в Браиле. Царьград, Мосул, Трапезонд — длинный путь. Затем Русия: Керчь, Азов, Одесса, Аккерман. И лишь после всего этого — Браила. Перед рождественским постом шестьдесят третьего года Паничков окончательно осел здесь. Заветная мысль о собственной печатнице с новой силой воскресла в нем. Типографский шрифт нашелся у какого-то портного. Прессы — у тырновского эмигранта, который привез их с собой и не знал, куда деть. С улицы Брашованилор Паничков перетащил свое имущество в старенькую постройку во дворе церкви св. Петра. Раньше она была дворницкой и состояла всего из двух комнат. В одной Паничков расставил печатные приборы, а в другой разместился сам и устроил школу, собирая у себя болгарских ребятишек и обучая их букварю и пению. Вот о такой-то именно жизни — разумной, полезной, независимой — мечтал всегда хаджи Димитр Паничков. С особым рвением занимался он типографским делом. Печатать приходилось вручную. Ни скоропечатных машин, ни стереотипов не существовало. Станок действовал валом на рельсах, бесшумно. Истерся первый шрифт. Новый доставили верные люди из Галаца. Так и шло дело...

...Однако шло оно не доходно. Это всякий увидел бы сразу, войдя в жилую горницу Паниčkова. Было в ней и темно, и сыро, и холодно, и пусто, как в заброшенном сарае. На столе — бутылочка ракии с жареным горохом на закуску. На хозяине — истертый сюртук (он не носил теперь болгарской одежды), грязный белый жилет и, по вечной забывчивости, панталоны не в полном порядке. Сюртук осыпан желтой пылью — хаджи Димитр только что спустился с чердака, куда лазил, чтобы нарезать табаку. Таким и застали его гости в поздний вечерний час.

Выражение печального изумления быстро промелькнуло на птичьем лице Паниčkова. Круглые светлые глаза его жалко прищурились. «Где же ты, богатырь наш?» Да, болезнь, тяжким припадком подступившая к Раковскому в Русии, сильно его изменила. Но бай Георгий не думал о ней. Хрипло дыша и кашляя, он наскоро поздоровался с Паничковым и тотчас же вынул из-за пазухи довольно толстую тетрадь, исписанную беглым почерком. Войвода Хитов не спеша разглядел левой ручищей

¹ Отрицание (рум.).

(он был левша) огромные усы и недовольно качнул головой. Не нравилась ему в Раковском эта лихорадочная торопкость, которая пришла к нему вместе с болезнью и завладела всеми его действиями. Куда торопился Раковский? Войвода тяжело вздохнул.

— Хаджи Димитрчо!

Глуховатый Паничков тотчас приложил к уху пригоршню и приготовился слушать. Раковский открыл тетрадь: «Временный закон о народных лесных четах на 1867 год».

— Это закон о боевых действиях, — сказал Раковский. — Я написал его после долгих и зрелых размышлений. Теперь надо его напечатать побыстрее. Сможешь к Новому году?

Паничков грустно улыбнулся и по-птичьки положил голову на плечо.

— Сделай добро, выслушай. Как же я не могу, если у меня почти вовсе нет работы? Добри Войников собирается выпускать в Браиле газету. Когда? Спроси Добри. И название для газеты есть хорошее: «Дунавска зора». И псевдоним для редактора — «Див-Дяд». Все есть, кроме денег. Еще и денег нет, а Войников уже со мной торгуется...

Паничков развернул маленький листок, густо покрытый набором.

— Вот...

И заговорил с чрезмерной громкостью, как все глухие, когда волнуются:

— Такая вот газетка, если она выходит в неделю два раза, обходится издателю в двести сорок франков за месяц. То есть, значит, по тридцать франков за печатный лист с бумагой. Набор одного печатного листа — двадцать франков, бумага на пятьсот экземпляров — десять франков, почта — шесть франков, итого — тридцать шесть франков каждый номер...

Паничков кричал и размахивал листком. Горькое раздумье неудачника, уже тысячу раз наводившее его мысль на эти расчеты, так и ташило за собой послушный язык. Старик забыл даже поразившую его с первого взгляда хилость Раковского, он весь отдавался сейчас своим мечтам.

— Ну? — с любопытством спросил Раковский.

— Значит, за пятьсот экземпляров издатель получит с подписчиков пятьсот наполеондоров, или десять тысяч франков. А ему эти пятьсот экземпляров при выходе два раза в неделю обойдутся много-много в пять тысяч франков...

— Ну?

— Значит, у него останется чистых половина...

— Ну?

— А мне — что? Нет, господа, так нельзя. Надо, господа, помнить, что я специалист во всем. Как же это...

— Да ты сам издавай газету, — сказал, нахмурившись, Раковский. — Газета не может быть без политики. А разве Войников понимает что-нибудь в политике? Смешно, когда люди толкуют о том, чего не знают! Войников связался с тупоголовым учителяшкой Касабовым и стоит у него на запятках. Ну и редактор! Издавай газету сам. Ведь ты-то не за мир с Турцией?

— «Издавай!» — воскликнул Паничков. — На что? Где у меня франки? Богаташи хотят торговать с Турцией. Спасу Куюнджиолу или киру Тодораки Митрову наплевать на болгарскую свободу. И компромиссаджи¹ не лучше. Ведь Касабова тоже поддерживают богаташи. Человек ни единой статейки сам написать не может. А богаташи ему вожжат...

¹ Странники компромисса с Турцией (болг.).

— Слякотный человечиска, пошленький... Чувствица, вожделеньица... Карлик! Пигмей! — злобно сказал Раковский и, закашлявшись, сплюнул.

— А богаташи для него колдуют, — упрямо повторял хаджи Димитр. — Вот уже заправляет Касабов болгарским комитетом в Бухаресте. Мало того, протянул уже комитет свои ветви по разным городам всего Влашко...

— Какие ветви? — спросил пораженный Раковский.

— Как какие? В Гюргеве, в Плоешти, у нас в Браиле,

— Что?

— И у нас... И Добри Войников состоит...

Раковский медленно повернул к Хитову свое бледное, вдруг сделавшееся странно узким и длинным лицо.

— Слышишь, Панайоте? — тихо проговорил он. — А? Червь неуспяющий ест мою душу... Ест...

Он шагнул, еще раз шагнул к окну, за которым лежала прозрачная звездная ночь и мерцали по ту сторону замерзшего Дуная веселые машинские огоньки; еще и еще шагнул. Он ловил воздух, хватал его ртом и руками и, круто упершись плечом в гладкий оконный наличник, постепенно сползал вниз...

Смерть? Нет, это еще не смерть. Она придет к Раковскому в самый разгар подготовки его чет к военным действиям на Балканах. Это не смерть Раковского. Но это конец эпохи, названной в истории его именем, — эпохи резко выраженных революционно-демократических настроений и некоторых еле заметных социальных идей.

Глава тридцать шестая

Птицы летят из гнезд

Собрались у Рудзиевских на семейном совете и отец Эузебиуш, и пан доктор Ягницкий, и пан Свентославский. Сидели впритык друг к другу вокруг маленького круглого столика в гостиной и говорили вполголоса о серьезнейшем, трудном, заманчивом и опасном деле. Сегодня пятница. А в среду вновь объявился одноглазый английский штурман с письмом от Шимона. Молодой Рудзиевский жил в Париже, частенько наезжал в Лондон и каждый раз виделся с Герценом. Как ни волновался Герцен по поводу критского восстания, но еще больше занимали его события, связанные с возникновением международной ассоциации рабочих в самом Лондоне. Идея ассоциации принадлежала Маццини, а плотью она облеклась на митинге английских и французских рабочих, выразивших свои симпатии польскому восстанию. Так родился Интернационал и через год принял регламент. Шимон был с головой в революционной работе. Поддерживать самую тесную связь с тайной организацией французских бланкистов было его постоянной обязанностью.

Но Шимон не забывал ни о матери, ни о сестре, ни о брате, видел их постоянно во сне и мечтал о встрече с ними. Встреча? Да. Но для этого надо было, чтобы пани Гедвига с семьей решилась бежать из России в Париж. Так — или никак и никогда. Счастье, что она не где-нибудь внутри Московии, а в Одессе. Шимон относился к Блэйфилу с полным доверием. А Блэйфил с охотой брался вывезти Рудзиевских из Одессы на английском океанском судне. Он ничуть не сомневался в удаче и требовал лишь как можно больше золотых — немалые тысячи золотых были необходимы ему для успеха дела. Вот какой вопрос обсуждался на семейном совете у Рудзиевских. Сначала говорили вполголоса. Потом разгорячился пан Свентославский, и речь его, торопливая, как у людей на пожаре, полилась

неудержимой струей. Затем поднял тонкий голос пан доктор Ягницкий. Наконец, зашумели все вместе. С лица пани Гедвиги схлынула краска, и панна Евелина крепко прижала к себе напуганного Адамчика. Зося старательно притворяла окна и двери. Спор шел о том, не ошибается ли Шимон, вверяя судьбу своей семьи англичанину. А вдруг окажется этот циклоп негодяем и предателем? Так именно и смотрел на Блэйфила пан доктор Ягницкий. Но пан Свентославский кричал сквозь густые сивые усы:

— А я говорю — нет!

— А я — да!

— Нет!

— *Dominus vobiscum!*¹ — возгласил отец Эuzeбиуш, складывая руки перед животом ладонями вместе.

Однако пан Свентославский не унимался.

— Тогда Шимон привлечет мошенника к ответу перед Большим съездом присяжных в Лондоне...

— Да ведь уже будет поздно!

— Не будет!

Горькая усмешка родилась в глубине сердца пани Гедвиги и медленно скривила ее губы. Она очень хорошо понимала пана Йозефа: он страстно желал вылететь на ее хвосте из России. С каким сердечным сочувствием она отнеслась бы раньше к его горячности и как возмущалась ею теперь! Что ни день презрение к этому человеку, столь внезапно себя раскрывшему, все прочнее и прочнее укреплялось в пани Гедвиге. И чем разительнее были обстоятельства, при которых презрение возникло, тем невозможнее было для пани Гедвиги подавить его в себе. Она сказала:

— Благодарю вас, панове! Не надо больше спорить. В конце концов вопрос касается нас, Рудзиевских, и мы, Рудзиевские, его решим.

— Как? — воскликнули разом все члены семейного совета.

Пани Гедвига поднялась со стула.

— Я решаюсь ехать.

Нежное личико панны Евелины казалось мертвенно белым в мерцающих отсветах притушенного лампового огня. Адамчик спросил:

— А пан Христо тоже поедет?

— Что? Какой Христо? В чем дело?

— Мой пан Христо... Он поедет?

Кто-то тихонько ахнул. Все смотрели на пани Гедвигу.

— Поедет, мой милый, почему же ему не поехать?

— Надеюсь, — неуверенно проговорил пан Йозеф, — что и я...

— Вы?

Строгая голова пани Гедвиги гордо вскинулась.

— Вы?

Больше Рудзиевская не сказала ни слова.

Прав Чернышевский: жизнь всегда идет впереди своих отражений в искусстве. Христо давно так думал. Но окончательно убедился в этом только теперь. Кажется, никакое воображение не угналось бы за быстрым ходом событий, через которые вела жизнь Евелину и Христо. Жестокая тревога столкнула их поздно-поздно вечером в саду, после первого осеннего дождика, неожиданно холодного и наполнившего воздух тяжелой сыростью, чем-то похожей на слезливую человеческую скорбь. Евелина и Христо дрожали, может быть от сырости, а может быть — что гораздо вернее — и вовсе не от нее. Евелина сказала о решении пани Гедвиги бежать из России во Францию. И, сказав, умолкла — ей надо было видеть как можно ближе и лучше глаза и лицо Христо. Она прижалась к нему,

¹ Мир вам! (дословно: господь с вами) (лат.).

прижала свою щеку к его подбородку и глядела на него, глядела... Но Христо был неподвижен и нем. Станный страх внезапно родился в душе Евелины. Почему ни слова? Как так? Почему? Оскорблен новостью? Но ведь он не знает еще главного... Евелина еще не сказала ему... Скорей же, скорей! С этого и надо было начать. Скорей! Словно спасая себя от смертельной опасности, словно убегая от рожденного этой опасностью ужаса, она зашептала:

— Христо, милый... Мама хочет, чтобы ты ехал с нами... Это можно... Можно... Милый!

Христо все еще молчал. Он не предвидел подобного. Да разве угонится за этакой полной внезапностью жизнью, разве угонится за ней фантазия? Сперва Христо ждал высылки из Одессы и, страдая, готовился к разлуке с любимой. Не выслали, нет. Раковский... Раковский помог Христо одолеть мечту, прочно заслонил его от любви. И вдруг все это изменилось, вновь изменилось все: Евелина и он вместе. От него, только от него зависит, чтобы это навсегда осталось так... И ум и совесть Христо были в тумане. Он испытывал новый, жесточайший приступ борения с собой. Железная воля гнулась под этим напором. Хорошо, он уедет в Париж. Он сблизится там с Шимоном. Войдет вслед за ним в революцию. А Болгария? А Божил Главанаков? Что скажет Божил, когда узнает об отъезде в Париж проповедника болгарской свободы? Как это отзовется на родине, дома? Отец, старый Ботю? И мать-певунья?..

Лес мой, о лес зеленый...
Раскинь листву пошире,
Чтоб стали деревья выше
И тень между ними гуще...
Есть у меня брат хайдут,
Под тенью твоей он ходит,
Отборных юнаков водит...

Христо пел вполголоса, и, по мере того как развертывалась его песня, Евелина отодвигалась от него, дрожа все сильнее и сильнее и впиваясь в него изумленным взором. Он еще и не ответил ей, а она уже знала его ответ и уже принимала удар; но, мучительно стыдясь своей беды, все еще говорила так, будто беды и не было:

— Ведь ты поедешь с нами, Христо, да? Поедешь? Скажи мне, Христо! Скажи: да!

Христо уронил голову. Слабость нашла на него; сила, отпущенная ему природой, была израсходована до дна. В мыслях Евелины сверкнуло: «Боже правый! Сдался... Мой!» Но силу своей воли Христо израсходовал не для того, чтобы сдаться. Он обессилел от стараний устоять — зато устоял.

— Сердце мое, — тихо сказал он, — я объясню тебе себя. И ты меня поймешь. И простишь. Пусть из нас двоих будешь ты Счастьем, а я — Борьбой. Уж видно, что так и написано нам на роду...

Панна Евелина выпрямилась и отступила на шаг — сразу на целый шаг.

— О, как мне жаль, — сказала она, до хруста стиснув свои маленькие руки, — как жаль, что я не мужчина!

А что бы она сделала, будь мужчиной? Нанесла ему обиду действием? Вызвала на поединок и пролила дорогую кровь? Что ж... Она была дочерью пана Людвига и пани Гедвиги. И впрямь она думала сейчас о мести и уже мстила Христо ненавистью, с которой глядела на него. Понимает ли свою низость этот жалкий человечиска?

Нет, они не объяснили себя друг другу, так и не сумели объяснить, не смогли...

* * *

На Приморском бульваре, у буфета Келя, жарилась половина Одессы. На белых скамейках за круглыми столиками сидело множество людей в высоких шляпах с узенькими полями и в широких клетчатых брюках. Августовское солнце истощало себя в предпоследних усилиях, заливая бульвар потоками расслабляющей жары и слепящего блеска. Но люди, засевшие здесь еще с утра, почти не страдали от солнца. Завсегдатаи павильона давно привыкли не замечать полдневной ярости этого чудовища. Черт с ним! Все они близко и хорошо знали друг друга и, встречаясь у Келя, изнемогали не столько от зноя, сколько от обилия самых свежих новостей. Отчаянно дымя огромными, как пушки, папиросами и перемигиваясь с соседями, они подавали какие-то условные сигналы тем, кто подходил к павильону, или уходил, или шнырял между скамейками. Они бросались громкими, крикливыми фразами, стараясь заглушить, перебить, оборвать чужую речь. А так как никто никому не уступал, то и говорили все одновременно.

— Плетете, батенька! Замостим все улицы без всяких иностранцев...

— Ах, как это было расчудесно! Светила луна, море плескалось о берег, на площадке широкой мраморной лестницы молодежь разыгрывала шарады, а мы танцевали до утра в саду между деревьями...

— Паровая мельница? Да ведь Якименко уже продал ее Бродскому!

Толстые, самодовольные, в просторных добротных костюмах, бездельники говорили, говорили, говорили...

Два человека не спеша шли по бульвару к павильону Келя. Один — высокий, стройный гвардеец-гусар с волочившейся по желтому песку саблей. Заметными казались его серьезное тонкое лицо в пышных бакенбардах и внимательные темные глаза. Другой — круглоголовый блондин в штатском, с могучими скулами под конопатой кожей и живым, веселым, смеющимся взглядом.

— Не понимаю, Люпус, — сказал гусар. — Отставка у вас в кармане, а вы околачиваетесь в Одессе. Матушка просила меня отыскать вас...

— З-зачем? — спросил Люпус, и взгляд его перестал смеяться.

— Будто не знаете? Она мечтает иметь вас при себе...

Раевский хотел еще что-то добавить. Но Люпус отрезал:

— Убей бог! Еду в Россию — жениться.

— Что? На ком же?

— На Анне Михельсон.

— Позвольте... Это та?

— Та.

— А она?

— Ждет меня.

— Гм! Странно, что вы мне никогда ни о чем подобном не говорили. Поздравляю! Но матушка огорчится. Ведь она самым серьезным образом принимает вас за отличного врача. Этакая чепуха!

— Еще какая! — пробормотал доктор, багровея и кусая губы.

— Что с вами?

— Кровушка приливает к голове. Климактерия-с.

— Хорош жених!

— Может, еще и осияю. Но уж то — дело серьезное... А на кой предмет тащитесь вы, Раевский, в Румынию? Секрет за секрет — выбалтывайте.

— Еду Гродекова повидать, что за секрет?

— Эка дружба какая, топором не разрубишь. Ну, а кому свиданка сия нужнее: вам ли, ему ли?

Люпус держал веселый тон. Но Раевский превосходно понимал, что он чему-то не верит и до чего-то непременно хочет дознаться. И поэтому

чуточку замедлил с ответом. Получилось хорошо, так как Люпус успел отвлечься от колючего разговора. Сложив большие толстопалые ручки трубой у губ, он заорал в пространство:

— Христо!

И с медвежьей лаской ухватил подбежавшего юношу за плечо.

— Каков болгарский волчонок?

Раевский спросил:

— А что вы делаете в Одессе, молодой человек?

Христо смутился. Что он делает в Одессе? В самом деле, что? Идут дни, нестерпимо длинные, противно бесцветные. И жизнь кажется гадкой, тревожной и непонятной чепухой.

— Парня выгнали из гимназии, — ответил за него лекарь, — пристроился домашним учителем в одном польском семействе. Поляки уносят ноги во Францию. Хотели бы и его прихватить. Да он...

Христо вздрогнул. «Сейчас скажет, все скажет...» Он выпрямился, чтобы принять удар. Стыд растворился в гордости — так вода без следа уходит в песок, и песок становится от этого тяжелым и плотным. Однако деликатнейшему Люпусу в голову не приходило открывать чужие тайны.

— Объясни-ка ты сам господину Раевскому, почему никуда не едешь...

— Не хочу ехать, — вымолвил Христо, глухим усилием выдавливая из своей твердости эти жесткие слова.

— Ну, а смысл?

— В Париж не хочу. А домой — денег нет.

— Ишь ты, — сказал Люпус и сморщил лоб, вспоминая, — ишь ты! А не говорил ли ты мне, дружище, будто есть у тебя богатый родственник в Бухаресте?

— Говорил, — подтвердил Христо. — Это банкир Георгиев. Он сын двоюродной сестры моего отца.

— Так поезжай, бродяга, к нему! — воскликнул доктор с таким радостным видом, как будто вовсе не Гарвей, а сам он только что открыл идею кровообращения. — Поезжай! Господин Раевский довезет тебя до Бухареста. Ась?

Раевский охотно поддержал идею.

— Не знаю ваших обстоятельств, Христо, но о родственнике вашем слышал. Я действительно уезжаю в Бухарест, и мне предстоит лично с ним познакомиться. Если желаете, могу доставить вас к нему, прямо в дом.

— Гм! — сказал Люпус. — Недурно!

— Когда вы едете, господин Раевский? — спросил Христо.

— Послезавтра.

— Ну, так и решено! — рявкнул доктор. — Беги домой, юнак, пакуй багажи!

В тени, которую павильон Келя отбрасывал от себя вдоль бульвара, двое тихонько беседовали по-английски.

— Вот что, Блэйфил, — говорил тот из них, который был худощав, медлителен, имел аккуратно зачесанные височки, бачки и выражение каменного спокойствия на алебастрово-бледном лице. — Вот что. С тех пор как я состою в должности британского финансового агента в Константинополе, вашим вымогательствам пришел конец. Поймите: я — коронный чиновник, и вы — на жалованье. Это все.

— Верно, мистер Реттингтон, — подтвердил Блэйфил, — верно, сэр! Но ведь глаз-то я потерял не по собственному желанию. И калеккой стал из-за вас.

— Миф, — с ледяным равнодушием к жалким словам матроса отозвался мистер Реттингтон. — Установлено: и глаза и чемодана с франками вы лишились по собственной глупости.

— О, как вы несправедливы, сэр!

Реттингтон не слушал.

— Когда человек действует умно, он всегда что-нибудь находит и никогда ничего не теряет. Сколько вы сорвали с польского семейства, которое отправляется в Марсель?

— Прошу прощения, сэр, — возразил Блэйфил, — но какое, черт побери, вам дело до моих маленьких удач?

— Такое же, как и до ваших неудач. Словом, я плачу вам только за услуги британскому финансовому агентству в Константинополе. Докладывайте: русский офицер еще не уехал в Бухарест?

— Нет, — живо отрапортовал Блэйфил и, метко стрельнув единственным глазом за павильон, добавил: — Да вот и сам он идет сюда. Его фамилия — Раевский. С ним...

— Тсс...

Мистер Реттингтон отвернулся. Держа в руке металлическое зеркальце, он старательно зачесывал виски на лоб. Боже, как тщательно наблюдает этот худощавый джентльмен за своей поистине респектабельной наружностью! Мимо висков и зеркальца шагали Раевский и Люпус.

— Они садятся...

— Тсс!

У столика, за которым сидели Раевский и Клещев, вырос Христо. Глаза его сверкали, лицо горело, и каждое движение было рывком вперед.

— Господин Раевский, — быстро заговорил он, — господин Раевский... Извините... Я... Мне... Я...

— Не едешь? — изумился догадливый доктор. — А почему?

Как солдаты мгновенно выстраиваются в шеренгу для цельного огня, так и мысли Христо сбились в строй. Он выпалил залпом:

— Чем у Георгиева в Бухаресте лампадки с кунжутным маслом заправлять, так уж лучше мне тут остаться. Зато голова перед тельцом золотым не сникнет!

И он тряхнул головой. Кудри на ней взметнулись. Яркий блеск плеснулся в смелых глазах. Молодец! Люпус глядел на Христо, а Раевский — на Люпуса.

— Славно! — воскликнул наконец доктор. — Славно, ей-ей! Однако что же с тобой теперь делать, юнак? Бросить на жертву глады, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной брани? Не смогу, черт возьми! Того для подумаем, авось что придумаем... Клади, брат, надежды, на Люпуса, слышь?

— Молю!

Христо выговорил роковое слово, и Раевский отвернулся от него с досадным недоумением на задумчивом лице.

* * *

Христо все глядел да глядел на коричневый дом со стрельчатыми окнами, одиноко возвышавшийся на Херсонском спуске. Странно... Как и дача на Фонтане, был теперь этот дом для него безнадежно пуст. И набейся хоть сотнями новых жильцов его печальное нутро, был бы он все-таки пуст. Между тем Христо несколько раз обошел кругом дома, заглянул в сад, в подъезд и, вдоволь наспотыкавшись о пороги и камни, остановился, не зная, что делать дальше, жадно вдыхая свежий воздух и с тоской глядя по сторонам. Тогда-то и возник перед ним пан Свентославский. Опять странно... Пан Иозеф — отъявленный враг несчастного Янека. Пан Иозеф — кичливый и глупый шляхтич. Пан Иозеф жестоко противен всему доброму, что есть в Христо. А увидев сейчас его нелепую

донкихотскую фигуру, юноша загорелся счастливым румянцем, и сердце его запрыгало так сладко, будто снова глотнуло живого воздуха неувядающей любви. И оттого, что пан Иозеф рядом, чудится Христо девушка с опущенными вниз глубокими темными очами, не желавшая больше ни видеть всего возлюбленного, ни говорить с ним, чудится, будто дивная девушка где-то совсем-совсем невдалеке. Счастье!

— Что ты здесь делаешь? — сурово осведомился пан Иозеф. — Что тебе здесь надо?

— Пришел проститься, — пробормотал Христо и, с покорностью кривая бессовестной душой, добавил: — Проститься с вами. Ведь я уезжаю из Одессы.

От неожиданности пан Иозеф размягчился.

— Куда же ты едешь?..

...Севернее Троянова Вала, на большой дороге через Кубей к Болграду, лежит в благословенной Бессарабии сельцо Задунаевка, лет сорок тому назад заселенное болгарскими выходцами из Сливенской околии. Задунаевка — болгарская колония на российской императорской земле. Потому и казенная бумага, при которой бывший ученик Одесской второй гимназии, турецкий подданный Христофор Ботев, восемнадцати лет от роду, направлялся для получения формального назначения на учительскую должность в Задунаевку, подписана была попечителем бессарабских колоний коллежским советником Ивановым (Люпусу — честь и слава!). От вида казенной печати пан Иозеф окончательно растаял.

— Марш в дом!..

...Христо рассказывал. Свентославский пыхтел трубкой и молчал. В этой столь не свойственной ему молчаливости было нечто очень загадочное. Рассказывая, Христо думал: в чем дело? От тягостного недоумения язык его уже несколько раз подвернулся самым неприятным образом. Вдруг пан Иозеф протянул длинную руку и безошибочно вытащил из навала сброшенных в пыльный угол книг большую карту Бессарабской губернии.

— Задунаевка? Ищи, ищи, у тебя глаза крепче. Вот Пандаклия, Волконешти, Чишме, Карагач... Ну, и названия, дьяблу в зубы! Ага...

Сердитое лицо пана Иозефа поднялось над картой, и в натуженных, кровью налившихся глазах засветилось мокрое тепло.

— А вот Задунаевка...

Он встал, быстро обколесил пустую гулкую комнату, звонко отступившая сапожищами по плитняковому полу и подозрительно заглядывая в окна и за дверь.

— Теперь слушай...

Все гуще да гуще хрипел пан Иозеф, принимая, как видно, хрипение свое за строжайший шепот: в Кубее живет пан Адам Пилацкий; в Рени — пан Чеслав Сошальский; а в Галаце — на румынской стороне — пан Генрик Россильон. Все дело в том, чтобы двинулись по этой цепочке из Задунаевки в Галац тайные передачи. Их будет много. Первая — польский революционный устав шестьдесят второго года...

— Ну? — прохрипел пан Иозеф.

— Согласен! — решительно сказал Христо, и фантазия его взвилась сквозь туманное облако ввысь, к самой звездной мечте.

Как это будет? А вот как. Постепенно Христо сойдется с панями из цепочки. Потом... Не вечно же будут они торчать в бессарабской, в румынской глуши. Пан Адам Пилацкий... Непременно наступит день, когда рванется оттуда пан Адам. И почему бы не рвануться ему в Париж? Или пан Чеслав, или пан Генрик... в Париж... Христо чуть слышно охнул: о-о-о! Нет, он не поедет с панями в Париж, ни за что! Он уже мог бы это сделать и не сделал, и тем растоптал свою высокую любовь. Все!

Кончено! Никаких возвратов к прошлому! Что? Никаких? А почему деньги, с таким трудом добытые для поездки в Задунаевку, все еще прожигают худой карман Христо? Почему и Люпус уехал, и бумага, подписанная коллежским советником Ивановым, порядком измохрилась по углам, а он, Христо, все еще дышит и дышит дурманым воздухом Фонтана, Херсонского спуска, дышит и не может надышаться? Где же предел колебаниям? И есть ли для них предел?

Пану Свентославскому захотелось быть щедрым на манер старинного магнатства.

— А не надо тебе золотых?

И он уже полез было правой рукой в жилет, расправляя левой длинные усы и прикидываясь, будто шутка из него так и прет.

— Москалей черт учил: бьют — беги, дают — бери. А?

— Не надо! — гордо сказал Христо, — Оставьте ваши золотые себе. А мне — адреса. Завтра я еду в Задунаевку.

— И то добро, — безропотно согласился пан Иозеф. — Добро, хлопчик!

Глава тридцать седьмая

Пауки в банке

Поезд подкатил к «Филарету»¹. В шумливом потоке пассажиров, выливавшемся из вагонов на перрон, бросался в глаза один, в превосходно сшитом коротеньком парижском пальто и соломенной шляпе из тех, что выпускаются в Европе только знаменитой тосканской фабрикой и потому очень легко узнаются. Не успел приезжий раза два шагнуть по перрону, как могучий красавец с густой светлой бородой и резким профилем заграбастал его в объятия. Встречавший был в военном кепи с русской кокардой и в серой офицерской шинели из толстого сукна.

— Раевский!

— Гродеков!

Это происходило во второй половине августа, вскоре после успенья, и румынская столица была в разгаре деловой суеты. Гродеков и Раевский вышли из вокзала на площадь и сразу уселись в просторный извозничий пароконный фаэтон. Кучер-скопец повернул к ним с облучка обрюзгшее бабье лицо и, что-то умозаключив, спросил прямо по-русски:

— Куда прикажете, господа хорошие?

И вот Бухарест полетел мимо. Это был очень зеленый город, широко раскинувшийся на холмах и ослепительно сверкавший жестяными крышами церквей и домов. На главной улице Подумогошей бурлило многолюдье. Молодые франты толпились на панелях, сидели у кофеен и, оставившая посреди улиц коляски, подолгу беседовали со знакомыми дамами в драгоценных палантинах. Сквозь стекла громадных витрин отчетливо виднелось забитое товарами нутро магазинов. Фаэтон ровно катился по мостовой из поставленных на ребро каменных кубиков и наконец докатился до большой и роскошной гостиницы «Hôtel de Boulevard»². Внутренний двор под стеклянным куполом неожиданно заменял здесь собой общий зал. Куда ни глянь, везде цветы и пальмы, свежие струйки бьющей из фонтанчиков воды. Под ногами — узорчатый пол, выложенный, как громадная, но цельная мозаичная картина.

Молчаливый немец, с очень корректной наружностью встретил гостей низкими поклонами и проводил на второй этаж...

¹ Северный вокзал в Бухаресте.

² «Гостиница на Бульваре» (франц.).

...Через полчаса друзья сидели за серебряным чайным прибором, с лимоном, сливками, ромом, перед серебряной корзинкой с сухариками, и вполголоса обсуждали планы своих действий. Гродекову надо было оформить в Бухаресте вступление в румынскую армию и представиться новому князю Карлу. А Раевский... Его дела были посложнее.

...Раевскому еще не стукнуло и двадцати восьми лет. На четвертом году он лишился отца и большую часть детства провел в Италии, Франции и Англии. Богатый, знатный, умный, образованный, талантливый, самоотверженный, энергичный, свободный в решениях и поступках, он мог бы считаться вполне счастливым человеком, человеком удачи, хорошо оседлавшим жизнь. Так и думали о нем все те, кто ему завидовал. Но сам он этого не думал. Он считал себя законченным типом неудачника, у которого до сих пор не опустились руки только потому, что характер таков: чем больше препятствий, тем горячее борьба. Дело отнюдь не в счастье или несчастье. Дело не в том, «везет» или «не везет». Действует закономерность. Жизнь устроена странно: самое живое в ней замуровано и должно пробиваться наружу с невероятными усилиями. Раевский отлично знал это по себе. Так получалось у него в университете с математикой; потом — с опытами разведения хлопка в Крыму; с докладами в Русском географическом обществе; и, наконец, с несколько авантюрной ролью политического добровольца, которую он принял теперь на себя в так называемом славянском вопросе. Раевский обладал редкой способностью верить в дело искренне и полно. Ему была в высшей степени свойственна потребность жить чем-нибудь очень широким. Когда случалось ему уверовать в большое дело, он вместе с этим делом рос, болел, падал, поднимался, страдал, истощался и ширился. Славянский вопрос... Уже и на этом скользком пути Раевский успел преодолеть немало трудностей. И отсюда возникла его жизнерадостная уверенность.

— А что ты знаешь, Дмитрий, о болгарских эмигрантах в Румынии? — спрашивал он Гродекова с откровенным до жадности любопытством. — Что это за люди? Кто они?

Лицо Гродекова краснело, краснело и наконец сделалось багровым.

— Кто они? — сердито повторил он и отвернулся. — Кто? Дело известное: «старые», «молодые»...

Раевский вынул из кармана листок бумаги, тщательно расчерченный на графы и густо покрытый записями.

— И это все, что тебе о них известно? — сказал он, усмехаясь и кидая листок на стол перед Гродековым. — Мне — больше. Вот болгарская эмиграция в Румынии...

| „Старые“ | | „Молодые“ | | |
|---|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| Русофилы-автономисты („Добродетельная дружина“) | Туркофилы | Дуалисты (БЦТК) | Революционеры (сторонники Раковского) | |
| | | | Умеренные | Крайние |

Гродеков глазам не верил. Как? Он уже больше месяца живет здесь бок о бок с эмиграцией и не может разобраться, а Раевский сегодня приехал — и в полном курсе. Откуда? И что за необыкновенная способность все обнять схемой! БЦТК... Да, это болгарский центральный тайный комитет. Его выдумал некий Касабов, — теперь он бросил заниматься большой политикой и недавно уехал в Плоешти учить болгарских ребят. Касабовцы зовут свой комитет тайным, а каждая собака в Бухаресте слышит о нем ежедневно. Ну и Гродеков слышал. А Раевский?

— Касабовцы считают,— говорил Раевский сухо-докторальным тоном, точно профессор с кафедры, — что никакая чужеземная помощь не освободит Болгарии. А в революцию не верят. Что им остается? Компромисс с турецким правительством. Мечтают о дуализме, наподобие австро-венгерского...

Раевский внимательно поглядел на Гродекова, как бы проверяя выражением его лица правильность того, что говорил. Но выражение гродековского лица его несколько смутило.

— Я ошибаюсь?

Гродеков молчал. Раевский хотел улыбнуться, но раздумал.

— Торговцы, лавочники...— опять заговорил он.— Кажется, есть и состоятельные люди. Но большинство — мелочь. И мелочь эта тянет БЦТК к Раковскому, в революцию...

Он показал на одну из клеток своей схемы.

— Видишь? Крайние.

Потом передвинул палец.

— Умеренные.

— Откуда ты все это знаешь?— вдруг спросил Гродеков и помрачнел.

Раевский нервно передернул острыми плечами.

— Еще в России... Но того, что знаю, для моих планов недостаточно.

— Планов? Какие же у тебя планы?

— Надо свести к минимуму расхождения между политическими группами болгарской эмиграции в Румынии. Надо сблизить касабовский БЦТК с «Добродетельной дружиной», а «дружину» через касабовцев — с умеренными сторонниками Раковского. Надо разработать «Проект организации на Балканах». И... для этого ты мне очень нужен, Дмитрий!

Гродеков встал, с грохотом отодвинув ногой тяжелый стул.

— Фантазмагория! Скажу прямо: с группой Раковского я связан. Но сбивать ее с революционного толку не стану.

Они заспорили: Гродеков — горячась, краснея, пуча синие глаза и расшвыривая в сторону пудовые кулаки, а Раевский — уходя в себя, холодея, как на морозе, и сжимаясь, как пружина в замке. Плечи его вздрагивали, будто тронутые быстрой летучей судорогой.

— Сбивать с толку? Я тоже скажу тебе прямо: Россия хочет дать деньги и оружие здешним болгарам. Но революции на Балканах Россия не хочет. Следовательно, и у нас с тобой лишь один путь.

— Почему, черт возьми, один? Хочет Россия революции или не хочет, а я хочу. Ты надоумил меня взяться за дело болгарской свободы. Спасибо! Вот я приехал сюда. Зачем? По гроб жизни служить верой-правдой князю Карлу? Нет, я приехал драться за Болгарию. Кто хочет драться — с тем и я. Просто!

— Не совсем. Сперва узнай, кто именно намерен драться. И как будет драться. А уж тогда будет видно, что нужнее повстанцам — ротмистр Гродеков своей персоной или обозы русских ружей и патронов. Так?

— Пожалуй, — пробормотал сконфуженный Гродеков, — пожалуй... Хорошо. Разведаю у «молодых»...

— Очень обяжешь, — деловито сказал Раевский, — а я начну с визита к Христу Георгиеву...

— К..?

— Именно. Здешний болгарский Ротшильд. Нотабль¹. Главнейшая фигура в «Добродетельной дружине». Начну с него. До вечера?

— На «Шоссе».

— Ужинаем у Брота.

¹ Именитый человек (франц.).

— Все?

— Все.

Гродеков быстро пошел к двери. Но, уже взявшись за дверную ручку, остановился и медленно повернул лицо к Раевскому.

— Николай!..

— Да?

— Я должен тебя спросить. Это все-таки очень странно.

— Что?

— Как тебе сказать? Видишь ли... Вот я приехал. Солдат приехал на драку. Ну... а ты?

— И я солдат...

— Но ты не в солдатском качестве приехал. Совсем в другом. Ты говоришь от имени России. Штаб-ротмистр Раевский говорит от имени России,— черт знает что! Может ли это быть? Словом, при чем тут ты, Николай?

Раевский глядел на пестрый бульвар, звонко шумевший за раскрытым окном.

— Я?— переспросил он, нехотя отводя внимательный взгляд темных глаз от бульвара. — При чем я? Гм! Скажу, если хочешь. Я выполняю здесь поручение Славянского комитета.

— Иван Аксаков? Генерал Черняев?

— Они. Кроме того, я командирован сюда военным министром.

— Милютиным?

— Да.

— Зачем?

Тонкая бледная рука Раевского тихо прошлась по пышным бакемам.

— И это скажу. Происходит, Дмитрий, то, чего еще не бывало в России. Общественное мнение и правительство солидаризируются на основе славянского вопроса. Да, да, Дмитрий! Общественное мнение требует поддержать Болгарию. Правительство идет на это. И я, Дмитрий, та самая живая точка, тот самый рычажок, через посредство которого как бы объединяются сейчас на Балканах усилия обеих враждующих в России сторон.

Атлетическая грудь Гродекова испустила глубокий вздох.

— Слава богу!— сказал он, заслоняя дверь своими аршинными плечами. — Хоть это и плохо, но все-таки лучше того, что мне пришло в голову.

Раевский поднялся со стула, бледный и серьезный.

— А что пришло тебе в голову?

— Ахинея! Я принял тебя за...

Дверь за Гродековым захлопнулась, приглушив его последние слова. «Глуп,— сказал себе Раевский, как только остался один,— глуп невероятно. Но что же все-таки неладного находит он в том, что я здесь? Судьба подарила мне дело, при одной мысли о котором я уже и горд и счастлив. Ничего не может быть выше и чище моей задачи: примирить волнуемое русское общество с русской властью на добром единстве их славянских чувств и примирением этим спасти Болгарию. Боже, помоги мне! Нет войны — я мирный славянский деятель на Балканах. Закипит на Балканах война — я же первый брошусь в ее огонь. Да, да, да...» Раевский шагнул через порог соседней ванной комнаты и остановился перед овальным зеркалом под зеленой занавеской. Давно уже пора было бы ему переодеться и ехать к «нотаблю» Георгиеву. Но раздумье еще не успело в нем отстояться. Глуп, глуп Дмитрий! Святое дело Раевского кажется ему... чем? Он не договорил, убегая. И от недоговоренности этой осталось в душе Раевского что-то гадкое. Брр! Переодеться... Но руки Раевского действовали вяло и медлительно. Его

легкая, стройная фигура утратила обычную поворотливость. Нервный холодок сжимал сердце. Брр!.. Наконец он осилил себя, гордо поднял голову и сказал вслух:

— Будет война, и посмотрим, как-то Гродеков угонится тогда за Раевским!

* * *

Христо Георгиев жил на Французской улице, в красивом доме с полукруглым крыльцом, обнесённым колоннами. Слуга провел Раевского в большой темно-малиновый кабинет, обставленный резной европейской мебелью из неполированного ореха. За кабинетом виднелась гостиная с зеркалами в золоченых рамах, лазоревой штофной обивкой и мраморным столом посередине. «Нотабль» жил богато. Несмотря на теплый августовский полдень, яркий огонь пылал в камине, отражаясь светлыми зайчиками на красных драпри. Около каминного стоял здоровенный чело-вечище в черном сюртуке, перебирая в руках палестинские четки, купленные, наверно, у самого гроба господня. Широкое лицо этого человека, обросшее по подбородку и скулам мелко вьющейся короткой весьма темной бородой, было так густо покрыто наростами, что походило больше на ивовую кору, чем на лицо, а нос — на заплесневелый груздь. Это и был Христо Георгиев. Здороваясь, он сделал такое движение, как будто его жиганули прутиком сзади, и сейчас же закричал, хлопая в ладоши и подскакивая, словно разыгравшийся медведь.

— Эй! Завтрак! Завтрак!

И, снова подскакивая и припадая лицом к плечу Раевского, повторял:

— Удостойте! Сделайте милость! Свежая дунайская стерлядь, нежная и сладкая...

...Завтрак действительно был хорош, и стерлядь тонкостью вкуса изумила Раевского. Груздь на лице хозяина взволнованно шевелился. Георгиев рассказывал историю «Добродетельной дружины». Она возникла в январе шестьдесят второго года, путем преобразования Центрального болгарского попечительства «Эпитропия». В «Дружине» объединились «старые».

— Только не путайте наших «старых» с туркофилами, — говорил Георгиев, — которые готовы жизнь отдать за целостность Турецкой империи. Есть, есть у нас такие, порази их господь! И такие есть еще «старые», которые хоть и боятся османских грабежей и насилий, но хотят торговать не иначе, как в Стамбуле или в Малой Азии. Все их надежды на султана. Да покарает господь и это паршивое стадо! А мы — настоящие «старые» — горячо любим Россию, почти все обучались на ее священной земле и надеемся только на православного русский монарха...

Раевский все это очень хорошо знал еще до встречи с Георгиевым и даже гораздо больше знал, чем рассказывал сейчас «нотабль». И потому спросил о том, что казалось ему гораздо менее ясным:

— А что вы скажете, господин Христки, о людях Раковского?

«Нотабля» подбросило в кресле.

— Что я могу сказать о них, уважаемый господин Раевский, — прошипел он внезапно охрипшим голосом, — если это хыши и голтацы без чести, без совести и без гроша в кармане? А сам Раковский... Буйная голова, авантюрист...

Георгиев вскочил, подбежал к двери кабинета, потянул за шелковый шнурок, и дверь задернулась тяжелой красной портьерой. Тогда он вернулся на место и, приблизив свой груздь почти вплотную к носу Раевского, не столько сказал, сколько выдохнул:

— Раковский — шпион. Мы точно это знаем. Он кровно связан с польскими изменниками России...

— Доказательства, господин Христки?— строго проговорил Раевский.

Георгиев перебрал четки быстрыми пальцами. Серые губы его вздулись. Ярость засветилась в полузакрытых глазах.

— Да паразит господь этого человека! Вот доказательства. В Одессе, в доме польских изменников Рудзиевских, живет болгарский юнак из Калофера, прескверный, насквозь испорченный мальчишка. Его гимназический приятель, Главанаков, служит в торговом деле господина Мироновича Тошкова. Когда-то этот Главанаков был очень любим Раковским, да и теперь — Раковский, как вы знаете, несколько месяцев околичивался в Одессе — все еще продолжает оставаться у него своим человеком. Что такое Рудзиевские? Гиблые революционеры. У них непрерывная переписка с турецким генералом Садык-пашой. Слыхали про такого? Это ни больше, ни меньше, как поляк Михаил Чайковский, перешедший из католичества в ислам. Кроме того, он французский агент в Турции. Прибавьте сюда еще румынские интриги Раковского в пользу князя Кузы. Теперь я вас спрошу: не ясно ли видно, как тянется шпионская нить от Раковского через Главанакова, калоферского мальчишку Ботева и Рудзиевских прямо к Садык-паше? А? А вы можете еще сомневаться, что Раковский — гнусный разбойник из польско-румынской революционной шайки?

— Мои сведения, господин Христки, несколько свежее ваших. Мне, например, известно, что Рудзиевские уехали из Одессы в Париж...

— Но Садык-паша...

— Думаю, он ни при чем. А что касается болгарского юноши, который действительно жил у Рудзиевских, то и он теперь далеко от Одессы. Кстати, я его знаю и нахожу недурным парнем. Я чуть не привез его сюда, к вам. Ведь он ваш родственник?

Георгиев вздохнул, соглашаясь через силу.

— Д-да... Счастье, что он не приехал.

— Почему?

— Потому что попрошайничество хышей может мертвого вывести из терпения. Да и отец этого бездельника не лучше.

Георгиев выхватил из кармана серый конверт с красной сургучной печатью и энергично махнул им перед собой.

— Послание старого вымогателя... О чем? А вот, пожалуйста. Потерял, видите ли, за три года четверых детей — один сын парализован, другой угодил к русской полиции под надзор — отцовское сердце болит, и грудь все большей раздирается кашлем. Давят житейские заботы, смелость и бодрость пропали, и оказался старичок в полной власти калоферских чорбаджий Митрова и Куянджиолу. Они ежегодно снижают ему оплату, а дети-то растут, и вместе с ними расходы. Уже некоторые калоферцы не признают его больше необходимым для города. А он все еще считает, что было бы с его стороны неблагодарным — уйти. И болель... Однако бай Ботю не просит денег, нет, нет, не просит. Знает, мошенник, что просить бесполезно, ибо ему денег никто на свете не даст, даже и благодетельный сродник Христки. Действует он много хитрей. Хочется ему, видите ли, доставить мне случай совершить родолюбивое дело. И совершится такое дело, как только я закуплю у него некое количество экземпляров книги Венелина, — он когда-то перевел ее с русского языка и до сей поры распродать не может, — с тем чтобы раздавать эту книгу бесплатно ученикам болгарских школ в награду за успехи. А? Какова ловкость нищенской руки? Так и лезет в мой карман...

— Вы ответили старику? — осведомился Раевский.

— Я? Зачем?

Георгиев швырнул письмо Ботю в ярко пылавший камин. И серый конверт, треща сургучной печатью, истлел и распался, не успев долететь до огня.

— О господин Раевский! — задыхаясь от злости, простонал Георгиев. — Господин Раевский! Неужто же и теперь вам не ясно, что для одесского сорванца нет дороги в мой дом? Кажется, его уже выгнали из русской гимназии. Что удивительного? Иначе быть не могло. Безделье — страшный порок. Для хышей у меня лишь одно слово: сперва работай, а потом надейся, негодяй! В этих вопросах я тверд, как камень, уважаемый господин Раевский!

— Боюсь, что ваш молодой родственник не мягче вас. Знаете, почему я не взял его с собой? Он наотрез отказался видеть вас и иметь с вами дело.

— Отлично, отлично, — повторял Георгиев, все ускоряя свою возню с четками, — и бог с ним, и бог с ним...

— Вернемся к главному, — сказал Раевский. — Итак, вы утверждаете, что Раковский — шпион. Правда ли? Кажется, нить, протянутая вами через него к Садык-паше, висит в воздухе. Согласитесь...

Однако соглашаться Георгиев не думал. Он говорил, говорил и говорил, все с новым и новым ожесточением понося Раковского, и «молодых» касабовцев, и туркофилов, обливая их всех помоями сплетен и грязных намеков и до небес превознося «Добродетельную дружину». Полуболгарские, полутурецкие, полугреческие, полурумынские имена так и сыпались с его языка. Этот начал карьеру мальчиком в турецком гареме. Тот — танцовщиком в кофейне. А кто-то вылез в люди из самых грязных чубукчи. Совсем иное дело «Дружина».

— Вот люди! — восклицал «нотабль», и от восторга ивовые наросты на его лице набухали кровью. — Что за люди! Доктор Протич, преподаватель медицинской школы в Бухаресте... Всей Румынии известный торговец Станкович... Митрополит Панарет Пелагонийский — владыка, каких не сыщешь... Петр Кутов из Габрова... Доктор Атанасович, кассир... Если вам станут говорить, будто его словили на каких-то махинациях с кассой, ради создателя не верьте... Ложь и клевета! Какие честные, порядочные, обеспеченные, спокойные, уравновешенные люди... Один лучше другого!

Раевский слушал, и ему казалось, будто вместо четок в руках Георгиева и так и сяк повертывается аршин его понятий о правде и добре, о дурном и хорошем и что аршин этот Георгиев то прячет, то вновь вынимает из кармана, где воедино собрана вся его философия. Раевский с трудом превозмогал в себе чувство отвращения к «нотаблю».

— Русийское правительство желает, — рассказывал Георгиев, — и мы намерены обратиться в Белград с предложением действовать сообща против турок. Мною сочиняется для сей цели «Программа политических и сердечных отношений между сербами и болгарами». Двенадцать членов «Добродетельной дружины» готовы поставить под ней свою подпись. Прошу вас ознакомиться с ней. Вы увидите, что мы стремимся к созданию на Балканах сильного Югославянского царства. Единый верховный вождь из династии сербских Обреновичей, общее знамя, герб, церковь, скупщина. Только такое государство сможет воспрепятствовать захватнической политике западноевропейских держав...

Георгиев испуганно оглянулся и договорил шепотом:

— Идея эта исходит от русийского правительства, а мы лишь...

— Несомненно, — спокойно подтвердил Раевский, — балканская федерация — русская идея. Россия этого хочет.

Но чем спокойнее он держался, тем тревожнее себя чувствовал. Его прислали сюда для составления «Проекта организации на Балканах». Однако такой-то именно проект и составляется уже этим толстым черным

человеком и его товарищами. Значит, два «Проекта»? Абсурд. Между тем он видел ясно, как узколобо изобретательство банкира Георгиева, толкующего об Югославянском царстве на Балканах, когда между болгарскими эмигрантами в Бухаресте кипит непримиримая вражда. Нет, господин банкир! К установлению внешней гармонии необходимо идти от устранения внутреннего беспорядка. Два «Проекта»? Может быть, это и не абсурд...

— Позвольте вас спросить, господин Христки, — осторожно сказал Раевский, — разве Раковский не стремится в основе к тому же, что и вы? Ведь и он добивается единодушного сотрудничества балканских народов в борьбе против турок. А если так, то почему бы, спрошу вас, почему бы «Добродетельной дружине» не объединить в этом деле своих усилий с усилиями Раковского и его людей?

Георгиев медленно поднялся с кресла. Белые от бешенства глаза его смотрели на Раевского, как на диво, выпущенное из адского нутра, чтобы поганить божий мир. И светские манеры гостя, и его элегантный весенний костюм, и цветок в петлице, и тосканская шляпа из тончайшей соломки на коленях — адов промысл, да!

— Господь сохранит нас, — шептали синие губы «нотабля». — Раковскому не нужно никакое славянское государство. Он хочет только революции. Пусть же небо упадет на землю и Дунай потечет обратно, если мы согласимся сделать хоть шаг по его пути. Ни русийское правительство, ни господин Аксаков, ни знаменитый генерал Черняев не могут желать того!

Он выговорил все это с ошеломляющей страстностью. И Раевский невольно подумал о том, как бесстрастны и холодны были расчеты, с которыми он сюда приехал. Какими бесконечно далекими от практических возможностей примирения внутри болгарской эмиграции представлялись ему сейчас эти расчеты! Гродеков прав: между враждующими — бездна. Раевский вдруг понял это. Но там, в России, ни военный министр Милютин, ни Аксаков, ни Черняев, никто не видит, не знает и не понимает этого.

— Вы предлагаете нам объединиться с Раковским, — шипел Георгиев. — О, какое это большое зло! Не принуждайте, молю вас. Не отвращайте нашу «Дружину» от преданности и любви, с которыми она взирает на блаженное лицо августейшего русийского монарха. Слава господу, сблизить нас с революцией невозможно. Но смотрите, как бы не бросились мы с отчаяния в другую сторону, в противоположную...

— О чем вы говорите? — спросил Раевский, с удивлением ощущая, как холодеют в этой жаркой комнате его руки.

— Я призываю вас, уважаемый господин Раевский, не толкать нас в нечестивые объятия султана. Мы — не касабовцы. Но...

Георгиев закрыл лицо руками, делая вид, будто плачет.

— Но уж лучше, пожалуй, старые господа и древнее рабство, чем новое господство и хыши с голтацами у кормила нашей несчастной страны!

* * *

Что такое болгарский клуб в Бухаресте? Это ресторанчик неподалеку от законодательных румынских палат и улицы Могошей, с садиком и с музыкой по вечерам. Содержал его болгарин Ставри. Посетители входили в общую залу, садились за столики, пили кофе или закусывали. Подавал сам Ставри, черномазый, в широком белом фартуке и плоском колпаке. Ставри не умел шутить, не знал никаких веселых присловий, а лицо имел насупленное и хмурое. Днем в общей зале царствовала натянутость, вечером пиликали скрипки, но и от этого натянутость не пропадала. Посетители видели: не то. Вставали из-за столиков и уходили. Внимательный взгляд мог бы при этом обнаружить странное явление. Ставри облегченно вздыхал, и на хмуром лице его появлялось что-то вроде улыбки. И еще

в одном случае мелькала улыбка на его суровых, плотно сжатых губах,— когда человек, вошедший в залу, не садился за столик, а шел прямо в заднюю дверь и при этом на ходу подмигивал хозяину. Итак, Ставри радовался, когда обычные гости уходили, а необычные приходили. Вот для этих-то вторых гостей и держал Ставри, кроме ресторана, болгарский клуб.

Это была небольшая комната позади общей залы, и доступ в нее имели только посвященные. Поэтому, когда несколько «молодых» провели за собой через залу рослого незнакомца с военной выправкой, Ставри был так поражен, что даже не улыбнулся. Клубная комната была вдоль и поперек заставлена столами. На столах лежали груды журналов и газет. Гродекову бросился в глаза русский «Северный Вестник». За столами молча сидели читатели — с полсотни молодых людей, уткнувшихся носами в газетные полосы. Они вместе молчали, но и говорить начинали тоже вместе, зараз; потом замолкали, как по команде. Происходило это, вероятно, от привычки молчать. Но на Гродекова подействовало, как заранее срепетированное театральное представление. Он смущенно ухватился за русский «Вестник». Однако читатели повскакали с мест и, враз заговорив, окружили Гродекова...

...В комнату вошли еще двое: один — высокий, худой, с изможденным лицом и глубоко запавшими, смертельно усталыми глазами; другой — малорослый, коренастый, усатый богатырь с железным подбородком. И снова в комнате — тишина.

— Садись, бай Георгий, — заботливо сказал усач, — садись, отдохни...

И левой рукой — уж не левша ли? — подвинул скамейку. Раковский улыбнулся.

— Стою, Панайоте, стою...

Но, сказав это, тотчас же сел, сторбившись и похрипывая при каждом вздохе...

Глава тридцать восьмая

Бубны за горами

Красивая тетрадь в тисненном переплете из гладкой коричневой кожи с надписью на первой странице «Дневник путешествия на Балканы» лежала в самом центре светлого круга, который лампа бросала на зеленое сукно бюро. Бронзовый монах вышел на балкончик острроверхой колокольни и двенадцать раз ударил по бронзовой доске — часы пробили полночь. Спать? Рано... В халате Раевский не казался ни худым, ни тонким. Кисти свисали, болтаясь на длинных шнурах между коленями. Выше пояса халат распахнулся, и сорочка, такая чистая, что, глядя на нее, хотелось зажмуриться, открывала сильную, смелую, ровно дышащую грудь. Раевский так нагнулся над столом, чтобы правый локоть его лежал на столешнице, а левый упирался в бедро, и перо его ходко бежало по странице. Вероятно, Раевский еще думал тогда, что эти страницы переживут его...

«...Вечером Гродеков и я встретились на «Шоссе». Это длинная теннисная аллея, ведущая к северу от Бухареста в направлении к Плоешти. Для гуляния — превосходный парк. Одна пара... Другая... Множество веселых, смешливых, шумливых, беззаботно радующихся своему счастью влюбленных пар. Я показал на них Дмитрию. Он вздохнул. «Любовь — составная часть физического существования». И все. Глупость? Или нечто худшее? Не дух ли времени, затемняющий даже и сильные умы? По свойственному мне упрямству чувств я до самого вечера не смог отделаться от скверного воспоминания об утренней размолвке с Гродековым. Дмитрий — не я. На него быстро находит, но сходит еще быстрее. Не тут-то было! Глядит сентябрем, да и глядит в сторону. Ни я не возвра-

щаюсь к утренней теме, ни он. Что-то стеной стоит между нами. Этого никогда не было прежде. С тех пор, как я узнал Дмитрия, он всегда казался мне зыбкой трясинной, которая всасывает в себя все подряд — и хорошее и дурное; или, вернее, — глубокой пахотью, в которую какое семя ни кинь, непременно вернет рожью. И казалось мне еще, что верховный голос разума в наших отношениях — за мной; а ведь этим только и дается право власти над личностью. Теперь не знаю, что думать... Революция его заворожила. Она-то и стоит стеной между нами.

Рассказывая Гродекову о неудаче моих переговоров с Георгиевым, я не мог скрыть ни досады своей, ни растерянности. Действительно: выяснилось, что «старые» боятся революции больше, чем турок, а к России тяготеют только потому, что русское правительство антиреволюционно. Россия не казенная, не петербургская их не интересует совершенно. Это — они. А болгарский народ? Не знаю. Во-первых, его здесь нет. Во-вторых, чем дальше народ от движения истории, тем упорнее держится за знакомое и хорошо усвоенное. Георгиев говорит: «Лучше старое султанское рабство, чем новое господство революционеров». Я понимаю его. Он может и даже должен именно так рассуждать. Но вместе с тем я понимаю и гибельность его взгляда для Болгарии. Историческая память турецких правителей хранит главным образом предания власти над славянскими народами. Без владычества над славянами османлисы не могут и представить себе свое политическое и государственное существование. Только революция может спасти Болгарию, если не помешает Россия; только Россия спасет ее, если не помешает революция. Но ведь есть еще и «Европа». Для патриотизма «Европы» требуется, чтобы славянское население Балкан бедствовало под османским ярмом, пребывая в вечном малолетстве. А чего ищет русский патриотизм? Справедливости и свободы для братьев. С точки зрения интересов «Европы», самое существование России, ее естественный рост и естественная прибыль ее внутренней силы несовместимы с выгодами «Европы». Упрекают Россию ее могуществом. Но разве она украла свое могущество? Она добыла его терпением и кровью. Под Европой «Европы» разумеет по преимуществу себя и этим как бы запрещает России видеть свое историческое призвание в освобождении славян. А между тем освобождение славян — дело родственной любви, а не корысти или расчета; следовательно, это наше, только наше, русское дело...

И в России и по дороге сюда я готов был за правильность этих мыслей ответить головой. Но первый же разговор с Георгиевым путает мои карты. Да и Гродеков тоже горячо спорит со мной. Он побывал сегодня в каком-то болгарском революционном клубе, наговорился с самыми крайними «молодыми», наслушался, надышался, нанюхался запахов совсем не русских и, кажется, окончательно пропал для меня. На «Шоссе» он появился как ревностнейший ученик Раковского.

— Что твои «старые»? Знаешь, как Раковский зовет их?

— Нет.

— Разрушители народного духа...

Может быть, прав Раковский. Может быть, не все те мысли, с которыми я ехал сюда и которые записал выше, справедливы. Я перечитал сейчас запись и вижу ясно — карты мои спутаны так, что и колоды не подберешь. Я начинаю думать, что мир в эмиграции — фантазия вообще, независимо от того, создавать ли его изнутри или под воздействием извне. И Георгиев и Гродеков оба правы. Но не во всем. Если Сербия и впрямь, как полагают в Петербурге, возьмет на себя роль гегемона в борьбе балканских народов с Турцией, то разве не войдет в общий план этой борьбы и та сравнительно большая и правильная война с турками, которую взамен прежних разрозненных партизанских

движений, по-видимому, замыслил Раковский? Войдет непременно. И тогда эгида России объединит для общего дела нотаблей, касабовцев, сербов и Раковского. Как три карты мучат Германа в «Пиковой даме», так два «Проекта» — меня...

...Ужинал с Гродековым у Брофта. Недурная русская кухня. Румяная кулебяка... Огурцы в уксусе... Грибки в маринаде... К черту грибки! Вот что странно: люди охотно пользуются добродушием, но весьма мало ценят его. Гродеков был очень добродушен раньше, и я любил в нем это свойство, но не ставил высоко. Теперь жалею. Перестав быть добродушной, его грубость сделалась злой. Рады видеть друг друга, знаем, понимаем, любим один другого — от всего этого вдруг ничего не осталось. Только гнев и возмущение. Я сказал за ужином: «Бывают, брат, положения, когда ничего больше не придумаешь, как по возможности дружить со всеми».

Гродеков взорвался.

— А я говорю: компромиссы — пошлость! Они-то и приучают людей ко всякой мерзости!

Проревев эту фразу, он несколько затих и, попыхтев еще немножко, добавил вполголоса:

— Ах, Николай! Сегодня я понял главное. Борьба здешних болгарских революционеров против русского славянофильства, против «Московских Ведомостей», против царского правительства — ведь это же и есть, собственно, настоящая борьба за свободу Болгарии и за народные основы ее жизни. И вдруг ты о каких-то компромиссах...

Мне стало чуть-чуть не по себе. Совестно? Хорошо, так и запишу: «Стало совестно».

«...Меня познакомили с молодым человеком, приехавшим из Большого Парижа в Малый (то есть в Бухарест) по каким-то торговым делам. Он сын богатого болгарского коммерсанта из города Каллофера, известного грекомана. Зовут его Аристотел Митров. Раньше он учился в Афинском университете, а теперь доучивается в Сорбонне, одновременно ворочая по доверию отца миллионами. Это третий Аристотель, с которым я встречаюсь в жизни. Первый — великий философ древности. Второй строил Московский кремль. А этот... не знаю, что сказать. Кудрявый, как баран, с хитрой ухмылкой на узких губах, обведенных с обеих сторон глубокими морщинами. Лицо розовое, свежее, но какое-то немолодое. Вид парижского бульвардье — цилиндр, дорогая трость. Ничего болгарского. И языка своего не знает. С соотечественниками объясняется по-гречески; со мной — по-французски. Что же это за Аристотель? Абсолютно не понимаю...

...Христо Георгиев пригласил Митрова, с которым у него финансовые дела, и меня поужинать в кондитерской Фраскати. Мне показалось, что перспектива провести вечер в моем обществе очень польстила самолюбию Митрова. Он принял приглашение, зардевшись от удовольствия, и вдруг сделался молодым. Хрипя и задыхаясь от тучности, Христки болтал о том о сем, еще раз о том о сем и наконец проболтался. Дело касается переговоров «Добродетельной дружины» с Сербией. Уже несколько дней, как я заподозрил неладное и, оказываясь, был прав. Сербия виляет. Белградское правительство не прочь подписать «Программу», сочиненную Христки. Но оно отказывается верить, что автор этого документа и болгарский народ — одно и то же. Сербы желают сперва убедиться, что Георгиев с нотаблями их не надувает, а уже потом говорить о заключении договора. Резонно? Вполне. Ну, и пусть выкручиваются. А тем временем моя работа над «Проектом» все ближе к вожделенному концу...

От Фраскати Митров и я, уже вдвоем, попали на вечернее сборище в казино Гишара. Здесь было много дам. Куконы похожи на гречанок в турецких чалмах. Боже, как они стреляли своими бойкими черными глазами в Аристотела! Впрочем, несколько выстрелов попало и в меня под фривольные мотивы из «Мадам Анго». И вдруг сразу, ни с того ни с сего, Митров точно за горло меня ухватил:

— А ведь это хорошо, что мы мало знаем друг друга!

— Почему?

— Потому что можем говорить откровенно.

«Ах, черт возьми!» — подумал я и сказал мало располагающим к дружбе тоном:

— Нахожу, что вполне откровенный разговор возможен только между очень близкими людьми.

— Ошибаетесь. Нет людей ближе, чем муж и жена. А ведь никто не обманывает друг друга больше, чем они.

— Простите за откровенность. Вы женаты?

— Мне помешал совершить эту глупость Раковский.

— Что?

Взглянув на Аристотела, я вздрогнул: лицо у него было страшное.

— Да,— сквозь зубы, высвистывая, словно дрозд, отдельные звуки, продолжал он,— и я весьма признателен за это Раковскому.

— Вы и в самом деле откровенны.

— Надеюсь скоро убедить вас в этом.

— Благодарю.

— На вашем месте я вел бы дела только с Раковским. А впрочем...

— Что?

— Ничего. Вам нравится Георгиев?

— Нет.

— Еще бы! Ни малейшего государственного смысла, полное политическое бессилие. Таковы они все — здешние нотабли. Дикость невежественной мысли... В голове — бесплодный хлам... В сердце — бессознательная ложь... Благоразумные филины...

Мне вспомнился нотабль с пучками белых волос в ушах, без передыху твердивший недавно за столом у Георгиева: «Умный человек и без книг знает, что к чему...»

— Я вас не понимаю,— говорил Аристотел,— вы хотите работать с нотаблями и, конечно, не можете. С Раковским могли бы, но не хотите. Боюсь, что у вас ничего не получится...

Разговор шел еще довольно долго. Митров подбирался ко мне со всех сторон, допытываясь, что я собираюсь делать. Кажется, он рассчитывал на то, что, выпив, я проболтаюсь, как Христаки. Заметив это и не желая водить за нос умного человека, я сказал:

— Странно: сколько бы ни пил, никогда не бываю пьян!

Это и в действительности так. Тогда Митров перестал хлопотать около меня и показал на двух черномордых, которые низко с ним раскланивались.

— Вот настоящие турецкие шпионы: Иванчо Чоранчиев и Петрака Златев. Настоящие...

Значит, он не настоящий. А какой? Чей?

Гродеков представлялся румынскому князю Карлу. Вернувшись из дворца в гостиницу, прошел прямо ко мне и рассказал. Карл производит известное впечатление: строен, с энергичной фигурой и прусской военной выправкой, смугл, темные волосы и глаза. Он отставной капитан прусской службы. Судя по тому немногому, о чем он говорил с Дмитрием, у него сухой и черствый ум, мелочно расчетливый, без всякой фантазии. Гродеков возмущается:

— Кому и зачем нужна здесь эта кукла?

Едва мы заспорили, как слуга доложил о посетителе. Это был майор Ион Бибеску, претор бухарестской полиции. Зыбкие волны мыслей, приливающих в мою голову из каких-то океанских просторов каждый раз, как я начинаю спорить с Дмитрием, разом отхлынули. В комнату вошел высокий плотный человек, с очень умным лицом, в мундире из оффенбаховской оперетки, с бирюзовой серьгой в ухе. Благодарю, не ожидал! Дмитрий побледнел, вскочил со стула и сейчас же вымаршировал прочь из комнаты. Домну Бибеску отрекомендовался самым благовоспитанным образом.

— Очень сожалею, господин Раевский, если вы думаете, что мое посещение вызвано какими-нибудь экстраординарными обстоятельствами,— сказал он.— Уверяю вас, нет.

— Важно не то, что мы думаем, а то, что из этого выходит,— отвечал я.

Он поежился. В лице каждого человека непременно есть хотя бы одна черта, которую, отделив от других, ничего не стоит возвести в карикатуру. У Иона Бибеску эта черта заключается в очень красных и толстых, каких-то непроизвольно сладострастных губах. Я придвинул кресло. Он сел. Наступило молчание, но не неловкое. Просто он обдумывал начало. А я ждал начала.

— Вероятно, вы очень замечательный человек, господин Раевский,— наконец проговорил он.

— Почему вы полагаете?

— Я никак не могу представить себе вас во множественном числе. Здорово! Мне оставалось пожать плечами.

— Слово: да. Вам нравится вращаться среди здешних болгарских капиталистов. Но вы чрезвычайно резко выделяетесь в их толпе. Уж очень это грязная толпа. Скажу больше: болгарские нотабли, собравшиеся в Бухаресте,— предатель на предателе. Да и «Добродетельная дружина» их — тоже. Это говорю вам я — претор здешней полиции. Биография каждого из них мне отлично известна. Что за биографии? Воровство — всегда, мошенничество — когда можно, тюрьма — в прошлом, тюрьма — в будущем...

Я был взволнован до последней степени и не находил нужным скрывать это.

— Тюрьма — в свободной Румынии? Вот вам и раз!

Бибеску так шлепнул своими толстыми губами, будто чмокнул кого-то.

— Что такое закон? — спросил он.

— Я полагаю, что закон — это выражение общественной справедливости.

— А свобода?

— Гм! То же самое...

— Следовательно, закон и свобода, господин Раевский,— одно и то же. Не так ли?

Очень здорово! Я опять пожал плечами и спросил:

— О каких преступлениях болгарских торговцев вы говорите? Подлинный смысл того, что делают купцы и торговцы и здесь и повсюду, всегда один: верни мне больше того, что я дал тебе!

— Они занимаются тем же и в политике. У меня есть сведения, что вы составляете очень важный документ...

Я вздрогнул, а Бибеску чмокнул воздух и улыбнулся.

— Кажется, он называется так: «Проект организации на Балканах»...

Я принадлежу к числу людей, имеющих обыкновение говорить только правду. Я делаю это прямо, без обиняков, с деликатностью доброго и

мягкого человека, каков я и есть, но без малейшего снисхождения к мелкому самолюбию людей.

— Вы шпионите за мной? — заговорил я начистоту, неожиданно скрипнув при этом зубами.

— Нет, — сказал Бибеску, — слово: нет. Я знаю это от господ из «Добродетельной дружины».

«Каковы мерзавцы!» — подумал я.

— От Георгиева?

— Слово: нет. Но не в том главное. Гораздо важнее, что турецкому правительству в Константинополь уже сообщено и о вашем пребывании в Бухаресте, и о переговорах ваших с «Добродетельной дружиной», и о «Проекте», который вы сочиняете. Вам не кажется, что эти последние факты могут дурно отозваться на отношениях Румынии с Турцией?

Я прошелся по комнате, заложив руки за спину. У меня есть такая манера. Еще в детстве меня от нее отучала мать. Но я сохранил ее для случаев крайнего волнения. На вопрос Бибеску мне не хотелось отвечать. Кажется мне или не кажется, — какое ему дело? Послушаем, что он еще скажет.

— Я не имел возможности познакомиться с вашим другом, господином Гродековым, — продолжал Бибеску, — он так стремительно удалился, когда я пришел. Прошу вас передать ему: вопрос о месте его службы в нашей армии решил тотчас после того, как он откланялся его высочеству князю. Господину Гродекову желалось служить в Бухаресте, но...

— Но?

— Дело в том, что господину Гродекову не хватает осмотрительности в действиях. Желая служить в Бухаресте, он вместе с тем находит возможным посещать болгарский революционный клуб, недавно здесь возникший под названием «Братская любовь», а также и некоторые другие подобные заведения. Он встречается в них с крайне несолидными деятелями, каковы, например, Раковский или Панайот Хитов. Удобно ли так вести себя офицеру войск его высочества? Слово: нет.

— Куда же он назначен?

— Командиром казачьего полка, который стоит в маленьком, очень еще новом городке — Александрии.

Я вдруг все понял и, уже не раздумывая больше, присел к бюро. Настроив депешу русскому дипломатическому агенту в Белграде о своем выезде из Бухареста, я протянул ее домну Бибеску.

— Это устраивает вас? — спросил я.

— Меня это огорчает, — сказал он, — но вредные последствия вашего знакомства с господином Аристотелом Митровым могут оказаться значительно хуже.

— Митров — шпион? — спросил я коротко, по-деловому.

— Конечно. Турецко-французский шпион.

— Что у него с Раковским?

— Старая история. Митров ненавидит Раковского за то, что он когда-то отбил у него в Афинах невесту. И в то же время очень его боится. А расхваливал его вам, так как не сомневался, что господин Гродеков познакомит вас с Раковским. И надо сказать, что господин Гродеков действительно пытался это сделать. Только Раковский отказался, опасаясь...

— Вас?

— Отчасти. Но главным образом очень дурного состояния своего здоровья.

Я схватился за виски — у меня вдруг заболела голова. И майор Бибеску, претор столичной полиции, поднялся с кресла, звеня золоче-

ными наконечниками аксельбантов, сверкая канителью эполет, чмокая воздух красными губами и церемониально отвешивая мне полунизкий поклон.

Сегодня я отправил свой «Проект» с очень верным человеком в Константинополь. Там он поступит в собственные руки российского посла Игнатьева. Гродеков уехал в Александрию принимать полк. Завтра утром и я отбуду отсюда на пароходе «Луцифер» в Белград. В Сербии мне предстоит составить болгарскую легию из трехсот человек. Средства дает Россия. А Румыния... Славны бубны за горами!»

Глава тридцать девятая

Птицы летят...

Для Божила Главанакова появление Христо было как снег на голову.
— Ты? Почему?

Друзья не виделись несколько месяцев — и много и мало. Много — потому что и недолгая разлука тяжела дружбе; мало — ибо Божил никак не ждал такой скорой встречи с Христо. И вот дверь пустоватой холостяцкой комнаты Божила — настезь, и, как ветер, залетевший с улицы, быстрый, шумливый Христо шагает через порог. Чмок, чмок... Кости приятелей еще трещали, а Христо уже рассказывал:

— Жил, как Рахметов. Вместо кровати — голая доска. Кавказская бурка — и за постель и за одеяло. На плечах — куртка казачья. Знаешь, каков я экономя? Но деньги, что взял на поездку в Задунаевку, из первой же оплаты вернул...

Чтобы лучше видеть Христо, Божил отошел в сторону и взял его в перспективу. Первое, что бросалось в глаза, — крайне незавидный туалет: короткие панталоны на тесьме и огромные дырявые башмаки. Плох экономя! Зато как же стал Христо собой хорош! Высокий, стройный, сильный, ловкий, с лицом, сверкающим девичьей белизной, и с длинными густыми черными волосами, которые так и падали на плечи свободной волной.

— Не мог больше, — говорил Христо, — не мог... Все думал: зачем я здесь, в Задунаевке? Зачем не делаю главного, далек от родины, от народа? Зачем... Вот и пустился в Кишинев. Там живет Стою Дрянков, матери моей брат. Обмыл он меня, накормил, сунул денег и отправил в Одессу. А у тебя какие дела?

Главанаков опустил глаза и сказал еле слышно, после каждого слова глотая тишину:

— Женюсь. Миронович — сватом. Болгарка. Училась в русской гимназии.

Христо круто покраснел и нахмурился.

— Давно любишь? — строго спросил он.

Но Божил не ответил. И разговор перешел на другое.

— Купил Миронович имение под Киевом. Заплатил двести семьдесят тысяч. У него уже два миллиона золотом, а?

Теперь молчал Христо.

— Бай Ботю пишет Мироновичу письма, — говорил Божил, — покорные, просительные. Пишет: ничего не знаю о сыне, жив ли, умер ли... Молит уведомить...

Христо слушал, опустив голову, и Божил никак не мог разглядеть его глаза под упавшей на лицо волной могучих волос.

— Ну? — глухо спросил Христо.

— Миронович отвечает редко. И в каждом ответе тебя поносит. Блудный сын! Блудный сын! Бай Ботю и тебе пишет...

Христо вскочил.

— Где? Дай!

Божил протянул конверт, серый и скучный на вид. Конверт заклеен мукой... Христо вспомнил: калоферский почтальон Енчо, принимая к отправке письма по пятницам и субботам, оклеивает их марками и берет за то по шестьдесят пар с каждого конверта; если же отправитель не может уплатить столько, в ход идет мучная подмазка, и уже тогда Енчо берет всего лишь двадцать пар. Христо пристально смотрел на письмо. Оно не прочитано, а Христо уже знает, что у отца не нашлось шестидесяти пар для его отправки. Знает, о чем пишет отец, и как живет, и чего хочет от сына... Чтобы Божил не видел его лица, Христо отошел к окну.

Да, все было так, как он думал. Только никогда еще бедный отец не писал сыну с такой жалкой, с такой отчаянной прямоотой о горькой своей доле. В Калоферском классном училище два учителя: Фингов и бай Ботю. Фингов учит с осени шестьдесят второго года, пять лет, и получает семь тысяч грошей в год. А родивший училище бай Ботю имеет всего лишь четыре с половиной тысячи грошей. Почему? Надо спросить настоятелей. А кому их спрашивать? Выполняет бай Ботю еще и писарскую работу в общине, но без твердой оплаты. Писал, например, билеты на право выезда из Калофера и получал по одному грошику за каждый билет. Случалось таким способом дожимать и до двух с половиной тысяч грошей в год. Однако и это кончилось. Еще с лета заговорили о разбойниках, засевших в Орешнике и на ярмарочной дороге у Касапского камня,— кого же понесет к ним в лапы? А подошла зима — кто поедет в зимнее время из города? Пришлось снизить продажную цену Венелиновой книги на двадцать грошей. А кто ее покупает? Остается радоваться на чужое счастье. Да уж очень оно чужое. В ноябре Спас Куюнджиолу уехал в Царьград, никому не сказав зачем. И даже не все долги собрал. А потом пришла весть о богатой, пышной и веселой его свадьбе в болгарской церкви на Фанаре. «Одно мне непонятно, сынок,— писал бай Ботю,— как эта свадьба могла быть веселой, коли женился этакий упырь?» И Христо, стоя у окна одесской комнаты Божила Главанакова, явственно услышал прыскающий и одышливый смех своего больного отца и, услышав его смех, заплакал.

Вечером, когда Божил и Христо сидели за чайным столом и Божил уже начинал постепенно развязывать язык для гимнов своей невесте, Христо неожиданно перебил его.

— Я решил,— сказал он.

— Что решил?

— Ехать.

— Куда?

— Домой.

— Что ты?

— Да, да...

И Христо заговорил с небывалой силой, с огненной страстностью:

— Отец мой болен. Как первородный сын, я должен услышать последнюю волю отцовскую — раз. Семья моя бедствует, кто ее поддержит, кроме меня? Но и это не все!

— А что еще? — удивился Божил.

Христо развернул широкую полосу «Санкт-Петербургских Ведомостей».

— Читай!

В статье шла речь о том, что не только в княжестве Сербском, но и в соседних турецких провинциях народные волнения нисколько не стихают и во всей Западной Европе господствует убеждение, что с наступлением весны во многих местах Турции вспыхнут восстания. Христо вскочил.

— Восстания вспыхнут! Вспыхнут! Как же не ехать мне домой?

Он схватил своего тонкого и высокого друга, завертел, закрутил его в бешеном хоро. Прыгали половицы некрашеного пола, звякали стекла в окнах. Что-то сорвалось с полки в шкафу и, брякнув, слетело вниз. Заколыхалось, запрыгало пламя в настольной лампе, и тени заскакали по стенам. А топот четырех молодецких ног был так скор и отбивчив, что людям, проходившим по тихой вечерней улице в тот час, могло бы даже и так показаться, будто танцует весь дом...

Покупая билет на идущий в Константинополь пароход «Гуниб», Христо слышал, как в конторе Русского общества пароходства и торговли люди толковали: «В трюме, кроме груза,— балласт, и, стало быть, качки не будет. Да к тому еще заштилело крепко. Самое будет приятное плавание...» Он слушал, и слезы вскипали на его глазах. Слушал и чувствовал, как сквозь его смыкающиеся, чтобы не пропустить слез, глаза прямо в душу его смотрит нечто великое. Правда, вместо слов этого великого он слышал какие-то пустые, обыденные слова. Но зовущий голос великого чуял в себе и понимал, что раскрыт перед ним весь, и видел себя в его власти.

Пароход отходил из Карантинной гавани. Пассажиры и провожающие разноголосой и нестройной толпой заполняли мол. Шляпы, фуражки, венгерки, дублянки, высокие сапоги... Франтоватый Божил в модном картузе... Теплом и светом дышала переливающаяся поверхность моря, и от палубы и от меди пароходных бортов излучались свет и тепло. Грузчики из «кадет» и «шарлатанов» с разбегу ныряли в низкое пароходное нутро, таща на могучих плечах огромные мешки с зерном, побряхтывая от натуги, сбрасывали хлеб в черный трюм и возвращались на берег порожные легкой, веселой, танцующей походкой. Христо ухватил одного за рукав.

— Лаврик!

Лаврик остановился, будто врос в землю. Старое фризое пальто, замасленный блин на голове, ноги в онучках... Мыслимо ли, чтобы кто-нибудь мог его звать здесь по имени?

— Гимназист!

Но и узнав Христо, Лаврик не подался на доброе чувство...

— Чего суетишься, барин?

— Не чуди! Что я за барин! Скажи лучше, как Евтух...

— Пхэ...

— Умер?

Лаврик молчал, глядя в сторону. И вдруг, словно опомнившись, зашепшил.

— Валандаться время нет...

И — как не бывало его, растаял в толпе...

— Тот самый? — улыбнулся Божил. — Прудон?

Да, он имел основания смеяться. Но только над прошлым, а не над будущим. Ни одесская любовь Христо, ни друзья его здешние, ни враги — никто и ничто не пропало для него даром. Лаврик исчез, чтобы где-то, когда-то, совсем при иных обстоятельствах опять показаться. И не будет та новая встреча с ним ни унижительной, ни пустой. И для Божила она не будет смешной. Подумав таким образом, Христо смело сказал:

— Эй, Божил, говори о книге, когда прочитаешь ее до конца.

— То есть?

— Не шути над будущим, пока его больше, чем прошлого!

Усики на смуглом лице Главанакова задвигались, он пытался понять, но не понял и, стараясь только об одном — как бы не удивиться, протянул:

— Все может быть...

...Христо стоял на палубе, Божил — на берегу. Сигнальный свисток врезался в уши — сейчас станут поднимать якорь. Задыхав, уухнула машина, и судорожно застучал винт. И вот пароход отчаливает задним ходом от пристани, заворачивает боком по громадной дуге и выходит из гавани на рейд. Винты стучат все быстрее...

— Прощай, Одесса! Прощай, Русия! Божил, скажи ей...

Кому? О чем?..

...Море слегка рябило волнами и только под колесами «Гуниба» сердито шумело, вздувалось и разбрасывалось серебристой пеной. Ветер был слабый, но встречный, потому и «Гуниб» шел на парах. Иногда ветер менял направление, тогда ставили паруса. За двенадцать морских миль от Одессы прошли Змеиный Остров. Христо не видел Острова и, как ни вглядывался в ночь, не видел ничего, кроме самой ночи. Зато как она была хороша! Месяц бросал свет на пароход, и все безмерно разрасталось в этом сказочном свете, странно оживлявшем и палубу и воздух над ней. А там, вдали, поднимала к месяцу свой извилистый горб громадная полоса густого тумана с круто ниспадавшими краями, и казалось, будто прозрачный город растет из морской груди. Пароход нагонял волну в каскадах внезапного блеска брызг и звуков. Косая тень «Гуниба» то и дело меняла свои неверные очертания на колеблющейся поверхности волн. А восток уже розовел и медленно, медленно разгорался...

Над морем скользил и стлался пар. Он был так легок, что Христо не знал, видится ли ему этот пар в самом деле или только мерещится. На темных водах все заметнее проступала рябь. Бесконечной мелодией переливались под кормой звонкие струи. Бегут, рассыпаясь по морю, миллионы огоньков, и все ярче синееет его спокойная даль. Как птицы, вырвавшиеся из гнезд, летели «Гуниб» и Христо. «Говори о книге, когда прочитаешь ее до конца», — думал юноша. И в сверкающем ливне раннего солнечного света представлялся ему еще один пароход — океанский, гораздо больше и красивее «Гуниба», с курсом на Запад. Как птицы, летят на том пароходе беглецы Рудзиевские — и строгая пани Гедвига, и Адамчик, и...

А где-то у иллюминатора стоит одноглазый английский матрос, смотрит на воду, и все-то чудится ему в ее глубине русский покойник, долго видится, долго... «Пр-роклетье!» — бормочет Блэйфил. «Что случилось с Бахметевым?» — спрашивает себя Христо. И вот уже тает его детская мечта: нет, Бахметев и Рахметов — разные, совсем разные люди... Что бы ни случилось с Бахметевым, а погиб только он, Рахметов же погибнуть не может. Настоящий герой бессмертен. Рахметов — идеал будущего человека и потому живет без конца. Так раздумывал Христо в то светлое утро, когда птицей летел вперед...

1950—1957 гг.

г. Москва.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

МАТЕРИКИ, НАРОДЫ, ВЕКА...

Нет, путь его не кончен на Хайгете!
Дорога бесконечно далека,
И вехами ей станут на планете
Материки, народы и века.

Материки! Над сомкнутой колонной
Обученных и опытных борцов
Гремит «Вставай, проклятьем заклеяменный» —
Призывный лозунг дедов и отцов.

Мощна марксизма взрывчатая сила,
И беспощадны бывшие рабы,
Они хозяев с фронта бьют
и с тыла
По всем законам классовой борьбы.

Народы! Из конца в конец над вами
Бушует слово грозное «Вставай!»,
Как встали над двумя материками,
Поднялись в рост Россия и Китай.

Века! Они такую мощь разбудят,
Что станет тесно ей в краю земном...
В сравненьи с тем, что вслед за нами будет,
Мы в малом мире все еще живем!

Ведь здесь, где жизнь расцветенное знамя
Вздымает над зияньем пустоты,
Подвластны нам и жгучий свет познания
И сила окрыляющей мечты.

Настанет день — и на просторах Марса,
На светлых звездах и в межзвездной мгле
Еще применяют к делу книги Маркса
И опыт коммунизма на Земле!



А. КОРЕНЕВ

★

СЧАСТЬЕ

За окнами ненастный мрак полощется.
И нет шпиков, и всюду тишина.
Она его торопит,
 подпольщица.
Она страшится за него,
 жена.

Она хотела бы сказать:
 побудь
Хоть день со мной, на улице гроза...
Но скажет просто:
 шарф свой не забудь...
И явок
 перешепчет
 адреса.

Она хотела бы сказать:
 дожди,
Ты кашляешь, не шел бы куда...
Но только молча поглядит:
 «иди».
А там —
 опять —
 быть может, на года...

Счастливые!
...Я говорю — счастливые!
Пускай — на каторгу, пускай — в пути
У них
 лишь перегляды молчаливые,
Но чувства пламеннее не найти!

Счастливые!
Вы слышите — счастливые!
Пусть — холст карцера, а не ковер,
Пусть — перестукиванья торопливые...
Как ярк их любовный разговор!

В даль времен, туманами повитую,
Так смотреть, так всюду рядом быть!..
Счастливые они!
Я им завидую.
И ни за что их не могу забыть.

В ДЕВЯТНАДЦАТОМ ГОДУ...

Ранят — перевяжешь?..
 Перевяжешь!
 А убьют — в цепи с винтовкой ляжешь?..
 Ляжешь!
 А за мной на край земли пойдешь?
 Путь неведом,
 Следом?
 Не ходи — скажу...
 А ты пойдешь!
 На вокзале,
 где сыпная вошь,
 Беженке с огромными глазами
 Дашь ломóть свой?
 Сберегали сами...
 Попролам ломаешь и даешь.
 Песня?
 Песню о разлуке спой ту...
 А под пули, падая, по льду?
 По кронштадтскому, бок о бок, по льду?..
 — О, пойду!..

Вот такими все они и были
 В девятнадцатом году.

Голодали. Как они любили!
 Умирили
 в молодые лета —
 С полными глазами света,
 С отблесками на высоких лбах
 Мирового алого пожара.
 Их такая же
 в последний путь
 Провожала...

Ты — такая же. Нам нет покоя.
 Ты — Россия. И тебя — мою,
 Неуступчивую —
 за такое
 И люблю!

СПУТНИЦА

Звездам нету никакого дела
 До бурана, сбившегося с ног...
 У собак душа помолодела,
 Чуть вдали почуяли дымок.

А каюр висит в пурге, как в бездне,
 Еле различимый впереди.
 С маху
 по каким-нибудь созвездьям
 Ты смотри шестом не угоди!

Посшибаешь их своим хореем
Вниз, как будто искры с головни.
Но вези ее, вези скорее.
Не озябла бы...
Скорей гони!

Без конца и без начала повесть —
Свищет вьюга, вешкой не поступится.
С головой закутанная в полость,
Эту новь
разглядывает
спутница.

А глаза — веселые синицы.
Блещут, изумленные,
так молодо!
Там на каждой тоненькой реснице
По снежинке тающей
наколото.

Кто она, чудесная, откуда?
Доктор
или сельская учительница?
Разлученного с ней лесоруба
Самая жестокая
мучительница?

Встретит он ее в селе Овражки
Так, чтоб плечи дрогнули, ослабли.
И потонут в рукавицах
варежки,
Связанные мамой в Ярославле.

А пока — свистит северо-западный,
Вьется пар, как белые усы.
— Завидно тебе?..
— Мне очень завидно.
Ну, вези ее, каюр, вези!..

Лайки рыбу рвут остервенело.
Стойбище. Отогреванье рук.

Нету звездам никакого дела
До пороши,
выпавшей
вокруг.



ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

В СОЛОВЬИНОМ ГОРОДЕ

Этот город соловьиный
Мне знаком.
В сорок третьем
Я вошел туда с полком.

Нам казалось, что навеки,
Навсегда
Нами изгнана
Из города беда.

Средь акаций заблудилась
Тишина,
Породнились
Новизна и старина.

За вокзалом,
Где чернели пустыри,
Встали яблони
Подобием зари.

И никто в зеленом городе
Не знал,
Что под яблонями
Спрятан аммонал.

Корневая их система
Оплела
Ржавых бомб
Продолговатые тела.

Вот где прячется
Проклятая война!
Так бывает
Боль в груди затаена.

Дремлют бомбы и снаряды
До поры.
Взрыв!
И город полетит в тартарары.

...Экскаватор
Зацепился в глубине
За железо,
Как за память о войне.

Вмиг сигнал тревоги вспыхнул
И погас.
Отделению саперов
Дан приказ

Разминировать
Зловещий этот клад.
То ли подвиг,
То ль ученье для солдат...

Эти юноши в погонах
Никогда
Не видали,
Как пылают города,

И не знали
О мучительной тоске,
Жгущей сердце,
Если жизнь на волоске.

В оцеплении
Средь адской тишины
Вывозили склад
Могильщики войны.

Поздно вечером
Они вернулись в полк.
Все в порядке.
Мир есть мир.
И долг есть долг.



С. ЗАЛЫГИН

★

ЯНЦЫ — БЕСКОНЕЧНАЯ РЕКА

Нельзя не любить реки...

Не всегда мы отдаем себе отчет, почему и за что мы любим их, но ведь это же и есть настоящая любовь — столько же безотчетная, сколько осмысленная.

В жизни более чем достаточно «почему?», «за что?», «отчего?», и если бы на свете не стало вдруг людей, произведений искусства, совсем ничего такого, что при первом же взгляде радует и волнует нас, не стало бы таких встреч, таких пейзажей, таких картин и стихов, — в непомерно скучную обязанность превратилось бы житье на земле... Было бы, очевидно, так, что на стенах Третьяковской галереи вместо картин висели бы статьи кандидатов искусствоведческих наук из «Ученых записок» и утвержденные ВАКом диссертации.

А реки? Это ведь тоже произведения искусства... Я не знаю ни одной — ни в пустыне, ни в тундре, — которая не была бы таким произведением... Кто мастер? Да сама природа — самый величайший и гениальный живописец всех времен.

И потому не торопитесь спрашивать себя, чем и почему прекрасна река. Сначала надо уметь гладить воду реки ладонью, научиться из бесконечных изгибов ее выбрать такой, с которого река предстанет перед вами вся: всеми красками и оттенками, всеми струями, всюю шириной и даже глубиной своей так, чтобы в этой глубине вы увидели еще и небо, синее небо с белоснежными облаками.

Ну, а если все-таки настойчиво спрашивать, почему мы любим реки, то ответ, верно, будет таким: потому, что они текут.

Если представить себе длинную и узкую полосу воды, то ли в лесных, то ли в горных берегах или в открытой степи, но только полосу совершенно неподвижную, — она ведь не заставит вас остановиться, что-то слушать, что-то вспоминать или унести мечтою вперед, к чему-то такому, что еще не известно и все-таки обязательно должно быть, думать о землях, откуда река пришла, и об океанах, куда она уходит...

Озера привлекают нас своею гладью, моря — простором, реки — движением.

Мне всегда казалось, что реки особенно близки душе русского человека, который тоже ищет, вечно ищет и стремится в будущее... Да и сама история говорит в нас, когда мы молча глядим на реку, на то, как она течет. Путь «из варяг в греки», «землепроходцы», достижение берегов Тихого океана и пересечение его, «окно в Европу», имена Степана Разина и Емельяна Пугачева, Москва и Сталинград — да разве можно представить себе нашу великую историю без великих рек?

Россия: Волга и Нева; Сибирь: Обь, Енисей и Лена; Дальний Восток: Амур и Уссури — они немислимы друг без друга...

Но ведь и Китай нельзя представить без Хуанхэ, без Янцзы... Я подумал об этом, когда в 1956 году, седьмого ноября, впервые в жизни оказался на берегу великой, но нерусской реки...

Янцзы у нас, в России, называют Голубой рекой. Мне довелось видеть Янцзы и в ясную погоду, и в снежную бурю, и в верхнем ее течении, и в устье, но нигде и никогда не было заметно голубых оттенков в ее окраске, а в то утро седьмого ноября она была розово-лиловой...

Нежные оттенки в окраске величественной картины всегда производят особенное, неповторимое впечатление... Нежно-голубые вершины могучих гор, чуть розоватые детски нежные тона бескрайнего небосвода на утренней заре, сизая, едва заметная дымка над океаном — все эти сочетания могущества и ласки, беспредельности и нежности, простора и легкости до сих пор не обозначены человеком словами, не изображены им на полотнах, не запечатлены через объективы фотоаппаратов...

В то утро, когда наш поезд остановился на берегу Янцзы и мы стояли на площадке огромной лестницы, недавно сложенной из тесаного камня и бетона, река была тихой и спокойной. Дул попутный ее течению ветер; круто выгибая паруса джонок и покачивая баржи у бесконечных причалов, он лишь кое-где оставлял легкие морщинки на поверхности реки, которые тут же, как только вы их замечали, таяли бесследно; а по водной глади этот ветер, казалось, нес только пятна розовых и лиловатых оттенков, пятна были словно опавшие по осени листья...

Лиловыми, розовыми, сиреневыми оттенками был полон и прозрачный воздух над рекой.

Янцзы была спокойной в этот ранний час. лишь едва слышался ее легкий плеск о берега да поскрипывали снасти на судах; но в глубине вод реки угадывалось стремительное течение струй, полное сил движение...

Три города и две горы смотрелись в двухкилометровую речную ширь... С правого берега от подножия Змеиной горы глядел двухэтажный, беспорядочный Учан с бесчисленными пестрыми вывесками торговых заведений; с левого — Ханьян со своим древним белокаменным буддийским храмом; а выше по течению, по другую сторону Черепашьей горы, возвышался Ханькоу — город европейского облика, с громадами серых домов вдоль набережной, с высокой башней таможни и бетонной стеной, которой он защищается от разливов Янцзы.

Тишина над рекой была особенной, хотя там и здесь Янцзы бороздили громадные зеленые корабли, пришедшие сюда, быть может, из океана; маленькие катера, посвистывая, пересекали реку в разных направлениях; шумели на правом и левом берегах огромные города, — и все же нас не покидало ощущение тишины. Все звуки как будто тонули в речном просторе, доносились откуда-то издалека или из глубины вод приглушенными, отраженными от реки... И только один был непрерывный, неумолчный и сильный звук, один далекий, но могучий гул, изредка прерываемый еще более сильными ударами металла о металл.

Это доносилось дыхание огромной стройки: знаменитый Уханьский мост, соединяющий Ханькоу, Учан и Ханьян, воздвигался вдали, в нескольких километрах от нас. Тонкие линии его металлических ферм расчертили горизонт у противоположного берега, справа же из воды только поднимались пирамиды будущих мостовых устоев. Людей не было видно издалека; казалось, их там нет совсем и выдвигающийся в реку мост как будто существовал сам по себе и сам по себе гудел и сверкал искрами электросварки...

Так встретились мы впервые с Янцзы.

Мы видели перед собой огромную, бесконечную панораму: и самую реку, и те дали, в которые она уходила, и те, из которых она пришла, видели три разных города и две горы с пагодами на вершинах, видели тонкий рисунок и слышали могучий гул строящегося моста, подступы к которому, выполненные в виде земляной насыпи, тоже напоминали большой горный хребет, — и трудно было себе представить, что все это лишь небольшой отрезок реки, лишь частица всей той жизни, которая течет на ее берегах от истока до устья...

Если поднять человека высоко-высоко, так, чтобы он увидел перед собой весь земной шар, поворачивающийся к нему то одной, то другой стороной, каждый, верно, увидит с этой высоты что-то свое.

Один рассмотрит города, другой — леса, третий — дороги и поезда на этих дорогах. Гидролог же увидит землю, расчлененную на множество речных бассейнов... И если гидролог будет внимателен не только к рекам, если он задумается о жизни людей на берегах рек, он невольно обратит взгляд на Азию, к бассейну Янцзы. В этом бассейне, на площади около двух миллионов квадратных километров, живут двести пятьдесят миллионов человек...

Каждый десятый житель земного шара пьет воду Янцзы или ее притоков. Каждый десятый младенец рождается там. Каждый десятый из нас, людей, оттуда видит небо и солнце, там познает мир, там любит и ненавидит, там умирает...

Невозможно составить представление о морских берегах по нескольким камешкам, выброшенным морской волной... И все-таки из каждой поездки к морю мы обычно привозим с собой такие камешки... Вот и я привез несколько случайных рассказов с берегов великой реки.

СЫЧУАНЬ И ЕЕ РЕКА

В Чэнду — административном центре провинции Сычуань — стоит памятник.

Это высокий обелиск из серого гранита с примыкающими к нему на высоте трех-четырёх метров площадками.

Разумеется, и площадки и лестницы, которые к ним ведут, — это излюбленное местопребывание бесчисленного множества детишек, тем более, что весь огромный парк в дневное время целиком предоставлен в распоряжение маленьких граждан КНР.

Неподалеку от обелиска, по границе парка, проложен канал; в нем меж каменных откосов быстро течет зеленоватая вода, шевеля зеленые же водоросли.

На противоположном берегу канала стоят двух- и трехэтажные дома; между деревянными и каменными двух- и трехэтажными постройками нет ни одного переулка, и все эти здания сливаются в один бесконечный ряд. Сквозь распахнутые двери и коридоры можно увидеть улицу, на которую здания выходят фасадом. Впрочем, и самый канал тоже служит улицей, только люди здесь передвигаются не пешком и не на рикшах и не катят тележек с грузом, — все движение здесь на лодках. Двери домов распахиваются в сторону парка над самой водой, окна первого этажа возвышаются над уровнем канала всего на метр, даже меньше, — в этих старинных строениях, должно быть, очень сыро. Эти старые дома, улицы, каналы, да и многие люди, которые здесь живут, — свидетели событий, в память которых воздвигнут обелиск.

Мы узнали об этих событиях от их участника — историка, филолога и писателя профессора Ли Те-жэня.

— В 1911 году, — сказал профессор, — в Сычуани произошло восстание. Восставшие требовали, чтобы власти Сычуани отказали французам в концессии на строительство железной дороги Чэнду — Чунцин.

Мы постояли у обелиска. Мы слушали профессора Ли Те-жэня, его рассказ о том, как во времена тех давних событий он решил выпускать газету, первую печатную газету в Чэнду на китайском языке, и как ему для этого пришлось освоить и наладить производство бумаги — иностранные коммерсанты не хотели снабжать бумагой газету, которая выступала против концессии. Мы узнали от профессора, что им написан роман-трилогия, в котором он дает историю своего современника-сычуанца на протяжении последних пятидесяти — шестидесяти лет. Вошли в трилогию и события 1911 года в Чэнду.

Вместе с профессором мы побывали в парке Ду Фу — знаменитого поэта, отдавшего свою жизнь и талант народу. Парк превращен теперь в музей, а частично — в монастырь: монахи позаботились о том, чтобы причислить Ду Фу к лику святых...

Позже, во время своей поездки по Китаю, я видел много городов, но Чэнду живо сохранился в моей памяти благодаря какому-то своему колориту.

В этом огромном городе, как мне сказали китайские товарищи, насчитывается свыше миллиона двухсот тысяч жителей. В нем, как и во всех крупных городах Китая, многие улицы состоят из европейских зданий. Но, в то время как в Пекине, Шанхае, Ухане, Куньмине эти здания и улицы составляют отдельные районы, в недавнем прошлом «европейские кварталы» и сегменты, в Чэнду они, несмотря на свое явно европейское происхождение, все несут в себе китайские черты. Чем это достигается, сказать трудно. Может быть, рядами открытых пестрых магазинов в первых этажах или какими-то незаметными деталями фасадов, но только при взгляде на любое здание, даже самое, казалось бы, европейское, меня не покидало ощущение того, что это Китай, что к этому приложена китайская рука, китайский глаз, китайский вкус...

Потом мы слушали сычуаньскую оперу, которой так гордился профессор Ли Те-жэнь

и гордился совсем не напрасно, смотрели выставку кустарных изделий и поразились искусству мастеров.

Масса впечатлений захлестнула нас, и мы, признаюсь, вскоре забыли о памятнике в честь событий 1911 года, с которого я начал этот очерк.

Мы забыли о нем тогда, но я должен напомнить об этом памятнике читателю и, забегаая вперед, сказать, что впоследствии, когда я плыл по Янцы на пароходе, жил в Ухане, знакомясь с проблемой освоения великой реки, я не раз и не два вспоминал обелиск в Чэнду... Я бы многое дал, чтобы снова вернуться к его подножию вместе с профессором Ли Те-женем и расспросить профессора о событиях сорокапятилетней давности.

Теперь же я хочу сказать несколько слов о Сычуани.

Это одна из богатейших провинций Китая. По территории и населению она огромное государство: пятьсот пятьдесят тысяч квадратных километров населяют семьдесят миллионов человек.

Китайцы, едва только взглянут друг на друга, сразу определяют, кто перед ними: южанин или северянин. Южане, как им и подобает, обычно бывают меньше ростом, подвижнее, с более быстрой речью.

Сычуань лежит на границе севера и юга, но сами сычуанцы безоговорочно относят себя к южанам. Для нас же, жителей севера, в этом отношении не может быть двух мнений: достаточно провести один летний или даже осенний день под жарким солнцем Сычуани, чтобы ясно отдать себе отчет в том, где вы находитесь: на севере или на юге. Климат позволяет убирать здесь два и даже два с половиной урожая, то есть пять урожаев за два года.

Когда вы летите на самолете из Сиани в Чэнду, пересекая хребет Цинлин, высота которого достигает четырех тысяч метров над уровнем моря, к югу от этого хребта вы очень скоро замечаете границу Сычуани: в горных складках, в узких долинах, везде, где только можно выровнять площадку хотя бы в несколько десятков квадратных метров, появляются такие площадки. Сюда китайский крестьянин носит от подножия горы землю в плетеных корзинах, здесь он насыпает земляной валик, который задерживает дождевые воды. И вот уже внизу, под вами, горы, словно осколками стекла, усыпаны этими затопленными площадками, а в узких долинах «стекла» лежат вплотную одно к другому, ступеньками спускаясь все ниже и ниже и становясь все шире по мере расширения долины. Это и началась Сычуань — житница Китая.

Но вот горы расступаются, внизу — огромная плоская Сычуаньская котловина, или, как ее называют, Красный бассейн. И если вся Сычуань — житница страны, то равнина Чэнду — ее сокровищница. Но и в этой сокровищнице имеется еще другая, более драгоценная.

В течение семи лет после Освобождения Сычуань ни разу не подвергалась засухам, а это одно, в условиях резких климатических колебаний, свойственных Китаю, характеризует Красный бассейн с лучшей стороны. Но в пределах этого же бассейна находится массив площадью около трехсот тысяч гектаров, который вообще не подвластен засухам. Речь идет об одной из крупнейших в мире оросительных систем — системе «Дуцзяньян» в уезде Гуаньсян.

История орошения в Китае, когда с ней познакомишься, поражает вас.

В Сиани мы видели остатки ирригационных сооружений, которые были созданы человеком около пяти тысяч лет назад. В газете «Дружба» мне встретилась статья профессора Пекинского сельскохозяйственного института Сюэ Пэй-юаня «Развитие водного хозяйства в Китае две тысячи лет назад». Уже самый этот заголовок говорит о многом, но дальше из статьи вы узнаете, что две тысячи лет тому назад в бассейне Хуанхэ были восстановлены древние оросительные каналы, пришедшие к тому времени в упадок.

Система «Дуцзяньян» построена за два с половиной столетия до начала нашей эры. Ли Бин — ее строитель — обладал, безусловно, выдающимися способностями. В местах, где она расположена, существует что-то двенадцать или тринадцать храмов Ли Бина; в течение тысячелетий этот строитель почитается местным населением как святой.

Схема «Дуцзяньян» очень проста. Река Миньцзян по выходе из гор делится огромной каменной шпорой на две части: правую часть, или Внешнюю реку, которая течет по естественному руслу, и левую — Внутреннюю реку, которая, минуя ущелье Ворота Дракона, где стоит великолепный храм с макетом всей системы, заполняет оросительные каналы.

Все дело в правильном распределении воды между двумя потоками: слишком большое количество воды, поступившее в каналы, может привести к затоплению орошаемой площади, малое количество — приведет к посушкам посевов.

На одной из арок главного храма Ли Бина высечено шесть «нероглифов ирригации». Переводятся они примерно так: «Глубоко копать наносы — низко строить дамбы».

Применительно к системе «Дуцзяньян» это означает вот что. Строитель оставил потомкам завет: тщательно очищать вход в оросительную систему от речных наносов, осаждающихся на дне, с тем чтобы в систему попало больше воды, но ни в коем случае не поднимать слишком высоко дамбы, отделяющие Внутреннюю реку от Внешней. Почему так необходимо последнее? Да потому что, если разделяющие дамбы будут очень высоки, слишком большое количество воды устремится через Ворота Дракона в оросительные каналы, и тогда возникнет опасность их размыва, разрушения и затопления всей орошаемой территории.

Со времен Ли Бина и до наших дней дамбы имеют ту оптимальную высоту — примерно метра три-четыре над низким, в межень, уровнем воды, — при которой в весенний разлив излишние воды не попадают во Внутреннюю реку, а, подпертые узким ущельем Ворота Дракона, переполняют ее, перекатываются через дамбу и уходят во Внешнюю реку. В период же низких вод высота дамб вполне обеспечивает захват большей части всего расхода Миньцзян, а значит, и обеспечивает с запасом орошаемую площадь влагой.

Мне рассказывали, что самые последние лабораторные исследования модели водозабора, построенного Ли Бином и сохранившегося в первоначальном виде до наших дней, ничего не могут изменить в этой совершенной схеме, в размерах всех сооружений.

Ущелье Ворота Дракона называется еще Волшебной бутылкой. И в самом деле, эта узкая двадцатиметровая щель между скалами напоминает горлышко бутылки, только с той разницей, что через нее пронесется в одну секунду четыреста кубических метров воды.

Когда-то через ущелье проходили плоты (теперь сплав здесь идет россыпью) и поперек ущелья были натянуты цепи, за которые в случае необходимости могли схватиться плотовщики. У плотовщиков, когда они проходили ущелье, над рекой возвышались только головы.

Далеко не вся вода Внутренней реки используется на орошение. Более значительная часть ее — примерно две трети — ниже по течению сбрасывается обратно во Внешнюю и другие реки, но многоводный водозабор повышает обеспеченность орошаемых полей. Поля получают воду из расчета примерно одного кубического метра в секунду на каждые десять тысяч му (660 гектаров).

Самое удивительное в «Дуцзяньян» — это то, что здесь нигде нет ни малейших признаков вторичного засоления почв.

Засоление — бич орошаемых земель. Оно возникает в связи с тем, что увлажненные земли усиленно испаряют влагу. Влага подтягивается по капиллярам даже из сравнительно глубоких слоев почвогрунта, испаряется, а соли накапливаются в растительном слое и ухудшают плодородные качества этого слоя иногда настолько, что земли приходится забрасывать.

Засоление часто наблюдается уже в первые годы эксплуатации оросительных систем, а через несколько десятков лет признаки его наблюдаются очень часто.

Система «Дуцзяньян» существует более двух тысяч лет, а на ее землях нет и самых ничтожных признаков засоления. Должно быть, большое значение имеет здесь развитая сеть для сброса излишних вод с орошаемых земель.

Высокая урожайность сельскохозяйственных культур, которыми поля заняты почти круглый год, также содействует борьбе с засолением: растения затеняют почву, и под затенением испарение уменьшается; кроме того, сами растения используют большее количество растворимых солей.

Рисовые поля, которые находятся очень продолжительное время под водой и занимают более пятидесяти процентов орошаемой площади, обеспечивают промывку почв: мощные нисходящие токи почвенных вод вмывают соли в глубину, а восходящих капиллярных токов почти не возникает.

Наконец, большую роль играют удобрения, прежде всего органические. Они нейтрализуют вредное действие солей.

Каждое утро из Чэнду и других городов и населенных пунктов Сычуани выходят сотни, может быть тысячи, людей с коромыслами, на которых висят длинные деревянные кадушки. В кадушках этих на поля выносятся накопленные за сутки удобрения.

Это особенность китайского земледелия, которое возвращает земле все взятое из нее и тем самым позволяет поддерживать высокое плодородие в течение тысячелетий при сборе нескольких урожаев ежегодно.

Снова и снова вспоминается утверждение А. И. Воейкова, что для китайской культуры земледелия, основанной на этом принципе, плотное население в сельскохозяйственных районах — благо.

Одним словом, оросительная система «Дуцзяньян» — это выдающееся достижение, памятник великой и древней китайской культуры.

Эта система вполне может удовлетворить даже потребности настоящего времени: без переустройства водозабора и магистрального канала площадь орошаемых земель можно расширить примерно до трехсот и более тысяч гектаров путем простого сокращения расхода воды в сбросных каналах.

День, когда мы осматривали систему «Дуцзяньян», был не ясным, но и не пасмурным. Его скорее всего можно было назвать синим днем. Таких я что-то не припомню у себя на родине. Небо сплошь — от края до края — было затянуто пологом облаков, синеватым и плотным, так что нигде не просачивалось ни лучика солнца. Полог этот был где-то очень-очень высоко, внизу под ним лежали серовато-пестрые, тронутые осенними красками, залесенные горы; на склонах там и здесь виднелись постройки с черепичными, взлетающими кверху кровлями. Но даже самые дальние хребты, вершины которых взгромождались на огромную высоту, и те не достигали синего облачного полога.

Те далекие хребты, замыкающие горизонт, тоже были совершенно синими, местами дочерна; местами они поблескивали своими будто отшлифованными вершинами, и этот мягкий блеск невольно заставлял думать, что все хребты, сколько их есть на горизонте, стеклянные, из непрозрачного синего стекла, и глаз невольно искал где-то там, далеко, такую вершину, сквозь которую можно было бы все-таки заглянуть в еще более отдаленную даль, за горизонт.

Они-то, эти хребты, казалось, и излучали синеву на весь мир — и в облачное небо, и в прозрачный, тихий и свежий воздух долины Миньцзян, отчего этот воздух становился видимым, ощутимым, и как-то особенно легко было в этом воздухе двигаться, глядеть сквозь него далеко-далеко, вдыхать его...

Оттуда же, из мира синестеклянных гор, являлась в долину река; она не то рассказывала о чем-то самой себе, не то самой себе пела негромкую древнюю песню... Серые, однообразной окраски камни на ее берегах, на отмелях, на островах, даже на дне ее, были в этот день тоже слегка сизыми, синеватыми.

Уже несколько раз дождевые капли принимались шуршать в желтой листве могучих деревьев, но шуршали они как будто для того, чтобы шепнуть, что дождя не будет...

Мы только что прошли через многочисленные дворики храмов Ли Бина, спускались и поднимались по ступеням, сложенным из гранитных плит, подернутых зеленым мхом и местами оползающих вниз, прошли под каменными арками, потемневшими от времени, на которых повсюду, однако, сохранились иероглифы древних каллиграфов, прошли мимо бесчисленных будд, окаменевших в тщетном ожидании той жизни, кото-

рую никто и никогда в них так и не вдохнет... И вот мы снова поднялись на площадку храма у входа в Ворота Дракона и снова, в который уже раз сегодня, стали прислушиваться и вглядываться в этот синий день, в открывшуюся нашим глазам необыкновенную картину.

Действительно, не сразу можно было представить, что перед глазами реальный мир. Может быть, от того настроения, которое только что навеяли храмы, все казалось, будто перед нами картина, древняя картина, созданная ради потомков, чтобы через тысячу, через две, через три тысячи лет люди могли оглянуться назад, побывать в прошлом..

Никак не оставляла мысль, что дамба, откосы которой с непостижимой тщательностью выложены крупными гранитными камнями, плоскими и почти одинакового размера, что эта дамба, протянувшаяся на несколько километров и разделяющая Миньцзян на Внешнюю и Внутреннюю реки, существовала в таком же точно виде, как и сейчас, более двух тысяч лет назад.

Может быть, и мост на шестнадцати бамбуковых канатах, перекинутый через реку, едва ли не один из самых длинных подвесных мостов в мире, тоже был в то время? И так же, как и сейчас, по его скрипучему дощатому настилу двигались, заглядывая сквозь щели в быструю реку, дети в широкополых соломенных шляпах? И так же несли тетради, исписанные иероглифами? А воды реки, направленные строителями в узкие Ворота Дракона, в горло Волшебной бутылки, и тогда пенились, зелснели и грохотали от гнева?..

А сам Ли Бин вот в такой же синий, наполненный спокойствием и мудростью день стоял на том же месте, где стоим сейчас мы, и слушал грохот воды...

А, может быть, этот день и не кончался никогда? И не кончится?

Тут один из наших китайских друзей сказал нам, что выше по реке, километрах в тридцати отсюда, ведутся усиленным темпом изыскания под строительство гидроэлектростанции.

— Лег через пять все здесь изменится, — сказал он. — Все изменит новая ГЭС.

Позже мы были в Управлении эксплуатации оросительной системы «Дуцзяньян» и знакомились с уже осуществляемым планом ее реконструкции.

Читатель, возможно, спросит:

— А какое отношение имеет система «Дуцзяньян» к памятнику в Чэнду? К проблеме освоения реки Янцзы, о которой идет речь? К заглавию этого очерка?

Так вот, Чэнду, Чунцин, оросительная система «Дуцзяньян», вся огромная Сычуань — пятьсот пятьдесят тысяч квадратных километров с населением около семидесяти миллионов человек, — все это, как только могло, отгораживалось от остального мира, чтобы окончательно не попасть в алчные руки международного империализма, подобно тому, как это случилось с восточными прибрежными и открытыми со всех сторон провинциями страны.

Памятник в Чэнду — это памятник людям, которые защищали и сооружения Ли Бина. Они понимали, что, как только иностранный капитал возьмет в свои руки строительство железной дороги между двумя крупнейшими городами Сычуани — Чунцином и Чэнду, как только эта дорога свяжет Чэндускую равнину с речным портом Чунцин на Янцзы, вся Сычуань окажется в этих чужих и алчных руках.

Они понимали это — и боролись и погибали. Они предпочитали, чтобы еще на годы и годы Сычуань оставалась отгороженной от мира, если этот мир сулил лишь новые лишения, грозил еще больше принизить национальное достоинство великого народа.

Должно быть, эти люди верили, не могли не верить в то, что настанет время, когда они смогут взять судьбу Сычуани в свои собственные руки.

Природа помогала этим людям: с севера Сычуань отгорожена от мира высочайшим хребтом Цинлин, с запада — плоскогорьями Тибета, с юга — горными краями Юньнани, с востока — с наиболее угрожаемого направления — Сычуань спасала река Янцзы. Да, Янцзы не только поила и кормила свой народ, она защищала его от иноземцев с востока, со стороны океана, в который несла свои воды.

Я узнал об этом не сразу, а по мере того, как двигался от Чунцина вниз по течению Янцзы.

ЧУНЦИН

Если Чэнду — административный центр Сычуани, то Чунцин — промышленный, культурный и — по крайней мере в последнее столетие — ее исторический центр.

Кратко я бы сказал о Чунцине: суровый город. Это впечатление создалось не сразу. Оно как бы накапливалось, начиная с того момента, когда мы выехали из Чэнду и поезд пробивался к Чунцину через ущелья и туннели, громыхал по мостам над ленистыми реками и, наконец, побежал по высокому берегу величественной и стремительной Янцзы.

Это была та самая дорога, концессию на строительство которой народ не хотел отдать иностранному капиталу, дорога, открытие которой 1 июля 1952 года превратилось в народное торжество не только в Сычуани, — во всем Китае.

В другой раз, когда я прилетел в Чунцин самолетом и ехал в город на автобусе по горной, бесконечно извилистой дороге мимо дымных печей, в которых обжигается известь, мимо рисовых, залитых водой полей, словно прилипших к обрывам, мимо тесных, сложенных из камня домиков и кварталов старых городских окраин, некогда населенных гангстерами, мне особенно запомнился один не очень длинный, сумрачный туннель. Он запомнился мне, потому что здесь могла бы легко и просто кончиться карьера человека, воплощающего в себе все то мрачное, продажное, корыстное и страшное, что в течение десятилетий, предшествующих Освобождению, тяготело над Китаем.

Могла бы кончиться, но не кончилась...

Сюда, к этому туннелю, осенью 1949 года мчался отряд Народно-освободительной армии, чтобы захватить бежавшего на аэродром Чан Кай-ши. Отряд опоздал на пятнадцать минут.

Чан Кай-ши на американском самолете улетел из Чунцина.

Улицы города то и дело прерываются отвесными скалами, местами серыми, а чаще — красноватого и совсем красного цвета. Там и здесь из этих скал, словно незрячие глаза, глядят замурованные входы в пещеры.

Под городом пролегает лабиринт подземных пещер, и чунцинцы утверждают, что вслед за Пекином они первые построят в своем городе метро, потому что туннели приговорила сама природа.

Когда-то, во время налетов японской авиации, в этих пещерах укрывалось население города.

Во времена той же антияпонской войны Чан Кай-ши вынужден был заключить формальный союз с коммунистами, но каждую секунду он был готов предать, растерзать своих союзников. В Чунцине тогда находилось Представительство Восьмой армии.

Мы были в небольшом двухэтажном здании, где Представительство размещалось. Это ветхий и, должно быть, во все времена довольно сумрачный дом. К нему ведет узкая улочка.

В одной из комнат этого дома жил и работал руководитель Представительства Восьмой армии в Чунцине — товарищ Чжоу Энь-лай. И сейчас в ней все, как было когда-то: узенькая плетеная кровать, ничем не покрытый письменный стол, этажерка с книгами и подшивками газет того времени.

Сюда, в эту комнату, размером не более двадцати квадратных метров, приходили коммунисты города.

Писательница товарищ Цзэн Кэ, еще молодая сухошавая женщина, общительная и очень живая, в прошлом — учительница, тоже не раз приходила сюда. Она рассказывала нам, что в этой небольшой комнате собиралось до ста человек. Было так тесно, что никто не мог сесть, на заседаниях люди стояли часами, плотно прижавшись друг к другу. Не каждому торопившемуся сюда человеку удавалось благополучно миновать шнырявших вокруг агентов Чан Кай-ши, не каждый возвращался отсюда домой...

Мы были и в пригороде Чунцина, называемом Красная Скала. Там, в этом пригороде, среди домишек, со всех сторон облепивших склоны конической горы, возвышается несколько больших каменных построек. Они тоже принадлежали Представительству. Здесь размещалась редакция газеты, проводились совещания, курсы, а на противоположных склонах все дома были заняты чанкайшистами. Из окон они стреляли в

воздух, пули со свистом пролетали над редакцией и нередко попадали в людей, приближавшихся к этим домам.

Около полутора месяца здесь прожил товарищ Мао Цзэ-дун, его стихи, написанные им в то время на длинных листах бумаги, и сейчас висят в простенке одной комнатки трехэтажного дома.

С берегов Янцзы и ее буйного притока Цзялинцзян город смотрит десятками тысяч подслепозатых крохотных оконцев, огромными стеклами серых бетонных зданий; его улицы то скатываются по склонам гор, то поднимаются на самые вершины; дымят и скрежешут его заводы; леса бесчисленных строек поднимаются повсюду, а среди окраинных улиц, еще в черте города, даже небольшие клочки земли затоплены водой, ограждены валиками — это рисовые поля... Люди, вымокшие по самые плечи, понукают медлительных буйволов; из ила и воды поднимаются огромные, но такие робкие, откинутые далеко назад рога этих водяных коров; двигаясь так медленно, что не сразу заметишь их движение, буйволы ташат тяжелые допотопные орудия пахоты...

Вот так повсюду здесь, в Чунцине,— и суровое прошлое Китая, и новый Китай, и его будущее в лесах строек...

Будущее... Об этом говорить трудно, но когда я задумывался о будущем сурового города, передо мной всякий раз возникала одна и та же картина, которую я видел в Чунцинском порту.

Порт огромен и тесен, он протянулся на много километров, но самый центр этого порта, его главные склады и главные выходы в город сосредоточены вблизи высокой каменной стены, подпирающей берег-мыс при слиянии быстрой Янцзы с еще более стремительной Цзялинцзян.

Несколько раз бывал я здесь, стоял на высоком мысу среди других людей, которых тоже увлекало происходящее в порту.

От самого подножия каменной стены и до воды, а на воде почти до самой середины реки и совсем рядом с нами, на каменных лестницах, круто взбегающих к складам на горе, — повсюду тысячи и тысячи людей. Люди в серых и синих робах, на головах — соломенные шляпы, полотенца и просто тряпицы, либо черные волосы вовсе ничем не покрыты, только схвачены бечевкой. На коромыслах, на шестах, в корзинах, на руках, на плечах, на головах люди тащили тюки, ящики, водопроводные трубы, бревна, рельсы.

Всякий раз, стоя здесь, на мысу, невозможно было остаться глухим к грохоту грузов и к гулу этих тысяч людей, невозможно было остаться равнодушным перед тем напряжением, которое ощущалось, кажется, даже в сером туманном воздухе; нельзя было не поразиться тому, как тесно, как плотно друг к другу двигались в разных направлениях люди с тяжелой поклажей. Не верилось, казалось невозможным, чтобы в этом грохоте и гуле, в этом непрерывном движении существовал хоть какой-то порядок, а между тем, сколько бы вы ни смотрели вниз, вы нигде не замечали ни малейших признаков неорганизованности, беспорядка, толчеи.

Однажды за полдень напряжение достигло своего предела. В порту, кажется, не оставалось места хотя бы еще только для одного человека, для одного ящика или тюка. Вот-вот что-то должно было выплеснуться с берега обратно в реку, или должны были обрушиться каменные ступени лестниц, или, наконец, должен был раздаться вопль, возвещая, что с кем-то случилось страшное увечье...

Так казалось... А между тем, к пристани подходили все новые и новые суда и джонки. Суда, зеленые, низкотрубные, гудели тонкими хриловатыми, совсем незнакомыми где-нибудь на Волге или на Оби голосами; на джонках кричали, размахивая длинными бамбуковыми шестами, люди.

Со стороны Янцзы джонки поднимались к пристани медленно, но упорно и стремительно неслись вниз по течению Цзялинцзян, с ходу вламываясь в гущу судов. Только необычайно ловкая, смелая и точная, даже акробатическая работа людей, которые шестами направляли, толкали и сдерживали джонки, предупреждала каждый раз казавшуюся неизбежной аварию.

Едва прикоснувшись к чьему-то борту, эти новые суда и джонки уже сбрасывали трапы; люди, будто они не могли потерять ни минуты, ни секунды, будто их джонки могут вот-вот вспыхнуть и сгореть, бегом уже тащили грузы на берег.

И вот в такой момент наивысшего, невысказанного напряжения в порту появились дети.

Дети в пионерских галстуках, в белых рубашонках и кофточках, в темных штанишках, очень обыкновенные, очень простые и такие знакомые дети-пионеры шли парами. На груди каждого развевался маленький красный галстук-флажок, а впереди шел, должно быть, учитель и на тонкой бамбуковой тростинке нес такой же флажок, только чуть побольше.

Детей было много. Они спускались по лестнице из города, и в то время как первая пара уже была внизу, последняя только еще приближалась к верхней ступеньке. Лестница была узкая, и грузчики, едва удерживая равновесие и тяжести на плечах, с трудом раздались: одни вправо — те, что двигались вверх, другие влево — те, что спускались вниз... Потом дети рассекли надвое всю массу людей на берегу. Цепочки грузчиков теснились в невероятном переплетении, и все-таки они разомкнулись и стали пропускать два ряда маленьких красных флажков, нигде не задевая эти флажки... Прошла еще минута — дети вступили на джонки. Спокойно разговаривая и смеясь, они перебирались с джонки на джонку, терялись среди зеленых низкотрубных пароходов, снова появлялись на трапах и так достигли наконец небольшого приземистого катера, который стоял очень далеко от берега, почти в том самом месте, где светлые струи Цзялинцзян врывались в желтовато-серый поток Янцзы...

Постепенно серый невзрачный катер расцветивался белыми рубашечками, красными галстуками, черными головками. А когда он весь окрасился в бело-красно-черный цвет, из низкой и толстой трубы вырвались одно за другим три кольца дыма, и, подхваченный течением, катер быстро-быстро поплыл вниз, развернулся и стал переваливать на противоположный берег Янцзы.

Дети ехали из одной части города в другую. Только и всего. Но с тех пор, где бы и с кем бы мне в Китае ни доводилось говорить о будущем страны, передо мной всякий раз неизменно возникала эта картина: дети в Чунцинском порту.

ОТ ЧУНЦИНА ДО УХАНИЯ

От причала Чунцинского порта пароход «Куймынь» должен был отвалить на рассвете тринадцатого декабря.

На нашем пути до Уханя мы будем проходить через ущелье Куймынь, именем этого ущелья и назван наш пароход.

Это — судно канадской постройки, сошедшее со стапелей еще в 1921 году. Мощность его машин более трех тысяч лошадиных сил; при меньшей мощности он не преодолел бы бурного течения, двигаясь вверх по реке.

Пароход двухэтажный, высокий и узкий, весь из металла: даже столики в каютах, стулья и кровати и те металлические. Мне объяснили, что это сделано в противопожарных целях.

Ночь перед отъездом мы провели с чунцинскими друзьями. Мы спускались в узкие долины и поднимались крутыми извилистыми улицами на холмы, на склонах которых разбросан Чунцин, и наконец остановились на самом высоком из них.

Рассеченный двумя реками на четыре части, город сверкал огнями. Огни вычерчивали контуры вершин, мерцали в плотном темном небе, разливались по черному гляncу рек.

Шестилетний Ле-ша, сынишка писательницы Цзэн Кэ, который никак не хотел отстать от взрослых, стоя здесь, на вершине холма, объяснял Хуану, что он получил свое имя в честь русского мальчика Алеши Пешкова, а мы слушали этот лепет и мысленно прощались с городом.

Итак, мы с Хуаном (Хуан — это переводчик и мой большой друг) — снова в путь, но в этой поездке нас было трое: Хуан, я и товарищ Тянь Хай-янь.

Если уж я начал говорить о происхождении имен, следует быть последовательным и пояснить кое-что. Когда-то, лет тридцать тому назад, молодой шанхайский студент-медик прочел переведенную на китайский язык «Чайку» Антона Павловича Чехова.

Пьеса произвела на него такое сильное впечатление, что он назвал себя тоже чайкой, или морской ласточкой — «хай-янь».

— Я и не подозревал тогда, — смеясь говорит Тянь, — что когда-нибудь буду иметь отношение к морьякам и речникам. А вот пришлось.

Действительно пришлось: товарищ Тянь — заместитель генерального директора государственно-частной судоходной компании «Миньшэн» на реке Янцзы и начальник крупного порта Ичан, что лежит как раз на полпути между Чунцином и Уханем. Выше Ичана Янцзы называется уже Сычуаньской рекой.

Но товарищ Тянь не останавливается на этот раз в Ичане, он едет с нами в Ухань, так как получил новое назначение — в Комитете по освоению реки Янцзы он возглавит работы транспортного сектора.

Товарищ Тянь не инженер, и сначала я несколько удивлен характером его работы, новым его назначением, но он разъясняет мне:

— Я много читал, учился сам...

Но товарищ Тянь еще и писатель — фольклорист, собиратель легенд, часто выступает на страницах литературно-художественных журналов. Он также еще и историк. В течение нескольких последних лет, пока товарищ Тянь работал на водном транспорте, он собирал материалы и документы по истории судоходства на Янцзы и вот теперь везет с собой большое исследование по этому вопросу.

Погода не благоприятствовала нашему путешествию: бесновался холодный ветер, так что палубы на пароходе еще в Чунцине были плотно задраены брезентом, а на второй или третий день пути пошел снег и уже не прекращался почти до самого Уханя. Так как пароход не отапливался, а все предметы были на нем металлические, в каютах было отнюдь не жарко.

Однако непогода послужила нам в некотором роде на пользу: она способствовала знакомству с китайскими инженерами, государственными деятелями, писателями, фольклористами, историками. В нашу маленькую каютку, в которой и днем нельзя было обойтись без света, они входили в образе очень спокойного, очень рассудительного, внимательного, довольно полного и веселого товарища Тяня, усаживались на металлическую табуретку и с перерывами на завтрак, обед и ужин засиживались в этой каюте до поздней ночи.

Я заметил, что этот человек обладал прекрасной памятью, тем не менее он при разговоре обычно держал на коленях свои служебные отчеты либо статьи, опубликованные в журналах, и читал их мне, но чтение прерывалось такими обширными отступлениями и комментариями, столькими воспоминаниями из прошлой жизни самого товарища Тяня и его мечтами о будущем, что назвать это просто чтением никак было нельзя.

За пять дней путешествия по Янцзы мы стали друзьями. Я очень многое узнал о жизни этого человека, он — о моей жизни.

Мы говорили с Тянем об «Ашиме» — поэме южнокитайской народности сани. Народность эта не обладает собственной письменностью. Запись этой поэмы была сделана группой китайских писателей и деятелей искусства; с одним из них — товарищем Лю Ци — я встречался неделю назад в Куньмине.

Поэма вызвала в Китае много споров. Товарищ Тянь принадлежал к тем, кто находил, что в «Ашиме» авторы позволили себе слишком вольное обращение с фольклором. Я не мог возражать Тяню, так как не знал ни языка, на котором создана «Ашима», ни языка, на котором она записана. Я говорил только, что создание письменного варианта этой поэмы — подвиг и что если кто-то считает нужным и может сделать эту колоссальную работу лучше, пусть сделает, умалять же значение такой работы для новой литературы никак нельзя. Тянь был более суров в своих оценках.

Иногда мы выходили на палубу, раздвигали брезент, и Тянь показывал мне достопримечательности на берегах, проплывавших мимо нас: то это была гора, на которой некогда жил великий поэт Ду Фу, то деревня, в которой родился, быть может, не менее великий резчик и столяр Лу Бань, которого народ причислил к лику святых. Я видел работу Лу Баня в одном из храмов Ханчжоу. Там купол был покрыт изображением одного и того же аиста. Этот аист, выдолбленный в дереве, размером что-то

около метра, был изображен в трехстах различных позах. В самом деле, почему бы мастера, совершившего такое чудо, не назвать святым? Во всяком случае у него для этого было не меньше оснований, чем у многих других чудотворцев, названных святыми! Тут же Тянь рассказал мне легенду о том, как Лу Бань сделал замок на дверях тюрьмы злого дракона, намеревавшегося засыпать ущелья Янцзы и затопить всю Сычуань. Чуть ли не все злодеи мира пытались открыть этот замок, но до сих пор ничего не могут сделать, а Сычуань тем временем расцветает все больше и больше. Лу Бань был другом знаменитого философа Мо Цзы. Они жили под одной кровлей на склоне вон той бурой горы за четыре века до нашей эры...

А перед тем мы проплыли мимо местечка, в котором, по преданию, жил свободолюбивый Цюй Юань — первый знаменитый поэт Китая, написавший свои неумирающие поэмы «Элегия отрешенного», «Девять напевов», «Вопросы к небу». Вот уже две с половиной тысячи лет, как национальная поэзия славит имя Цюй Юаня. Го Мо-жо в разгар антияпонской войны создал трагедию «Цюй Юань», в каждой сцене которой звучат горячие слова Цюй Юаня, обращенные к его любимому ученику Сун Юю:

...Ты чистоту души своей сберег.
Храня ее, иди дорогой правды —
Ведь в мире нет почетнее дорог...

Но вот наш разговор с Тянем переходит на другую тему: об истории судоходства на Янцзы.

В его папке исторические документы, подтверждающие, что полторы тысячи лет назад в Сычуани были построены военные корабли, на каждом из которых находилось по триста воинов. А восемьсот лет назад корабли принимали уже около тысячи человек, имели площадки для конников, осадные орудия. Корабли спускались через пороги и ущелья вниз по течению и успешно воевали с Нанкином — южной китайской столицей.

Постепенно мы подходим к вопросу, который меня особенно интересует, заставляя вновь и вновь вспоминать обелиск в Чэнду, сооруженный в честь людей, погибших в борьбе против иностранных транспортных концессий.

Речь шла уже о более близких нам временах.

Первым иностранным судном в Ичане был английский пароход «Кули», он появился в 1886 году. Судоходство стало развиваться очень быстро, и очень много жадных рук тянулось к нему: английских, американских, французских, японских. Был только один путь к несметным богатствам Сычуани — к ее рису и тунговому маслу, к ее недрам, к ее рынкам и рабочей силе, и путь этот лежал через пороги Янцзы.

И в то время как многие сычуаньские коммерсанты готовы были пойти и шли на сотрудничество с иностранным капиталом, среди простых людей Сычуани редко можно было найти лоцмана, который даже за большие деньги согласился бы провести иностранный корабль вверх по реке.

Первый же английский пароход лоцман Чжан Лай-цзы посадил на камни и сделал это так ловко, что опиум и серебро, которыми был загружен пароход, сразу же пошли ко дну. Многие суда постигла такая же участь — немецкие, японские, американские.

Наконец одна богатая американка купила очень большой пароход, с ресторанами и танцевальными залами, и без груза, как будто только в увеселительных целях, только ради «любования природой», проникла в Чунцин.

Путь был разведан, иностранные пароходы пошли вверх по Янцзы, а при гомиздановском правлении Чунцин был уже объявлен открытым портом.

Но тут нашлись и другие борцы, которые препятствовали проникновению иностранного капитала в Чунцин и выступили в союзе с лоцманами и с бурными порогами реки. И это были простые люди Сычуани.

Население провинции стало бойкотировать иностранные товары.

Судовладельцы предлагали свои услуги пассажирам, но пассажиры отказывались от этих услуг. Путешествие от Уханя до Чунцина отнимало недели, было сопряжено с риском для здоровья и даже для жизни, и все-таки тысячи людей плавали за

джонках, в то время как комфортабельные пароходы ходили вверх и вниз по реке с двумя-тремя коммерсантами на борту.

Судовладельцы снизили стоимость проездных билетов настолько, что проезд на пароходах стал дешевле, чем на джонках. Пассажиров не прибавилось.

Судовладельцы объявили, что они будут возить пассажиров бесплатно. Пассажиров не прибавилось.

Судовладельцы стали выплачивать премии каждому пассажиру за бесплатный проезд на их пароходах. Премии выдавались в виде очень ярких зонтиков, пошли в ход портреты красавиц, выдавались лакомства и просто юани. Не помогли ни зонтики, ни красавицы, ни лакомства, ни юани — пассажиров не прибавилось.

Тот, кто соглашался стать пассажиром иностранного парохода или отдавал на пароход свои грузы, становился презируемым человеком. Гангстеры грабили на реке китайские пароходы, они боялись иностранного флага, их покупали иностранцы, а все-таки с пассажирами ходили только китайские пароходы.

Грузчики в портах верхнего течения Янцзы — в Ичане, Ваньсяне, Чунцине — умирали с голоду, но отказывались разгружать иностранные пароходы даже за большие деньги.

История борьбы народов с колонизаторами богата самыми различными эпизодами, но примеров такой выдержки, такой стойкости и организованности, наверно, найдется не много.

Когда в начале девятисотых годов англичане построили в Ичане портовые сооружения, склады, ремонтные мастерские, это вызвало среди населения такое недовольство, что император срочно должен был послать своих чиновников и за баснословные деньги скупить все это имущество у англичан. Имущество вовсе не нужно было императору, но даже тогда, накануне своей гибели, цинское правительство хотело этим шагом снискать себе хоть какое-то расположение подданных.

Антиимпериалистические движения «4 мая» и «30 мая»¹, прокатившиеся по всей стране, еще больше способствовали борьбе сычуанцев с иностранными судовладельцами.

И вот в июне 1926 года на Янцзы появляется китайская национальная компания с патриотическим названием «Миньшэн» — «Жизнь народа». В то время у нее был только один пароход в семьдесят пять ярдов² длиной, но уже через четверть века — в 1952 году — эта компания имела сто тридцать судов общей грузоподъемностью тридцать тысяч тонн, девять отделений в различных портовых городах по Янцзы, электростанцию и даже типографию.

Это была одна из тех весьма немногочисленных компаний, которая обходилась без участия иностранного капитала.

Успехи компании, в конце концов не оставившей на верхней Янцзы ни одного иностранного парохода, объяснялись прежде всего тем, что ее услугами широко пользовались пассажиры и коммерсанты: это была национальная компания.

И после Освобождения, несмотря на то, что владельцы «Миньшэн» были крупными капиталистами, им была поставлена в заслугу борьба за вытеснение иностранного капитала с Янцзы.

Предстояла задача — перевести эту частную компанию в государственно-частную, сохранить при этом ее кадры, прежде всего технический персонал, и не только сохранить, но и всячески содействовать его перевоспитанию.

Для выполнения такой задачи государство послало своего представителя. Этим представителем и был товарищ Тянь — начальник порта Ичан, а затем и заместитель генерального директора компании. И вот что рассказал мне товарищ Тянь.

— Дело было для меня совершенно новое — этот речной транспорт. А во главе компании стояли люди, которые не только были капиталистами, но и крупными инженерами, окончившими очень часто не один, а два института за границей: в США, в Англии, в Германии. Если вы хотели им что-то доказать, нужно было разговаривать только на техническом языке, на языке цифр.

¹ 4 мая 1919 года и 30 мая 1925 года.

² Ярд — английская мера длины, примерно 0,9 метра.

Моя работа по переводу компании в государственно-частный сектор сразу же была омрачена очень печальным событием: застрелился один из руководителей компании. Он воспринял это преобразование трагически, а между тем уже через пять дней, когда подсчитали, что будет значить преобразование компании для ее бывших владельцев в материальном отношении, поточнее разработали перспективы, — все руководство компании, даже наиболее пессимистически настроенные люди, должно было признать, что никакого краха нет, что, наоборот, открываются новые, небывалые перспективы в развитии транспорта на Янцзы.

Ну, хорошо, я уже говорил, что должен был убеждать людей цифрами, фактами. Значит, я должен был прежде всего сам хорошо ознакомиться с техникой.

Я расскажу вам только об одном факте, об одном случае, и вам, верно, будет понятен характер моей работы.

Однажды мне попало в руки сообщение вашего ТАСС о том, что в СССР на речном транспорте при буксировке несамоходных судов применяется метод толкания. Я показал это сообщение нашим инженерам. Они рассмеялись и сказали: «Это выдумка! Это невозможно!» Один из них взял карандаш и в несколько минут проделал передо мной расчеты, из которых он сам увидел, что это невозможно. Другой открыл учебник крупнейшего специалиста водного транспорта на английском языке. Я хоть и не силен в английском, но понял: там черным по белому написано — «невозможно». Да, но в то же время ТАСС сообщает вес, грузоподъемность судов, фамилии людей, осуществивших толкание, дату, когда это произошло, и место, где это было. Значит, возможно! Я точно сосчитал: в этом сообщении было двести пятьдесят иероглифов, и они умещались в одиннадцать строк.

Эти одиннадцать строк были за меня, а все остальное — против, все как будто говорило, что начинать это дело нам нельзя. Но нет, не все! Далеко не все! Когда я стал разговаривать с капитанами судов, с лоцманами, никто из них опять-таки не поверил этому сообщению, зато некоторые хоть и робко, но сказали: «А почему бы нам не попробовать? Только давайте попробуем эту штуку ночью, чтобы в случае чего нас не высмеяли на весь бассейн от Тихого океана до Тибета, чтобы наши бывшие хозяева не очень возгордились своими знаниями. Почему не попробовать? Ведь нельзя не верить тому, что советские люди толкают суда и у них это выходит!»

Попробовали. Ночью, в глубокой тайне. И, знаете, получилось! Результат оказался замечательным: буксир, который вел баржу с грузом в пятьсот тонн, толкал две, а потом и три тысячи тонн!

И вот однажды под каким-то предлогом мы вызвали всех наших инженеров на берег, и на глазах у них буксир провел караван весом в три тысячи тонн способом толкания. Жаль, что вам не пришлось быть в это время там, на берегу: очень интересное выражение было на лицах наших инженеров, когда они увидели караван! Об этом ведь не расскажешь!..

Вдруг Хуан начинает хохотать, хохотать до слез — настолько, должно быть, веселую шутку отпустил товарищ Тянь. Я жду с нетерпением, когда же мой «старик» — так я называю дорогого Хуана — начнет переводить. Наконец Хуан говорит:

— А потом был случай, когда выражение лиц у этих инженеров было еще интереснее! Слушайте, слушайте! На другой день их пригласили в партбюро и... — Хуан заливается громким смехом, — и вручили им... — снова смех, — вручили им почетные грамоты за внедрение передового метода в производство!

Хуан соскакивает с койки, ударяет себя в грудь и спрашивает меня:

— Ясно, как мы их перевоспитываем?

Смеется и товарищ Тянь. Смеется он тихо, но весело и непринужденно.

Я спрашиваю у него:

— Ну, а все-таки что же при этом говорили инженеры?! Ведь не молча же они принимали награды?

— Один из них сказал, что партия коммунистов — это действительно очень мудрая партия... Очень способная партия...

— А остальные?

— Остальные? Они тоже сказали: «Да-да.. безусловно...» Потом наши капиталисты-инженеры сами рассказывали об этом случае членам иностранных делегаций, побывавшим на Янцзы,— японской и английской. Эти делегации тоже состояли из крупных предпринимателей. Наши инженеры хотели, чтобы, вернувшись к себе на родину, делегаты честно рассказали в печати все, как было. И они следили за газетами — английскими и японскими, все ждали, когда же их гости выступят в печати и расскажут, как было дело, но так и не дождались. Зато они много раз читали в газетах, что китайские коммунисты — палачи, что они жестоко расправляются со своими капиталистами.

Я изо всех сил продолжаю и дальше наседать на Тяня, чтобы он еще и еще рассказал о себе, о своей работе. Но тут у Тяня как будто, по крайней мере наполовину, теряется дар речи. Стараемся мы оба, сколько можем,— и я и «старик» Хуан. Нам удается узнать, что при поддержке советских специалистов Тянь выступил за внедрение по всей реке опознавательных знаков — береговых и бакенов. Многие участки реки, по которым движение было возможно только в дневное время, теперь пропускают суда круглосуточно.

— Но это же все — дело советских товарищей,— как будто оправдывается Тянь.

Каким-то образом Хуану удается «зацепиться» за механизацию. Постепенно выясняется, что товарищ Тянь получил большую премию — пятьсот юаней — от правительства за внедрение механизации погрузочно-разгрузочных работ в порту Ичан. Он охотно набрасывает мне на листочке чертежики конвейерных линий и простейших механизмов, но неохотно говорит о премии.

— Я отдал премию в профсоюз,— говорит он наконец.— Ведь это же сделали рабочие, а не я!

— Теперь давайте расспрашивать его о пособиях по вождению судов,— говорит Хуан.— Кажется, здесь что-то есть!

Расспрашиваем.

Выясняется, что Тянь собрал семьдесят лоцманов и капитанов, и эти семьдесят человек составили затем пособие для плавания по Янцзы, которое теперь издано и очень широко используется.

— Видите,— поясняет товарищ Тянь,— видите, как изменились люди? Это пособие составляли те, кто раньше никогда не делился тайной своего лоцманского искусства, кто сажал на камни иностранные пароходы, чтобы не дать им подняться в Сычуани! Вы интересовались историей памятника в Чэнду и другими событиями из истории борьбы Сычуани против империализма, которая протекала здесь, на нашей Янцзы? Ну, вот теперь вы видите, чем эта борьба завершилась?

Мы долго молчим.

Тянь уходит, а когда возвращается, предлагает пойти в штурманскую рубку. Сейчас будут самые интересные пороги — посмотрим, как это выглядит. Пароход поведет капитан — знаменитый Мо Цзя-юй. Тридцать два года этот человек плавает по Янцзы без единой аварии. Он первый за всю историю навигации совершил в 1952 году ночной рейс по Янцзы с грузом для строительства железной дороги Чунцин—Чэнду. Ему и его команде принадлежит рекорд скорости: за девять суток они совершили пять рейсов между Ичаном и Чунцином, расстояние между которыми составляет шестьсот шестьдесят шесть километров.

Прежде чем попасть в рубку, которая находится на носу, мы проходим по участку палубы, не защищенному брезентом. Ветер такой, что не знаешь, что и делать: держаться за поручни обеими руками или только одной, а другой закрывать рот, чтобы не задохнуться. Но вот мы распахиваем дверь и один за другим входим в рубку. Здесь необыкновенная чистота: блестит пол, блестят медные оправы приборов, блестит белизной потолок. Просторно. Тихо.

В рубке четыре человека, один из них у штурвала, трое других поочередно ведут пароход. Это довольно молодые люди в блестящей форме речников, подтянутые и внешне и как-то внутренне. Сразу чувствуется, что они на посту.

Я здороваюсь с этими людьми и спрашиваю, который же из них капитан Мо.

Оказывается, капитана здесь нет, капитан в своей каюте.

— Он придет сюда?

Вопрос, должно быть, ясно выразил и мое опасение, что я так и не увижу знаменитого капитана, и удивление: пароход плыл по узкому ущелью, лавировал между каменными глыбами, а в это время капитан был в своей каюте.

Товарищ Тянь, должно быть, хорошо понял вопрос, взглянул на меня, чуть улыбнулся и сказал:

— Мо будет здесь скоро. Обязательно будет.

И действительно, спустя минут десять, которые мы провели, в молчании глядя на бурную реку, на серое, ветреное, в тучах, небо, вдруг распахнулась дверь, ветер завыл и засвистел в рубке так, что штурвальный едва успел подхватить фуражку, которую у него сорвало с головы. Вошел человек, он протянул руку Тяню, перекинулся с ним несколькими отрывистыми фразами, потом подошел ко мне.

— Капитан Мо Цзя-юй,— познакомил нас Тянь.

Не буду утверждать, что где-нибудь на берегу или на борту парохода и даже здесь, в штурманской рубке, я мог бы угадать в этом человеке капитана. Совершенно будничный вид придавал ему синий шерстяной колпак. Этот головной убор мог, конечно, сойти и за шапочку и за берет какой-то особенной формы, но больше всего он, конечно, был похож на колпак.

Одет был Мо в зеленую куртку-телогрейку с черными пуговицами, из которых только одна была застегнута на животе, в широкие, тоже зеленые, шаровары, а обут в войлочные боты без застежек, очень большие, явно не по ноге, и очень похожие на домашние туфли.

Было совершенно ясно, что капитану пятьдесят лет. Не больше и не меньше, а ровно пятьдесят; причем возраст для этого человека был какой-то особенно важной, существенной, прямо-таки индивидуальной приметой.

Не всегда с первого взгляда определишь возраст человека. Седина нередко опровергается молодыми глазами. Усталые, даже старческие глаза вы вдруг встретите на розовом, свежем лице, молодую улыбку — среди морщин. Капитан Мо был весь пятидесятилетним. Когда на минуту он снял свой вязаный колпак, обнажились его волосы с не очень густой сединой здорового человека и не очень обширная, но хорошо заметная лысина. На лице его, не сухощавом, но и не полном, уже чуть-чуть дрябловатом, были кое-где морщины, но немного.

Двигался этот человек почти медленно, слишком размеренно, но твердо, и если бы я совсем не видел его лица, и тогда по одной только походке и еще по тому, как сидела на нем одежда и как шлепали на ногах войлочные туфли, можно было с уверенностью сказать: человеку — пятьдесят.

Поздоровавшись, капитан прислонился спиной к задней стенке рубки и сделал это так, будто он не прочь был поберечь силы, вот и подыскал еще одну точку опоры за спиной. Найдя ее, он как будто задремал. Во всяком случае можно было подумать, что его не интересуют ни штурвальный, ни его собственные помощники, ни те пенистые пороги, которые неслись мимо нас и с правого и с левого борта.

Между тем три помощника капитана подтянулись еще больше, как-то сразу повзрослели. Один за другим они сменялись около штурвального и подавали ему команды — краткие, негромкие, однотонные.

Сменялись помощники через каждые пять-шесть минут, самое большее — через десять и делали это совсем незаметно. В то время как один командовал, другой подходил к нему сзади, в затылок, и через плечо товарища тоже вглядывался в реку. Первый уходил в сторону, второй становился теперь первым и подавал команду, а третий уже стоял в затылок второму.

Я спросил, почему так часто сменяются помощники? Ответил мне товарищ Тянь. Каждый из этих людей хорошо знает фарватер на всем протяжении, но здесь, у ущелья, требуется особое внимание, особое напряжение и очень быстрая реакция командира. Уже через пять—десять минут это внимание неизбежно ослабевает. Вот и приходится так часто сменяться. Вся рубка застеклена, только напротив отдающего команду она открыта: он должен смотреть не через стекло, чтобы лучше видеть

подводные камни, замечать направление струй и движение пены, а на ветру это трудно.

Машины «Куймыня» выключены, а его скорость никак не меньше двадцати километров в час. Металлический корпус корабля гудит и дрожит. Временами кажется, будто корабля и вовсе нет, а есть одна только рубка управления, которая сама по себе мчится вперед и вперед. Странно было думать, что за тонкой стенкой рубки, позади нее, сейчас спят, едят, отдыхают и поют люди, много людей, — вероятно, тысячи полторы или даже больше.

Когда мы пронеслись мимо отвесной высокой скалы, которая отталкивала от себя прочь воду под углом в девяносто градусов вправо и, кажется, гудела вся от основания до вершины, я спросил у Тяня:

— Наверно, в этом месте бывают все-таки аварии? Когда была последняя?

Подумав недолго, Тянь сказал:

— Вообще очень редко. Но последняя была недели три тому назад...

— Пароход был грузовым?

— Пассажирским...

— Сколько же было пассажиров?

— Больше ста...

— Все погибли?

— Все спаслись...

— Как же это могло случиться?

— Пароход ведь не камень — и с пробойной не сразу идет ко дну. Если команда хорошо обучена, а пассажиры не подвержены панике — нескольких минут вполне достаточно, чтобы использовать спасательные пояса, лодки, да и пароходу проплыть еще по крайней мере несколько сот метров прочь от опасного места... А знаете, — вдруг совершенно неожиданно сказал Тянь, — как раз за год до Освобождения наш Мо решил купить участок земли на деньги, заработанные в компании «Миньшэн», и стать помещиком. А тут — Освобождение, и земля Мо была передана крестьянам. Не успел наш капитан похозяйничать на собственной земле!

— Что за камни там, впереди? — прервал я его.

Мне показалось, что неожиданное замечание Тяня может задеть и обидеть капитана. Но, должно быть, Тянь хорошо знал капитана. Мо Цзя-юй даже не оглянулся на эти слова, он только приподнял чуть-чуть правое плечо в знак того, что хорошо слышит их, и, не отрывая внимательного взгляда от длинного ущелья, которое, казалось, совсем не имело выхода, обронил несколько фраз. Его неторопливый ответ Хуан, должно быть, пытался перевести совершенно точно, дословно, и поэтому слов получилось у него очень много, все без согласования падежей и окончаний, но смысл ответа был совершенно ясен:

— Ладно уж... — сказал капитан Мо. — Зачем она мне в самом деле — земля? Еще не известно, где скорее умрешь — на воде или на земле...

И тут капитан Мо подошел к штурвальному и стал подавать команду сам.

Командовал он тихо, отрывисто, стоя совершенно прямо и неподвижно, только правая его рука делала у пояса короткие быстрые взмахи, на лице не было никакого выражения, кроме выражения крайнего внимания, так что всем нам, присутствующим здесь, просто невозможно было не смотреть туда, куда смотрел он, — вперед, и я только подошел ближе к капитану, чтобы лучше слышать его команды.

Хуан не переводил, молчал, да и нельзя было переводить. Кроме команды, каждый звук, даже собственное дыхание, был здесь лишним, и мне казалось, что капитан все время произносит совершенно один и тот же отрывистый слог, а штурвальный в той же самой интонации его повторяет, стремительно вращая колесо то вправо, то влево.

— Ха! — произносил капитан.

— Ха! — откликался штурвальный.

— Ха!

— Ха!

— Ха!

— Ха!

Так они выдыхали эти отрывистые звуки, и всякий раз штурвальный с необыкновенной быстротой перехватывал рукоять своего колеса.

Между тем за бортами «Куймыня» мчалась мимо нас отчаянно-грозная стихия — бурлящая вода, камни, пена, клочки неба. Волны катились взад и вперед по носовой палубе, пена била в лобовые стекла рубки, темно-красная, почти бурая каменная глыба промелькнула с правого борта, в каких-нибудь пяти метрах, другую такую же, слева, казалось, можно было достать рукой.

Пороги Кунлин... Несколько тысяч кубических метров воды в секунду несется здесь через ущелье Ньюфэй длиной в пять километров и шириной в восемьдесят, а местами даже в пятьдесят метров.

Если верить легенде, вода кипит в этих скалах с тех самых пор, как в ущелья, возникшие от ударов молний, устремились воды сказочного Внутреннего Сычуаньского моря. Это — если верить легенде. Если же верить действительности, то, верно, уже миллионы лет ни днем, ни ночью ни на минуту не умолкает здесь стихия, а в годы полноводные, в разливы, она бушует еще сильнее. Теперь, если верить будущему — очень недалекому будущему, — воды Янцзы стихнут в ее ущельях навсегда. Будут построены плотины — одна, две, может быть целый каскад, на скалы ущелий обопрут плечами железобетонные плотины, а вода устремится в аванкамеры электростанций. Вот мы и едем в Ухань, в Комитет по освоению Янцзы: я — чтобы познакомиться с Комитетом, товарищ Тянь — чтобы принять самое деятельное участие в покорении Янцзы.

Но это — в будущем. А пока что на Янцзы приходится три четверти всех внутренних водных перевозок Китая, по ней проходят сотни судов и барж и вряд ли есть еще на свете страна, в которой такие вот ущелья — обычные навигационные условия или просто-напросто «неблагоприятные участки пути».

«Куймынь» миновал «самый неблагоприятный участок пути», капитан Мо, отстояв на вахте минут пятнадцать — двадцать без смены, вытер лицо от брызг, попрощался с нами и, расстегнув последнюю пуговицу на своей зеленой телогрейке, ушел, шаркая войлочными туфлями.

Стало тихо. Заработали судовые машины. С кормы донеслись звуки радио, что-то очень-очень знакомое.

Чайковский... «Осень»...

Это особое чувство, неповторимое чувство, когда здесь, на Янцзы, среди скал, под темным небом, вдруг охватывают вас лирические, неповторимо нежные звуки родной музыки...

Потом по радио говорит быстрый деловитый голосок женщины-диктора. Всю дорожку я прислушиваюсь к этому голосу, он стал мне уже знаком, я знаю его давно, с тех самых пор, как мы пустились в путешествие по Китаю. По интонации я знаю, о чем идет речь, — это даются пояснения о том, что мы видим вокруг себя. Наверное, диктор кратко рассказывает какую-нибудь легенду, связанную с ущельем.

Когда мы выходим из рубки, пассажиры собираются на правом борту, на корме, где не так бушует ветер. Хуан говорит, что сейчас диктор рассказывает об истории вон того маленького городка на левом берегу: когда этот городок возник, чем он был и чем будет знаменит... Я знаю даже, что женщина-диктор скажет в конце нашего путешествия: она извинится перед пассажирами за неудобства, которые они испытали, потом пожелает нам всего хорошего, передаст привет семьям пассажиров и скажет, что если пассажир беспокоится о том, все ли благополучно у него дома, не заболел ли кто-либо в его отсутствие, то, по всей вероятности, напрасно — все будет хорошо, не надо беспокоиться...

Слушают диктора внимательно. Слушают на палубах, где за недостатком места пассажиры под прикрытием брезента расстилают каждый свою циновку, на циновке — простыню, потом одеяло и, пользуясь чемоданом, как подушкой, мирно ведут между собой разговоры; слушают в каютах и в трюме. Навстречу идут пароходы, тащат баржи. Товарищ Тянь допрашивает меня о способах швартования барж у нас в Союзе... Вдоль берегов, все еще каменистых и крутых, люди тянут джонки.

Пятнадцать—двадцать маленьких-маленьких фигурок цепочкой карабкаются то вверх, то опускаются вниз. Удивительно, как они там двигаются по незаметным, таким крутым и, вероятно, очень скользким тропам?! Иногда они и вовсе не двигаются, а только делают выпад плечами вперед, выпрямляются и снова повторяют это движение. Так много раз, пока им удастся сделать шаг вперед. Слабо доносятся на борт парохода звуки песни. Но я знаю эту песню. Это «Песня сычуаньских лодочников».

Утром следующего дня мы выплываем из горного ущелья. Перед нами в тусклом рассвете возникает равнина.

Горы теснят реки, равнины предоставляют им быть самими собой, и я узнаю наконец ту самую Янцзы, которую уже видел в Ухане, видел в Нанкине, видел почти в самом устье, вблизи Шанхая, при впадении в нее Вампу. Там трудно было понять, в море мы или все еще в русле реки. Здесь, при выходе из гор, Янцзы заметно уже, но все-таки это, конечно, она — широкая, белесоватая, могучая... На берегах ее лежит снег.

Ветер стал слабее, но он все еще сильный. Это видно по тому, как прогибает он паруса джонков, наполняя их то чуть-чуть синеватым, то оранжевым воздухом. Джонков много. Они идут одна за другой вдоль правого берега, их очень много: я насчитываю восемьдесят, а дальше теряю счет. Они плывут медленно. Пароход от Ичана до Чунцина идет двое суток, джонки — месяц. С передней джонки машут нам, и «Куймынь» гудит в ответ. Это значит, лодочники просят: «Потише ход, приятель, волна может повредить нам!» И наш «Куймынь» отвечает, чтобы там, на джонках, не беспокоились, сбавляет ход, и джонки покачиваются на нашей волне очень размеренно, плавно, то вздымая еще выше высокую корму, то еще глубже погружая плоский нос. На джонках мало людей, они, должно быть, спят под брезентовыми и дощатыми кровлями; может быть, ночь была бурной и теперь, при попутном ветре, выпал часок для отдыха. Холодно там, на джонках, даже если и тлеет уголек в жаровне, — все равно холодно. Только рулевые стоят на корме, поглубже засунув руки в рукава темных телогреек, концы весел они держат под мышкой. Иногда они гребут этими веслами, но гребут по-особому, чуть покачивая их из стороны в сторону и вращая вокруг оси. Лопаста весел выточены так, что при этом они как бы отталкиваются от воды и придают джонке поступательное движение. Давно же, оказывается, был известен людям гребной винт! А я-то думал, будто это изобретение девятнадцатого века!

Вот уже несколько суток два пассажира присматриваются друг к другу: я к высокому белокурому человеку в летнем клетчатом пальто, а он — ко мне.

Теперь у нас больше возможностей для общения: ветер утих, погода улучшилась и с палубы местами снят брезент. Пассажир этот подходит ко мне и спрашивает:

— Совет?

— Совет, Совет! — отвечаю я. — Советский Союз!

Тогда он тычет пальцем себе в грудь:

— Чехословакия!

Мы пожимаем друг другу руки. «Чехословакия», должно быть, потрясаяще холодно в летнем изящном пальто, но пассажир не унывает, стремится превратить это обстоятельство в шутку, совершенно синими пальцами направляет на берег объектив фотоаппарата, потом на меня, потом на меня и на товарища Тяня.

Чех то и дело исчезает — спускается вниз. Там, около машинного отделения, теплее: он согревается и снова появляется на верхней палубе только для того, чтобы стоять и вместе молча смотреть на берега, на реку.

Казалось бы, на что смотреть, чем любоваться?

Пологие, однообразные берега, белесое небо с туманными, как бы дымными облаками. На берегах деревни: приземистые фанзы, редко — фигурки людей. Похоже на то, как это бывает у нас где-нибудь в нижнем течении Волги, либо в степных верховьях Иртыша. Разве только проплывет мимо странная для наших глаз пагода — темная, остроконечная, как будто окаменевшая от времени.

Люди мы незнакомые, из разных стран, говорим на разных языках, а вот приятно нам стоять вместе, молчать и глядеть, глядеть на этот неулыбчивый, как будто ничем не привлекательный пейзаж. Это потому, что чех знает: великая перед нами страна, дружественная страна. И я это знаю. Оба мы глядим в лицо друга.

Но вот пора прощаться.

Чех показывает: и он доехал в своем клетчатом пальто — и ничего, жив, здоров. Как можем, но от всего сердца мы желаем друг другу всего хорошего.

Потом настает время прощаться и с товарищем Тянем.

Товарищ Тянь рассказывал мне о замысле своего романа. Роман должен быть посвящен тому, как партия, народ, новое китайское государство, вся жизнь нового Китая воздействуют на сознание капиталистов.

До сих пор я проверяю себя и до сих пор мне кажется — я был прав, посоветовав товарищу Тяню не писать романа. Нужен очерк. Документальный, точный, непроверяемый. Нужно написать все, как было: и про историю судоходства на Янцзы, и про компанию «Миньшэн», и про то, как застрелился главный инженер этой компании, и как был внедрен на Янцзы метод толкания, как инженеры компании получили почетные грамоты. Не надо пропускать мелочей, фактов. Если эти мелочи, эти факты будут освещены партийной логикой, партийной мыслью писателя, — они перестанут быть мелкими. Они станут значительными, огромными. Кто знает — может быть, они прозвучат на весь мир.

Таким и было наше прощание с товарищем Тянь Хай-янем: мы дали друг другу обещание написать очерки о Янцзы.

«ДЛИННАЯ РЕКА ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОМИТЕТ»

В Ухане, довольно далеко от центра города, на широкой асфальтированной магистрали, с обеих сторон которой сносятся старые деревянные постройки и возводятся новые — многоэтажные, светлые, стоят красные кирпичные здания, напоминающие казармы. Это сходство еще увеличивается оттого, что дома окружены высокой оградой.

Между тем ничего общего с казармами они не имеют, и, когда машина наша впервые остановилась у ворот ограды, я долго разглядывал эти постройки, чтобы приметить их внешний вид: ряды корпусов, трубу какого-то высокого здания, вероятно лаборатории либо мастерской, гараж, расположенный как раз против фасада главного здания, жилые корпуса уже гораздо более привлекательной архитектуры, окруженные молодыми деревьями.

По обеим сторонам ворот висели две вертикальные белые доски с черными, очень четкими иероглифами. Это обычный вид вывесок при входе в учреждения — министерства, управления, канцелярии.

— Комитет! — сказал Хуан, бросив взгляд на эти доски.

Я попросил его прочесть мне все, что написано на досках, дословно, без всяких поправок. Это звучало таким образом: «Длинная река водное хозяйство комитет».

Иначе говоря, Комитет по проблеме освоения реки Янцзы. Еще иначе — учреждение, в котором закончится наше с Хуаном путешествие по Янцзы, в котором наши впечатления, наши встречи, разговоры, размышления подкрепятся какими-то определенными цифрами и фактами.

Кто как, а я всегда испытываю особое чувство, когда вхожу в крупное проектное учреждение. В природе еще нет какого-то грандиозного сооружения, еще пустует где-то участок поля или участок реки и выглядит так, как, быть может, выглядел он и тысячу лет назад, а в проектно-институте это сооружение уже существует.

Проектировщики уже создали его своим воображением, оно все представлено в чертежах, в расчетах, о нем говорят и спорят, как о чем-то совершенно реальном.

Вот, скажем, на Янцзы еще нет ни одной плотины, еще клокочет вода в ущельях и бьется о скалы и бурлаки проводят на бечеве через пороги джонки, а тем временем в стенах этих зданий плотина на Янцзы существует, здесь называют ее вес, объем, напор, говорят о том, сколько должно быть турбин при плотине, распределяют энергию, выработанную этими турбинами, спорят, куда энергии дать больше, куда меньше, даже спорятся, наверно, из-за этого. Возможно, известно уже, сколько дежурных будет на щитах ГЭС, где эти дежурные будут сидеть, по каким телефонам и куда будут звонить и, быть может, даже квартиры запроектированы для них.

И живут где-то на свете люди, — эти люди, может быть, еще мальчики и девочки — дошколята, а может быть, они учатся, работают, приходят с работы домой и занимаются домашними своими делами, не подозревая, что для них уже запроектированы рабочие места, намечены обязанности и дело всей их будущей жизни. Даже телефоны предусмотрены и квартиры окнами то ли на север, то ли на юг.

Еще больше людей — миллионы, десятки, сотни миллионов — называются здесь, на языке проектов, «потребителями», и в самом деле, это для них, ради их будущего, ради их жизни на земле будут укладываться миллионы кубометров бетона и железобетона в тела плотин, будут вращаться рабочие колеса турбин и роторы генераторов, будут шлюзоваться суда...

Есть слово, в содержании которого всегда боролись, боролись жестоко, два непримиримых начала: одно мистическое, с неким таинственным и даже потусторонним смыслом, другое — светлое, ясное, определенное, призывающее к действию; слово это — судьба.

Каждый, видимо, совершенно по-своему внутренне чувствует эти два начала, но каждый в наше время стремится все больше и больше овладеть своей судьбой, подчинить ее своему собственному творчеству и творчеству своих единомышленников, товарищей, творчеству людей.

И мне кажется еще, что каждый, кто когда-либо в жизни составил хоть маленький технический проект, обязательно должен это подлинное начало слова «судьба» слышать в другом слове — «проект».

В Комитете я не был неожиданным гостем. С некоторыми сотрудниками я виделся в первый свой приезд в Ухань, и мы договорились, что я могу ознакомиться с их учреждением. Кроме того, в Комитете работает группа советских специалистов, и многих я знал если не лично, то по специальной литературе.

Приехали мы в Комитет опять-таки не вдвоем, а втроем.

С нами был инженер Скачков. Накануне мы встретились с ним в коридоре гостиницы.

Скачков когда-то учился в институте, где я преподавал, а в Ухань он прибыл с группой советских туристов. Скачков — геодезист, а я в геодезии не силен. За всю свою жизнь поработал с теодолитом, верно, не более трех-четырех месяцев да столько же с нивелиром, однако Скачков так торжественно и так значительно вычерчивал на листке китайской почтовой бумаги предложенное им решение задачи Потенота, что я, кажется, стал что-то понимать в его засечках и даже уверился, что геодезистам в Комитете будет интересно с ним поговорить.

Решили поехать вместе.

В благодарность Скачков принес в мой номер и поставил на письменный стол дьявольски черного, толстого, в расстегнутой рубашке, с волосатым брюхом будду, которого он купил в Пекине за восемьдесят юаней, и сказал, что я могу любоваться этим красавцем, пока не уеду из Уханя. Сам же ушел к себе вычерчивать цветными карандашами новый способ засечек.

Я остался с этим буддой один на один, он уставился на меня своими разбойничьими, насмешливыми и необычайно умными глазами. Меня взяло сомнение: а не оскандалится ли мой Скачков перед китайскими геодезистами? Вот будет неловко!

Но отступать нельзя, и вот мы в Комитете втроем.

Через каких-нибудь полчаса вся организационная сторона дела улажена. Когда, с кем и по каким вопросам я буду встречаться — на этот предмет мы составили с товарищами из Комитета записочку-расписание. В какие отделы пойдем — то же самое. С какой литературой мне следует ознакомиться и какие материалы мне покажут — третий список.

Сопровождает меня Е-тунджи, то есть товарищ Е, а полностью — Е Вэн-сян, редактор многотиражной газеты «Народная Янцзы» и одноименного ежемесячного технического журнала, издаваемого Комитетом.

Даже комнатка отведена в конце коридора второго этажа, где можно знакомиться с проектами, и прикомандированы переводчики по специальным техническим вопросам.

В любой момент я могу встретиться с любым сотрудником и помимо нашего плана-расписания, если только... хватит времени. Это весьма сомнительно.

Скачков тоже не забыт: ему обещаны встречи с геодезистами. Разговор в Комитете начинаю с орошения.

Товарищ Хуан Хуай-чжэнь, специалист по орошению, сухощавый, очень скромный человек, раскладывает на столе огромные карты бассейна Янцзы и спрашивает, что меня интересует.

Я отвечаю:

— Говорите то, что сами считаете самым интересным, то, о чем, к примеру, сами бы хотели прочесть в советском журнале по поводу проблемы, над которой вы работаете. Ну, а потом и я спрошу вас по ходу нашей беседы.

Тогда товарищ Хуан Хуай-чжэнь кивает головой и перечисляет то, о чем он расскажет: а) об истории орошения в бассейне Янцзы, б) о нынешнем его положении, в) о современном сельхозпроизводстве в бассейне, г) о перспективах развития орошения.

Ну что же, дело знакомое! Не однажды я уже беседовал с китайскими специалистами и партийными работниками по такой же примерно программе, привык к ней, вполне ее одобряю.

Когда после пяти- или шестичасовой беседы мы расстаемся с товарищем Хуан Хуай-чжэнем, он немного смущен. Он, верно, подозревает, что писателю нужно было не это, не одни только цифры и факты, была нужна, наверно, лирика.

Это верно — со слов товарища Хуан Хуай-чжэня я записал столько цифр, что, совершенно очевидно, у меня не будет возможности втиснуть в очерк и одной десятой доли их. Но ведь товарищ Хуан Хуай-чжэнь отобрал для меня из папок тоже только ничтожную долю своих цифр.

Он это сделал, да и я еще отберу кое-что из своих записей, — глядишь, вместе мы и сможем рассказать советскому читателю кое-что интересное об этой огромной проблеме.

Инженер Чэнь Цзи-шэн, кандидат наук, защитивший диссертацию у нас в Союзе, возглавляет отдел, разрабатывающий важнейшую часть этой проблемы, — энергетический. Он еще молод, этот человек, а какие у него в руках цифры, какие необыкновенные проекты и планы!

Товарищ Чэнь, сразу видно, уже не раз принимал нашего брата — литератора, однако у него нет и следа той нетерпеливости, с которой иной раз крупные специалисты дают интервью.

Много любопытного он рассказывает мне о проектах, составленных для Янцзы американскими инженерами. Я уже слышал, правда, кое-что на этот счет в Пекине, в Министерстве электропромышленности; здесь факты становятся лишь конкретнее. Ну, например, был составлен проект ГЭС на Янцзы, а геологического профиля по створу в этом проекте не было совсем.

Возник вопрос: как же так? Может быть, в этом створе и вовсе нельзя строить ГЭС, зачем же проект?

Ответ гласил примерно следующее:

— Нам было заплачено за работу столько-то (приблизительно сумма называется в объеме 130—150 тысяч юаней). В эту сумму не вошли работы по геологии. Мы ее и не учитываем. Сделано, сколько заплачено. По-джентльменски.

— Но ведь без геологии и вся остальная работа не имеет смысла?

— Это нас не касается. Сделано столько, сколько заплачено.

Я не хочу отрицать способностей американских инженеров. Я знаю прекрасные проекты, выполненные ими, хотя бы проект той же «Гранд-Кули». Но там, где начинают преобладать предпринимательство и личные интересы, не только у американцев, а у всех и всегда возникали недоразумения с техникой.

Я встречался затем с гидрологами, с геологами, топографами. О некоторых из этих встреч читатель еще узнает дальше.

Теперь же хотел бы рассказать немного о земляках.

В своем путешествии я как-то мало встречался с советскими специалистами, в Комитете же их работало более двадцати человек, и многих из них, как я уже говорил, мне приходилось знать и раньше.

Вдруг узнаю, что здесь работает почвовед Шувалов.

— Сергей Васильевич!

— Да, Сергей Васильевич!

Вхожу в комнату. Человек склонился над столом с бумагами, не слышит. Сажусь рядом на стул. Проходит некоторое время — опять не слышит. Оперся обеими руками в щетинистые щеки, иногда подчеркнет в колонке цифр какую-то одну и опять сидит в той же позе.

Наконец поднимает голову — узнаем друг друга! А и знакомства-то всего-навсего две-три встречи в Почвенном институте Академии наук, что в Пыжевском переулке в Москве. Однако здороваемся по-братски, долго глядим друг на друга, вспоминаем общих знакомых, а потом я говорю:

— Вот, Сергей Васильевич, усудобили вы куда-то мою рукопись об освоении земель в северных районах Омской области! Я ее вам посылал...

— Ничего подобного, — говорит он. — Ничуть не бывало!

И достает из стола сборник, в котором эта работа напечатана.

Работа небольшая, попросту сказать — маленькая, ординарная, но все-таки она далась нам когда-то не очень просто: вспоминаем, что от противников этой работы была даже прислана в институт специальная телеграмма о том, что, дескать, неплохо было бы ее из повестки сессии исключить.

Теперь освоение земель в тех районах, о которых шла речь в статье, уже ведется. Я рассказываю Сергею Васильевичу, как оно идет, это дело, и кажется нам обоим, будто мы в Пыжевском переулке.

Хорошо!

С инженером Малиновским мы встречались в Ростове-на-Дону, когда там началось строительство оросительных систем с питанием из Цимлянского водохранилища.

А вот инженеров Дмитриевского и Менабде я раньше не знал. Дмитриевский — участник строительства еще Днепровской ГЭС, потом работал по Ангарскому каскаду. О нем я слышал много, а встретиться пришлось вот где — в Ухане, на берегу Янцзы.

Цифры Дмитриевский не называет, потому что, говорит он, цифры эти окончательно утрясутся через полгода, не хочется, чтобы предварительные соображения выдавались за какие-то обоснованные показатели.

Я так понимаю: кто-то из журналистов, верно, уже подвел его когда-нибудь в этом смысле; говорю, что не собираюсь выдавать цифры за окончательные, что возьму преимущественно те, которые опубликованы в китайской печати, что, например, мощность ГЭС на Янцзы назову «в пределах от двадцати до двадцати девяти миллионов киловатт».

Тогда Дмитриевский добреет, лицо его, обрамленное сединами, строгое, очень вдумчивое, как будто посветлело. Однако же с добрым выражением на лице он начинает с того, что ругает писателей.

— Вот о нас пишут (когда Дмитриевский говорит «о нас», это надо понимать — «о проектируемой ГЭС»), пишут, будто мы — «самая большая в мире, в мире еще нет таких». И, знаете ли, это считается открытием, — что в мире нет. Считается литературой такое заявление. А вовсе и нет. Ну, и что? Да мало ли чего в мире нет? Для того и живем, чтобы было. Нет, так объясните: почему нет до сих пор? Если нет — почему должно быть? Если нет — как люди делают, чтобы было? А просто сказать, «в мире нет»... Примитивно это отмечать. Знаете ли, низшие растения, если, скажем, нет для них света или там тепла, они и то отмечают это своим поведением...

Я спрашиваю: ну, а как, по его мнению, начало работ по Янцзы — самое начало — соответствует ли значению всей проблемы?

— Здесь есть такое выражение, — задумчиво отвечает он, — «старый кадр». Это — никакие не инженеры, а люди, которые прошли школу жизни и борьбы. Такую школу, которая научила их созидать. Если так можно выразиться, созидание — вот их специальность. Так вот, на данном этапе именно они решают все. Потом, несколько позже, появится масса специалистов, они же, эти люди, станут инженерами. А пока — все дело в них, в таких, какие они есть сейчас, вот сегодня. Я верю в этих людей... Второй раз в жизни на моих глазах такие люди начинают дело. В России. В Китае. То, что сделано за год Комитетом, — это, кажется, уму непостижимо, такой объем работ!

Инженер Менабде, Гавриил Ясонович, наоборот, о цифрах говорит очень уверенно, с таким подъемом, восторгом и выражением, будто читает Маяковского.

И очерки мои он уже считает напечатанными, дает свой тбилисский адрес: «Выйдет ваша книжка — пришлите сразу же!»

Так проходят дни и встречи в Комитете...

Геодезист Скачков теперь уже самостоятельно ездит в Комитет и говорит, что из группы советских туристов к нему хочет присоединиться в этих поездках еще какой-то товарищ — не то геолог, не то горняк.

Но за всеми встречами все-таки стоят цифры. Без них нельзя, невозможно обойтись, если разговор зашел о технике. Да и зачем обходиться без цифр, когда они становятся выразительнее, необходимее слов?

Начнем с самой большой, с самой значительной цифры, вокруг которой все остальные показатели должны найти себе место.

Мощность ГЭС на Янцзы предварительно определяется по разным вариантам в пределах от двадцати до двадцати девяти миллионов киловатт.

Это в пять — семь раз больше, чем строящиеся крупнейшие в мире Красноярская ГЭС на Енисее и Братская — на Ангаре. Примерно столько же энергии, сколько дадут проектируемые на Янцзы ГЭС, дают все вместе взятые современные гидроэлектрические станции США.

Варианты мощности зависят от того, в каком створе окончательно будет запроектирована основная ГЭС, — их несколько, наиболее вероятных мест расположения станции. Наиболее выгодный по энергетическим показателям створ оказывается наиболее опасным в отношении геологическом. Решается вопрос: отказаться от этого створа или принять меры по укреплению естественного основания, скажем, методом цементации.

Зависит мощность будущей ГЭС и от высоты подпертого горизонта. В Комитете называют проектные отметки: 190, 200, 220 и 235. Наибольший подпор приведет к затоплению около восьмидесяти тысяч гектаров. При той плотности населения, которая имеет место в Китае, из зоны затопления потребуется переселить два миллиона человек.

Но так или иначе, а контуры будущей ГЭС уже выясняются.

Мне говорили, что по одному из вариантов глубина воды в створе будущей плотины при наименьших горизонтах реки — 45 метров, в паводок — 75, общая высота плотины — 260 метров; в тело плотины должно быть уложено двенадцать миллионов кубометров бетона и железобетона, то есть в два раза больше, чем в известную плотину «Гранд-Диксанс». Объем водохранилища — около ста кубических километров.

Длина подземного контура здания ГЭС — три тысячи двести метров, в этом здании должно быть размещено семьдесят — девяносто агрегатов по триста тысяч киловатт каждый. Турбины такой мощности еще не производятся нигде в мире. В СССР самые большие турбины имеют мощность двести тысяч киловатт, китайская промышленность в настоящее время производит турбины в пятьдесят тысяч киловатт.

Где же должны быть построены такие колоссальные турбины? Я об этом спрашивал не один раз, и всякий раз мне отвечали:

— Ничего — научимся. Научимся у вас!

После сооружения плотины до Чунцина смогут подниматься пароходы водоизмещением в десять тысяч тонн.

Таковы основные показатели проектируемого узла.

Мир еще не видел ничего подобного в области гидротехнического строительства. Проблемы такого рода, если это реальные проблемы, возникают не из фантазии инженеров. Инженеры создают проекты, которые действительно соответствуют эпохе, соответствуют истории страны, ее мощи, ее возможностям.

Проблема освоения Янцзы связана со всей жизнью страны. Необходимо учесть историю гидротехнического строительства, то есть уже накопленный опыт, природные предпосылки, возможности комплексного, всестороннего использования построенных сооружений не в одной, а в нескольких отраслях народного хозяйства, — только при наличии такой возможности сооружения оправдают себя.

Несколько слов из истории.

О проблеме Янцзы говорили давно и много, даже составляли проекты строительства на ней плотин еще при гоминдановском режиме. Работали над проектами и китайские и американские инженеры. Ни один из этих проектов теперь не может быть признан полноценным.

Но не только Янцзы, а и гораздо менее значительные объекты гидротехнического строительства не были осуществлены в последние десятилетия перед Освобождением. Сколько раз объявлял Чан Кай-ши о начале строительства моста в Ухане, сколько было попыток восстановить и построить новые защитные сооружения против наводнений, от которых так страдает Китай, — ничего этого выполнено не было. Быть может, и в самом деле история еще не подготовила в стране условий для подобного строительства?

Нет, это не так.

Это не так потому, что и в прошлом, даже в самом отдаленном прошлом, и в настоящем Китай показывал и показывает образцы подобного строительства. Китайский народ обладает исключительно высокими навыками в гидротехнике.

О прошлом мы уже говорили — вспомним оросительную систему «Дуцзяньян», о ней речь шла выше. А Великий Китайский канал? А оросительные каналы близ Сиани и Лояна? Нет, об этом не может быть и речи — еще тысячи лет назад китайцы показали себя выдающимися строителями-гидротехниками.

В Комитете по освоению Янцзы один очень крупный советский специалист рассказывал мне, что у него буквально кружится голова всякий раз, как он начинает размышлять о системе «Дуцзяньян» и ее строителях.

— Две тысячи двести лет тому назад! — говорил мне этот инженер. — Техника, ее история, масштабы строительства... Все, все должно быть понято как-то иначе, как-то по-другому, чем понималось до сих пор, когда глядишь на эту систему... Она существовала в таком же виде, как и сейчас, до легенды о Христе, до православия, до путей «из варяг в греки», до всего того, что для меня, русского человека, является началом начал духовной жизни моей нации...

От себя добавлю: это говорит советский инженер, привыкший к невиданным ранее масштабам.

О гидротехническом строительстве в Китае после Освобождения, то есть после 1949 года, можно составить представление по нашим специальным журналам, которые теперь широко освещают зарубежный опыт и особенно опыт народного Китая. Из номера в номер журналы «Гидротехническое строительство» и «Гидротехника и мелиорация» публикуют очень интересные сообщения.

Когда сооружалось Фоцзылинское водохранилище, газеты империалистических стран заявляли, что это неосуществимая затея. Знакомые речи! А результат? За два с половиной года работы были закончены. Наступила очередь «Мэйшаня», за «Мэйшанем» последовал «Сянхундянь». Если на первом объекте укладывалась тысяча кубических метров бетона в сутки, то на втором — две, а на третьем — четыре тысячи. В то же время число рабочих сокращалось в обратной зависимости — на «Фоцзылине» было занято шесть рабочих колонн, на «Мэйшане» — пять, на «Сянхундяне» — одна колонна. Соответственно менялось и число специалистов, занятых на строительстве: 230, 130, 80. Освободившиеся кадры инженеров направлены в Комитет по освоению Янцзы и на строительство гидроузла «Саньмынься» на реке Хуанхэ. Это следующий и очень крупный шаг в развитии гидростроительства Китайской Народной Республики. 13 апреля 1957 года в 12 часов 55 минут в Саньмынься раздался первый взрыв, возвестивший о начале работ. Здесь будет построена бетонная плотина высотой в 110 метров и длиной в 840 метров, ГЭС мощностью 1,1 миллиона киловатт (запроектировано восемь агрегатов по 137,5 тысячи киловатт каждый), создано водохранилище емкостью в 64 кубических километра.

Это — начало грандиозной программы освоения Хуанхэ, программы, которая включает создание каскада из сорока шести ступеней, выправительные и регулирующие работы в порядке борьбы с наводнениями и улучшения условий судоходства, работы по борьбе с эрозией почв и орошению земель в бассейне реки.

Только на изыскательских работах в бассейне Хуанхэ было занято свыше шести тысяч человек.

Таким образом, проблема Хуанхэ и ее осуществление — это как бы генеральная репетиция перед наступлением на еще более могущественную Янцзы.

В деле освоения природных ресурсов страны, в частности водных ресурсов, очень ясно можно проследить, как новый Китай широко и умело, без промедлений использует все преимущества социалистической системы и уже имеющегося в этом отношении практического опыта стран социалистического лагеря, прежде всего, конечно, Советского Союза.

Только при социализме, когда отсутствует частная собственность на землю и воды, на недра, на средства производства, когда на решении важнейших хозяйственных задач могут быть сосредоточены усилия миллионов и десятков миллионов людей, так что эти задачи становятся общегосударственными, политическими, только при этих условиях возможно ставить и решать в кратчайшие сроки проблемы, подобные проблемам Ангары, Волги, Хуанхэ, Янцзы.

Есть и еще одно важное обстоятельство, которое нельзя не учитывать. Это строительные навыки не только кадровых рабочих, инженеров и техников, но и самых широких слоев населения, которое неизбежно будет привлечено к участию в строительстве. Как обстоит дело на этот счет не в прошлом, не в истории, о которой мы уже говорили, а в современном Китае?

Газета «Дружба» от 16 декабря 1956 года рассказывает, что, по данным за 1955 год, в бассейне той же Хуанхэ был построен один миллион восемьсот тысяч плотин. При населении бассейна в 180 миллионов человек это значит, что на каждые сто человек там построена одна плотина.

Министр водного хозяйства КНР товарищ Фу Цзо-и в статье «Водохозяйственное строительство в Китае», написанной им для советского журнала «Гидротехника и мелиорация»¹, говорит, что в течение нескольких последних лет в Китае построено и восстановлено более десяти миллионов плотин, каналов и других гидротехнических сооружений. Только за зиму и весну 1955/56 года было построено двадцать семь тысяч средних и мелких водохранилищ и три миллиона плотин.

В течение этих нескольких лет объем земляных работ на объектах водного хозяйства (на июнь 1956 года) составил 5,4 миллиарда кубометров и 47,64 миллиона кубометров скальных работ.

В течение трех-четырех лет только на водохозяйственных работах, не считая железнодорожного, жилищного, промышленного и другого строительства, каждый китаец вынул и уложил в тело какого-либо гидротехнического сооружения почти десять кубометров земли и по 0,08 кубометра скалы! Нужно учесть при этом, что объем строительства возрастает все время, возрастает очень быстро — на 25—30 процентов в год и, следовательно, эти цифры тоже возрастают!

Не может быть никаких сомнений, что перед нами врожденные строители-гидротехники!

Каждый, кто хоть однажды проехал по этой стране в последние несколько лет, навсегда запомнил картины строительства: везде, в любом населенном пункте, строятся здания, возводятся насыпи железных дорог, сооружаются дамбы. Тысячи и тысячи людей в синих робах, с корыслами на плечах и с корзинами, наполненными землей, бесконечными веренищами двигаются один за другим. Они даже не ходят шагом, эти люди, эти беспримерные труженики, — они слегка бегут, не быстро, но упорно. Ни один из них не выйдет из шеренги, пока не будет сигнала на перерыв, ни один не остановится... Песня, негромкая, но такая же упорная и трудолюбивая, как эти люди, беспрерывно реет над их головами...

Когда я видел строителей и слушал их песни, передо мной еще не было цифр из статьи товарища Фу Цзо-и.

Теперь я эти цифры знаю. И, несмотря на все виденное мною в Китае, цифры эти поразили меня.

¹ «Гидротехника и мелиорация», № 1, 1957.

Несколько слов о постановке проектного дела. Здесь достаточно познакомиться с самим Комитетом по освоению Янцзы.

В этом учреждении восемь тысяч сотрудников. Руководит им премьер Чжоу Эньлай. Одних только гидрологических станций в бассейне Янцзы по изучению режима рек открыто около тысячи семисот. Советские специалисты утверждают, что Комитетом в течение года проделана поистине колоссальная работа по проектированию, что это громадное учреждение работает исключительно четко и организованно, что без промедления выполняются все запросы проектировщиков: в огромном количестве и очень быстро пробуриваются разведочные скважины, гидрологам предоставляются хорошо оснащенные суда, точен топографический материал.

Мне пришлось ознакомиться с работой ряда лабораторий Комитета, но, чтобы не затруднять читателя, я расскажу только об одной из них — гидравлической.

Это — огромное помещение (24 × 72 метра), в котором исследуются в настоящее время модели многих гидротехнических сооружений Китая.

Особое впечатление на меня произвели два обстоятельства.

Во-первых, мне сказали, что эта лаборатория как бы только предварительная, учебная. В ней не проводится и не будет проводиться исследований, связанных непосредственно с сооружениями на самой Янцзы. Для этой цели в недалеком будущем будет построена другая лаборатория, в несколько раз большая.

Во-вторых, я увидел, как в этой лаборатории готовят кадры исследователей.

Передо мной был огромный продолговатый бетонный ящик, а через ящик пропускалась вода и велись измерения уровней и расходов. Долго я не мог понять, что за сооружение передо мной, ходил вокруг, но, признаться, спросить стеснялся: неудобно гидротехнику тыкать пальцем в модель какого-то сооружения и спрашивать: «А что это за штука?»

Наконец каким-то образом выяснилось, что передо мной модель однокамерного судходного шлюза в масштабе одна десятая. Я был удивлен. Только-то?! Но зачем же моделировать, да еще в столь крупном масштабе такое сооружение, как однокамерный шлюз? Достаточно открыть учебник и взять оттуда формулы наполнения и опорожнения шлюза.

Когда я выразил свое недоумение, мне ответили:

— Конечно, так.. Но формулы формулами, а людей нам нужно готовить к экспериментальной работе на моделях.

— Почему же на таких простых моделях?

— Потому что им предстоит работать на сложных. А начинать они должны на самых простых.

Значит, все это сооружение было воздвигнуто только для производственной практики исследователей. Зато тут же, рядом, я увидел действительно очень интересные опыты с аэрированным потоком. Это была уже следующая ступень в подготовке лабораторных кадров.

Итак, в Китае имеются и тщательно подготавливаются технические силы для того, чтобы приступить к строительству крупнейшей в мире ГЭС. К этому нужно еще прибавить советский опыт, помощь советских специалистов. Недавно я прочел в газете «Дружба», что в проектировании каскада на реке Хуанхэ принимали участие сотни советских инженеров и техников (главным образом, ленинградцев). Сотни советских специалистов! Это что-то значит! И, конечно, в будущем народный Китай может рассчитывать на помощь Советской страны.

О природных условиях.

Крупные гидротехнические сооружения дают очень дешевую электроэнергию и не требуют больших затрат на эксплуатацию. Зато сами они стоят иногда так дорого, что, как показывает опыт, нередко выгоднее бывает сжигать жидкое топливо или уголь в топках тепловых станций.

На реках равнинных, с широким руслом, с большими паводками, с огромной площадью затопления, которую создают плотины, стоимость эта еще увеличивается. В результате во многих странах, несмотря на абсолютный прирост мощностей гидро-

электростанций, удельный вес их в общем энергетическом балансе из года в год снижается, а тепловых станций повышается.

Как же обстоит дело в Китае?

Китайский журнал «Гидроэнергетика», который, кстати говоря, выходит двадцать четыре раза в год, сообщает, что в первом пятилетии (1953—1957) гидроэнергия составила семнадцать процентов от общей выработки энергии в стране; во втором пятилетии этот процент поднимется до двадцати восьми; в третьем — до сорока. В ряде случаев строительная стоимость проектируемых в Китае ГЭС превышает стоимость тепловых станций той же мощности не более чем в полтора раза, и, наконец, стоимость многих ГЭС равна стоимости тепловых станций.

Крупнейшая же гидростанция «Саньмынься» стоит даже дешевле, чем тепловая той же мощности.

Относительная дешевизна строительной стоимости ГЭС в Китае объясняется, в общем, благоприятными геологическими и топографическими условиями, при которых возможно строительство высоконапорных плотин в условиях преимущественно горных ущелий. Кроме того, все крупнейшие реки Китая протекают не по его окраинам, а в центре страны, в густо населенных районах,— это также облегчает как организацию строительства, так и наиболее эффективное использование электроэнергии.

Наконец, нельзя не сказать о тех гидроэнергетических ресурсах, которыми обладает Китай. Еще недавно, до Освобождения, эти ресурсы исчислялись в сто пятьдесят миллионов киловатт, а Китай считался в этом отношении «бедной» страной. После Освобождения были проведены более детальные исследования, и вот какие результаты они дали. Общие запасы гидроэнергии исчисляются теперь в пятьсот сорок миллионов киловатт, полезные запасы — в триста миллионов киловатт. На одной только Янцзы могут быть построены гидроэлектростанции с суммарной мощностью в сто сорок миллионов киловатт (что составляет сорок процентов запасов гидроэнергоресурсов всей страны). Китай оказался одной из самых богатых гидроэнергоресурсами стран.

Существуют и неблагоприятные условия, в частности очень резкие сезонные колебания стока и очень высокая мутность рек Китая. Особенно велика мутность Хуанхэ.

Это сравнительно небольшая река, ее годовой сток составляет сорок семь кубических километров, в двадцать два раза меньше, чем сток Янцзы, почти в пять с половиной раз меньше, чем сток Волги, которая сбрасывает в Каспий двести пятьдесят два кубических километра ежегодно. Но если Волга выносит в устье двадцать миллионов тонн наносов в течение года, то для Хуанхэ это количество составляет миллиард триста восемьдесят миллионов тонн — в пятьдесят два раза больше. Иначе говоря, мутность воды в Хуанхэ почти в двести восемьдесят два раза больше, чем в Волге. Хуанхэ считается самой мутной рекой в мире. Количество наносов в паводок в ней достигает пятисот восьмидесяти килограммов на каждый кубометр воды.

Однако эти условия, хотя они и неблагоприятны с точки зрения гидротехники, не только не ограничивают в Китае гидротехнического строительства, но, наоборот, очень сильно стимулируют его. Иначе и быть не может. В Китае борьба с наводнениями настолько насущная задача, что без решения ее нельзя себе представить ни дальнейшего развития народного хозяйства, ни повышения благосостояния населения.

А если это так, если борьба с наводнениями неизбежна и неизбежно строительство крупных гидротехнических сооружений на реках, тогда остается позаботиться о том, чтобы эти сооружения использовались как можно более разумно, как можно больше приносили пользы не только как средства борьбы с водной стихией, но и как средства для использования этой стихии на службе у энергетики, речного транспорта, земледелия и в других отраслях хозяйства. От пассивной обороны необходимо сделать шаг к покорению водной стихии и самому широкому ее использованию. Этот шаг вполне возможно осуществить, и он уже осуществляется в народном Китае опять-таки благодаря наличию социалистической системы.

Так мы подходим к вопросу о комплексном, всестороннем и наиболее полном использовании водных ресурсов Янцзы.

Об энергетике, связанной со строительством самой мощной в мире гидроэлектростанции на Янцзы говорить не приходится: современный Китай при его бурном экономическом развитии крайне нуждается в дешевой энергии. Это особенно относится к бассейну Янцзы, потому что к нему тяготеет Юньнань — провинция, называемая еще «родиной металлов», провинция, будущее которой прежде всего в развитии цветной металлургии. В этом же бассейне лежит и, по-видимому, не менее богатая Сычуань, сюда тяготеет промышленность южных провинций и провинции Хубэй. Наконец, в этом бассейне живет двести пятьдесят пять миллионов человек, а ведь каждый человек — это потребитель энергии.

Что касается транспортного значения Янцзы, его трудно переоценить, если, как уже известно читателю, по реке перевозится три четверти всех внутренних речных и морских грузов страны, если длина всех навигационных линий в ее бассейне составляет пятьдесят восемь тысяч километров, в том числе паромных линий шестнадцать тысяч километров.

Сооружение на Янцзы плотин изменит к лучшему не только условия судоходства на самой реке и на ее притоках. Подпертые горизонты Янцзы позволят соединить ее с реками других бассейнов, изменится вообще вся карта внутренних водных путей страны. Например, возникает вопрос о восстановлении канала, который соединит Янцзы с рекой Жемчужной. Канал этот существует, он построен около двух тысяч лет назад, но потом был почти забыт.

Становится возможным и соединение Янцзы с Хуанхэ значительно восточнее Великого Китайского канала, да и сам Великий канал, реконструкция которого должна закончиться к 1962 году, приобретает новое значение.

Остается еще сказать несколько подробнее о борьбе с наводнениями и о сельскохозяйственном значении проблемы освоения Янцзы,

О наводнениях.

В Ухане, когда китайские товарищи узнали, что я гидротехник, они подарили мне целую стопку книг о борьбе с наводнением в этом городе в 1954 году. Тут и художественная литература, и летопись этой борьбы, и альбом фотографий. Но я расскажу только об одной, казалось бы, очень прозаической книге — о «Техническом отчете комиссии по борьбе с наводнением в Ухане в 1954 году».

Это прекрасно изданная книга, из которой вы можете узнать буквально все, что касается наводнения 1954 года, ну, например, что из материальных средств в борьбе с наводнением было использовано 5 420 937 мешков, 5 311 840 погонных метров каната и бечевки, 328 193 пары корзин для переноски грунта, 3 800 тысяч цзиней¹ вязанок кукурузных стеблей и 3 800 тысяч цзиней хвороста, 1 732 якоря, 273 насоса, и даже можете проследить, из каких провинций и городов все это поступило в район наводнения.

...Что в порядке продовольственного и другого снабжения для участников борьбы с наводнением было доставлено 8 636 096 цзиней хлеба и булочных изделий, 3 718 897 цзиней мяса и мясных изделий, 405 689 бутылок лимонада, 1 064 572 пары резиновых сапог, 99 803 зубные щетки, 502 436 полотенец...

С такой же степенью точности в отчете приведены все распоряжения, графики, планы и ход их выполнения, правила техники безопасности и правила поведения во время работ и на отдыхе, сведения об оплате труда.

Вы можете точно узнать, сколько фильмов просмотрели участники борьбы с наводнением, сколько они прослушали бесед, какие и когда брали социалистические обязательства, какие события во внутренней и международной жизни происходили в те дни и как они освещались в печати, издаваемой для участников борьбы с наводнением, можете прочесть тексты обращений к населению местных и центральных правительственных и партийных органов.

Борьба с наводнением 1954 года в Ухане — это экзамен на упорство, организованность и бесстрашие для людей нового Китая.

Достаточно сказать, что наводнение 1931 года, гораздо меньшее по размерам, привело к таким последствиям: затоплено было свыше ста тысяч квадратных километров,

¹ Цзинь — около 0,5 килограмма.

в том числе около четырех тысяч квадратных километров пашни. Если учесть, что затоплению подверглись земли, которые дают в год два — два с половиной урожая, можно себе представить, какой это был урон для сельского хозяйства всей страны!

Людей, пострадавших от наводнения, оставшихся без крова, насчитывалось двадцать восемь миллионов человек; погибших при наводнении — сто восемьдесят пять тысяч человек.

Но эта цифра — сто восемьдесят пять тысяч — далеко не отражает действительно-сти, она ведь не учитывает тех, кто погиб после наводнения, но в результате него — погиб от голода и холода, лишившись крова, земли, орудий труда. Таких были миллионы!

Это было обычным явлением в Китае времен гоминдановского режима. Достаточно сказать, что во время наводнения на Хуанхэ в 1938 году утонуло восемьсот девяносто тысяч человек.

За последние три тысячи лет Хуанхэ двадцать шесть раз меняла свое русло, тысячу пятьсот раз прорывала заградительные дамбы.

Но это еще полгоря. Наводнения в Китае чередуются с засухами. Я уже приводил как-то данные, часто встречающиеся в статьях китайских специалистов, выступающих по вопросам сельского и водного хозяйства, о том, что, согласно историческим летописям, в течение прошедших 2162 лет (с 206 года до н. э. по 1956 год) сильные наводнения имели место 1031 раз, то есть почти 48 процентов всех лет приносили наводнения, засухи же поражали значительные территории 1060 раз, или 49 процентов всех лет были засушливыми.

Известия о наводнениях — явление все еще повседневное в жизни страны.

Но вернемся к «Техническому отчету комиссии по борьбе с наводнением в Ухане в 1954 году».

Необычайная точность и скрупулезность всех данных, собранных в этом отчете, — это одна сторона дела. Но вот передо мной фотографии: люди, тысячи людей шеренгами стоят на берегу бушующей Янцзы. Они стоят с поднятыми вверх руками. Эти люди дают клятву победить стихию.

Другая фотография: дамба, и на ней стоят люди, плотно прижавшись друг к другу. Волны бьют в них... Позади этих людей другие насыпают дамбу, поднимают ее выше. И пока дамба не будет поднята, люди эти будут сдерживать своими телами волны Янцзы... Где-то я видел уже нечто подобное в Китае. Вспоминаю...

В провинции Хэбэй крестьяне показывали мне подземные ходы, паутиной пронизывающие Великую Китайскую равнину во всех направлениях. Эти ходы были сооружены для передвижения партизанских отрядов.

Другая картина. Старики, женщины, дети несут на себе полотно железной дороги. Головы людей протиснуты между шпалами, руки обвиты вокруг рельсов... Снимок сделан ночью, должно быть, при вспышке магния.

Подпись говорит, что таким образом население разрушало железные дороги во времена антияпонской войны и войны с чанкайшистами. Этот снимок находится в Музее истории революционной борьбы в городе Шинцзяжуане.

Такой же героизм был проявлен и здесь, в Ухане, во время борьбы с наводнением в 1954 году.

Если в 1931 году наводнение на Янцзы принесло неисчислимые бедствия, то каковы были бы последствия паводка 1954 года, когда уровень воды на полтора метра превысил уровень 1931 года?! Ведь заградительные дамбы оставались со времен гоминдана почти в том же состоянии, народное правительство Китая еще не успело провести необходимые работы по их ремонту и досыпке! Построено было только несколько новых водохранилищ, которые могли принять часть паводковых вод. И вот, в то время как в 1931 году город Ухань подвергся страшному затоплению и разрушению (число пострадавших превышало пятьсот тысяч человек), в паводок 1954 года жизнь шла в городе нормально: работали все школы, предприятия и даже транспорт двигался по затопленным и каждый день досыпаемым все выше и выше дамбам, связывая город со всей страной. Площадь затопления во всем бассейне Янцзы была в три раза меньше, чем в 1931 году,

Пора закончить рассказ об этой необыкновенной книге — «Техническом отчете комиссии по борьбе с наводнением в Ухане в 1954 году». Но я скажу еще несколько слов о ее последних страницах.

На последних страницах — портреты героев, погибших в борьбе со стихией. Кратко отчет рассказывает, как они погибли, эти люди: они бросались в воду, чтобы своими телами закрыть промонны в дамбах, не выходили из воды, когда она захлестывала их с головой...

Я встречался с некоторыми участниками этой борьбы, чудом оставшимися живыми. Они объясняют свои поступки просто: «Если не погибнет несколько человек в решающий момент борьбы, тогда неизбежно погибнет город». Все очень просто.

Но в отчете рядом с фотографиями погибших есть и другие снимки: похороны героев, траурные процессии, речи, произнесенные в память погибших товарищей, снимки памятников, воздвигнутых над их могилами.

И когда я закрываю «Технический отчет», я думаю, я уверен, что дело не только в том, что в этой необыкновенной борьбе со стихией с точностью и скрупулезностью учтены все материальные средства: камни, дерево, якоря, веревки, зубные щетки и полотенца, дело не в том даже, что в этом «Отчете» навсегда остались зафиксированными технические приемы борьбы со стихией. Дело еще и в том, что Коммунистическая партия Китая и его новое правительство, выступив на борьбу со стихией, которая веками уносила миллионы человеческих жизней, в этой борьбе ценили каждую жизнь. Здесь не было забыто ни одно имя. Каждому воздавалось должное, и, если человек погибал в борьбе, тысячи людей в осажденном водой городе провожали товарища в последний путь.

Когда через двадцать, через сто, через двести лет китайцы будут знать о наводнениях только из книг, историк развернет перед собой «Технический отчет», и он снова и снова назовет имена героев...

Мы проехали по дамбам, окружающим Ухань. Почти везде подходят к концу работы по досыпке этих дамб, по укреплению откосов камнем. Местами, на протяжении многих километров, строятся каменные подпорные стенки. Длина всех дамб — 166 километров. В наводнение 1931 года их отметка была равна 27 метрам, а паводок проходил на уровне 28,28 метра. 18 августа 1954 года уровень воды в Янцзы достиг отметки 29,73 метра, но за сто дней штурма, начиная с десятого июля, когда было объявлено чрезвычайное положение, вода так и не прорвалась в город — двести восемьдесят тысяч человек отбивали этот штурм ежечасно, ежеминутно, насосы общей мощностью свыше ста тысяч лошадиных сил перекачивали прорывавшуюся через дамбы воду обратно в Янцзы. Две тысячи чрезвычайно опасных случаев было в течение этих ста дней, но ни один из них не привел к катастрофе.

Теперь отметка дамб повсюду равна 31 метру, это на один с четвертью метра выше самого высокого уровня воды в Янцзы за последние сто лет.

Если учесть, что более трех тысяч километров земляных дамб, протянувшихся по правому и левому берегам реки, тоже подверглись ремонту и досыпке, что прилегающие к реке озера и низины с помощью распределительных сооружений превращены в огромные водохранилища, способные аккумулировать значительную часть паводкового стока Янцзы, если учесть, наконец, что на самой Янцзы в ущелье Санься будет построена плотина с напором более двухсот метров, которая создаст водохранилище объемом свыше ста кубических километров, — тогда угроза наводнений со стороны Янцзы устраняется навсегда.

В наше время Янцзы — еще грозная опасность для людей, местами в период половодья уровень ее оказывается на десять метров выше окружающей местности — полей, деревень, городов, ежеминутно угрожая прорвать заградительные дамбы. Но скоро Янцзы будет обуздана раз и навсегда.

Но, кроме того, что Янцзы буйная, грозная река, она еще и щедрая — она кормит и поит десятки, сотни миллионов людей. Это в характере всех стекающих с гор в жаркие равнины могучих рек: Янцзы и Хуанхэ, Нила, Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, Инда и Ганга, Тигра и Евфрата.

Они несут людям жизнь. Люди расселяются по берегам рек, чтобы водою напоить свои поля. Но то и дело реки, будто требуя расплаты от людей, несут им смерть. Люди платят, но не уходят от рек прочь.

Итак, речь идет теперь об орошении водами Янцзы.

Секретарь Международной комиссии по орошению и осушению Н. Д. Гулати (Индия) сообщает в своей работе «Орошение в странах мира»¹, что на земном шаре орошается сто двадцать один миллион гектаров (на 1955 год).

По данным, которые я получил в Министерстве водного хозяйства КНР, в 1956 году в Китае площадь орошения составила тридцать шесть миллионов гектаров. Двадцать девять процентов всех орошаемых площадей земного шара приходится на Китай! Это очень высокий процент.

Не менее высок процент орошаемых земель от общей площади пашни в Китае: он равен тридцати трем. Треть всей пашни в Китае орошается. И, наконец, нужно посмотреть еще, как же развивается орошение в Китае: эти огромные площади существуют издавна или оросительные системы созданы недавно? Одним словом, нужно употребить общезвестный термин: «темпы развития». Так вот, темпы развития орошения в Китае самые высокие в мире. Из тридцати шести миллионов гектаров орошаемой площади 18,3 миллиона орошены за последние семь лет после Освобождения. За один только 1956 год прирост составил 9,8 миллиона гектаров, за четыре осенних месяца 1957 года — 7,8 миллиона гектаров.

В течение ближайших двенадцати лет площадь орошения в Китайской Народной Республике намечено довести до шестидесяти миллионов гектаров. Здесь, безусловно, имеют значение благоприятные природные условия. Развитая речная сеть в сельскохозяйственных районах — это главный источник питания оросительных каналов. Грунтовые воды, пресные, неглубокого залегания, — это второй источник питания. Около семи миллионов гектаров орошается именно грунтовыми водами.

По всей равнинной части страны вы увидите одну и ту же картину: ослик с заведенными глазами вращает горизонтальное колесо водоподъемника, от колеса передача на бесконечную цепь, погруженную в скважину глубиной три-четыре метра. Цепь снабжена круглыми планками, которые и поднимают воду. Одна такая установка подает воду на полтора-два гектара.

Оросительная вода используется здесь экономно. Воды на рисовые поля подается здесь примерно в три раза меньше, чем, скажем, в Средней Азии, — всего шесть-семь тысяч кубометров за сезон. Осадки сравнительно обильные — шестьсот миллиметров на севере и до двух тысяч миллиметров на юге, но выпадают они в виде кратковременных, сильных дождей только во второй половине лета и не обеспечивают высоких урожаев. С добавлением же этой небольшой оросительной нормы урожай всех культур резко возрастает: пшеницы — в два-три раза, хлопчатника — примерно вдвое, кукурузы и чумизы — в полтора-два раза.

Приблизительно двадцать восемь из тридцати шести миллионов гектаров орошаемых земель занято в Китае под рис. Это почти треть общей мировой площади под культурой риса. Рис почти целиком возделывается на орошении, и его урожай (разовый) составляет в среднем двадцать пять центнеров с гектара; но совсем не редко урожай бывает пятьдесят и даже сто центнеров с гектара. В южных районах, в частности в бассейне Янцзы, рис обычно дает два урожая в год.

Другой фактор, способствующий развитию орошения, — это плотность населения. Собственно, трудно сказать, что чему больше содействует: орошение ли способствует увеличению плотности населения или плотное население — развитию орошения. Да и не в том дело. Еще в 1925 году наш выдающийся ученый, ныне покойный академик Алексей Николаевич Костяков, составил карту, на которой со всей очевидностью была показана связь этих двух условий. В самом деле, наиболее плотное сельскохозяйственное население сосредоточено как раз в районах орошения: в Китае, Японии, в Индии, в долине Нила, Тигра и Евфрата. Вероятно, самое плотное сельскохозяйственное население в Китае — в Чэндуской равнине, в провинции Сычуань, о которой

¹ N. D. Gulhati. Irrigation in the World. A Global Review. New Delhi. 1955.

мы упоминали выше: 785 человек на квадратный километр! И как раз здесь и располагается древнейшая оросительная система «Дуцзяньян».

Причина в том, что орошение, с одной стороны, способно обеспечить более высокий урожай и, следовательно, большее количество людей может жить на меньшей площади; с другой — на орошаемых землях требуются значительно большие затраты труда, труда, до сих пор еще мало поддающегося механизации.

Это — об орошении в Китае в целом. Что же касается бассейна Янцзы, то в нем сосредоточено 28,3 миллиона гектаров пахотных земель, или 27 процентов от общей площади пашни в стране. Из них орошается около половины. Четырнадцать провинций бассейна Янцзы производят свыше двух пятых всей сельскохозяйственной продукции страны, а риса — две трети всего сбора. Рис занимает в бассейне около шестидесяти процентов всей пашни. Всех зерновых в бассейне производится свыше трехсот килограммов на душу населения в год.

Способы орошения — самые различные. Именно в Китае можно видеть, как орошение приспособляется к самым различным условиям местности.

Когда вы едете по равнине где-нибудь под Шанхаем или Нанкином, перед вами расстилаются идеально обработанные поля и не менее идеально очерченные оросительные системы. Каналы идут строго параллельно друг другу через каждые триста — четыреста метров. Нередко они пересекаются другими каналами — перпендикулярными. Землей здесь так дорожат, что доро́г на орошаемых полях нет совсем, под дороги используются те же каналы: все движение по воде. По изумрудно-зеленому ковру орошаемых земель там и здесь медленно двигаются паруса, лодок же почти не видно — они не возвышаются над бровками каналов. В тех местах, где канал пересекается дорогой, возведены очень красивые и уже позеленевшие от времени и водорослей арочные каменные мосты. Лодочники терпеливо опускают мачты перед каждым из таких мостов на своих суденышках, отталкиваясь бамбуковыми шестами, проходят под мостом, снова поднимают паруса.

Уклоны каналов минимальные, временами эти уклоны нулевые, то есть дно каналов строго горизонтально. Чуть ли не во всем мире каналам стремятся придать довольно значительные уклоны, а следовательно, и скорости движения воды в них, иначе из воды осаждаются мелкие, взвешенные частицы и каналы очень скоро заиливаются. В Китае заиление — благо: ведь ил — прекрасное удобрение! Кроме того, здесь, на равнинах, очень невелики и уклоны рек и уклоны местности, а значит, придать каналам большие уклоны невозможно. Орошение часто производится из озер — опять-таки это не позволяет строить каналы с большими уклонами.

Наконец, каналы с горизонтальным дном превращаются здесь в подлинный механизм двойного действия: вода по ним двигается на орошаемые поля, но после спада паводковых вод в реках и озерах она по тем же каналам удаляется с полей, двигаясь в обратном направлении. Там, где полям угрожает затопление паводковыми водами, они окружены дамбами в пять — семь метров высотой. Таких дамб в бассейне Янцзы свыше ста тысяч километров. Два с половиной раза ими можно опоясать земной шар по экватору!

Не везде воду из каналов возможно подать самотеком на орошаемые поля, особенно если эти поля располагаются хотя бы на самой незаметной возвышенности. Тогда воду поднимают насосами или простейшими двигателями.

Насосы обычно те, что отработали свой век в промышленности. Их давным-давно можно бы «сдать в утиль», как говорят у нас, но здесь благодаря тщательному уходу они работают и работают на самых дешевых видах жидкого топлива. В стране таких установок миллионы, в бассейне Янцзы их общая мощность составляет пятьдесят шесть тысяч лошадиных сил.

«Простейшие двигатели» — это прежде всего люди. Они вращают примитивные водочерпательные колеса руками или ногами. И тогда это бег на месте. На каналах вы видите иногда десятки, сотни людей, занятых своим изнурительным трудом. Мне кажется, что это тяжелее, чем труд рикши.

Двинемся из равнины на запад — к горам. Здесь, на выходе из гор, как и вообще это свойственно орошению во всем мире, располагаются наиболее крупные самотечные

оросительные системы: воду сравнительно легко вывести из гор на равнины и распределить по сети каналов.

Но крупных оросительных систем в Китае и в бассейне Янцзы, в частности, очень немного. Гораздо большая площадь орошается за счет мелких систем «шаньваньтан» и «дуншуйтянь». Способ «шаньваньтан» предусматривает постройку земляной плотины, высота которой нередко достигает двадцати и более метров. За плотинной скапливается вода, в теле же плотины заложены регулирующие затворы-трубы, через которые вода подается на поля. Способом «дуншуйтянь» с помощью земляных валиков накапливают дождевую воду после сбора осеннего урожая. В воду весной следующего года высаживается рисовая рассада (почти весь рис в Китае высаживается рассадой). Этот способ проще, но не дает возможности получить еще один, осенний, урожай.

В каждой водохозяйственной проблеме нужно решить вопрос о так называемом водно-земельном балансе. Баланс этот сводится к тому, чтобы определить потребность в воде сначала на единицу площади, а потом и на всю площадь бассейна, а затем сопоставить эту потребность со стоком реки. Баланс может быть со знаком плюс — это будет значить, что бассейн обеспечен водой с избытком, он может быть и с минусом — значит, река не в состоянии обеспечить площадь своего бассейна требующимся количеством воды.

Разумеется, чем больше водность реки, чем экономнее расходуется вода в хозяйственной деятельности человека, тем больше шансов, что баланс будет с плюсом.

И, наоборот, чем меньше речной сток, чем более населен бассейн, чем интенсивнее он используется в хозяйственной деятельности, в частности, чем больше на нем развито орошение, тем вероятнее баланс со знаком минус.

Так вот, для Янцзы, несмотря на то, что население ее бассейна исключительно плотное, орошение очень развито, а земля используется почти круглый год, поскольку снимается два-три урожая, несмотря на все это, баланс получается с плюсом и с «заметным» плюсом. Расчеты показывают, что при условии сооружения на Янцзы плотин, которые удерживали бы паводковые воды, в бассейне дополнительно к существующим можно оросить еще десять миллионов гектаров и около двадцати кубических километров воды в год перебрасывать в бассейны соседних рек — Хуанхэ и Хуайхэ (всего годовой сток Янцзы составляет свыше тысячи пятидесяти кубических километров).

Так возникает проект подкрепить Хуанхэ водами Янцзы. Для этого потребуется канал длиной в шестьдесят километров с расходом в тысячу двести кубических метров в секунду.

Опять-таки это одна из грандиознейших в мире проблем ирригации. Но ведь в решении этих проблем народный Китай не одинок. Мы будем вместе и здесь. Китай приступает к строительству великих ГЭС. Что же, мы ему поможем!

Наш опыт, знания, умение — все это поможет стране, у которой мощность всех вместе взятых ГЭС еще в прошлом десятилетии составляла шестьсот тысяч киловатт, построить ныне одну ГЭС в двадцать миллионов киловатт.

Шаг от шестисот тысяч до двадцати — тридцати миллионов Китай сделает между сороковыми и шестидесятыми годами нашего века.

Инженер Дмитриевский, о встрече с которым я говорил в начале этого очерка, очень осторожно называл цифры, однако он сказал мне на прощание:

— Знаете ли, что самое важное? Для меня, советского инженера? Самое важное — еще при моей жизни эти проекты будут осуществлены. Был ли когда-нибудь раньше инженер, при жизни которого осуществлялись бы такие вот проблемы? Вот что значит в наше время для инженера — жить...

В путешествии по Китаю повсюду я чувствовал то, что называется новыми отношениями между людьми социалистического мира.

Я не буду повторять и пояснять, что это значит, иначе пришлось бы, собственно, повторять все сначала.

Но цифры Комитета по освоению Янцзы с какой-то новой стороны приоткрыли для меня смысл этих отношений. Было ли когда-нибудь, чтобы одному народу жилось и чувствовалось лучше потому, что другой народ достиг успехов? Чтобы такие понятия, как «сильный», «могущественный», «научный приоритет», ничуть не внушали стра-

ха и опасений соседям? Чтобы в союзе народов никто не стремился к захвату диктаторского положения? Этого не было никогда. И очень странно, что не было. Ведь все это такие простые и, казалось бы, понятные вещи, а тем не менее никогда в так называемом цивилизованном мире они не существовали и не существуют до сих пор вне социалистического общества.

А вот цифры, которые мне назвали в Комитете по освоению Янцзы китайские и советские товарищи, и цифры доказывают, что все это существует.

В Китае будут гидростанции более мощные, чем в СССР?

Очень хорошо! Разве кому-нибудь, кто называл мне цифры, пришло в голову завидовать или печалиться, либо испытывать чувство превосходства от этого?

Возможности одной только Янцзы бесконечны, весь же мир, вся природа — это неисчерпаемый кладезь подлинного богатства народов, кладезь подлинного их счастья. Богатство и счастье, которые не надо делить, как не надо делить воздух! Это не открытие, это давным-давно уже было известно человеку — со времен Оуэна и еще раньше, но только нужен был социализм, чтобы человек сумел использовать природу, основываясь на этом принципе.

И вот в Комитете, слушая цифры, которые мне называли, я воочию увидел, как люди делают это.

КРАСНЫЕ ШЛЯПЫ

Этот рассказ будет очень коротким, потому что человек, с которым я беседовал, так и не сообщил мне ничего о своей жизни и о своей необыкновенной, полной приключений, трудностей и лишений работе.

Человек этот — топограф Чжоу Мин-шэн, двадцати пяти лет. Он начальник партии, которая ведет съемку местности в районе Ибиня. Ибинь — город в верхнем течении реки Янцзы, самый верхний порт на реке. Выше Ибиня пароходы уже не ходят — там очень быстрое течение, и только джонки медленно пробираются по быстринам и порогам.

Проект освоения реки Янцзы предусматривает создание в районе Ибиня крупного водохранилища; там же сооружается железная дорога, которая соединит две богатейшие провинции — Сычуань и Юньнань, а существующая узкоколейная дорога, которая начинается в административном центре Юньнани — Куньмине, — соединит Внутренний Китай с Вьетнамской республикой.

Но все это в будущем, а сейчас в районе Ибиня — горы и леса, леса и горы, а между ними — реки.

Реки быстрые, полноводные, глубокие, без мостов и переправ, с холодной водой. Ледники и вечные снега питают эти дикие изумрудные реки.

Когда в народном Китае возникла проблема обуздания реки Янцзы и ее притоков, кто первый пришел в эти края, чтобы изучить их, проложить тропы, указать путь строителям?

Первыми пришли топографы, и среди них — начальник отряда Чжоу Мин-шэн.

Я и прошу рассказать Чжоу Мин-шэна, как это было, как его отряд пришел в горы Ибиня.

— Нас было восемь человек, — отвечает он, — и в первый сезон мы сняли тысячу квадратных километров в масштабе одна пятидесятитысячная.

Чжоу Мин-шэн следит за тем, как в моей записной книжке появляются одна за другой цифры: «8», «1 000» и «1:50 000». Теперь он видит, что его поняли правильно и очень доволен этим.

— Вероятно, это была очень трудная работа?

— Может быть, она и не такая трудная, но мы тогда имели еще недостаточный опыт, и она показалась нам труднее, чем на самом деле. К тому же каждый из нас, техников, должен был подготовиться в процессе работы квалифицированным топографом. Я подготовил четырех человек.

Цифра «4», записанная мной, ему, должно быть, тоже очень нравится.

— Но условия работы сами по себе трудные? Ведь там прямо-таки джунгли, я пролетал над этим районом, видел,— пытаюсь я завести разговор.

Чжоу Мин-шэн кивает, соглашается со мной и поясняет:

— Там такой лес, что обычно на карты наносятся только контуры такого леса, как там. А у нас вся работа проходила в таком лесу, внутри самого леса.

— Так... Наверно, это очень сложно?

— Мы работали мензулой. А горизонтали наносили через десять метров.

И он снова удовлетворенно кивает, заметив в моей записной книжке цифру «10». После некоторого молчания я спрашиваю:

— У вас есть семья, товарищ Чжоу Мин-шэн? Где она?

— Жена и дети... Они живут здесь, в Ухане. Детей двое, скоро будет еще один малыш.— Чжоу Мин-шэн улыбается, и все его сухошавое острое лицо смеется: смеются глаза, прикрытые узкими веками, смеются тонкие выразительные губы, смеются щеки и нос. Чжоу Мин-шэн очень доволен таким обстоятельством, как скорое появление на свет еще одного маленького Чжоу.— Я обязательно постараюсь закончить съемку нашего планшета к тому времени, как родится маленький, и тогда побываю дома, посмотрю на него,— говорит он.

— Между вами там, в отряде, наверно, часто возникают интересные разговоры? У вас есть о чем рассказать друг другу, не так ли?

— О да, конечно... Мы, когда переезжаем с одного места работы на другое, обязательно устраиваем друг другу экзамены по топографии, особенно достается новичкам. Сني так и говорят: «Переезд для нас — это как экзаменационная сессия для студентов в вузах и техникумах».

— А вы сами где учились, Чжоу Мин-шэн?

— Я учился на курсах, а потом вот так же — на практике и в пути. Как учили меня, так я теперь учу своих помощников.

Чжоу Мин-шэн явно доволен своими ответами. В самом деле, разве он сказал что-нибудь неправильно? Неточно? Несерьезно? И он чувствует себя очень хорошо, очень уверенно...

И мое продолжительное молчание он тоже, должно быть, считает хорошим признаком: чем меньше спрашивает человек, тем, значит, понятнее ему дают ответы.

Наконец я говорю товарищу Чжоу Мин-шэну:

— А не можете ли вы рассказать что-либо интересное из практики вашей работы? Ну, что вы сами считаете очень интересным, самым интересным? Как вы думаете, о чем бы было интересно прочитать советским людям, которым я буду о вас рассказывать?

Теперь задумывается Чжоу Мин-шэн, но ненадолго.

— Есть, есть такое очень интересное! — кивает он, весело улыбаясь.— Вы сейчас и сами увидите, как это здорово у нас получилось! Я сейчас расскажу все подробно!

Он переводит дыхание, почти торжественно говорит что-то Хуану, а Хуан переводит мне:

— Они придумали носить на работе красные шляпы! Совсем красные — как это будет по-русски? — ярко-красные, вот как!

— Ну и что же?

Хуан снова обращает лицо к Чжоу Мин-шэну и выслушивает его длинную возбужденную речь. Эту свою речь Чжоу Мин-шэн сопровождает жестами, какими-то пояснениями, мимикой, так что я начинаю думать, будто и без перевода понимаю Чжоу Мин-шэна: конечно, он говорит о каком-то приключении в горах, о том, какие это были высокие, неприступные горы, через какие бурные реки переправлялись они на плотах и на лодках в своих красных шляпах! Наконец-то Чжоу Мин-шэн разговорился, наконец-то он рассказывает о чем-то совершенно необыкновенном! С нетерпением я жду перевода, и вот Хуан наклоняется ко мне и говорит:

— Красные шляпы — это очень удобно. Их — эти шляпы — видно в самом густом лесу, видно с одного берега реки на другой. Когда они придумали это — носить красные шляпы,— они перестали терять друг друга из виду; техник, стоя у инструмента,

всегда видел своих рабочих-речников и не тратил времени, чтобы разглядеть их в зарослях. Им легко стало разбивать створы. Производительность труда у них повысилась на двадцать пять процентов и больше. Теперь уже все топографы в районе Ибиня носят такие шляпы, население так их и называет — «красные шляпы». Чжоу Мин-шэн просит советского писателя передать топографам там, в Союзе, что это очень хорошо — высокие красные шляпы, которые видно повсюду, в самых густых зарослях...

Передав все это, Хуан смотрит на меня, тоскливо вздыхает и говорит:

— Ну вот, не получится у нас для советских людей никакого рассказа! И думать нечего — не получится! Надо нам искать других встреч и других собеседников!

Я отвечаю Хуану, что он прав — рассказа не получится, но все-таки просьбу Чжоу Мин-шэна нам надо выполнить обязательно — рассказать советским читателям о красных шляпах.

МАО ЛИ-ЦЗЮАНЬ И ЛЕОПАРД

Два года назад Мао Ли-цзюань окончила среднюю школу в городе Нинбо. Это неподалеку от Шанхая.

Ее отец — рабочий спичечной фабрики, а мать — домашняя хозяйка. В семье было всего трое детей — это немного, и потому, должно быть, родители очень любили всех, а Ли-цзюань особенно. Она ведь старшая.

И вот, когда Ли-цзюань окончила школу, возник вопрос: где работать?

Сами знаете, требований в этом случае много — работа должна быть интересной, подходящей для девушки и чтобы дело было нужным, почетным в стране.

Как раз в это время газеты часто писали о том, что в недрах Китая таятся огромные богатства, и к молодежи было много призывов учиться геологии, помочь стране открыть свои собственные неиссякаемые кладовые.

Но что такое геология?

Когда Ли-цзюань пришла на курсы по подготовке рабочих геологических партий, она там почти не встретила девушек, и ей объяснили, что геология вовсе не для женщин.

Все-таки она окончила курсы, и ее направили на работу. Послали ее в провинцию Чжэцзян на изыскания для строительства гидроэлектрической станции. Там Ли-цзюань увидела горы. Вспомнить теперь, так какие это были горы: всегонавсего шестьсот метров над уровнем моря! Но раньше, в своем родном Нинбо, расположенном на прибрежной равнине, она не видела никаких гор, совершенно никаких, и поэтому ей показалось, что шестисотметровые вершины уходят в самое небо, в такую высоту, куда не залетают и птицы!

Пока Ли-цзюань поднималась вверх на гору, гора показалась ей еще выше: крутые склоны были покрыты колючками.

Теперь об этом смешно и вспомнить, как она боялась тогда и дрожала на камнях, и как у нее голова кружилась, и как от колючек болели руки.

Теперь Мао Ли-цзюань — настоящий геолог, ей поручают проходить самостоятельные маршруты, и работает она над составлением геологических карт в разных масштабах: в одной тысячной, в одной пятидесятитысячной и в одной двухсоттысячной. Вест-бассейн реки Янцзы подвергается геологической съемке, их много, геологов, на этой работе, и они спешат дать необходимые данные к проекту экономического освоения бассейна.

Сначала геологи-мужчины посмеивались над Ли-цзюань, не доверяли ей серьезной работы, но и это уже в прошлом, теперь никто не сомневается в том, что Ли-цзюань — настоящий геолог.

Мало того, когда партия останавливается где-нибудь в деревне, к Ли-цзюань подходят деревенские девушки и советуются с ней, стоит ли им идти на работу в геологическую партию или нет. В газетах, мол, пишут, что молодежи не надо бояться трудностей. А вот когда слушаешь геологов-мужчин, так они говорят, что это совсем не женская специальность, что девушкам нечего делать в геологических партиях и отрядах. Правда ли это?

— Кто это говорит? — спрашивает тогда Ли-цзюань. — Хотела бы я послушать, кто это говорит?

И присутствующие при разговоре геологи-мужчины помалкивают. Помалкивают, будто разговор вовсе и не касается их.

Ли-цзюань смеется. Сразу видно, что в памяти ее живо и ясно возникает эта картина: робкие деревенские девушки спрашивают ее о специальности геолога, а мужчины делают вид, будто этот разговор их не касается совершенно.

Ли-цзюань смеется...

Небольшая, очень крепкая, с черным загаром по желтому лицу, с маленькой светлой ленточкой в прямых волосах, подстриженных так, что они только чуть-чуть не достигают плеч, Ли-цзюань смеется негромко и сдержанно. Очень убедительны ее веселье и весь ее пыл, которым она загорается, когда говорит о своей специальности.

Но ей кажется, что она рассказала о себе все, больше нечего сказать, и она замолкает, и постепенно улыбка сходит с ее лица, появляется выражение застенчивости, вопроса: уж не показалась ли она нескромной, уж не сказала ли чего-нибудь такого, что ей еще рано говорить? Ведь она всего-навсего младший техник и ей двадцать один год?!

Мы сидим в одной из комнат Комитета по освоению Янцзы: Ли-цзюань, я, мой переводчик Хуан и редактор многотиражной газеты и журнала с одинаковым названием — «Народная Янцзы».

Фамилия редактора очень короткая — Е. Товарищ Е, хотя и редактор двух изданий, хотя в прошлом он политработник Восьмой армии и пропагандист, молчалив и так немогословен в выражениях своих чувств и мыслей, словно всеми силами старается оправдать свою краткую фамилию.

В то же время за неделю, которую я уже провел в Комитете, я убедился, что нет такого вопроса, нет такого человека в этом огромном учреждении, нет ни одного даже маленького события в деле освоения великой реки, о котором товарищ Е не мог бы вам хоть что-то рассказать.

Мне кажется, что эта удивительная осведомленность товарища Е проистекает от его умения слушать.

Я встречаюсь с инженерами, гидротехниками, ирригаторами, гидрологами и разговариваю с ними, как специалист со специалистами, временами совершенно не ставя перед собой задачи извлечь из бесед чисто литературный материал.

Товарищ Е часто сопровождает меня в моих путешествиях по кабинетам, лабораториям и архивам Комитета. Покуда я веду свои беседы, он занят своим делом: тут же, примостившись на краешке стола, вычитывает полосы очередного номера газеты, либо составляет макет журнала, либо вполголоса ведет беседу со своими совсем еще юными сотрудниками, которые приносят корреспонденции.

Одним словом, товарищ Е как будто и вовсе не слушает нас. И вдруг на другой день он спрашивает:

— Вчера вы говорили, что в Советском Союзе каналы строят с большими уклонами, чтобы они не заиливались, а у нас, в Китае, заиливания не боятся. Почему? Почему такая разница?

И я снова объясняю, что в Китае ил из каналов используется как удобрение, и чем его больше, тем лучше, а у нас ил идет в отвалы.

Больше того, если ничего не было сказано, а только словом, жестом, возгласом было выражено какое-то недоумение, товарищ Е заметит и это.

Таков он, товарищ Е, широкоплечий и широколицый солдат Восьмой армии, призванный партией на работу в Комитет. К нему нельзя не питать уважения. Но вот мы сидим четвером и все четверо молчим.

Хуан поглядывает на меня, я — на Хуана, а мы оба вместе — на Ли-цзюань и Е. Мы смотрим на них и вздыхаем: вот и кончилось наше интервью, а мы так мало узнали от этой живой и такой, должно быть, смелой девушки! Это тем более обидно, что мы оба чувствуем, как много она могла бы рассказать о себе, о своей работе!

Молчаливый Е, кажется, не замечает наших тоскливых взглядов. Но это только так кажется.

Он что-то тихо, будто между прочим, говорит Ли-цзюань, всего несколько коротких слов, но Хуан тут же загорается и шепчет мне:

— Товарищ Е говорит Мао Ли-цзюань: «Расскажи еще о леопарде».

— О леопарде?!

— Так вы встречались с леопардом? Товарищ Мао Ли-цзюань?! Вы — и леопард? — с новой энергией набрасываюсь я на маленького геолога со светлой ленточкой в черных волосах. — Вы не можете нам об этом не рассказать! Леопард? Подумать только! И вы молчите? Но вы же не имеете права молчать!

И тут мы с Хуаном узнаем следующую историю.

В каких-нибудь ста километрах от Чунцина, промышленного и университетского города с почти двухмиллионным населением, горы покрыты почти непроходимыми лесами. В этих лесах геологи проводили съемку в масштабе одна двухсоттысячная. И снова следует сказать, что геологи-мужчины все в один голос говорили: девушки для такой работы не подходят. Что правда, то правда: очень трудно! В день нужно сделать в горах тридцать пять — сорок километров. В руках у вас компас, молоток и лупа, за плечами — рюкзак с образцами пород, к концу дня он весит килограммов пятнадцать — двадцать, а ведь жара-то достигает сорока — сорока двух градусов по Цельсию!

Кроме того, в других геологических партиях в дождливые дни люди занимаются камеральной обработкой полевых материалов, а у них в партии нельзя этого было делать: слишком напряженный был план полевых работ.

Да и сами девушки не хотели этого делать, даже когда их оставляли на камеральные работы. Наоборот, они решили работать лучше мужчин, чтобы доказать, что мужчины неправы.

Их было две девушки в партии, они обе работали изо всех сил. Но подруга Ли-цзюань вскоре заболела и уехала на базу. И Ли-цзюань предстояло одной показать своей работой, что девушки могут быть геологами.

И вот нормы выработки стали у нее самыми высокими, а качество работы — только хорошее и отличное.

Мужчины удивились такой работе Ли-цзюань, похвалили ее и сказали:

— Хорошо! Очень хорошо! А все-таки геология — это только для мужчин!

В это время в партию пришло новое пополнение: молодые парни, демобилизованные из армии.

Они были хорошо закалены физически, они очень хотели работать, но они ничего не знали, их надо было учить.

Вновь прибывших прикрепили к старым работникам партии, и Ли-цзюань тоже получила учеников.

Трудно было ей ходить по горам вместе с этими закаленными в походах учениками, еще труднее — терпеливо и настойчиво объяснять им смысл их работы. Такие объяснения требуют много времени, а время нужно прежде всего для того, чтобы с хорошим качеством выполнить и перевыполнить нормы выработки.

Но вот устроили проверку знаний и практических навыков новых рабочих, и получилось так, что ученики Ли-цзюань знали больше других и лучше других работали.

— Хорошо! Очень хорошо! — сказали мужчины-геологи. — А все-таки геология — это не для девушек и женщин!

Вскоре Ли-цзюань назначили начальником отряда. Теперь у нее было шесть человек подчиненных — все мужчины, и ее отряд оказался одним из лучших в партии.

Что после этого оставалось говорить мужчинам?

— Хорошо? Очень хорошо! А все-таки... — твердили они.

И вечерами, когда все собирались у костра и на огонек из деревни приходили девушки, чтобы расспросить Ли-цзюань, правда ли, что они тоже могут работать в геологической партии, и когда Ли-цзюань отвечала им, что это сущая правда, что они смогут работать, и даже очень хорошо, мужчины улыбались и подмигивали друг другу.

И вот однажды, когда мужчины подмигивали друг другу, Ли-цзюань рассердилась и сказала деревенским девушкам:

— Не верьте мужчинам! Верьте только тому, что вы видите своими глазами! Вы же видите, что я работаю геологом, и не хуже, чем эти мужчины?!

У костра сидел еще старик, из той же деревни, из которой были и девушки. Этот старик работал в геологической партии проводником.

Он вынул трубку изо рта, вздохнул и сказал:

— Не будем спорить о том, кому нужно верить. Лучше послушайте, что я вам скажу.— Он еще помолчал и спросил у Ли-цзюань: — Скажи сначала ты, Ли-цзюань, где сегодня мы с тобой закончили маршрут? От какого места мы вернулись домой, в деревню?

— Мы закончили сегодня наш маршрут у большого камня, почти на самой вершине хребта. Там течет ручей, а за ручьем — очень густой лес. Завтра мы пойдем в этот лес...

— Завтра мы не пойдем в лес за ручьем...— сказал проводник. — Нет, не пойдем!

— Ну что же,— согласилась Ли-цзюань,— тогда мы пойдем в тот лес послезавтра!

— Нет! Мы не пойдем туда послезавтра!

— На этой неделе мы должны пройти маршрут до самой вершины и не раз побывать в том лесу!

— Нет, Ли-цзюань,— ответил старик.— Ни завтра, ни послезавтра, ни на этой, ни на следующей неделе мы туда не пойдем! Мы не пойдем туда никогда! Там живет леопард. И с тех пор, как он там поселился, на моей памяти еще ни один человек не перешел на ту сторону ручья у большого камня...

Ни один человек не сделал этого, но Ли-цзюань на другой же день перешла ручей и углубилась в лес. Проводник остался ждать ее у камня.

В лесу было почти темно, такой он был густой. Там было сыро и скользко — недавно прошел дождь; в нем росла очень колючая и цепкая трава. Но если бы лес был еще гуще и темнее, а трава в нем еще выше и колючее, а земля еще более скользкой и каменистой, но только бы в этом лесу не было леопарда, Ли-цзюань, наверно, чувствовала бы себя самым счастливым человеком во всем мире... Теперь же она шла, прислушиваясь к каждому шороху, к своим шагам, к своему дыханию. Она старалась дышать как можно тише. Но к чему были эти ее старания, если то и дело ей приходилось останавливаться и молотком на длинной рукоятке откалывать от каменных глыб образцы породы?

Каждый удар, казалось ей, потрясает тишину темного, почти черного леса; каждый удар тревожит леопарда, который дремлет где-то здесь, неподалеку, только что растерзав свою жертву и насытившись кровью; с каждым ударом глаза хищника все больше загораются свирепым огнем, и медленно он приближается к тому месту, откуда несутся удары...

Каким бесконечно длинным был этот день, трудно себе представить...

Когда Ли-цзюань вышла из леса и подошла к большому камню, там все еще ждал ее проводник. Он снял с ее плеч рюкзак с образцами пород и пошел за ней следом вниз, к селению.

На другой день повторилось то же самое — Ли-цзюань ушла в лес за большой камень и стучала там своим молотком, а старик ждал ее у камня. И на третий и на четвертый день то же самое. И Ли-цзюань уже почти не боялась входить в темный лес и громко стучать своим молотком. Она сосредоточенно, не торопясь, рассматривала кристаллы пород в лупу, когда однажды услышала рев леопарда.

Леопард находился выше, чем Ли-цзюань, и на восток от нее. Ли-цзюань лежала на земле, обеими руками сжав холодный металл своего молотка, и слушала, как сверху обрушивается на нее этот страшный, свирепый рев...

Она думала о том, что леопард далеко, что это даже лучше, что он не молчит и не караулит ее, не подкрадывается к ней коварно, а бродит в стороне, на восток от нее, и все больше и больше сжимала молоток, так сильно сжимала, что, должно быть, от боли в руках у нее закружилась голова и на какое-то мгновение ей даже показалось, будто она умирает...

В этот день она двигалась по лесу очень тихо, очень медленно; ударив один раз молотком по камню, она долго слушала отзвуки, возвращавшиеся к ней из глубины леса, и вышла к большому камню у ручья очень поздно.

Старик был там, он сидел, обхватив колени руками, глядел в воду ручья, синеватую в наступающих вечерних сумерках, и трубка его лежала рядом с ним на земле.

Заслышав шаги Ли-цзюань, он встал, провел обеими руками по морщинам лица, кажется, хотел что-то сказать, но не сказал ничего. Он не сказал ничего, пока они спускались в деревню.

— И знаете, — закончила свой рассказ Мао Ли-цзюань, потрепав свои черные волосы со светлой ленточкой, — знаете, когда мы уезжали, закончив свои маршруты, вся деревня и даже один ближайший городок устроили нам, геологам, торжественные проводы. Эти проводы стали настоящим праздником, люди говорили нам хорошие слова, а я говорила деревенским девушкам, что они, если захотят по-настоящему, смогут стать геологами. Девушки мне верили. Мужчины из геологической партии молчали и не говорили своего: «А все-таки..»

— А как же леопард? — спросил я у Мао Ли-цзюань.

Пока Мао Ли-цзюань собиралась что-то ответить, совсем неожиданно заговорил всегда молчаливый товарищ Е.

Он ответил на вопрос вопросом, спросив меня:

— А разве вы ничего не слышали в своей жизни о леопардах? Разве не боялись леопардов, которых вы так и не встретили никогда?

НЕМНОГО О ГИДРОЛОГИИ

Гидрологию я слушал в Омске, у профессора Анатолия Николаевича Бефани. Он был в то время совсем молодым — моложе многих студентов нашего курса.

О предмете лекции как таковом он говорил всего несколько слов — только вскользь упоминал о формировании паводков на приточных и бесприточных реках, о прохождении паводковой волны через водохранилище, чаще — о явлениях поверхностного стока, по которым он впоследствии, когда ему было тридцать лет, защитил докторскую диссертацию, а затем эти явления сами по себе как бы переставали для него существовать, и он видел только их математическое выражение.

В выводах формул и расчетных выражений он чувствовал себя, должно быть, так легко и свободно, что по молодости лет увлекался этой свободой совершенно.

Случалось, где-то в середине вывода он остановится, отойдет от доски, исписанной знаками интегралов и дифференциалов, посмотрит на эту доску и задумчиво скажет:

— Пожалуй, все это надо стереть.. Мне пришла мысль построить вывод гораздо оригинальнее, через интеграл Коши.

И не успеют слушатели сообразить, что к чему, как вывод начинается уже снова и совсем по-другому. Все мы твердо знали, что Анатолий Николаевич говорит нам умные, оригинальные вещи, но знали не больше этого.

Впоследствии профессор Бефани стал моим добрым коллегой и шефом по кафедре, а мне волей-неволей пришлось разобраться в его теориях, поскольку я вел за ним практические занятия со студентами.

Однако должен признаться, гидрология для меня самого так и оставалась наукой, составленной из двух-трех, может быть десяти, довольно сложных математических выводов.

Как отрасль географии я впервые понял гидрологию, слушая несколько лет спустя лекции профессора Льва Константиновича Давыдова на курсах повышения квалификации в Свердловске.

— Мы с вами на поднебесных вершинах, на вершинах Гиндукуша, — слышался четкий, неторопливый голос Льва Константиновича в затемненной аудитории. — Скалы, голые камни. Кое-где в расщелинах — мхи, а еще реже — бледно-зеленоватая поросль трав. Лето, полдень, но температура около нуля. В нескольких стах метрах от нас — ледники, и оттуда бежит небольшой ручеек в плохо разработанном каменистом ложе. Это — начало великой реки Аму-Дарья.

На экране суровая картина — поднебесные скалы, белый сверкающий ледник, немного в стороне от ручья — сам Лев Константинович с рюкзаком за плечами, в шляпе, с густой бородой...

Вместе с ним мы спускаемся вниз по течению реки, вместе выходим из гор в пустыню, видим орошаемые поля, которые питают воды реки, видим города, которые обязаны этой реке своим существованием, и вот приходим к Аральскому морю...

После лекции идешь в библиотеку и читаешь рассуждения нашего выдающегося соотечественника Александра Ивановича Воейкова о том, спасают ли Аму-Дарья и Сыр-Дарья Аральское море, или это море усыхающее, гибнущее, а значит, неминуемо идет к гибели и вся Средняя Азия?

Воейков, как всегда, оптимистичен, прост и велик, так что из библиотеки уходишь в каком-то приподнятом настроении и снова мысленно возвращаешься к лекциям Льва Константиновича, в которых он так ясно показал нам процесс формирования реки в зависимости от окружающей природы и влияние этой реки на ту же самую природу и, наконец, заставил нас задуматься над судьбой Средней Азии.

Затем в Ленинграде, очень коротко, я слушал профессора Львовича о постановке гидрологической службы за границей — главным образом в скандинавских странах и в США.

Что касается практической гидрологии, то мне пришлось с ней столкнуться при изысканиях под водозабор на Иртыше и затем в течение нескольких лет заниматься исследованием рек бассейна Оби.

В работе на реке, в утренних туманах, которые нехотя поднимаются от воды, как будто испытывая терпение гидрологов, ожидающих начала рабочего дня; в журчании воды о лопасти гидрометрической вертушки, которая измеряет сначала поверхностную, а затем и глубинные скорости течения; в самых очертаниях лесных, степных и горных рек, в их различных, таких не схожих между собой обликах и характерах, конечно, много неповторимой прелести. Я уже говорил об этом.

Но все-таки не лекции профессоров и не эта практическая работа привили мне любовь к гидрологии, какой-то внутренний интерес к тем явлениям, которыми она занимается. Это сделал один случай, на первый взгляд, может быть, и незначительный случай.

Было это лет около двадцати назад. Студентом-практикантом я выполнял работу, связанную с проектом регулирования небольшого озера Лебяжье, что неподалеку от города Барнаула.

Уровень воды в озере снижался из года в год. Еще лет за семь-восемь до этого я жил на берегу озера и помнил, каким оно было глубоким и полноводным, а теперь в деревне Лебяжьей не хватало воды для поливки огородов.

Усыхание происходило, видимо, потому, что земли кругом распахивались, больше влаги задерживалось на полях, весенний паводок протекал бурно, вода скатывалась со склонов, наполняла озеро и уходила через ложок в ближайшую речку.

Нужно было запроектировать дамбу для удержания весенних вод, а для этого следовало знать, какие весенние расходы скатываются из озера через ложок.

Никто и никогда не вел наблюдений за уровнями воды в этом озере, тем более за количеством воды, которое из него уходило; теоретические расчетные формулы давали ненадежные, явно преувеличенные результаты, и весь наш изыскательский отряд — я и двое рабочих — вот уже который день тоскливо бродил по деревне под насмешливыми взглядами местных жителей.

Удивительно: люди как-то очень быстро замечают, делают ли изыскатели важное и нужное дело или просто так — проводят время.

Скверное это чувство, когда не знаешь, как дальше продолжать работу...

И вот однажды кто-то посоветовал мне обратиться к старику, который жил на окраине деревни. Будто бы тот старик ставил метки в ложке, по которому стекает из озера вода.

Старик был из кержаков, жил на отшибе в старом, почерневшем от времени, но еще очень крепком пятистенном доме. Дом этот стоял почти в бору, несколько огром-

ных сосен поднималось над ним прямо со двора, и тени их еще больше чернили дом и низкие бревенчатые надворные постройки.

Высокая ограда воротами выходила не в сторону деревни, а прямо в бор. К воротам теперь совсем не было проезжей дороги. Только две узкие стежки зеленой гушиной травы указывали, что когда-то здесь пролегали колеи.

Меня предупредили, что в ворота придется стучаться долго, что нужно будет громко подавать о себе голос и опасаться свирепого пса, но совсем неожиданно калитка оказалась распахнутой, лохматый беззубый пес жалобно скулил, не обращая на меня никакого внимания, и я прошел прямо в дом.

Там, в этом нештукатуренном сумрачном доме, было очень много лука и чеснока. Лук и чеснок россыпью лежали по всей кухне, висели связками на карнизах небольших тусклых окон, заслоняли черное отверстие большой русской печи, и запах стоял в доме такой сильный и острый, что на глазах у меня выступили слезы.

В кухне не было никого, а в маленькой боковушке, тоже среди вязанок чеснока и лука, я увидел старика.

Старик лежал на полу, на овчине, лежал лицом вверх, раскинув руки и ноги, и в головах у него горела свеча.

Я подумал, что он мертв, и не знал, что делать.

Но вдруг он открыл глаза, долго и внимательно смотрел на меня и, должно быть убедившись наконец, что ему не мерещится, что действительно перед ним чужой, незнакомый человек, подал слабый хриплый звук, а глаза снова закрыл.

На этот звук из соседней комнаты вышла старуха и спросила, что мне надо.

Мне бы что-нибудь выдумать, сказать, что я зашел случайно — спросить, не продается ли лук и чеснок, но в тот момент в голову мне не пришло ни одной самой простой выдумки, и я пространно принялся объяснять, кто я такой, в чем состоит моя задача и какая у меня просьба к хозяину: указать, где проходила большая вода по ложку, который как раз минует его огород.

Старуха слушала молча, прислонившись к косяку двери и не спуская глаз с лица старика. Казалось, она хотела угадать, слышит ли он постороннего человека или уже ничего не слышит больше, ни слова... И когда я кончил, она по-прежнему осталась в той же самой позе и по-прежнему смотрела в обострившееся неподвижное лицо старика, на которое свеча бросала тусклые блики... Смотрела и смотрела...

И вдруг старик пошевелил рукой, будто указывая куда-то, и тихо произнес:

— Пойди...

Старуха тотчас повернулась и ушла в другую комнату, а когда снова появилась, на голове ее был темный вязаный платок. Она ничего не сказала и даже не сделала никакого жеста, но было ясно, что я должен следовать за ней.

Мы прошли через кухню, через сени, вышли во двор, старуха открыла плетенную из хвороста дверку в огород... По земле, влажной от дождя, покрытой картофельной ботвой и круглыми пятнами воды, заполнившей лунки, через гряды, с которых был убран лук и только редкие примороженные перья торчали там и сям, мы прошли к заколоченным наглухо воротам...

— Тот год, — сказала старуха, — как он меня взял, он эти ворота ставил... На костре обжигал кряжи-то... Ворочал. Потом ставил... А другой год по весне — вода... Крутая вода, быстрая, шла по лугу, и ворота затопли. Он осердился, ворота — наглухо и сладил другие. В иную сторону уже были ворота... В бор... Вот, гляди теперь...

Воротные столбы в обхват были совсем черными внизу от огня и совсем коричневыми сверху — от дождей и ветров. Тес на воротах, покрытый узорами зеленого мха, кое-где уже сгнил, и влажная труха горстками лежала на земле.

— Гляди, — наклонилась старуха, — вот, гляди...

Не сразу я рассмотрел на левом столбе ворот зарубины топором... Зарубины были почти все одинаковыми, в один вертикальный ряд. Только несколько зарубин выступало в сторону из этого ряда, чтобы не затеряться там, где они были посажены очень густо, одна за другой.

Старуха, наклонившись, сухим негнущимся пальцем, будто на ощупь, водила по зарубкам и говорила:

— Свежая, нынешнего году.. А энта — прошлого.. А третьего года вода больно высока была — вишь, куда заходила. Он-то, мой, простыл ту пору, еле отходила. Все шарахался, бродил по колено, как бы не пропустить большой воды.. Заметить.. Он такой. Он что задумает, то уже и сладит.. Как, бывало, с войны, так с меня спрос: ставила — нет зарубины на воротах.

Она еще говорила, называя мужа не по имени, а короткими словами «он», «ему», «его», — я же понял, что старик каждый год делал на столбе ворот зарубки по самому высокому уровню воды. Их было ровно сорок, этих зарубок, и это был сорокалетний ряд наблюдений необыкновенного водомерного поста.

— Что же — пора ему.. — говорила старуха, когда мы возвращались по огороду обратно, стараясь попасть в свои собственные недавние следы на вязком картофеле-лице.— Ему пора. И то — две контузии у его, рваная рана, две пулевых.. Время..

Чтобы хоть что-то сказать в ответ, я проговорил:

— Плохо вам будет, бабушка.. Без него..

Она как будто удивилась этому замечанию, замедлила шаги и покачала головой:

— А провожу его — и за им.. По моей смерти не сомневайся — ну, может, неделя какая там, другая после его..

Около сеней она остановилась, на мгновение выпрямилась, сразу став заметно выше, и сразу же стало видно, какой она была красивой женщиной когда-то, вероятно, очень красивой: смуглой, с большими серыми глазами, с суровыми, но правильными чертами лица, которые были теперь исковерканы морщинами. Потом она снова склонилась, сложив руки крест-накрест на груди.

— Вот пришел, спасибо, сын.. Никто, как бог, послал.. Никто, как бог.. А он то открыл очи-то.. Услышал твой голос, сын, и вспомнювал..

Старик умер на другой день, старуха — в ту же осень, еще до снега.

Я составил поперечный профиль ложка в створе ворот, по зарубкам на воротах определил глубину его наполнения весенними водами из озера и подсчитал расходы воды: максимальный, средний многолетний, средний максимум. Это были вполне надежные данные.

В древнем Египте около полутора тысяч лет назад жрецы устраивали потайные лестницы из храмов к руслу Нила и по колебаниям уровня речной воды, которые они отмечали на ступенях, предсказывали феллахам хороший или плохой урожай, — урожай в долине Нила зависел прежде всего от разливов воды.

Примерно в ту же эпоху у плотины Разика, вблизи Мерва, точнее, вблизи крепости Туркмен-Кала, существовал водомерный пост. Одно деление водомерной доски соответствовало шаиру — мере, равной шести или семи диаметрам ячменного зерна.

Если во время половодья уровень достигал шестидесятого деления этой доски — предвиделся хороший урожай, если же только шесть делений покрывалось водой — ожидался голодный год.

Старик кержак, которого я застал при смерти, ничего не знал о древней гидрологии Египта и Мерва. Он даже не знал, для чего отмечает уровень воды на старых забытых наглухо воротах.

Но, должно быть, жила в нем потребность отмечать то, что происходит вокруг него в природе. Должно быть, чувствовал он, что его заметы когда-нибудь понадобятся людям; должно быть, помышлял о каком-то будущем, в котором он хотел участвовать хотя бы и после своей смерти.

Гидрология так никогда и не стала основной моей специальностью: и до этого и после я больше работал в области гидротехнических мелиораций, но с тех пор к воде озер и рек, ко всему тому, что называется гидрологией суши, у меня какое-то особое чувство близости.

Помнится, после того случая я без обиняков решил написать роман о гидрологах. В те времена это казалось мне запросто — написать роман. Наверно, потому запросто, что я ничего не писал тогда.

Прошло много лет, и теперь я не думаю, что смогу это сделать..

Но мое собственное обучение гидрологии, случай в Лебяжьем и намерение написать роман — все это очень ясно возникло в памяти, когда я знакомился с гидрологическими

работами в бассейне Янцзы. Встречи с китайскими гидрологами и особенно с одним из них — двадцатичетырехлетним начальником высокогорной гидрологической станции товарищем Чэнь Кай-яо — не могли не оживить этих воспоминаний.

Их там девять человек, на станции. Вокруг, в горах, нет ни одного населенного пункта, лишь изредка встречаются кочевники-тибетцы, и весь отряд живет в палатке. Зимой в горах минус двадцать, а летом плюс двадцать — двадцать пять.

Самому старшему в отряде еще нет тридцати, а самому младшему — семнадцать лет.

Река, на которой они ведут измерения, не широкая, около ста метров, но течение в ней быстрое — превышает пять и даже шесть метров в секунду, поэтому лодка, с которой ведутся наблюдения, всегда закреплена на берегу металлическими тросами. Глубина реки пять-шесть метров зимой, до пятнадцати летом. Сейчас уже все привыкли, ничего, а когда приехали, у многих кружилась голова на такой высоте, носом шла кровь, так что всем пришлось лечиться. Чем они лечатся? Физкультурой. По специальному предписанию врача занимаются зарядкой, соблюдают необходимый режим.

Трудновато пришлось осенью. Вода холодная, а тут подоспела съемка дна, и приходилось подолгу бродить в этой воде, при заберегах.

Они живут дружно. Критика? Как же, конечно, критика и самокритика необходима везде. Уж это точно! Они часто устраивают собрания и критикуют друг друга очень здорово! Еще они каждый день, кроме субботы и воскресенья, проводят техническую учебу. В субботу и в воскресенье отдыхают, играют в баскетбол, слушают радио.

Я спросил Чэнь Кай-яо, каким образом он стал гидрологом.

Чэнь Кай-яо вырос на Янцзы, в городе Ибине, и всегда любил свою реку. Но хотя он любил ее, он хотел бороться с наводнениями. Он пошел на полугодовые курсы гидрологов и в 1953 году окончил их. И действительно, ему пришлось принимать участие в борьбе с наводнениями, собирать сведения о самых высоких горизонтах вод в реках. На этот счет в каждом уезде Китая имеется специальная книга, в которую заносятся высокие уровни воды. Но такие книги не всегда еще дают необходимые сведения — часто приходится прибегать к опросу местных жителей.

— И вы знаете,— сказал Чэнь Кай-яо,— у меня был однажды очень интересный случай!

— Что за случай? — спросил я.

— Одна старая-старая женщина, совсем древняя старуха, подсказала мне очень важные сведения о разливах реки, которые не были записаны ни в одну книгу. Она сказала, что больше тридцати лет назад, при разливе, ей пришлось перенести свою фанзу дальше от берега. Она перенесла свою фанзу, но и там вода настигла ее, хотя и не размыва фанзу. «Где была вода в тот год,— сказала мне старуха,— я, пожалуй, смогу тебе показать, сын. На том месте есть древний каменный памятник, он и сейчас стоит. Тогда, в большую воду, я сделала на памятнике заметку. Наверно, она сохранилась...» Мы пошли со старухой к этому памятнику, и она показала мне свою заметку... Старуха была такой морщинистой, уже по всему было видно, что она недолго проживет на свете. Но она сделала очень важное дело... Вот как бывает у нас, гидрологов! — заключил молодой Чэнь Кай-яо свой рассказ.— Верите ли, как бывает?

Я согласился с ним:

— Да, так бывает, дорогой Чэнь! Бывает!

Больше я ничего не сказал ему, но мне показалось возможным начать этот небольшой очерк с воспоминаний о том, как и я когда-то был гидрологом. Может быть, когда-нибудь Чэнь Кай-яо прочтет этот очерк. Может быть, мы еще продолжим с ним разговор о нашей специальности.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Вместо заключения я хотел бы рассказать о впечатлениях последнего дня нашего пребывания в Ухане.

День этот был пасмурным, и ощущение его пасмурности не покидало нас, когда мы ходили по огромному уютному залу одного из зданий Комитета.

Зал без намеков на какие-либо украшения, без всяких попыток придать ему хоть какие-нибудь архитектурные особенности — просто четыре стены, пол и потолок. Он был очень похож на десятки других таких же помещений, очень деловых, даже суровых, которые я уже не раз встречал в различных китайских учреждениях.

Конец декабря... Такой и бывает здесь зима: тоненький слой инея или снега, негустой туманец, на прудах — ледок, солнца нет, и в стенах зданий чувствуется пасмурная погода.

Зал уставлен длинными столами, и все эти столы, и стены, и простенки между окнами тесно заполнены экспонатами выставки передовиков производства.

Что это за экспонаты?

Я видел много выставок, самых разных — от Всесоюзной сельскохозяйственной и промышленной до выставки рисунков детей-дошкольников, но такой, как эта, не видел никогда.

Чем же была она необыкновенна?

Не ошибусь, кажется, если скажу: тем, что она как раз ничем не была необыкновенна. То есть в ней совершенно отсутствовало стремление быть какой-то особенной, быть украшенной, быть сколько-нибудь интересной вообще, а не только для ее участников.

Вот простенький рисунок: человек сидит на камне, задумался. Второй рисунок: тот же человек читает в палатке при зажженной свече. Третий рисунок: человек стоит около теодолита, улыбается. Подписи: топограф товарищ Лю задумался над тем, как использовать теодолит для высотной съемки. Товарищ Лю обратился к учебникам. Товарищ Лю нашел! Ниже — две-три формулы из тахеометрии, которые товарищу Лю и в самом деле удалось приспособить для постоянных расстояний.

Дело-то, в общем, очень нехитрое для геодезиста, но что оно потребовало смекалки, это ясно.

Рядом, на листочках блокнота, чертежики еще проще: дважды показан один и тот же полигон, в нем всего восемь углов.

Оказалось, что, если техник со своего стана выходит на третий угол и начинает двигаться по полигону с инструментом по часовой стрелке, он выполняет нормы на 110 процентов за восемь часов работы, если же он начинает с пятого угла и движется против часовой стрелки — норма выполнена на 117 процентов.

В одном случае техник идет в гору, в другом — под гору, в одном случае ему мешает солнечный свет, в другом — не мешает. Мораль: прежде чем приступить к работе, продумай свой маршрут!

Здесь же выставлена и красная шляпа. Одна из тех самых красных шляп, о которых так радостно рассказывал мне старший техник Чжоу Мин-шэн.

Гидрологи показывают самодельные батометры — приборы для определения количества взвешенных наносов в воде. Их очень много и разных «конструкций» — из бутылок, консервных банок, из моторных поршней. Оказывается, был объявлен конкурс на самый простой, удобный и дешевый батометр.

Я вспоминаю, что в истории гидрометрии таких конкурсов было немало по всему белому свету, но вряд ли когда-нибудь авторы представляли столь незатейливые приборы.

Или вот стоит на столе игрушечная лодка, точь-в-точь такая, какие выдалбливают из короткого полена мальчишки, чтобы пускать потом корабли по лужам.

На лодке, на некоторой высоте, укреплено коромысло. Для чего? А вот: пока гидрометрические приборы погружены в воду и ведутся измерения с одного плеча коромысла, на другом его плече укрепляется второй комплект таких же приборов. Первый комплект вынимают, второй тотчас погружают — экономия времени.

На другой такой же лодке приспособление, которое позволяет поднимать якорь силой течения воды в реке.

Есть экспонаты еще проще: на листке бумаги крупными буквами написано какое-либо рационализаторское предложение. И все.

Ходим мы по этому залу втроем: я, Хуан и товарищ Е.

Бывший солдат, политработник Восьмой армии, кажется, не имеет никакого отношения к технике. Однако он почти повсюду — и около бурового инструмента и у сто-

лов гидрологов — дает пояснения, только иногда обращается к дежурным. Каждую специальность здесь представляет свой дежурный. Это все очень молодые люди — девушки и юноши.

Как они рады, как они светятся энергией и даже — я не боюсь этого сказать — даже счастьем, когда дают нам пояснения! В зале как будто становится немножко светлее, когда они говорят что-нибудь и смеются при этом, обязательно смеются. В самом деле, так было, что становилось светлее... Но в тот день утром я узнал в Комитете: в бассейне Янцзы недавно был найден череп цзыянского человека и другие предметы, и по этим предметам археологи установили, что несколько сот тысяч лет тому назад предки китайского народа уже существовали здесь.

Впечатление от этого рассказа преследовало меня неотступно. Снова и снова в голове сами по себе возникали соображения: потомки какого по счету поколения цзыянского человека нарисовали вот эти маршруты на листках бумаги и выставили на обозрение батометры, проектируют гидростанцию на Янцзы?..

Так мы ходили — долго и неторопливо — по этому пасмурному залу, в котором не было ни украшений, ни отопления.

Только на одной стене висел большой лозунг, и Хуан перевел его: «Передовики должны помогать отстающим, отстающие — учиться у передовиков, чтобы всем вместе идти вперед».

Мне очень хочется многое записать в книгу посетителей, а получается что-то казенное, нескладное.

Товарищ Е, видно, соображает, можно ли эту запись опубликовать в газете, которую он редактирует... У него очень широкие плечи, очень широкое лицо, весь он широкий, но не полный, и с тихим, прямо-таки детским голоском. Он еще совсем молод — лет тридцати пяти, тридцати семи, но у него мудрые-мудрые глаза...

Вечером он вместе с другими товарищами провожает нас с Хуаном на вокзале.

Прощаясь, говорим относительно моста, что вот, мол, скоро мост через Янцзы будет готов и тогда пассажиры без пересадок и переправ станут ездить из Гуанчтоу (Кантона) в Пекин и обратно...

И все мне кажется, что о чем-то мы не договорили.

«Если, — думал я, — в наш век в течение десяти, пусть пятнадцати лет те простенькие рисунки и приборы, которые я видел на выставке, весь тот скромный, ничем не выдающийся труд, который эти рисунки отражают, твердая решимость жить по-новому способны создать грандиозное сооружение, воплотиться в здание, плотину и турбины ГЭС мощностью в двадцать миллионов киловатт, преобразить легендарную могущественную реку, если все это — дело жизни одного поколения людей, и даже не единственное дело, то каково же будет здание будущего, которое люди создадут здесь за сто, за двести, за триста лет? И не просто будущего, а будущего прекрасного, коммунистического?»

Янцзы — бесконечная река... Сама она имеет начало и конец — исток и устье, но жизнь, которая течет на ее берегах, — эта жизнь бесконечна...



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Ю. СТЕКЛОВ

★

КАК Я БЕЖАЛ ИЗ ССЫЛКИ

(Странички из воспоминаний)

Воспоминания старых большевиков всегда представляют большой интерес, воскрешая в нашей памяти героическое прошлое Коммунистической партии, самоотверженную борьбу ее членов против царизма.

Помещаемые ниже воспоминания одного из старейших русских марксистов, члена КПСС с 1893 года Юрия Михайловича Стеклова, читаются с неослабевающим интересом и показывают, какое бесстрашие и твердость проявляли наши товарищи в борьбе за рабочее дело

В 1888 году Ю. М. Стеклов руководил первым рабочим кружком в Одессе, а в 1893 году совместно с группой товарищей создал первую крупную марксистскую социал-демократическую организацию в Одессе, в которую входили моряки, строительные рабочие и другие. В январе 1894 года организация была разгромлена царской полицией, и Ю. М. Стеклов, просидев полтора года в одиночном заключении, был приговорен к ссылке на десять лет в Якутскую область.

Я думаю, что наша молодежь с большим интересом прочтет статью Ю. М. Стеклова «Как я бежал из ссылки», в которой ярко отображена негибкая воля пролетарских революционеров, отдавших всю свою жизнь делу коммунизма.

Г. Кржижановский,

Герой Социалистического Труда,
академик.

1

В марте 1896 года я был сослан в Якутскую область.

Кучка одноэтажных деревянных домиков на берегу многоводной Лены, погребенных под снегом во время бесконечной зимы и тонущих в навозной жиже во время быстротечного лета,— такова картина тогдашнего города Якутска, центра области, по пространству втрое превосходящей всю Францию. Здесь я был временно оставлен, так как подлежал отбыванию воинской повинности — совершеннолетие исполнилось мне в тюрьме, из которой я не выходил свыше двух лет. Товарищи же мои были усла ны в Верхоянск и Колымск, самые гиблые в ту пору места Якутской области. Ссылке в Колымск подлежал и я.

После медицинского освидетельствования «на предмет годности» к военной службе я получил годичную отсрочку, и полиция принудила меня выехать из Якутска. Я поселился в Багаратах, Бутурусского улуса, в десяти верстах от города, прожил там лето, а к осени захватным путем снова перебрался в Якутск. Меня снова выселили в улус, но через неделю я опять водворился в городе, и на меня махнули рукой.

О побеге я начал помышлять с первых же дней пребывания в Якутске. Но осуществить эту мысль оказалось не так-то легко. Выехать из города на почтовых было почти невозможно — беглеца сразу же опознало бы начальство; о том, чтобы летом сесть в городе на пароход, нечего было и думать, так как полиция тщательно следила за всеми пассажирами, а нашего брата, ссыльного, полицейские знали, конечно, наперед. Приходилось ввиду этого брать вольных ямщиков, но через три перегона все-таки нужно было обращаться к почтовым, и вот тут-то и обнаруживалась самая щекотливая сторона побега. Дело в том, что между Иркутском и Якутском имелся один

лишь почтовый тракт. Движение по этому тракту было крайне слабым: изредка проезжал чиновник, купец, да раза два в год «прогоняли» политическую партию. Поэтому ямщицкое население не могло не заметить всякое новое появившееся на тракте лицо. А память на лица у этих людей поразительная: через десять лет могут узнать человека, проезжавшего по этой дороге. Вдобавок, политические, как говорили сибиряки, отличались какими-то особыми признаками, по которым местные жители почти безошибочно узнавали их; даже сибирские собаки скоро научались отличать политических от обыкновенных смертных, хотя бы они были одеты, как и все,— по особому запаху, что ли...

Допустим, что удалось бы преодолеть все эти затруднения и все же двинуться по тракту. Но ведь дорога до Иркутска будет продолжаться две-три недели и столько же от Иркутска до Москвы, а тем временем полиция неминуемо пустится в погоню.

Такие приблизительно соображения высказывали те старые ссыльные, к которым я обращался за советом. Один из них, сосланный в Якутию административным порядком в середине восьмидесятых годов и исколесивший по своим торговым делам чуть ли не всю область, рекомендовал мне испробовать обходный путь на Аян и даже обещал оказать посильную помощь, прискаты проводников, раздобыть паспорт. Но затем он уехал, и проект этот как-то заглох.

Весной 1897 года отсрочка моя окончилась, я был принят на военную службу и зачислен рядовым в Якутскую местную команду. В «особо секретной» бумажке приказано было ни под каким видом не производить меня в какие-либо «чины». Последнее распоряжение меня сместило, но зато крайне огорчало моих начальников, которые хотели сделать меня как лучшего «фрунтовика» в роте унтер-офицером или хотя бы ефрейтором. Впрочем, фактически я ходил в начальниках караула, дежурил по роте, заведовал ротной школой и вообще «сполнял должность» унтера.

Теперь мысль о побеге волей-неволей приходилось на время оставить. Но зато мне удалось завести знакомства, которые впоследствии очень и очень мне пригодились.

Вскоре у нас сменились командиры. На место ротного прибыл капитан из немцев Глясс, честный и добродушный человек. Стараясь держаться в рамках официальных отношений, он в то же время не стеснял меня, хотя в глубине души, вероятно, не сочувствовал моим политическим воззрениям. Аккуратный и исполнительный, он, видимо, избегал всяких осложнений как в смысле сближения с крамольным солдатом, так и в смысле ненужных к нему придирок. Зато полную противоположность ему представлял поручик Темников — наш полуротный, высокий, худощавый, с острым кадыком и маленькими усиками. Он искренне увлекался военным делом, хотя и представлял его себе в обстановке времен есауковских, бредил знаменитыми героями русской военной истории и силился привить такое же настроение солдатам.

Между ротным командиром и поручиком вследствие глубокого различия их характеров постоянно существовал некоторый скрытый антагонизм. Бывало, во время учения придет Глясс в казарму, молча постоит несколько минут, присматриваясь своими близорукими глазами к не совсем обычной тренировке солдат, и наконец спокойно скажет:

— Вы что ж это, Николай Михайлович, каким-то странным приемам их обучаете?

— А это,— отрывисто отвечает поручик, задирая голову и как бы выправляя шею из воротника,— это я обучаю их суворовской тактике. Суворов говорил...

— Знаете, Николай Михайлович, давайте заниматься по уставу,— добродушно прерывает капитан к величайшему негодованию поручика, дергающего головой с удвоенной энергией.

Симпатичный и отзывчивый человек, Темников не отличался особенной политической сознательностью, но его инстинктивно тянуло к «политическим». Вряд ли он знал, за что, собственно, я попал в ссылку, но сочувствовал мне от всей души и поспешил со мной сблизиться. Постепенно его взгляды более оформились, туманный протест против безобразий тогдашней русской жизни превратился в более или менее осознанное отрицание господствующих порядков. Что губило его и часто отдаляло нас друг от друга, так это его пристрастие к алкогольным напиткам; временами он пил запоем и тогда становился прямо невозможен. Но когда приходило просветление, Тем-

ников с конфузливой улыбкой обещал больше не пить — конечно, из этого ничего не выходило.

Капитан Глясс был недозолен теми отношениями, которые установились у меня с Темниковым, и неоднократно отечески выговаривал ему за это.

Приведу к характеристике поручика такой факт. На вечеринке у одного чиновника Темников встретился с некоторыми политическими. Обычный на захолустных пирушках разговор вращался вокруг самых прозаических предметов. Вдруг после основательного возлияния поручик наклоняется к одному ссыльному и конфиденциально ни с того ни с сего сообщает ему на ухо:

— В случае чего — восстания там или чего-нибудь подобного — будьте уверены, я со своей ротой перейду на сторону народа.

Видно, этот вопрос сильно занимал его, хотя я бесед в такой конкретной форме с ним не вел.

Незадолго до моего побега Темников допился до белой горячки. Любопытно, что во время своей болезни он бредил революцией: ему казалось, что я, возмущив команду, арестовал капитана и хочу убить также и его. Поэтому он порывался в казарму, чтобы обратиться к солдатам со словом увещания, а ко мне с просьбой не предавать смерти ротного командира. Когда Глясс явился к нему в лазарет, поручик с удивлением спросил его:

— Как, Эдуард Карлович, Стеклов вас еще не убил?

Добрый капитан был очень смущен.

В это время я уже не находился в роте, так как кончил службу и проживал в городе на своей квартире. Обо всей этой истории, происходившей в сентябре 1899 года, я узнал месяца через два со слов самого Темникова, рассказавшего мне про свои чудачества. Во время этого визита мы беседовали о том положении, которое неожиданно создалось для меня после увольнения в запас. Этот разговор не остался без влияния на мою дальнейшую судьбу.

2

В якутской ссылке я жил уже около четырех лет, успел попривыкнуть к товарищам, к мирному житию с вечеринками, нескончаемыми спорами, пикниками и охотничьими экскурсиями. Несколько отяжелел, сделался отцом семейства и почти примирился с мыслью о том, что мне придется до конца прожить назначенные мне десять лет ссылки (это за социал-демократическую пропаганду среди рабочих!), если не случится каких-либо экстраординарных событий в России. Но одно непредвиденное обстоятельство сразу выбило меня из колеи и заставило снова задуматься о побеге.

Летом 1899 года вице-губернатором в Якутск назначили из чиновников департамента полиции некоего Миллера. Это было маленькое, злое, сухопарое существо. Привыкнув в департаменте к сыску и войне с крамолой, этот господин приехал в наш богоспасаемый Якутск с самыми высокими понятиями о задачах «твердой власти», которые, по его мнению, лучше всего выражались в учинении всяческих пакостей политическим ссыльным. И вот началась политика мелких, кляузнических придилок.

Меня Миллер особенно возненавидел. Во-первых, мы жили с ним в одном доме, так что нам приходилось часто сталкиваться; он вообразил, что я буду с ним раскланиваться, я же игнорировал его, и «невежливость» эта глубоко его возмущала. Во-вторых, ко мне захаживали в гости мировой судья и полицейский врач, чего Миллер никак не мог переварить. Пробозал он было прочитать им по этому поводу нотацию, но те резонно ответили, что до их внеслужебного времени и личных знакомств ему нет никакого дела.

Обычно политические ссыльные, отбывшие в Сибири воинскую повинность, оставались на месте службы, а то и вовсе освобождались. На последнее я, причисленный жандармами к лику «закоренелых» и «опасных» преступников, рассчитывать не мог, но зато не сомневался в том, что буду оставлен в Якутске. Между тем Миллер предписал полиции немедленно отправить меня на место назначения, то есть в Колымск, куда я первоначально был выслан. Путешествие в Колымск далеко мне не улыбалось, главным образом из-за болезненного состояния жены и двухлетней дочери, уже дважды

перенесшей воспаление легких. А ведь предстояло проехать три тысячи верст по тундре в самых антигигиенических условиях, при жесточайшем морозе, полном отсутствии жилья, недостатке провизии и тому подобное.

Мои протесты ни к чему не привели. Миллер был неумолим. Тогда я решил попытать счастья и бежать. Друзья одобрили мои планы. И вот машина заработала всю.

Прежде всего необходимо было раздобыть средства. Поездка на почтовых до Иркутска в распутицу, когда приходилось платить за тройку лошадей, стояла больших денег. Функционировавшая среди группы молодых ссыльных касса для побегов и иных революционных целей отпустила мне двести рублей. Но этого было слишком мало. Нашелся добрый человек, доктор Пурвер, который ссудил меня четырьмястами рублями и револьвером на всякий случай. Оставалось найти попутчиков, выгадать время и обмануть бдительность полиции.

В те дни в Якутске собралось пять-шесть пар, подлежащих ссылке в Верхоянск и Колымск. Вопрос заключался в том, чтобы поставить меня в последнюю очередь. И вот с двумя товарищами мы отправились для объяснения с Миллером. Дело в том, что по заведенному за последние годы обычаю политическим предоставлялось самим устанавливать очередь следования на Север. Этот порядок был, в сущности, выгоден для полиции — избавлял ее от излишних трений и нареканий. Однако Миллера не устраивал существующий обычай. После довольно бурного объяснения, сопровождавшегося более или менее прозрачными угрозами с обеих сторон, он согласился отсрочить мой отъезд, если я представлю ему бумагу за подписью областного врачебного инспектора, удостоверяющую, что немедленная высылка грозит опасностью для жизни моей дочери.

Врачебным инспектором в Якутске был тогда Вонгородский, человек не злой, но бюрократ и трус, боявшийся всякого начальства. С большим трудом удалось уговорить его выдать свидетельство, хотя оно ничуть не расходилось с действительностью. После этого Миллеру ничего другого не оставалось, как разрешить мне выехать из Якутска в последнюю очередь.

Итак, я имел в своем распоряжении месяца полтора. Теперь нужно было найти верного человека, который согласился бы записывать свое имя в почтовых книгах и увезти меня с собой.

Как раз к этому времени Темников должен был выехать из Якутска в Олекминск, верст шестьсот от Якутска, по служебным делам. И вдруг меня осенила мысль: предложить поручику вывезти меня из города. Следует заметить, что он близко принял к сердцу неприятности, постигшие меня при столкновении с Миллером. Как человек военный, он первым делом намеревался поехать лично объясняться с вице-губернатором и в случае возражения «зарубить его шашкой». Я отговорил его. Тогда он, уже без моего ведома, посоветовался с Гляссом, но тот предложил ему не соваться в это дело.

Выбрав удобный момент, я навестил Темникова. Потолковали о том, о сем, потом я собрался уходить, он вышел проводить. На дворе стояла чудная осенняя ночь, морозный бодрящий воздух крепил нервы. Я повел атаку в лоб.

— Николай Михайлович, у меня к вам большая просьба.

— Юрий Михайлович, все, что могу, сделаю для вас.

— Я решил бежать. Вывезите меня отсюда.

Наступило минутное молчание. Темников, видимо, колебался. Думал ли он в это мгновение о своем офицерском долге, не знаю. Только, помолчав немного, он сказал неуверенным, слегка дрожащим голосом:

— А ведь это каторжные работы.

— Не хочу скрывать, вы рискуете, если согласитесь помочь мне. Могу сказать только одно: я со своей стороны приму все меры, чтобы уменьшить ваш риск до минимума.

Он как будто устыдился своего колебания и решительно протянул мне руку.

— Юрий Михайлович, конечно, я согласен... Черт с ним, с риском! Только изложите свой план.

План был довольно прост. С помощью отыскавшегося в колонии «паспортного бюро» — несколько фальшивых печатей, заключенных в круглую жестяную коробочку из-под монпансэ,—мы смастерили два документа: проходное свидетельство на мое имя, якобы выданное якутской полицией по окончании моей ссылки для свободного следования в Херсон, и паспорт-книжку на имя мифического инженер-технолога, какого-то Ивана Алексеева. Недостающие печати вырезал для нас шлиссельбуржец Мартынов, в то время находившийся в Якутске. Кроме того, один чиновник дал мне свой настоящий паспорт, которым я мог пользоваться лишь в случаях крайней необходимости, например, при прописке в больших центрах Европейской России. Проходное свидетельство на мое имя было сделано настолько удачно, что Темников, увидев его, пришел в восторг: до того искусно была подделана подпись полицмейстера.

Лошадей должен был заказать Темников. Моя задача заключалась в том, чтобы незаметно сесть в сани за несколько минут до отъезда.

— Все это прекрасно,— сказал Темников, выслушав мой план.— Но ведь я еду только до Олекминска. А дальше вам остается сделать еще две с половиной тысячи верст. Как же вы там проедете?

— Ясно,— ответил я,— что необходим еще один попутчик.

— А где его взять?

— Вот это-то, Николай Михайлович, вы и должны устроить. Такого человека я наметил. Но сразу раскрывать перед ним свои карты я не хочу. Вы же можете поговорить с ним, нащупать почву и, если увидите, что он соглашается, посвятить его в наше дело.

— Хорошо, но кто же этот человек?

— Это Шумаков.

Моего собеседника так и передернуло.

— Шумаков! — воскликнул он.— Но разве я могу с ним разговаривать?!

Затруднительное положение Темникова было понятно. Дело в том, что с Шумаковым, некогда также служившим по военному ведомству, он находился в смертельной вражде: между ними однажды произошло крайне неприятное столкновение, которое с трудом удалось замять. Поручик, считая себя жестоко обиженным, не мог простить Шумакову этой истории. Но сейчас, признав справедливость моих доводов, он переломил свою гордость и согласился пригласить к себе своего непримиримого врага для переговоров. Я оценил большую жертву, которую приносит для меня этот благородный человек, и горячо пожал ему руку.

Разыскать Шумакова оказалось не так-то легко. Оставив службу, он никак не мог пристроиться, страшно бедствовал. Познакомился я с ним во время моего пребывания в казарме; мы были в хороших отношениях. Иногда он давал мне на сохранение часть своего жалованья, с тем чтобы я выдавал ему деньги по частям, когда он, пропив все остальное, явится ко мне за ними. В тот момент, к которому относится мой рассказ, Шумаков, перебивавшийся случайной медицинской «практикой», не имел квартиры, ютился по какому-то притонам, ночевал иногда на улице. С большим трудом удалось напасть на его следы и передать приглашение явиться к Темникову для каких-то переговоров о работе.

Я присутствовал при их свидании, спрятавшись в соседней комнате за занавеской. Шумаков вошел в столовую робко, по-видимому подозревая со стороны поручика какую-нибудь каверзу, быть может, желание свести с ним старые счеты. Вид у него был угрюмый и печальный. Несмотря на мороз, жестоко щипавший кожу, он был в летнем пальтишке, одетом прямо на рубашку, и в стоптанных калошах без сапог. Мрачно поздоровавшись с Темниковым, он покосился на стол, где приятно бурлил самовар, дымились горячие котлеты и стояла бутылка водки.

— Вы звали меня по какому-то делу,— сказал он глухо, присев на край стула.

— Да, да,— заторопился поручик.— Но не закусить ли нам и не пропустить ли до разговора по маленькой?

Лицо у Шумакова просияло.

— Это можно,— сказал он с улыбкой.

Пропустили по одной, повторили. Закусили. Задымили папиросками. Бедняга явно ожил и повеселел.

— Ну-с, расскажите, как вы живете? — обратился к нему поручик, не зная, как приступить к делу.

— Сами видите, — уныло ответил Шумаков, указывая на свой костюм. — Вот уже прямо можно сказать: ни кола, ни двора. Пальто — весь пожиток. Перебиваюсь с хлеба на квас или, вернее сказать, на водку. Уехать бы из этой проклятой ямы, да никак не вырвешься...

— А скажите, отчего бы вам в самом деле не уехать в Иркутск?

— Да как же уедешь? — с грустью возразил Шумаков. — На это нужно рублей двести. А у меня нет и двух копеек. Взаимы никто не поверит, я и так весь в долгу, как в шелку... И главное, что досадно, — прибавил он, помолчав, — ведь там, в Иркутске, я должен получить некоторую сумму. Мне дядя наследство оставил. Только для этого я должен лично туда явиться.

— Ну, а если бы нашелся человек, который согласился бы ссудить вас деньгами... или даже повез бы вас в Иркутск на свой счет?

Шумаков поднял опущенную голову.

— Вы не шутите? Да я бы... да я бы век вас помнил... Ведь я бы жизнь наново начал...

— Только, — прибавил Темников нерешительно, — это связано с некоторым риском, так сказать.

— А... все равно, — ответил Шумаков. — Хуже теперешнего не будет. Только, — протянул он с некоторым сомнением, — я, собственно, не понимаю, при чем тут риск и какой риск?

— Гм... — промычал смущенно поручик. — Видите ли, здесь такое дело... Словом, одному человеку нужно ехать в Иркутск... и он ищет попутчика.

Шумаков не сводил глаз с Темникова, не понимая, к чему тот клонит.

— Я знаю этого человека? — наконец спросил он.

— М-да, вы его знаете.

— Николай Михайлович, — вдруг сказал Шумаков, — Юрий Михайлович хочет бежать?

— Да.

— И вы меня еще спрашиваете? — Шумаков встал. — Разумеется, я с величайшим удовольствием... и если бы даже мне не нужно было ехать.

— Ну, я рад, что так хорошо вышло, — облегченно вздохнул Темников.

— А где же Юрий Михайлович? — спросил Шумаков.

— Здесь, — ответил я, выходя из своего укрытия.

Шумаков улыбнулся.

— Не доверяли мне? — сказал он.

— Нет, не то, — не очень уверенно произнес Темников, — но знаете... в таком деле...

— Конечно, конечно, — успокоительно заключил Шумаков.

С этой поры и вплоть до отъезда Шумаков был взят мною под строжайший контроль; на добровольный арест он сразу добродушнейшим образом согласился, зная свою слабость. Мы водворили его на моей квартире, экипировали с ног до головы, кормили и поили вволю, но в город без меня он выходить не мог: опасались, чтобы он не загулял и в пьяном виде не проболтался. Впрочем, этот суровый карантин продолжался лишь два-три дня. Река стала, и мы решили, не мешкая, двинуться в путь.

3

Сборы кончены. Последние поцелуи, пожатия рук, торопливые советы и напутствия. Шумаков ушел вперед к поручику; он сядет в возок открыто, ему не нужно скрываться. Я нахожусь в каком-то неопределенном состоянии — странная смесь душевного подъема и вместе с тем оцепенения. Позади осталось все близкое и дорогое: семья, товарищи, друзья, какая бы то ни было, но все же так или иначе налаженная жизнь. Впереди неизвестность, полный мрак, а главное — опасность неудачи.

Идти трудно: я в барнаульской шубе, надетой поверх пальто, под которым узкий костюм из заячьих шкурок, на ногах заячьи чулки и катанки, неразношенные, твердые, как камень. Они жмут ногу — скандал, по дороге ноги будут мерзнуть. Это са-

мая ужасная сторона путешествия, ведь придется не выходить из возка по целым суткам...

Вот и дом Темникова. Во дворе тройка нетерпеливо перебирает ногами. Милые кони, благополучно ли вы вывезете меня отсюда, выдадите или нет?.. Я незаметно юркнул в дверь, предусмотрительно оставленную для меня открытой. Жду условного сигнала.

Ямщиков зовут на кухню пить водку — таков обычай. Один ямщик пришел, другой остался сторожить коней. «Эй, иди и второй!» — «Кони уйдут». — «Ничего, затворяй ворота да шевелись — водки не останется!» На крыльце протопали грузные шаги.

Осторожно выглядываю, выхожу наружу. Во дворе живет целая орда татар — что, если кто-нибудь из них торчит у возка? Никого. Раз, два, три! Быстрее молнии скользнул я в возок. Как душно, как неудобно! Не успеваю распрямить тело. Идут. Теперь нельзя шевелиться. Темников садится с правой стороны. Шумаков вваливается прямо на меня. Я задыхаюсь, но надо молчать. Ямщики берутся у лошадей. Тут же денщик, солдаты, высыпали татары, бабы.

— Счастливый путь! С богом!

— Готово?

— Есть! Открывай ворота.

Ух, как дернули застоявшиеся кони! Полозья закричали по снегу. Поехали. Вдруг... Что это? За нами бегут, слышатся яростные крики:

— Стой, стой!

Ямщик осаживает коней. Неужели конец?

— Что за дьявол! — тихо ворчит поручик. Оказывается, развязались постромки.

Только-то!

— Готово?

— Пошел!

Кони дружно взяли.

— Выехали из города! — через некоторое время радостно шепчет Темников и толкает меня локтем в бок.

— Тшш... — шиплю я. — Дайте вздохнуть.

— Все обойдется! — философски замечает Шумаков, плотнее усаживаясь на мне.

— Ямщик, пошел живей! — кричит поручик. Он возбужден. Шумаков, прямой потомок Диогена, хладнокровен и уверен в благополучном исходе. Я тоже спокоен, хотя не так уверен в успехе.

Первый станок проехали молча. Ямщик не должен знать, что нас в возке трое, а не двое. Перепрягают лошадей.

— Пойдем погреемся, — предлагает Темников.

— Да, не мешало бы, — поддерживает его Шумаков, зная, что у нас бутылок припасено в дорогу много. Но я не разрешаю. Мои товарищи с ропотом подчиняются. Тронулись.

Заливаются колокольчики. Теперь я могу ссадить с себя Шумакова. Ямщик не обращает на нас никакого внимания, да и то сказать: с нами офицер в николаевской шинели.

Какая чудная ночь, как прекрасно светит луна! Хорошо...

Мысли проносятся вихрем в голове. Что-то теперь подельывают жена, товарищи? Спят ли спокойно или волнуются, прислушиваясь к каждому шороху, вздрагивая при стуке ставня, захлопнутого ветром?.. А моя маленькая Маруся? Она безмятежно спала, раскинувшись в своей колыбельке, когда я подошел, чтобы запечатлеть на ее раскрасневшейся щеке прощальный поцелуй... Летите вперед, быстрые кони! Ямщик, погоняй — получишь на чай! И кони мчатся, ветер обвеивает пылающее лицо, снежные комья летят в восток...

— Проехали больше шестидесяти верст, — замечает Темников.

Наконец остановились. Зашли в станционный дом выпить чаю и закусить. Появился староста с медной бляхой и стал в дверях. Замечаю, пристально смотрит на меня своими узкими черными глазами. Узнает, каналья! Снимаю пальто и нарочно роняю на пол увольнительный солдатский билет характерного зеленого цвета. Староста подскакивает и услужливо подает книжку. Вижу: успокоился.

Мои попутчики тем временем прикладываются к бутылочке, раньше чем я успеваю наложить свое строгое «вето». Довольно! Уговор дороже денег. Ворчат, но повинуются... Подкрепились? Баста! В дорогу! Ночевать до самого Иркутска нигде не будем. Каждая минута дорога.

И опять несемся по снежной дороге. Ночь скоро кончится. Колокольчики звенят. Дремлем кое-как в полусидячем положении. О дорогая свобода!..

Так прошло трое суток. Недоезжая нескольких станций до Олекминска, я решил расстаться с Темниковым. Не надо, чтобы в Олекминске, где имеется исправник и полицейское управление, знали, что меня привез офицер. Кстати, подвернулся удобный случай. Содержателями одной почтовой станции оказалась семья, в мужской своей части сплошь состоявшая из бывших солдат, а один из них был моим сослуживцем. Они сочли своим долгом хорошо нас угостить и стали просить остаться на несколько часов.

Этим я и воспользовался, убедив Темникова принять приглашение, к негодованию Шумакова, который бросал умильные взгляды на стоявшую на столе четвертную бутылку, опорожненную только наполовину. На крыльце мы поцеловались и дружески распростились с Николаем Михайловичем. Расставаясь со мной, он заплакал. Больше мне не привелось его увидеть.

Итак, теперь мы ехали вдвоем, останавливаясь уже только раз в сутки. На остановках пили чай с коньяком и слобными булками и варили пельмени, которых у нас имелся целый мешок. Ну, и надоели же мне за дорогу эти пельмени! Впоследствии я несколько лет не мог их видеть. В пути мы грызли мерзлые пирожки с мясной начинкой. Вернее, грыз их я, Шумаков же предпочитал питаться иным образом. После долгих споров и упреков за мой деспотизм он выговорил себе право на полбутылки водки в день. Сначала он строго держался установленной нормы, при которой, по его словам, чувствовал себя человеком, а не тряпкой; затем удвоил дозу и, наконец, выпивал бутылку в полчаса — час, заваливаясь спать с утра вплоть до остановки, которую мы делали обыкновенно вечером. По этому поводу у нас происходили уморительные пререкания.

— Василий Петрович, это неудобно, что вы вечно спите... Мало ли с кем придется объясниться, а ведь вы знаете, что мне нельзя часто показываться.

— Пустяки, батенька, все обойдется прекрасно, уверяю вас,— невозмутимо отвечал «Дюоген».

Однажды, это было уже недалеко от Киренска, по дороге послышался приближающийся звук колокольчика. Шумаков по обыкновению спал.

— Кто это? — спросил я у ямщика.

— А это заседатель едет...

— Зачем, куда?

— А кто его знает! Должно, ловить кого собрался.

Невежливым пинком в бок я разбудил своего спутника.

— Пустое! — пробормотал Шумаков, прехладнокровно поворачиваясь на другой бок.

К счастью, заседатель проехал мимо — видимо, он ловил не нас...

Мы ехали по Лене, выбираясь иногда на тракт, так как река не везде стала. Случалось ночью ехать по самому краю зловеще черневшей в стороне полыньи. Чувство не совсем приятное. Ямщики подчас решительно отказывались везти по ночам, и с трудом удавалось убедить их пуститься в дорогу. Они боялись не за нас и не за себя, а за лошадей. Для приленских жителей почтовая гоньба составляла основной, чтобы не сказать единственный, источник существования. Серый камень не родит хлеба, темный лес стоит перед ними мрачной угрозой и сковывает их беспросветную жизнь. На одном станке, когда мы в ожидании перепряжки сидели в почтовом доме и беседовали о нашествии медведей, на середину избы вдруг выступил бородатый мужик в распоясанной рубахе и босой, до того молча сидевший в углу, и отчаянно заговорил, обращаясь ко мне, которого он принимал за власть имущего:

— Барин, помоги! Медведь заел... Тайга нас задавила... Что же это будет?

— Ну, ну, оставь! — сказал присутствовавший отставной солдат, отводя его рукой. Бородатый мужик замолчал и уныло поплелся обратно в свой угол.

Я уехал с этого станка с тяжелым чувством. Какими средствами можно было улучшить жалкое положение заброшенного населения приречных станков?..

Зато хорошо жилось в Восточной Сибири купцам. Не могу без смеха вспомнить встречу с одним из представителей этого «почтенного» сословия. Это было под самым Олекминском. К станционному дому, где мы ожидали, пока нам подадут лошадей, подкатила тройка, разукрашенная лентами, и в комнату ввалился одетый в дорогую доху высокий красивый мужчина — настоящий купец Калашников. Оказалось, что он «гулял», то есть в течение целой недели переезжал из дома в дом, распивая водку и наливку со всяким встречным. Поздоровавшись с нами, он сразу засыпал нас кучей вопросов:

— Кто? Откуда? Куда?

Мы постарались кое-как удовлетворить его чисто сибирское любопытство. Я отрекомендовался приказчиком Поповым, Шумаков предъявил свое настоящее звание. Едем, мол, из Якутска на новые земли, в Порт-Артур.

— Какого же черта вас понесло так далеко?

Мы начали объяснять купцу, что там нуждаются в служащих, заработки прекрасные, можно быстро сделать карьеру. Но это его не убеждало. Тогда я выставил решающий довод.

— Разве вы не слыхали, что там порто-франко?

— Ну?

— И что там коньяк прямо ничего не стоит? В Порт-Артуре пьют его, как квас! Купец просиял.

— Вот так край! — сказал он. — Ей-богу, и я туда поеду. Коньяк, говоришь, даром? Вот, право слово, возьму и прикачу к вам в Порт-Артур в гости. Примете?

— Помилуйте, почтем за честь...

Расстались мы с ним, как старые приятели.

...Возок наш летит вперед. Вот и Витим; въезжаем в Иркутскую губернию. Отсюда уже идет телеграф. Значит, опасность увеличилась. Проехали Киренск... Ничего, не трогают. Неужели удастся проскользнуть счастливо?

Под Верхоленском мы принуждены были оставить наш возок, с которым я так сроднился. Дальше пришлось поехать на перекладных в тарантасе, так как снежная дорога в этих местах еще не установилась. Вот и последний станок перед Иркутском. Пока запрягают лошадей, торопливо сжигаю в печке свое проходное свидетельство, здесь оно мне уже не нужно, а может только послужить лишней уликой. Возбались на гору. Иркутск лежит перед нами как на ладони. Через полчаса въезжаем в столицу Восточной Сибири. Четыре года тому назад я выехал отсюда под конвоем на Север; теперь я возвращаюсь сюда свободным человеком... Свободным?..

Всю дорогу из Якутска в Иркутск мы сделали за четырнадцать суток. При распутице это блестящая скорость, мы побили рекорд!

Ямщик повез нас в знакомые ему меблированные комнаты крайне подозрительного вида. Номер взял на свое имя Шумаков. Я же решил отправиться к товарищам, условившись с Василием Петровичем, что ночью или на другое утро приду за вещами.

Одному из товарищей, живших в Иркутске, дано было знать посредством шифрованного письма о моем предстоящем приезде. Но так как адреса его я не знал, то прежде всего направился на квартиру другого старого ссыльного, у которого надеялся навести справки. Сначала он не узнал меня в темной передней, но, когда разглядел, страшно смутился и засуетился. В комнату, впрочем, он не счел нужным меня пригласить.

— Какими судьбами? — спросил он растерянно.

— Возвращаюсь по собственной воле, — так же шепотом ответил я.

— Ну да, я так и догадался... Что же, собственно, вам нужно?

— Будьте так добры, — сказал я, чтобы успокоить взволнованного хозяина, — укажите мне адрес такого-то, и больше ничего.

— Постойте, я сам вас провожу, — заторопился он, очевидно, не желая оставить меня ни одной лишней минуты в своей прекрасно обставленной квартире, которую я

мог рассмотреть из передней. После долгого сидения в возке в полусогнутом положении мне, признаться, так хотелось вытянуться на мягком кресле, заманчиво видневшемся из зала. Да и от стакана чаю я бы не отказался — холодно было чертовски.

Идти пришлось недалеко.

— Ну, вот мы и пришли,— сказал мой проводник, остановившись перед чистым и новеньким двухэтажным деревянным домом.— Поднимитесь на лестницу и позвоните.

С этими словами он исчез.

Я позвонил. Сверху послышались шаги, и на пороге показался со свечой в руках А. Бычков, которого я разыскивал. Увидев меня, он остолбенел.

— Это вы? Так скоро? Ну, ну, входите.

Оказалось, что письмо наше задержалось где-то в дороге, Бычков получил его за час до моего приезда, засел за расшифровывание и успел прочесть только: «к вам едет С.» — в этот момент я позвонил. Вот почему он встретил меня таким смутившим меня восклицанием.

После обмена некоторыми деловыми вопросами Бычков пригласил меня в столовую выпить, закусить и познакомил со своей миловидной женой. Ее теплое и мягкое обращение несколько разогрело мое сердце, которое начало было уже застывать и озлобляться под влиянием официального холодка первых встреч. Спасибо тебе, чуткое и приветливое женское сердце!

Решено было, что я уеду из Иркутска на следующее же утро. Бычков снабдил меня на дорогу одеялом и подушкой, его жена завязала мне в узелок сдобный хлеб и некоторые другие прелести, необходимые для души и тела.

Утром я простился со своими друзьями и отправился по лавкам, так как для езды по железной дороге следовало несколько преобразиться. Купил белье, галстук, русскую фуражку с козырьком, калоши, башлык. С помощью этих предметов я приобрел до известной степени европейский вид.

В меблированных комнатах меня ожидал неприятный сюрприз. Василий Петрович Шумаков, ушедший накануне вечером в баню, еще не возвращался; очевидно, он загулял. С большим трудом удалось мне выручить свой чемодан с вещами у недоверчивого хозяина. Я написал моему верному попутчику дружеское прощальное письмо и оставил его на столе. Получил ли он его, вернулся ли в гостиницу и вообще что с ним случилось, я так и не знаю...

Ну, вот я и на станции. Ах, черт возьми! У кассы торчит жандарм. Что, если из Якутска уже дана телеграмма о моем задержании?

— Билет до Варшавы,— говорю я уверенно и в то же время думаю: «Глупо, однако, мне посоветовали брать прямой билет». Ну, так и есть: жандарм насторожился, придвинулся и не сводит с меня глаз. Я направляюсь к вагонам с чемоданом в руках, жандарм, позвякивая шпорами, идет за мной.

— Позвольте узнать, господин...

Я останавливаюсь. К удивлению, волнения никакого, только легкая дрожь в пальцах. Сознание работает совершенно отчетливо. Внимание!..

— Позвольте вас спросить: вы едете в Варшаву?

— Да.

— А, собственно, зачем, то есть я хотел спросить: как?

«Не находит приличного повода, каналья», — думаю я и говорю хладнокровно:

— Да так, по своим делам... С родными повидаться.

— Вы как же,— продолжает жандарм свой допрос,— давно в Сибири живете?

— Так лет пять... на службе... А теперь вот повидаться захотелось.

Лицо жандарма расплывается в улыбке.

— Не узнаете вы теперь Варшаву. Так она изменилась, прямо сказать, до чрезвычайности... Памятник Мицкевичу поставили... Ведь я там двенадцать лет служил, в Варшаве-то. Что за город чудесный, простор, можно сказать важнейший город... Будете там, поклонитесь ей от меня, дескать, из Иркутска жандарм посылает поклон... Вам какой вагон желателен? Позвольте, я пособлю...

Фу! Гора свалилась с плеч. Вот тоже сентиментальный жандарм! Ведь он в Варшаве двенадцать лет «тащил и не пушал», да и при открытии памятника Мицкевичу, должно быть, здорово «поработал». А с каким умилнием об этом говорит, разбойник! Еще поклон посылает...

Вагон набит битком. Примоститься негде. К счастью, возвращающаяся в Россию с железнодорожных работ артель замлекопов, занявшая полвагона своими мешками и нескладными телами, любезно очищает мне место.

Скоро я узнал всю историю этих рабочих, все биографии их самих и семей, оставшихся в российских деревушках. Один из них, хохлатый мрачный мужик, получив расчет, загулял и очнулся с пустыми карманами. Товарищи купили ему в складчину билет и решили продовольствовать его всю дорогу на общий счет, но денег на руки не давать. Теперь он сидит, опустив голову, и уныло думает. О чем? Вероятно, о том, что дома ждет его исхудавшая жена, голодные ребятишки, покосившаяся избенка. А денег ни гроша! И это после полуторалетней каторжной работы...

С того момента, как я сел в поезд, опасность провала возросла до высочайшей степени. Я очутился всецело во власти железнодорожных жандармов и телеграфа. С какой ненавистью я иногда поглядывал на телеграфную проволоку, мелькавшую, поднимаясь и опускаясь, за окнами плавно покачивавшегося вагона.

Сначала я старался не выходить из вагона, чтобы не попадаться на глаза станционным жандармам, среди которых могли оказаться и старые знакомые. Но затем сидеть в вагоне надоело, и я решил пренебречь излишней осторожностью. Все равно: если есть телеграмма, то синие мундиры придут за мной в вагон.

В Челябинске поезд стоял долго, часа два-три. Пошел в буфет обедать. На платформе заметил жандарма, который пристально начал в меня всматриваться. Гм! Твердыми шагами направляюсь прямо к нему.

— Когда уходит поезд?

— В три часа двадцать минут.

В дверях буфета оглядываюсь: жандарм не сводит с меня глаз. Странно! Заказал обед. В ожидании обеда прошел от скуки в зал. Мой жандарм здесь, показывает на меня глазами другому, своему коллеге. Тот также начинает пялить на меня глаза. Подозрительно!.. Возвращаюсь, сажусь за стол. Недалеко от меня расположилась группа пьянствующих офицеров, из них два жандармских. Вдруг в зал входит солдат, судя по нашивкам, унтер.

— Ваше высокоблагородие, прикажете сейчас его арестовать?

— А бумага готова?

— Готова, вашбродие!

— Арестовать немедленно.

«Ну, думаю, плохо дело, попался, голубчик!» Однако не подаю вида, продолжаю спокойно есть и читать газету. Проходит несколько минут. Унтер возвращается,

— Уже арестован, вашбродие,— доносится до меня.

Впоследствии я догадался, в чем дело. Жандармов просто привлекал мой рост. Полицейские, среди которых всегда царил культ грубой, физической силы, испытывали неодолимую слабость ко всем признакам такой силы, в том числе и к высокому росту, впрочем, при случае они с особенным наслаждением избивают именно крупных людей.

4

Вот и Россия. Все идет благополучно. На какой-то станции, недалеко от Смоленска, покупаю коробку вяземских пряников и ем их с наслаждением — столько лет я их не видал! В Вязме приходится долго ждать поезда. Минут через десять пройдет курьерский, но в нем нет вагонов третьего класса... И вдруг мне приходит в голову маленькая идея. Незаметно от привязавшихся ко мне дорожных знакомых отправляюсь к кассе, доплачиваю за место во втором классе и вскоре качу в Варшаву в уютном купе курьерского поезда. Эта пересадка может на короткое время сбить с толку жандармов в случае преследования.

На противоположном диване сидит симпатичный юноша с темными кудрями, непокорно выбивающимися из-под мягкой шляпы, и рассказывает о студенческих вол-

нениях среди воспитанников Московского университета. Из разговоров заключаю, что юноша уволен за участие в беспорядках и едет учиться за границу. Задаю ему несколько вопросов, притворяясь человеком, не понимающим целей студенческого движения. Юноша сначала охотно объясняет, но затем, приняв меня за гнусного реакционера, умолкает и, наконец, взобравшись наверх, отворачивается к стене и засыпает. Я следую его примеру, и скоро наше купе превращается в сонное царство.

Когда я проснулся, сердитый юноша еще спал. За чаем я начал раздумывать о своем положении. Поезд должен был прийти в Варшаву часов в девять вечера. У меня имелся адрес одной знакомой польской семьи из сочувствующих революционерам, но являться туда прямо с вокзала с чемоданом — значило жестоко подводить добрых людей в случае провала. Надо поэтому заехать в гостиницу и, может быть, переночевать там. Предъявлять в Варшаве фальшивый паспорт, притом сделанный довольно скверно, было бы безумием; следовательно, придется пустить в ход паспорт, доверенный мне в Якутске приятелем на крайний случай. Но помимо того, что мне не хотелось вводить в риск человека, которому я был многим обязан, этот паспорт имел еще то неудобство, что недвусмысленно свидетельствовал о прибытии его носителя из Восточной Сибири. А ведь я мог предполагать, что о моем бегстве варшавской полиции уже известно, так как со дня моего отъезда из Якутска прошло уже двадцать шесть дней.

Студент тем временем проснулся. Я предложил ему чаю. Сначала он, припоминая мои вчерашние вопросы, отнекивался, но затем согласился принять мое приглашение. Мы разговорились.

Из беседы я узнал, что Вольский — фамилия студента — симпатизирует революционерам, что его знакомые и родственники пострадали за правду (он назвал пару имен, довольно известных в революционных кругах). И я решил сделать дальнейший шаг.

— Скажите, вы не думаете ли остановиться в Варшаве?

— Нет, я хочу проехать прямо в Берлин через Александрово.

— Ну, а если бы вас попросили остаться на ночь в Варшаве, если бы это было необходимо? — продолжал я настаивать.

Юноша внимательно посмотрел на меня. И вдруг понял сразу.

— Я знаю, кто вы, — улыбнулся он, — вы политический и бежали из ссылки.

Я не считал нужным скрывать. Вольский охотно согласился занять номер в гостинице и взять с собой мои вещи; если бы мне не удалось устроиться в польской семье, я должен был тайком пробраться в номер и попытаться переночевать там без прописки.

Поезд подошел к Варшавскому вокзалу. У Вольского оказалось две скрипки, каждый из нас взял по футляру. Возможно, что мой спутник мог бы сойти за музыканта, но про меня этого уж никак нельзя было сказать, даже в виде комплимента. Но ничего, все идет прекрасно. Жандармы не обращают на нас ни малейшего внимания. Садимся на извозчика, едем — ничего! Вот и мост через Вислу, вот и польская столица. Подъезжаем к воротам гостиницы, я незаметно выскакиваю из экипажа и ухожу на поиски, предварительно хорошенько заметив номер дома, название улицы.

Иду и завидую встречным: у каждого из них есть свой дом, свой угол, а ты вынужден бродить бесприютным в громадном чужом муравейнике.

Разыскал нужный мне дом. Квартира в глубине двора. Стучу, звоню — гробовое молчание. Поднятый мною шум встревожил обитателей соседних квартир, из окна высунулась чья-то сердобольная голова и посоветовала мне постучать с заднего хода к кухарке, так как хозяев нет дома. Я последовал этому совету.

Дверь, запираемая цепью, приоткрылась немного, и старуха со свечой в руке спросила меня, что мне нужно. Я, ничтоже сумняшеся, ответил, что мне нужна пани Мария... и чуть было не погубил себя этим ответом. Плохо зная польский язык, я спутал слова «панна» — девушка и «пани» — замужняя женщина.

— Никакой пани Марии здесь нет, — недоверчиво пробурчала старуха. — Есть пани Феликса и панна Мария.

— Ну вот, ее-то я и ищу.

— Никого нет дома! — резко произнесла старуха. — А кто вы такой и что вам надо?

— У меня есть дело до пани Марии,— взмолился я.

— Теперь одиннадцатый час,— сказала старуха, смотря на меня крайне подозрительно.— И никакой пани Марии тут нет.

Я хотел уже отретироваться, но не тут-то было. Старуха, очевидно принявшая меня за мазурика, не отставала ни на шаг. Она последовала за мной во двор, подняла адский шум и вызвала дворника. Если дворник тогда не задержал меня и не отправил в участок, то с его стороны это было прямым упущением по службе. Насилу я вырвался из этого дома.

Я отправился в гостиницу, где остановился Вольский.

Примерно через полчаса раздался стук в дверь номера.

— Пожалуйста паспорт второго господина.

— Мы уже легли спать,— ответил Вольский.— Паспорт получите завтра утром.

Само собой разумеется, что на следующее утро я исчез из гостиницы бесследно.

Представители русского царизма в Польше достаточно потрудились над тем, чтобы решительно восстановить польский народ против «москалей», но по отношению к гонимым и преследуемым поляки в большинстве своем проявляли свое гостеприимство. Я пробыл в Польше две недели, за это время приходилось сталкиваться с людьми самых разнообразных общественных положений. Я находил приют у чиновника, актера, врача, у рабочих, студентов, фармацевтов и так далее. Повсюду старались по мере сил своих скрасить мое неприглядное положение человека, не имевшего, где приклонить голову.

А положение мое было довольно-таки неприятное. Каждый лишний день, проведенный мной в Варшаве, где я жил, конечно, без прописки, увеличивал опасность ареста и риск провала. Польская социалистическая партия, к которой я имел рекомендацию, переправляла в это время через границу транспорт нелегальной литературы. Ввиду этого мне надо было дожидаться, пока путь очистится. В революционном деле отдельный человек значит гораздо меньше, чем хороший транспорт нелегалщины, поэтому волей-неволей приходилось мириться с задержкой. Во время моих шатаний по ночевкам не обходилось без курьезов.

Так, однажды меня направили в студенческое общежитие. Прихожу и сразу замечаю, что попал в конспиративную квартиру. Говорю одному студенту:

— Знаете, ваш дворник очень подозрительно на меня посмотрел, когда я входил во двор.

— Пустяки, он привык. Здесь каждую неделю бывает, по крайней мере, два обыска.

Я превратился в восклицательный знак. Но студент хладнокровно прибавил:

— Впрочем, вам беспокоиться нечего. Обыск был недавно, значит полиция явится сюда не раньше, чем дня через два.

Это замечание меня успокоило, и я заснул сном праведника.

Наконец мне сообщили, что можно ехать за границу. Под вечер я был уже в Домброво (Сосновицы). Здесь меня ждала неприятность. Человек, который должен был перевести меня через границу, за день до моего приезда в пьяном виде разозлился с полицией и «достал до козы», то есть был посажен в холодную на пять суток. Ждать его освобождения на самой границе, где жандармско-полицейский надзор особенно силен, да еще в конспиративной квартире, куда меня поместили, я счел неудобным. Поэтому быстро выработали новый план. Я с двумя рабочими, охотно согласившимися съездить на мой счет к родным на праздники (было рождество), отправлюсь в их деревню, расположенную на самой австрийской границе, недалеко от Кракова, и там попытаюсь как-нибудь перейти границу.

Сказано — сделано. На следующее утро мы втроем сели в поезд. Потом пересели на лошадей.

Навстречу попадались убогие мазанки, согбенные крестьяне, тощий скот. В одной избе, где мы остановились переночевать, не было ни крошки хлеба, ни капли молока. Убитый нищетой и преданный церкви хлоп, тощая жена, золотушные дети с гноящимися глазами. С какой радостью детишки набросились на продукты, которыми мы их угостили. Мать скорбно отвернулась...

Вскоре показалась деревня, куда мы направлялись. Половина ее принадлежала России, половина — Австрии. Население обеих половин, связанное дружескими и родственными узами, разделено пограничным барьером. Обе части деревни отделены друг от друга ложбиной, по которой прогуливается русский часовой; с австрийской стороны граница не охраняется.

Переходя из дома в дом под предлогом визитов, мы постепенно добрались до крайней избы, расположенной шагах в двадцати от границы. Изба эта, стоявшая на пригорке, принадлежала старому контрабандисту. Мы нашли его в постели, он умирал. Слабеющим ухом слушал старик наш рассказ. Вдруг, сделав нечеловеческое усилие, он приподнялся на локте, угасающими глазами посмотрел через грязное окно на растлавленную внизу австрийскую землю и прохрипел:

— Если б мог встать... проводил бы... Тут недалеко... Иди, благословляю.. жена поможет...

И упал на подушку. Я вышел в сени. Жена его стала на улице перед дверью. Она следила за движениями часового и должна была подать мне сигнал, когда солдат отвернется и зашагает в противоположную сторону. Револьвер мои спутники у меня отобрали: если побег не удастся и я буду схвачен, то револьвер послужит серьезной против меня уликой. Итак, я остался совершенно беззащитным. Вдобавок крестьяне рассказали, что в последнее время солдаты начали стрелять в переходящих границу людей, даже если они успели уже очутиться на иностранной земле, затем перетаскивали трупы убитых на пограничную межу и таким образом избавлялись от ответственности.

Стояла отвратительная гололедица, трудно было сделать два шага, не поскользнувшись. Скажу еще, что дело происходило часа в четыре пополудни, так что было совершенно светло. Часовой в полушубке и башлыке прогуливался по ложбине; он делал шагов семьдесят — восемьдесят в одну сторону и затем возвращался. По времени он останавливался.

Стою за дверью и не свожу глаз со старухи. Вот она махнула рукой. Это сигнал, надо идти. Выхожу из своего угла. Часовой спокойно расхаживает по ложине. Медленно направляюсь к границе. Сначала иду тихо, затем невольно ускоряю шаг. Калоши кажутся страшно тяжелыми и стесняют. А тут еще эта проклятая гололедица. Неожиданно срываюсь и с грохотом лечу вниз, в овраг. Все погибло! Но нет, ничего. Закутанный в башлык часовой ничего не слышит. Моментально вскакиваю на ноги, перебегаю узкую пограничную полосу и лезу через забор, окружающий в этом месте австрийскую часть деревни. Вот я уже на заборе, остается прыгнуть, и я спасен. И снова беда: зацепил пальто за кол и беспомощно повис, тщетно стараясь достать ногами до земли. Теперь, если часовой обернется, он снимет меня с забора просто штыком. Делаю отчаянное усилие, дергаюсь раз, два, три. Трах! Пальто треснуло — я оторвался и стою ногами на твердой земле.

Все это продолжалось меньше минуты.

Теперь нужно пробежать, чтобы удалиться от русской границы на порядочное расстояние. Часовой, который с секунды на секунду должен обернуться, не посмеет стрелять, если я буду далеко. Но в этот момент мною овладело странное упорство. Не побегу, да и только! И я спокойно, не оглядываясь, медленным, размеренным шагом направился к галицийским избам, расположенным шагах в полтора от забора. Шел я по совершенно открытому месту. И вдруг мне страшно захотелось оглянуться. Не удержался, остановился, повернулся лицом к России. Стоит мой солдатик, выпучив глаза, ружье в руках держит и на меня упорно смотрит. Постоял я и спокойно пошел дальше. В последний раз оглянулся на Россию, поклонился и исчез за плетнем...

Через полчаса я ехал на крестьянской телеге в Краков. На дворе стоял изрядный мороз, но мне было жарко и душно. Снял пальто, расстегнул пиджак — все жарко. Таким образом разрядилось нервное настроение последнего дня...

Вот и предместье Кракова.

Здравствуй, желанная свобода!



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТВАРДОВСКОГО

(Короткие заметки)

Я перечитываю Твардовского. Именно перечитываю, потому что давно и хорошо знаю его поэзию, многое помню наизусть. Новое я читаю в периодике.

Я помню его скромные довоенные сборники, суровые — на грубой, в занозах, бумаге — книги войны, прекрасно изданного Военгизом «Василия Теркина», «Книгу лирики» в белой обложке, тоненькие «Послевоенные стихи», объемистые тома Избранного, изящные гослитовские двухтомники.

Эти заметки не претендуют на всесторонний анализ творческого пути А. Твардовского или хотя бы отдельных его произведений. Это только наблюдения и ощущения, возникшие в те часы, когда я перечитываю своего любимого поэта.

Писать о стихах крайне трудно. В статьях о поэзии мы часто встречаем фразу: «Невозможно передать в прозе...» Поэты знают, что иногда бывает невозможно доказать, чем же именно хороши или плохи те или иные строфы. Это надо чувствовать. Здесь нет никакой мистики, просто главное воздействие поэзии — эмоциональное.

И тем не менее заметки о поэзии — дело необходимое.

Четверть века тому назад появился в нашей поэзии Твардовский. Сейчас слово «появился» звучит странно, кажется, что он был чуть ли не всегда. А ведь и о нем когда-то говорили: «Читали? Твардовский какой-то. Ничего, способный...»

У каждого человека свой голос. Мы знаем голоса наших близких, узнаем, не обращаясь. Мы обращаем внимание на голоса незнакомые, но чем-то замечательные, запоминаем их, а иногда даже невольно подражаем им.

То же самое и в поэзии: у каждого свой голос. В быту это не имеет большого значения, а в искусстве это — все. Мы узнаем стихи настоящего поэта, если они и не подписаны, нам запоминается голос, прежде не известный.

И время тут не властно:

Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса...

Некоторые не могут удержаться и «подпадают под влияние»; пишут «под кого-то». Что же это такое — поэтический голос? Это, вероятно, мировоззрение и мироощущение поэта, его тематические пристрастия, словарь, технические приемы (размер, рифма и прочее) и, конечно же, интонация.

У каждого поэта, как бы оригинален и самобытен он ни был, обязательно встречаются интонации других поэтов.

Вот у раннего Твардовского интонация Некрасова:

Плывут паутины
Над сонным жнивьем,
Краснеют рябины
Под каждым окном.

Хрипят по утрам
Петушки молодые,
Дожди налегне
Выпадают грибные.

Или пушкинские интонации в «За далью — даль».

В этом нет ничего удивительного — поэзия не рождается на пустом месте.

Думаю, что стих Твардовского раннего был ближе к Некрасову, а Твардовского нынешнего ближе к Пушкину.

Интонация Твардовского настолько ярко выражена и могуча, что после «Василия Теркина» многие не могли писать четырехстопным хореем, сбивались на Твардовского. То же самое после появления первых же глав «За далью — даль». На что уж традиционен для русской поэзии четырехстопный ямб, а начнешь иного читать — невозможно: ухушенный Твардовский.

Каждый поэт пользуется большим словарем, но у него есть свои любимые, как бы его собственные слова и словечки.

Так, Пушкин очень любил слово «печальный» и рифмовал его обычно со словом «дальный».

Твардовский любит — «держава», «дымы» и такие слова, как «иной», «некий»...

Вспоминаю начало «Соловьиного сада»:

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне.
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.

Эпитеты очень точны: скалы — слоистые, дно — илистое, осел — усталый, спина его — мохнатая.

Эпитеты эти точны, но так мог сказать каждый наблюдательный человек, а не обязательно поэт.

Но немного дальше идет:

По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.

Не пышных, не ярких, не блеклых, не красных, не каких-либо еще, а именно лишни х. Там, за оградой, все увито розами, там их, грубо говоря, достаточно, слишком много, и вот лишние свисают на эту сторону. Так увидеть мог только поэт, художник.

У больших поэтов эпитеты так точны, что мы их зачастую даже не замечаем.

Эпитеты, поражающие нас, встречаются не слишком уж часто, в этом тоже их сила. Вот эпитет Твардовского о финской кампании («Две строчки»):

На той войне незначимой.

Предельно и даже как-то невероятно точно, такого не придумаешь. И здесь нет ничего пренебрежительного к людям той войны, нет, это потому так и впечатляет, что написано «среди большой войны жестокой», когда финская кампания отодвинулась в далекое прошлое и когда шла всеобщая народная война.

Или:

Ведь живая смерть страшна
И солдату тоже.

О смерти сказать, что она живая! То есть не какая-то смерть вообще, о которой думают несколько абстрактно, вроде бы не всерьез, а вот она, увиденная в глаза,— живая смерть.

Но еще более неожиданно выразителен у Твардовского не эпитет-прилагательное, а глагол: полки «К опушке вынесли штыки», «Дверцу выбросил шофер», друг на запруженном перроне «Ко мне работает плечом».

Не просто видишь, а буквально чувствуешь действие.

Нужно было бы провести связь от знакомых нам с детства аллитераций в классике к аллитерациям в современной поэзии.

Например: «У Днепра» Твардовского:

Вот песок с водою вровень
Зашумел под колесом,
И под гоВоР моКРых БРеВен
ВоЗ ВЗоВРался на паРоМ.

Тут и плеск воды, и стук колес, и «говор» чуть осевшего парама.

Или — у него же — «Мост»:

И бережно приняв экспресс,
С великой справившийся далью,
Под ним он грянул, как оркестр,
Своей озВученною Сталью.

В искусстве едва ли не главное — соревнование, часто заочное, иногда с теми, кого уже нет, или даже кого еще нет.

Довоенные стихи Твардовского подкупают юношеским задором, молодым оптимизмом, светом, неомраченностью. Возмужание, легкая грусть при думе о родных местах, при возвращении из Москвы на родину.

И главное ощущение от этих стихов: все впереди!

Читаешь иной раз ранние стихи большого поэта — живые, непосредственные, конкретные и все-таки всерьез интересные лишь потому, что мы знаем, каким поэт стал впоследствии.

И вдруг среди них стихотворение — яркое, совершенно зрелое, написанное как бы будущим мастером, которым он лишь должен стать. Может показаться, что это случайно, по ошибке, поздние стихи попали в разряд ранних. Просто диву даешься! (У Твардовского — «Я иду и радуюсь...», «Ивушка», позднее «Поездка в Загорье».) Вероятно, в таких случаях говорят: «Ого, он подает надежды!..»

Уже совсем сложившийся поэт (в довоенной теме), он на войне снова как бы начинает заново. Хорошие есть стихи, но все же хуже, чем лучшие довоенные. Первые военные стихи Твардовского (особенно времен финской войны) слишком внешни, и, хотя очень хороши многие места, остается неудовлетворенность. За редким исключением, нет внутреннего раскрытия характера героя, обычно дается лишь фактическая фамилия.

Так до 1942 года. И тут — взрыв, подготовленный всем прошлым: и довоенным и войной. Тут всерьез начался «Теркин», появились многие великолепные стихи: «Отцов и прадедов примета...», «Еще дороги и мосты...», «Баллада об отречении», «Баллада о товарище», «Партизанам Смоленщины».

А потом и пошло, и пошло.

Похожая картина и в послевоенных стихах: первые, очень сильные («Я убит подо Ржевом») — еще о войне, затем вновь стихи слабее лучших военных, и опять взлет. Творчество любого писателя неровно, но интересно проследить причины.

«Василий Теркин» очень прост и, как у нас говорят, «доходчив». Он доставляет наслаждение людям, впервые взявшим в руки стихи, и людям высокой культуры, тонким знатокам поэзии. Каждый находит в нем свое, близкое. Постепенно, с возрастом, с житейским опытом и культурным развитием человек открывает в «Книге про бойца», как в каждом истинном произведении искусства, все новое и новое, не замеченное прежде.

Анкетные данные о Теркине:

Год рождения — примерно семнадцатый, так как Василий участвовал еще в финской кампании, служа действительную службу, и «На Карельском воевал — за рекой Сестрою», затем демобилизовался перед Великой Отечественной войной и вновь пришел «из запаса рядовой» — «в строй с июня, в бой с июля».

Место рождения — Смоленская область, где-то в районе Ельни, Глинки.

Социальное происхождение — из крестьян.

Социальное положение — колхозник.

Семейное положение — холост.

Рост — средний.

Вес — небольшой, около шестидесяти килограммов («и, четыре пуда грузу добавляя по пути, через борт ввалился в кузов» — а ведь был в одежде), и т. д.

Такие вопросы любят задавать на всевозможных литературных викторинах.

Близость Теркина и автора — они земляки (к слову, Андрей из «Дома у дороги» тоже из земляков — смоленский) и часто как бы говорят друг за друга:

И скажу тебе, не скрою, —
В этой книге, там ли, сям.
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.

Я за все кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Теркин, мой герой,
За меня гласит порой.

Так в главе «На Днепре» полная боли и счастья речь автора звучит в «речи к родимой стороне», которая «сама собою» жила в Теркине:

Здравствуй, пестрая осинка,
Ранней осени краса,
Здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка,
Здравствуй, речка Лучеса...

Мать-земля моя родная,
Я твою изведал власть,
Как душа моя больная
Издали к тебе рвалась!

Я загнул такого крюку,
Я прошел такую даль,
И видал такую муку,
И такую знал печаль.

Мать-земля моя родная,
Дымный дедовский большак,
Я про то не вспоминаю,
Не хвалюсь, а только так...

Я иду к тебе с востока,
Я тот самый, не иной.
Ты взгляни, вздохни глубоко,
Встреться наново со мной.

Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня
Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня..

Их близость чувствуется во всем.

Автор так точно и подробно описывает фронтовой быт, словно он сам — Теркин. Взять, к примеру, описания боя, их несколько в «Книге про бойца» — и все они отличаются друг от друга: и ночная переправа, и зимний бой за село, и бой в болоте у населенного пункта Борки, и стремительный, победный днепровский бой...

Это объясняется, видимо, тем, что люди армии — это уже известные поэту прежде, хорошо знакомые, родные люди, и тем, как близок был поэт к народу в эту суровую пору. Это и есть основное качество Твардовского, как, конечно, каждого настоящего художника, и называется это — неразрывная связь с народом.

Четырехстопный хорей в «Теркине» все время варьируется, делается это почти незаметно, как бы само собой, и поэма не удручает монотонностью, как иные длинные вещи некоторых поэтов. Не умея вот так естественно варьировать стих, многие поэты употребляют разные стихотворные размеры в пределах одной поэмы, чтобы избежать скуки и однообразия, и это бывает обычно нарочито и раздражает, как всякая неестественность.

При всей правильности традиционно-классических размеров, стих Твардовского характерен неожиданными перебивками ритма, усечением строки. И это всегда оправдано.

Вот повел взвод в атаку лейтенант:

Только вдруг вперед подался,
Оступился на бегу,
Четкий след его прервался
На снегу..

Эта последняя укороченная строка как бы подчеркивает его неожиданно прерванный бег, его внезапное падение, его смерть.

Или в путевом дневнике «За далью — даль» — о молодоженах:

Рука с рукой — по-детски мило —
Они у крайнего окна
Стоят посередине мира —
Он и она, муж и жена.

Эта обязательная пауза в середине последней строки останавливает наше внимание, указывает нам на особую важность описываемого.

«Переправа», «Гармонь», «В бане» — наиболее известные, прямо-таки знаменитые главы «Василия Теркина». Их особенная известность объясняется тем, что их много читали и читают с эстрады и по радио.

А в «Книге про бойца» есть целый ряд, не менее, если не более сильных глав.

Разговор Теркина со Смертью — это как бы разговор с самим собой, со своими слабостями.

Второстепенные герои в «Книге про бойца» тоже написаны очень ярко и зримо, и, хотя о них порой автор едва лишь упоминает, мы видим и помним их. Это три танкиста, дед-солдат и его старуха, которая жарит Теркину яичницу и, «стрададая до

конца, разбивает два яйца», генерал, щеголеватый лейтенант, который был сражен пулей в бою:

— Ранен! Ранен командир...
Подбежали. И тогда-то,
С тем и будет не забыт,
Он привстал:
— Вперед, ребята!
Я не ранен. Я — убит...

и солдат, с которым шел Теркин из окружения, и солдат-сирота, и второй — рыжий — Теркин, и солдат, потерявший кисет, и даже девушка, совершающая обход в палате.

Это умение сразу же нарисовать характер пусть второстепенных персонажей, чудесное умение Твардовского, проявляется везде. Возьмем «Страну Муравию». И опять же мы помним не только самого Никиту Моргунка, но и его свояка, и Бугрова, и мальчика, и попа, и молоденького тракториста, и, конечно, Андрея Ильича Фролова — настоящего коммуниста-борца, умного председателя колхоза — один из лучших образов Твардовского.

«Книга про бойца» — «без начала, без конца, без особого сюжета...»
Почему? — спросит читатель.

На войне сюжета нету.
— Как так нету?
— Так вот, нет.
Есть закон — служить до срока,
Служба — труд, солдат не гость.
Есть отбой — уснул глубоко,
Есть подъем — вскочил, как гвоздь.

Есть война — солдат воюет,
Лют противник — сам лютует.
Есть сигнал: вперед! — Вперед.
Есть приказ: умри! — Умрет.

Сюжет, да и то часто весьма условный, есть только внутри глав. Лишь один раз появляются герои, знакомые по началу книги, — это дед и баба, которых освобождает Теркин.

Более четок сюжет в «Стране Муравии», хотя и там он тоже весьма относителен. Чувствуя, что острота читательской заинтересованности (а что дальше?) начала пригупляться, автор, кроме основного сюжета, вводит занимательную линию с пропажей коня. Сюжетное построение «Страны Муравии» наиболее близко к классическому образцу: завязка — кульминация — развязка.

Однако в следующих крупных вещах поэт отходит от этого, для него главное не в пунктуально-последовательном описании событий, а в напряженном развитии характера, причем это настолько идет через автора, что так называемые лирические отступления у Твардовского нельзя даже назвать отступлениями, все это теснейшим образом связано с действием и это уже невозможно отделить: вот вам повествование, а вот авторское отступление.

Доброе, несколько юмористическое отношение к Моргунку, ибо читатель уже с самого начала знает об ошибках Моргунка, о его наивности, — коллективизация утвердилась.

Иное дело в «Теркине» — с ним может случиться разное: идет война.

Какая точность глаза и ощущений, какая точность слова:

И усталая с похода,
Что б там ни было, — жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.

или у остановившейся танковой колонны:

Зол мороз вблизи железа.

или в болоте у населенного пункта Борки, который никак не могут взять наши:

Влился голос твой в печальный
И протяжный стон: «Ура-а»...

или:

От окопов пахнет пашней.

Этот список, как говорят в рецензиях, можно продолжить.

Достоверность не только детали, но, главное, — настроения.

Стихи Твардовского отличает конкретность, подробность почти прозаическая, и, однако, это очень поэтично. Взять главу «Теркина» «Поединок» — на нескольких страницах описывается драка Теркина с немцем, кто как размахнулся, кто как ударил и т. д. И удивительно точно все, каждое словечко на месте, словно так оно и было всегда, а не написано где-то, может быть, даже наспех.

Естественности!

И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.

Не в то же место, как сказал бы всякий, а в «ту же боль» — до чего точно!
И когда поблизости идут строки:

Держит фронт Василий Теркин,
В забытых глотая кровь,—

то вот это «в забытых» — чуть-чуть не то, немного жеманное слово, и в данном случае нарушает общий строй.

Превосходны многие стихи Твардовского, в которых можно наконец прорваться радости: мы идем на запад!

Вперед дорога — не назад,
Вперед — веселый труд;
Вперед — и плечи не болят,
И сапоги не трут.

Летят самолеты, идет техника — «колеса» (одно из любимых поэтом слов войны).

И вот здесь, когда еще не вся родная земля освобождена, но победа уже видна явственно, в 1943 году поэт пишет первое свое невоенное — на войне — стихотворение «Ноябрь»:

В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст,
И оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

а в 1944 году он уже мог позволить себе написать на войне еще более «мирное» стихотворение «У Днепра».

«Василий Теркин» как бы заслонил собой «Дом у дороги» и многое, написанное Твардовским во время войны. Можно даже услышать: «Твардовский... Да! Но в лирике он слабоват...» (хотя и «Теркин» — сплошная лирика). Но стихи, о которых почти не говорят, — замечательные, именно лирические философские стихотворения. (Это уже упомянутые мною стихи 1942 года, а также «Награда», «За Вязьмой», «Две строчки», «В пилотке мальчик босоногий», «Большое лето», «У Днепра», «В литовской усадьбе», «Здесь немцы были», «В поле, ручьями изрытом...», «Перед войной, как будто в знак беды...» и другие).

Вот одно из них:-

В поле, ручьями изрытом,
И на чужой стороне
Тем же родным, забытым
Пахнет земля по весне.

Полой водой и — нежданно —
Самой простой, полевой
Травкою той безымянной,
Что и у нас под Москвой.

И доверяясь примете,
Можно подумать, что нет
Ни этих немцев на свете,
Ни расстояний, ни лет.

Можно сказать: неужели
Правда, что где-то вдали
Жены без нас постарели,
Дети без нас подросли?..

«Дом у дороги» полон высочайшего трагизма, человеческого горя. Это поэма о всенародной беде и всенародном подвиге. Герои остаются живы, но автор не дает их встречи, более того, Андрей не знает, что с семьей, Анна не знает, что с Андреем.

Здесь нет (или почти нет) шутки, так свойственной Твардовскому и такой щедрой в «Теркине», — еще бы: Теркин на фронте, среди своих, это совсем другое дело,

«Василия Теркина» некоторые считают «смешной», чуть ли не юмористической книгой, и, правда, она вся полна веселой бодрости, но сколько там боли за поруганную родную землю, сколько веры в свой народ, в его силу и победу.

И сколько гибнет людей, «наших стриженных ребят», как трудна жизнь,

Как прохватывает ветер,
Как луна теплом бедна.
Ах, как трудно все на свете:
Служба, жизнь, зима, война.

Тем и силен Теркин, что он не тот богатырь, который «русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил», а простой солдат, идущий сквозь немыслимую войну и сохраняющий веселость, бодрость и присутствие духа.

Рифма Твардовского чрезвычайно убедительна. Хотя стих формально традиционно-классический, — рифмы новые, современные, неожиданные.

«За пень — запеть», «Июня — и юный», «усталый — уставу», «по двору — подлюю» и даже такие, как «простор — восток»! Иногда Твардовский рифмует совершенно одинаковые по написанию и лишь несколько отличные по значению слова:

Хороша при смутном свете,
Дорога, как нет другой,
И видать, ребята эти
Отдохнули день, другой...

Это сделано настолько тонко, что обычно остается незамеченным.

Изредка Твардовский вообще пропускает рифму, чтобы сделать, может быть, некоторую разрядку:

Шутки, слухи в этом духе
Автор слышит не впервой.
Правда правдой остается,
А молва себе — молвой.

Однако в данном случае появляется внутренняя рифма в первой строке: «слухи — духе».

А в другом месте:

И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.

и в первой и в третьей нерифмующихся строках есть внутренние рифмы: «спокойной — хвойной» и «муравьиным — винным».

Для строфы Твардовского характерна часто встречающаяся лишняя строка (или несколько строк), рифмующаяся с первой строкой, что расширяет строфу, дает большую свободу интонации.

Это было еще в его довоенной поэзии:

Путь ваш долгий и опасный,
В заполярной стороне,
Перед нами был всечасно,
Огненной чертою красной
Представлялся нам во сне.

и особенно проявилось в «Теркине» (достаточно вспомнить хотя бы начало книги) и в других вещах:

Когда он некий перевал
Преодолея, взошел на гору
И отовсюду виден стал,
Когда он всеми шумно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики намечен,
Почти уже увековечен,
И хватать писать — пропал запал.

Этим приемом пользовались еще в прошлом веке, но при известной скованности в форме; лишняя строка если уж появлялась, то последовательно проходила через все произведение (все строфы одинаковы).

Здесь же это делается по мере надобности, это более неожиданно и разнообразит стих.

У каждого много работающего поэта встречаются повторения (иногда через много лет) ситуаций, строк, строф. Это тоже вполне закономерно.

Вспомним не раз встречающийся у Твардовского рассказ о том, как шли солдаты по занятой врагом родной земле, «пробиваясь на восток».

Или, скажем, такие строки, как «шепелявый визг металла» («Наступление»), образ лошадей, бьющих зубы об лед («Григорий Пулюкин»), или то, что письма пишутся «у друга на спине» («Письмо родным»), повторяются затем в «Василии Теркине».

Стихотворение «Мост» (1950) похоже на описание моста через Волгу в путевом дневнике (1950—1952).

В стихотворениях «Берлин» и в «Доме у дороги» встречается выражение «самый полдень торжества».

Иногда поэт хочет избавиться от таких повторов и изымает из стихотворения «Большое лето» строфу:

А некий мальчик босоногий,
С неполным ягод котелком,
Привал устроил на дороге,
Сухим закусывал пайком,—

почти буквально повторяющую первую строфу стихотворения «В пилотке мальчик босоногий...»

Но есть более органические повторения — повторения настроения.

При описании пляски на заснеженной фронтовой дороге в главе «Теркина» («Гармонь»):

Я не так еще сыграл бы,—
Жаль, что лучше не могу.

невольно вспоминаешь пляску на свадьбе в «Стране Муравии»:

Ах, надо б лучше, да нельзя!

как вспоминают на войне далекую мирную жизнь.

Есть у Твардовского в его знаменитой серии о Даниле стихотворение «Как Данила помирал». Пожил много плотник Данила, даже совестно стало, сколотил себе гроб и лег. Собрался народ, жалеет Данилу, говорит про него, и тут —

Не желаю ваш постылый
Слушать разговор.
На леса! — кричит Данила,—
Дайте мне топор!..

Все это написано в шутовском тоне и было бы мало интересно, если бы не «суть» — труд зовет человека и не дает ему даже умереть (эта мысль присутствует во многих стихах Твардовского).

И есть другие стихи, тоже довоенные, — «Дед Данила в лес идет». Пришел Данила в лес глубокой осенью, за дубьем для всяких поделок, чтобы не скучно было зимой. Пошел обратно.

Вышел из лесу Данила —
Мухи белые летят.

С рукава снежинку сдунул.
Что-то ноша тяжела.
«Вот зима пришла,— подумал,
Постоял.— За мной пришла».

и поэт говорит:

Дослужи, Данила, честно,
Дальше дело не твое.

И сразу вспоминаешь написанное через двенадцать лет (и каких лет!) стихотворение «Самому себе»:

А если сил и жизни целой,
Готовой для любых затрат,
Не хватит вдруг, чтоб кончить дело,
То ты уже не виноват.

Поэты в своих стихах любят приbedняться: «почто в груди моей горит бесплодный жар», «мой бедный стих», «в строфах небрежных» или — у Твардовского — обращение к читателю: «Как всегда перед тобою я, должно быть, виноват» и пр.

Эти утверждения не соответствуют действительности, и, если поэту скажет такое кто-нибудь другой, вряд ли поэту это понравится. Это прием старый, традиционный. Он подкупает читателя — вот, мол, какой прекрасный поэт и как скромный! Это всегда приятно.

Смешно, когда приbedняться начинает и вправду плохой поэт.

Принято считать, что после войны в творчестве молодых поэтов, рожденных войной, наступил некоторый спад.

Это верно, но не очень полно. Можно сказать, что все поэты, много и плодотворно работавшие в дни войны, после нее испытали огромные затруднения:

И, как будто оглушенный,
В наступившей тишине
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.

Трудно было сразу найти новый ключ, сделать новый рывок.

Многие так и не сумели сделать этот скачок в новое качество.

Года два после войны все писали еще о войне, и в то же время шло скрытое, трудное становление нашей мирной послевоенной поэзии.

1947—1950 — мучительные годы поисков в творчестве Твардовского.

И если поэт совершил подвиг, написав во время войны «Василия Теркина», то не меньшим, а может быть, и большим подвигом было создание первых глав путевого дневника «За далью — даль», с которыми он вырвался на новые просторы поэзии.

Цикл стихов «Из лирики», напечатанный в «Новом мире», был как бы преддверием к чему-то большому, новому, манящему.

Дайте расчистить рабочее место
С толком, с любовью — и сразу к перу.

Но за работой, упорной, бессрочной,
Я моей главной нужды не таю:
Будьте со мною хотя бы заочно.
Верьте со мною в удачу мою.

Мы верили, ждали, и вот я помню, как среди нас, кончающих тогда Литинститут, пронеслась весть: «Написал! Поэма! Четырехстопным ямбом!..»

Это были первые главы «За далью — даль».

О Твардовском прежде говорили некоторые, что, мол, поэт он хороший, но все-таки ограниченный темой, узкодеревенский. Это говорилось с долей пренебрежения.

Однако здесь была и правда. При всем своем таланте, Твардовский довоенный был действительно несколько ограничен в материале (хотя оставался и мог остаться отличным поэтом).

Во время войны и «Теркин», и «Дом у дороги», и многие стихи написаны с точки зрения жителя деревни, что совершенно естественно: люди войны были в большинстве своем людьми деревни. Но здесь уже другое дело: эти произведения, так сказать, общечеловечны, близки сердцу всякого, кому близка родина и свобода.

Конечно, все поэмы Твардовского не одинаковы, но «За далью — даль» особенно явственно отличается от его остальных поэм. Действительно, поэт предстал перед нами в новом качестве. Это умудренный годами, но молодой душой человек, знающий и деревню, и войну, и город, размышляющий о жизни и развитии общества, об искусстве.

Широчайшая картина, широчайшие интересы и привязанности автора открываются нам в путевом дневнике. Вправду чувствуешь себя в мчащемся поезде, и перед тобой безмерная даль — ясная и зовущая.

Путевой дневник поражает зрелостью не столько поэтической (Твардовский давно уже зрелый поэт), сколько зрелостью человеческой.

Тема Сибири и освоения новых земель, столь ярко звучащая сейчас у Твардовского, — это его старая тема; вот «Семья кузнеца»:

И жизнь как бы снова начнется вдали.
Но, дедовский край покидая,
Не брал он на память щепотку земли:
Своя она вся и родная.

или «Новая земля»...

Эта тема давно уже близка народу. Вот почему это так органично у Твардовского. Интересны его новые стихи о Сибири:

И я скажу: в твоей судьбе,
С ее угрюмостью студеной,
Чего недодано тебе —
Так это песни, здесь рожденной!

Что из конца прошла б в конец
 По всем краям с зазывной силой
 И с миллионами сердец
 Тебя навеки породила.
 Мне честь была бы дорога
 И слава — не товар лежалый,
 Когда бы хоть одна строка
 В той песне мне принадлежала.

Речь идет о новой песне — поэме, книге, которая открыла бы людям Сибирь во всей ее красоте и привлекательности.

Прежние песни о Сибири показывали ее страшной, гиблой, каторжной («Бежал бродяга с Сахалина», «Славное море — священный Байкал», книги Шишкова). Затем появились книги А. Фадеева, Л. Сейфуллиной, Вс. Иванова, появились произведения о преобразованиях в Сибири, но новой, «зазывной» песни нет.

Может быть, Твардовскому удастся ее создать.

Час рассветный подъема,
 Час мой ранний люблю.
 Ни в дороге, ни дома
 Никогда не просплю.
 Для меня в этом часе
 Суток лучшая часть:
 Непочатый в запасе
 День, а жизнь началась.

Когда-то в нашем институтском общежитии несколько раз ночевал чувашский поэт Я. Ухсай. Чуть свет он будил нас, заспанных, но скрывающих недовольство из уважения к нему и юношеской деликатности, и говорил: «Поэт должен быть, как птица: просыпаться раньше всех и сейчас же петь».

Это было сказано несколько по-восточному цветисто, но суть одна и та же.

Час рассветный подъема...

Коллективизация, война, послевоенное освоение новых земель Сибири — крупнейшие вехи в жизни нашего общества.

И они же — крупнейшие вехи в творчестве Твардовского.

Совпадения эти отнюдь не случайны. В тридцатом году, в начале коллективизации, поэт вернулся из Москвы в Смоленск, где прожил, постоянно бывая в деревне, несколько лет и написал «Страну Муравию».

Твардовский участвует в освободительном походе наших войск в Западную Украину и Белоруссию, в финской кампании, а затем в Великой Отечественной войне. Не будь этого — не было бы «Василия Теркина».

А после войны он едет в Сибирь, на Дальний Восток.

Изведав горькую тревогу,
 В беде уверившись вполне,
 Я в эту бросился дорогу,
 Я знал, она поможет мне.

И она помогла, эта дорога.

Есть писатели (в том числе и хорошие), которые в своем творчестве довольствуются тем, что они познали, увидели и испытали, еще не будучи писателями, — например, в детстве, в студенческие годы, во время военной службы.

Твардовский не довольствуется только этим, он сам стремится расширить биографию, не ждет, а сам идет на сближение с событиями, с жизнью и тем самым с новым в своей поэзии.

Я в скуку дальних мест не верю,
 И край, где нынче нет меня,
 Я ощущаю, как потерю
 Из жизни выбывшего дня.

Это по-настоящему активная позиция писателя-гражданина.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. ТРИФОНОВА

★

КНИГА, О КОТОРОЙ СПОРЯТ...

(О романе Галины Николаевой «Битва в пути»)

1

Критик не может, конечно, изучить жизненный материал, положенный в основу данного романа, так же тщательно, как романист. Критик не может сам побывать всюду, где побывал пылливый и неутомимый автор того или иного очерка. Он не может испытать все чувства, выраженные лирическим поэтом в его поэме.

А между тем критик призван судить о романе и поэме, о пьесе и очерке — судить прежде всего с позиций жизни. И нельзя, разумеется, полагаться в этих суждениях только на свой личный опыт и на жизненные факты, почерпнутые из своих собственных наблюдений, из книг, из газет. Тем более нельзя исходить из одних литературных знаний, из сопоставлений с литературой прошлого и теоретических положений, хотя бы и самых верных. Ничто не заменит проверки искусства жизнью, ничто не заменит критику, как и писателю, повседневной связи с народом.

Одной из важнейших форм этой связи должно быть постоянное и активное общение с читателями. Нет, не только чтение отзывов, собираемых библиотеками, и не изучение статистических данных о спросе на книги, а живое и повседневное общение с очень требовательным и внимательным, строгим и доброжелательным читателем, о котором с таким искренним уважением говорил Горький, к которому так охотно и так часто обращался Маяковский.

С тех пор как в конце двадцатых годов в одной из кубанских станиц была проведена — кажется, первая в мире — конференция героев и читателей книги Владимира Ставского, — сколько с тех пор состоялось в нашей стране читательских конфе-

ренций? Тысячи? Сотни тысяч? Может быть, миллионы? Если бы мы их больше изучали, если бы мы в них чаще участвовали, какое богатство народных мыслей и запросов стало бы нам известно! И как обогатились бы наши представления о народной оценке писательского труда!

Это не значит, что мнения читателей надо принимать всегда и безоговорочно. С читателями иной раз приходится и спорить, в процессе спора вырабатывая оценку книги более глубокую, чем возникшая первоначально у критика, и более глубокую, чем высказанная первоначально читателем. Помогать читателю и вместе с тем пользоваться его помощью — таковы, на мой взгляд, отношения, которые должны бы сложиться между критиками и читателями.

Но старые литературные привычки живучи. До сих пор не перевелись среди нас литературные снобы, относящиеся к читателям с высокомерным пренебрежением. Одни считают, что читатели отстали от литературы и не могут по достоинству оценить ее, — такие надеются на будущее признание своих писаний. Другие думают, что читатели слишком забегают вперед и предъявляют завышенные требования, — такие надеются спрятать голову под крыло и уберечь от критики свои слабые сочинения. Третьи просто-напросто боятся спора — то ли потому, что не очень уверены в своей способности отстоять верные позиции, то ли потому, что считают литературу делом только одних литераторов. И те, и другие, и третьи любят пренебрежительно говорить о неуместном вмешательстве в литературные споры людей «нелитературных», забывая о том, что искусство сильно своим влиянием на

массы и должно, по слову Ленина, принадлежать народу...

К мнению читателей давно пора серьезно прислушаться, особенно к их мнению о книгах, рисующих наши дни, таких, например, как роман Галины Николаевой «Битва в пути», опубликованный в №№ 3—7 журнала «Октябрь» за 1957 год.

Роман еще не вышел отдельным изданием, но на потрепанные номера журнала уже давно установилась очередь, и, как это всегда бывает, если писателю удалось затронуть вопросы, волнующие современников, споры о романе перерастают в споры о жизни, о морали, о человеческих чувствах и человеческом поведении.

Мне довелось присутствовать на шести читательских конференциях: в двух больших московских районных библиотеках, в научно-исследовательском институте, в военной академии, на семинаре библиотечкарей области и на студенческом собрании. Среди участников обсуждений были пожилые научные работники и учащаяся молодежь, рабочие и домашние хозяйки, офицеры и учителя — люди разных профессий и возрастов, разного жизненного опыта, разных интересов. И хотя на каждой конференции разгорались страстные дискуссии и выступления некоторых ораторов превращались в своеобразный горячий диалог с оппонентами, в основном и главным читатели были единодушны. Они единодушно поддержали стремление писательницы выдвинуть в романе большие и актуальные общественные проблемы, согласились с писательницей в ее оценках людей и событий.

Да и разве могут советские люди не сочувствовать герою романа инженеру Бахиреву в его настойчивом стремлении ликвидировать отсталые методы работы завода и доискаться до причины аварий, которые терпят только что выпущенные заводом тракторы? Разве могут они не любоваться творческим горением молодого рабочего Сережи Сугробина? Разве могут они не следить с сердечным участием за трудом колхозников, за энергичной деятельностью секретаря райкома Курганова, не боящегося обвинений в «эмпиризме» и стремящегося руководить районом конкретно, деловито, с учетом местных условий? Разве могут советские люди не радоваться, видя, как усиливается активность заводского коллектива, как мудро

коллектив решает конфликт между Бахиревым и директором завода Вальганом? И с глубоким удовлетворением читатели видят, что решение рабочих и инженеров оказалось верным, что оно было поддержано Центральным Комитетом...

С негодованием говорят читатели о Вальгане — с его внешним блеском, с его невниманием к людям, с его погоней за славой, за успехом во что бы то ни стало. С огромным вниманием анализируют они ту сцену, когда на заседании ЦК окончательно разоблачен секретарь обкома Бликин, поддерживавший Вальгана и мешавший Курганову, человек, не способный вникать в практические дела и оторваться от бумажного потока.

Главные конфликты романа вызывают серьезный разговор о больших общественных проблемах, о том, как плодотворна творческая инициатива масс, руководимых Коммунистической партией, как растут люди, поднимая страну к новым успехам и борясь против носителей рутинности и косности.

Не менее оживленно обсуждается и вторая линия романа — все, что относится к «запретной любви» Бахирева и Тины. Если Даша — молодая работница, только что пришедшая на завод из деревни, — вызывает улыбку сочувствия к своей чистой, почти еще детской любви к Сереже Сугробину, если за пробуждающимся чувством этой молодой пары читатель следит с симпатией и пониманием, то бурный роман Тины и ее сложное прошлое служат предметом острых споров. Не нарушила ли эта любовь целостности образа Бахирева как положительного героя? Но не так ли сложно и противоречиво складываются порой судьбы очень хороших людей? И можно ли осудить Бахирева и Тину, впервые испытавших всепоглощающее чувство, хотя у него — дружная семья и любимые дети, а у нее — нежно любящий муж? Но если писательница не осуждает это чувство, то почему же все-таки она разлучает своих героев?

Ни на одной из конференций, на которых я присутствовала, автора не было, и читатели спрашивали: «А передадут ли Галине Николаевой наши замечания? Ведь она, наверное, готовит отдельное издание, и, может быть, наши соображения пригодятся в дело?»

А замечаний было немало — вплоть до не понравившихся сравнений или эпитетов,

вплоть до мелких технических деталей, вплоть до небрежностей языка и стиля... Но во всех выступлениях была подлинная забота о литературе, заинтересованность в ее развитии, желание помочь писателю в его сложном и ответственном труде.

Может быть, и заметки критика в чем-то пригодятся автору, может быть, они и читателю помогут прояснить некоторые спорные вопросы.

2

Роман «Битва в пути» открывается картиной похорон Сталина. Многие читатели высказывали недоумение: нужна ли первая глава, как она связана с дальнейшим течением романа?

Перечитаем же первые страницы, переносящие нас в памятные дни марта 1953 года, прислушаемся к тем вопросам, которые задают себе и проходящие по улицам люди и те два человека — Вальган и Бахирев, — которые, мы это сразу чувствуем, станут центральными персонажами романа... Как будет жить страна, как будет жить народ в эти годы большого и сурового перелома? «Канун перемен... Каких? Что умрет с этой смертью? Что будет жить вечно?» — думает Бахирев.

Мне кажется, что весь роман отвечает именно на этот вопрос. Отвечает всем сплетением человеческих дел, всей сложностью задач, отношений, конфликтов, всем напряжением борьбы.

Но не только в развитии сюжета, не только в событиях, о которых рассказано в романе, дается ответ на вопрос Бахирева и множества людей, проходивших по улицам в ту мартовскую ночь. Уже в самой этой главе содержится ответ.

Вот «на середину улицы вышла колонна людей. Они были в простых штатских пальто, лица их были жестковаты, тверды, как у старых рабочих, но шли они по-военному, плотным молчаливым строем», «суровым строем под намокшим в тумане знаменем...» В напряженности этой ночи «веяло внезапной боевой тревогой». И Бахирев думал о будущем историке, который расскажет о стране и о партии, шедшей впереди человечества. Это то, что останется на века. Это — олицетворение народной сплоченности, суровой решимости идти под этим знаменем в любые битвы, на любые подвиги.

Но эта ночь противоречива, как сама жизнь. Вот на балкончике смешно повисла

дама, стремившаяся получше все увидеть; вот в толпе, в давке, погибает юноша; вот с треском выламываются ворота... «Великое и ничтожное смешалось...» Нашлись люди, приверженные к внешним эффектам и громким фразам, люди, которые ни в ту волнующую ночь, ни в последующие годы не сумели понять исторического смысла народных свершений, не сумели отделить великое от ничтожного, не поняли, что главное было великим и войдет в века, а будет отвергнуто лишь то, что мешало главному...

А жизнь продолжается в своей будничной повседневности: в телефоне звучат слова об олифе и отгруженных ящиках, семейные тревоги остаются прежними, люди работают, отдыхают, думают. Жизнь идет вперед, и в ее движении решается вопрос о великом и ничтожном, о вечном и временном.

Смысл этой главы и всего романа еще раз подчеркнут в тревожных раздумьях Бахирева, в той краткой формуле, которую он нашел, «словно... точную формулу расчета боевой машины». «Единство народа и монолитность партии» — вот та мысль, которая успокоила его, вернула ему уверенность.

И колонна, идущая под знаменем, и мысль о боевой машине так же необходимы в романе, как и заглавие «Битва в пути»: именно о битве в нем идет речь, о всенародной битве за коммунизм, о том пути, по которому движется наша страна, обогащая и создавая великое и отбрасывая мелкое и ничтожное.

Эти проблемы настолько жизненны и актуальны, что трудно понять читателя (правда, одного-единственного), которому показалось, будто в романе говорится о явлениях и событиях, уже давно отшумевших, и у писательницы будто бы не хватило смелости и знания жизни для того, чтобы сказать здесь свое «новое слово».

Увы! Как и многие другие поборники «смелости ради смелости» и «новизны ради новизны», этот читатель не сумел назвать те конфликты, которые писательнице, по его мнению, следовало осветить. Что же касается проблематики романа, то ее никак нельзя назвать устаревшей!

Да, конечно, путь, по которому мы идем, ясно и твердо намечен. Задачи подъема сельского хозяйства и руководства промышленностью действительно получили за

последние годы новое решение. Восстановление ленинских норм партийной жизни и развитие демократии осуществляются во всех звеньях нашей работы. Конечно, Г. Николаева не сказала ничего нового, утверждая, что технический прогресс требует активности всего рабочего коллектива, что руководство сельским хозяйством и промышленностью должно опираться на конкретное изучение реальных условий, возможностей, перспектив, что народу принадлежит право управлять своей страной. И, читая, например, главу о собраниях заводского актива, который так верно разобрался в конфликте между Вальганом и Бахиревым, мы не открываем для себя никаких неизвестных истин, а лишь лучше и конкретнее видим, как жизненно важно, чтобы партия и народ были едиными, чтобы руководители опирались на массы и учились у них.

Кстати, один из читателей заметил, что эта сцена была написана задолго до декабрьского Пленума ЦК, принявшего постановление о создании постоянно действующих производственных совещаний. Однако дело не в том, насколько удалось писателю заглянуть вперед, подсказать новые практические решения. Пожалуй, такую задачу могут лучше выполнить не романы, а более оперативные жанры — публицистическая статья, очерк, рассказ. Мы помним, как несколько лет тому назад «Литературная газета» занялась проблемой совместного обучения и помогла тому, чтобы оно вновь было введено в наших школах. Мы знаем, какие боевые вопросы ставились в очерках В. Овечкина, Л. Иванова, А. Калинина, С. Залыгина, Е. Дороша, М. Жестева и других литераторов, пишущих о деревне. В дни всенародного обсуждения вопроса о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций стоит вспомнить, что литература своевременно увидела процессы, совершающиеся в колхозной жизни, — что Г. Радов, например, ставил обсуждаемые ныне вопросы в рассказе «Камень на дороге», а на страницах журнала «Октябрь» с конца прошлого года началась плодотворная дискуссия вокруг этих же проблем.

Разумеется, обратить внимание народа, партии, правительства на новые экономические или общественно-политические задачи — это такое же право литератора, как и любого советского гражданина. Но

не только в этом состоит актуальность и смелость писателя, и не в этом была задача автора «Битвы в пути».

Важнейшая мысль романа состоит в том, что осуществление самых хороших и самых плодотворных решений требует усилий, настойчивости, борьбы, что оно не может быть достигнуто без участия всей партии и всего народа, что оно зависит от конкретных людей и конкретных условий.

Галина Николаева отчетливо показывает, что советская система, советская общественная структура дает широчайшие возможности для быстрого и успешного движения к коммунизму. Но использование возможностей социалистической системы требует активности, решительной борьбы против рутин, самоуспокоенности, бездушного и формального отношения к делу.

И еще одна, не менее важная мысль раскрывается в тесном переплетении двух линий романа — «производственной» и «колхозной». Мысль, может быть, тоже не такая новая, но имеющая огромное общественное значение. Это мысль о неразрывной связи города и деревни, о том, что цифры заводского плана воплощаются в гектарах пахоты, в тоннах зерна и мяса, в подъеме могущества страны и благосостояния народа. Это драгоценная ленинская мысль о боевом союзе рабочего класса и крестьянства, о смычке города с деревней, ныне находящая конкретное выражение в практике механизации сельского хозяйства, в направлении тысяч специалистов в деревню, в освоении целины, в широких масштабах работы совнархозов, призванных развернуть местную инициативу.

Роман «Битва в пути» дает широкую картину жизни, вскрывает трудности и препятствия, стоящие на нашей дороге, и — что особенно важно! — показывает неиссякаемые творческие силы советского общества. Именно поэтому потрепанные номера журнала переходят из рук в руки, ни на час не задерживаясь на библиотечных полках.

3

Галина Николаева еще раз — на новом этапе развития нашего общества и нашей литературы, на новом жизненном материале — поставила тему личности и коллектива, руководителя и массы, проблему

стиля руководства и стиля отношений между людьми в социалистическом обществе. Эти темы тоже не новы: они привлекали пристальное внимание и в тридцатых годах, когда Гладков и Крымов, Леонов и Малышкин, Шагинян и Катаев, Ильин и Эренбург в романах о первых социалистических стройках создавали образы наших современников, рисуя их в созидательном труде. Эти темы нашли свое воплощение в послевоенной литературе — в конфликте между Воропаевым и Корытовым у Павленко, в романах Ажаева и Кочетова, Кетлинской и Гранина и во многих других книгах.

Не раскрыв во всей глубине взаимоотношений человека с коллективом, не показав новую природу связи людей в социалистическом обществе, нельзя решить такую важнейшую идейно-эстетическую проблему, как проблема положительного героя. Ибо положительный герой советской литературы — это не схематичная идеальная фигура, наделенная постоянным ассортиментом добродетелей, и не рапповский «живой человек», расцвеченный небольшим набором недостатков; положительный герой советской литературы — это герой конкретно-исторический, развивающийся, находящийся в непрерывном росте и движении вместе с ростом и движением всего нашего общества. Подобно тому, как Чапаеву мы не могли бы предъявить таких требований, какие безоговорочно предъявляли командиру в дни Великой Отечественной войны; подобно тому, как Глеб Чумалов мог руководить заводом, не обладая многими качествами, безусловно необходимыми руководителю наших дней, — так и к положительному герою вообще мы не можем подходить с одной неизменной меркой. Меняются общественные условия, меняются задачи, растут люди, растет и общество в целом...

Но есть один критерий, который всегда остается решающим, хотя и он приобретает новые стороны, поворачивается новыми гранями. Это критерий оценки человека по его месту в общественном труде, по его отношению к труду и к коллективу, по его общественной активности, по его преданности делу коммунизма и умению служить этому делу.

Этот критерий и положен в основу авторской оценки героев романа «Битва в пути» — прежде всего в основу оценки

Бахирева и Вальгана, Курганова и Бликина.

На первый взгляд, все очень просто и ясно. Симпатии писательницы явно на стороне Бахирева, а Вальган вызывает ее явное осуждение. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что и Бахирев не без греха и у Вальгана много отличных качеств: ум, энергия, сильная воля, настойчивость, знание дела, опыт... И ведь не зря же он возглавлял большой тракторный завод, не зря пользовался авторитетом, не зря стал героем труда! Вдумываясь в образ Вальгана, анализируя его характер, написанный очень выразительно и четко, мы видим, что это отнюдь не просто плохой человек, не просто карьерист и себялюбец.

Но он стал карьеристом и себялюбцем, это бесспорно. Остается выяснить: почему?

Было бы очень легко сослаться на объективные причины: дескать, мол, Вальган вырос в то время, когда подчас внешний блеск и парадные успехи ценились больше всего, иногда в ущерб делу; он продукт этого времени... Еще легче было бы сказать, что эти люди такими и родились, что карьеризм и себялюбие в них заложены изначально. Но эти объяснения, в сущности, ничего не объясняют.

Г. Николаева пошла по иному пути. Она стремится раскрыть сложность и противоречивость человеческих характеров и судеб, не уклоняясь при этом от ясной оценки. Эта оценка сквозит иногда едва уловимо, иногда выражена с прямым публицистическим пафосом, как, например, в великолепной характеристике Бликина. Еще трудно понять Вальгана в его первом разговоре с руководящими работниками завода. Сильный и волевой директор только что вернулся из командировки и после длительного отсутствия сразу входит в курс дела. Им невольно любуешься — так он собран, энергичен, требователен. Но тут же несколько маленьких, еле заметных штрихов: вот Вальган, рассчитывая на помощь обкома, бросает фразу: «Они же заинтересованы иметь передовой завод!» Вот он отмахивается от разговора о браке в литейном и «с особым, жестким выражением на мгновенно окаменевшем лице» говорит, что «безоговорочное уважение к плану — закон завода», не принимая при этом никаких конкретных мер к устранению брака (а без этого, разумеется, и выполнение плана во многом носит фиктив-

ный характер). Вот он в ответ на просьбу помочь с получением металла говорит начальнику снабжения: «Помочь?.. Ну, так я вам помогу!.. Я вам приказываю это сделать!»

Несколько штрихов — и мы уже видим, что Вальган поглощен мыслью только о результатах, только о показателях и ничем практически не помогает достижению этих результатов. Мы уже видим, что его мысль проходит над фактами, над трудностями, над словами и советами людей. Мы уже видим, как он высоко ценит каждое свое слово: приказал — значит помог, значит будет сделано..

А характер Вальгана все более и более проясняется. Он умеет быть очень «демократичным»: знает по имени стержневщицу, отстоявшую две смены, и, окликнув ее на глазах у всех, благодарит за работу. Он умеет поддержать и Сережу Сугробина — но только до той поры, пока творческая инициатива молодого рабочего не требует серьезного изменения в производственном процессе. Он ценит энергию своего нового главного инженера Бахирева — но только до тех пор, пока эта энергия подчинена его, вальгановской, воле и не осложняет его непрерывных и привычных успехов. Но он беспощадно одергивает всякого, кто смеет думать по-своему, а тем более хоть в чем-то не соглашаться с его собственным непререкаемым мнением. Тогда он готов человека уволить, оскорбить, унижить. Точно так же готов он унижить и уничтожить и секретаря обкома Бликина, почувствовав, что сила Бликина кончилась, что его поддержка больше не имеет цены, что удержаться на поверхности можно, лишь отмежевавшись от Бликина.

Так постепенно накапливаются наблюдения, проясняются черты этого интересного и значительного характера, раскрывается вся цепь причин — объективных и субъективных, — которые привели Вальгана к краху. Первая и главная из этих причин — это отрыв от народа, от партии, забвение ленинских принципов коллективности руководства. А из этого с неизбежностью вырастает самоуверенность и самовлюбленность, убеждение в собственной непогрешимости, в том, что он и только он может принимать правильные решения. Но одно звено тянет за собой другое — и вот уже Вальган чувствует себя не руководителем, а «хозяином», вот уже он высокомерно игнорирует окружающих,

вот уже он свысока смотрит на партийную организацию завода, вот уже он перестает видеть разницу между успехами завода и своим собственным успехом..

И тут невольно вспоминаешь, что ведь и Бахирев поначалу едва не встал на тот же путь: ведь и он начал действовать в одиночку, и он думал, что сможет сам, один, без коллектива, осуществить свои хорошие планы, и ему казалось, что он один в состоянии во всем разобраться и все решить. Может быть, именно для сравнения с «партизанщиной» Бахирева на заводе Г. Николаева рассказывает о единоличных действиях Вальгана во время войны. Битва ведь продолжается! И хорошо, что на собрании заводского актива Бахирева не только поддержали, но и крепко покритиковали! Хорошо, что и в Центральном Комитете ему были сказаны горькие слова той большой партийной правды, которую он подчас забывал!

Но в характере Бахирева есть и такие черты, которые помогают ему справиться и с неудачами, и с препятствиями, и с собственными недостатками. Очень существенно, что, снятый с должности главного инженера, он не уходит с завода, а остается рядовым работником цеха. Любовь к своему делу, стремление во что бы то ни стало добиться перестройки завода оказываются сильнее оскорбленного самолюбия. Именно этим и определяется тот удивительно точно подмеченный факт, что авторитет Бахирева на заводе, в коллективе растет именно тогда, когда внешне он побежден Вальганом: люди поняли, что он думал не о себе, а о деле, о заводе.

Писательница стремится раскрыть в романе многогранность отношений между человеком и обществом. Это отнюдь не односторонние отношения: не только Вальган и Бахирев обязаны были прислушиваться к коллективу, считаться с ним, но и коллектив должен был влиять на Вальгана и Бахирева, должен был поправлять их, когда они ошибались. Это бывает не легко: ведь не только Вальган, но на первых порах и Бахирев был склонен считать себя единственно правым и не ощущал желания с кем бы то ни было советоваться. Но коллектив должен был заметить растущие недостатки Вальгана, обязан был вмешаться, поправить его, такого же советского человека, такого же коммуниста, как и всякий другой..

На практике активное вмешательство коллектива нередко встречается с трудностями: есть еще такие руководители, которые не

очень-то любят критику и самокритику, а бывают и такие, которые умеют и отомстить за критические замечания! Но в том-то и состоит повседневная борьба за линию партии, за подлинно партийный стиль работы, что партийная организация обязана быть принципиальной и непримиримой к ошибкам. Даже тогда, когда это ошибки очень авторитетного работника, очень уважаемого человека, очень деятельного и умного руководителя.

Сила критики и самокритики, сила общественного мнения — это могучие средства воспитания человека, формирования его характера. В этой связи вспоминаются герои «Журбинных» и «Искателей», «Дней нашей жизни» и «Высоты», «Донбасса» и «Жизни Бережкова».

Бережков — вот уж был человек, проникнутый жаждой славы и почестей! Вот уж был человек, уверенный в своем таланте и не склонный делить свои успехи ни с кем! К тому же он пришел из старого мира, он был до глубины души заражен буржуазными представлениями об успехе и не только не был коммунистом, но и революцию принял далеко не сразу. Но ведь постепенно стерлись «родимые пятна» буржуазной идеологии, сформировался новый характер Бережкова. Он стал другим потому, что его учила жизнь, учил народ, учила партия; встречи с Орджоникидзе и Жуковским, работа с людьми, которым чуждо своекорыстное стремление к славе, горькие уроки неудач и суровой критики... Как все это было важно и нужно Бережкову!

К концу романа Бережков преуспевает, он один из крупных и прославленных конструкторов, чье имя известно не только всей стране, но и, пожалуй, всему миру. Но этот прославленный и окруженный почетом Бережков стал гораздо скромнее и проще, чем тот молодой и задиристый изобретатель, который в начале романа готов был на все ради славы...

Что и говорить, в романе А. Бека влияние советского общества на много ошибавшегося и совсем не идеального, но умного и талантливого Бережкова настолько сильно, что он становится настоящим положительным героем. Но разве не должен каждый коллектив бороться за каждого своего члена, бороться непримиримо, требовательно, настойчиво? Поправлять его так, как Бережкова или Бахирева?

Возникает вопрос: что же, Вальган навсегда потерял? Вся его энергия, весь его опыт

должны быть отброшены? И неужели Бликин так и не оторвется от цифр, заслонивших ему жизнь?

Блестяще написана сцена, когда Бликин, растеряв весь свой дутый авторитет, не может собраться с мыслями, не может ответить ни на один конкретный вопрос секретарей Центрального Комитета. Ох, и придется же Бликину подумать о своей жизни — и о прожитой и о предстоящей! И Вальгану будет очень трудно отказаться от привычного стиля работы, от своего пренебрежения к людям, от погони за славой и стать рядовым инженером... Но ведь придется! Сумеет ли? И помогут ли ему?

Пафос серьезной критики недостатков, пафос обличения всякого приспособленчества и двоедушия характеризует «Битву в пути», не лишая, однако, повествование ясной перспективы. И не потому, конечно, что сюжетное завершение всех конфликтов более или менее «благополучно», а потому, что в романе живут и действуют, растут и борются живые наши современники, наделенные полнотой характеров и биографий, позволяющей понять причины их поступков, движение их мыслей, смысл их деятельности. Можно было бы посвятить отдельную статью тем образам, которые выведены в главах о деревне: долго не забудутся ни судьба Анны и ее семьи, тяжело пострадавшей от войны, ни Курганов — человек с большим сердцем и ясным умом, ни картины труда и трудностей, которые так точно выписаны Г. Николаевой. Можно было бы посвятить особую статью и образам заводской молодежи — образам, не повторяющим друг друга, данным во всей живости и во всем своеобразии каждой индивидуальности. Ни одного из героев романа мы не можем назвать идеальным и непогрешимым, ни одно из событий, изображенных в нем, не дает исчерпывающих решений. Широкая движущаяся панорама жизни предстает перед нами, создавая ясное ощущение того пути, по которому движется советское общество. Начиная от образа Бахирева и кончая старой работницей, горячо выступившей на собрании заводского актива и не занимающей в романе большого места; начиная от заводской «планерки» и кончая совещанием в Центральном Комитете — все в романе стремится подчинить автор раскрытию движущих сил советского строя, творчества партии и народа. Пафос утверждения, пафос страстной поддержки народных усилий, раскрытия

того верного направления, по которому ведет страну Коммунистическая партия, составляет основу романа, его идейную сущность.

Оптимистическое звучание романа достигнуто не только тем, что борьба завершается победой Бахирева, Курганова, передовых людей партии и народа, не только тем, что в романе много хороших людей, а прежде всего тем, что Г. Николаевой удалось раскрыть закономерность движения нашего общества, закономерность победы великого и поражения ничтожного.

4

В многоплановом строении романа такая его общая концепция предоставляла автору широкие возможности раскрытия самых сложных явлений и индивидуализации каждого персонажа, каждой судьбы.

Но писательница не всегда остается верной этой концепции. В некоторых случаях она выдвигает того или иного героя на первый план и неожиданно начинает писать этого героя одной — только светлой или только темной — краской. И тогда получается искусственность, которую замечает читатель и которая нарушает правдивость нарисованной картины.

Это относится к совершенно ненужной сцене пьяного саморазоблачения Вальгана в конце романа, когда его характер уже давно ясен и представляется читателю во всей своей сложности.

Это относится к тем занимающим в романе очень большое место страницам, которые посвящены судьбе Тины и ее любви к Бахиреву. Как правильно заметил писавший о романе В. Дорофеев, история Тины является своего рода «романом в романе» и существенно нарушает стройность его сложной многоплановой композиции. Но не в этом главный недостаток «романа в романе», а в том, что образ Тины, нарисованный здесь, плохо вяжется с образом, данным в последующих главах.

Образ Тины с самого начала овеян какой-то поэтической экзотичностью, связанной с особенностями ее биографии. Натура очень эмоциональная и даже экзальтированная, она испытывает в самом начале своей сознательной жизни много тяжелого: смерть родителей, странный брак с Игнатием, человеком намного старше ее, гибель Игнатия, исключение из комсомола... Все это траги-

чески сложно и, конечно, накладывает свою печать на характер Тины, но не лишает его правдоподобия. Путь Тины, преодолевшей много внешних и внутренних трудностей и нашедшей свое место на заводе в качестве дельного и умного инженера, вполне убедителен.

Но в дальнейшем образ Тины почти отрывается от земли и начинает приобретать совершенно иную окраску. После первого знакомства, когда Бахирев встретил в цехе женщину в полудетских туфлях на низком каблучке, прошло совсем немного времени, а перед нами уже совсем другой персонаж: появляются и «серо-голубые» платья, и «бирюза», и многочисленные поклонники, которым одновременно назначаются свидания, и бегство от этих поклонников на громящем ночном трамвае... К тому же Тина внезапно оказывается и пианисткой, и художницей, и покорительницей сердец, и женщиной, умеющей безошибочно завоевывать симпатии детей... Ну, просто слов не хватает для описания всех ее достоинств!

Искусственно сконструированный образ «угрожающе-красивой» Тины разрушает ткань романа, ломает логику развития сюжета, заставляет писательницу создавать ситуации столь же мало естественные, как мало естественной стала сама Тина.

Став «роковой» женщиной, Тина перестает быть тем человеком, в котором Бахирев почувствовал и ум, и энергию, и искреннее сочувствие своим планам. Она просто перестает быть инженером. А перестав быть самой собой, сменив, так сказать, мальчишковые ботинки на браслеты, Тина, разумеется, должна и говорить в таких же «бирюзовых» тонах, такими же «изящными» словами. И ей уже, конечно, не место в цеховой конторке: тогда автор призывает на помощь экзотический «фонарик» во Дворце культуры, где происходят встречи Бахирева с детьми и с Тиной.

Некоторые читатели, почувствовав, как резко ломается образ Тины, сначала написанный психологически правдиво, взяли под сомнение закономерность самой ситуации — внезапной и непреодолимой любви Тины и Бахирева.

На некоторых обсуждениях довольно резко были высказаны такие обвинения, которые за последние годы уже, к счастью, исчезли из критического обихода: мол, как же это хороший Бахирев изменяет жене,

как же это писательница позволяет себе с сочувствием говорить о Тине, разрушающей чужое счастье? И снова прозвучала уже почти забытая фраза: «Так в жизни если и бывает, то это не типично».

А между тем и в этой части романа заложена большая и важная мысль. Писательница пыталась здесь раскрыть сложность и противоречивость человеческих чувств, особенно проявляющихся в так называемых личных отношениях.

Ведь именно в этой области труднее всего установить какие-либо непреложные правила и одинаковые для всех случаев жизни решения. И писательница права, показывая, как сложно бывает распутать перепутавшиеся живые судьбы, как невозможно предвидеть неожиданно вспыхивающие большие чувства, как противоречивы и драматичны бывают переживания таких сильных людей, как Бахирев, таких искренних и чистых людей, как Тина.

И все же именно эта часть романа вызывает вполне понятную неудовлетворенность. Все дело в том, что писательница неожиданно упростила и снизила отношения между Тиной и Бахиревым, невольно ослабила ту душевную драму, которую переживают ее герои.

Упрощение и облегчение произошло прежде всего потому, что изменился образ Тины, во многом утратившей своеобразие своего характера. Дальнейшее упрощение произошло тогда, когда писательница стала, всячески «приукрашивать» Тину, принижать жену Бахирева, Катю. Ведь в начале романа мы видели Катю хотя и мельком, но в качестве верного друга, заботливой жены и хорошей матери. И трагичность положения в том и могла бы состоять, что новое чувство оказалось сильнее и вытеснило прежние, вполне искренние отношения Бахирева с женой. Оно не могло ослабить его любви к детям (а эта любовь, да и сами образы Рыжика и Бутуза написаны психологически точно и тонко), но оно разрушило спокойную привязанность к жене. К сожалению, автор, как будто становясь на точку зрения не милой и обаятельной Тины-инженера, а «угрожающей» злодейки-разлучницы, начинает менять характеристику Кати. Оказывается, она и плохая жена, и плохая мать, и вообще пустой и чуждый Бахиреву человек... А чего стоит эпизод, когда она, громыхая какими-то тазами и кастрюлями,

врывается в знаменитую «хибару»! И когда она три дня валяется в истерике, забывая о детях и теряя самолюбие и человеческий облик! Пожалуй, от такой женщины можно сбежать и не полюбив другую!

Так действительно драматическая ситуация, из которой трудно найти выход, подменяется довольно пошловатой историей, и психологическая драма, переживаемая Бахиревым, подменяется чисто внешними перипетиями (вплоть до скандала, ставшего известным всему городу).

Верно и тонко написанные страницы отступают на второй план, а на первом плане оказывается увешанная коврами хибара да оставшийся на мосту голубой плащ, словно позаимствованный из посредственного любовно-детективного романа... И тогда начинаешь думать о нарушении не только правды психологического рисунка, но и о нарушении довольно элементарного бытового правдоподобия.

В этих главах Г. Николаевой не удалось избежать фальши и безвкусицы, вызванной тем, что она уклонилась от наиболее сложных и правдивых художественных решений проблемы, в которой не так-то легко найти правого и виноватого. А как важно было бы до конца раскрыть и чувства Тины — содержательного, умного, творческого работника, нашедшего наконец первую настоящую и все-таки не приносящую счастья любовь; и чувства Бахирева, до тех пор поглощенного работой и вполне удовлетворявшегося привычной, хотя и бесстрастной семейной жизнью с хорошей и любящей женой, которую ему не в чем упрекнуть; и, наконец, раскрыть чувства Кати, славной и доброй женщины, оказавшейся перед лицом большой трагедии... Но для того, чтобы все это звучало подлинной драмой, надо было не «возвышать» Тину, превращая ее в «роковую» красавицу, не принижать Катю, не отрываться от реальной жизни, в которой есть проза и поэзия, радости и горести, но все естественно и взаимосвязано.

В свое время наша критика немало поломала копий, отстаивая от литературных вульгаризаторов бесспорное право писателя на серьезное, а подчас и преимущественное внимание к сфере личных чувств, интимных переживаний человека, к тем сторонам душевной жизни героя, которые волнуют каждого, особенно молодежь, строящую свою семью и испытывающую нередко большие разочарования,

драмы. Но при этом справедливо подчеркивалось, что автор, показывая разные стороны и грани жизни героя, не имеет права забывать о логике развития характеров, не должен отрывать одну сторону человеческой жизни от другой... Ведь при этом как раз и нарушается та жизненность и полнота образа, к которым мы стремимся, и герои начинают жить двойной жизнью, вместо того чтобы проявляться в разных аспектах.

Вот этой внутренней логики и мотивированности подчас не хватает героям «Битвы в пути». Не хватает потому, что автор уклоняется от серьезных противоречий и спешит заменить глубокие раздумья наспех написанными сюжетными ходами.

Неизбежный трагизм этой любви, несовместимой с ложью и грязью, тускнеет оттого, что разрыв и отъезд Тины оказываются результатом довольно пошлого скандала, а не того внутреннего решения, которое могло возникнуть у этих страстно любящих и сильных людей.

5

Многие читатели взыскательно критиковали язык и стиль романа, приводили примеры небрежности, безкусицы, нарочитости. Действительно, такие примеры найти не трудно. Но важнее, мне кажется, не перечислять отдельные неудачные эпитеты или детали, отдельные неточности и случайные промахи, а сделать попытку найти закономерность и удач и неудач автора.

Конечно, было бы наивно ставить художественные средства, язык и стиль в прямую связь с идейным замыслом романа, с жизненной правдивостью характера или ситуации. Связь здесь гораздо более сложная, и следует говорить о взаимовлиянии замысла и формы, идейного содержания и стиля, характера и языка. Так, неудачный или непродуманный выбор образительных средств может исказить хороший идейный замысел, неудачная композиция может нарушить хорошо задуманный характер, неумелое пользование словом может привести к обедненному изображению глубоко изученных и верно понятых явлений. Но одно несомненно: искусственность замысла, неверная оценка явлений, фальшь в развитии характера неизбежно ведут к искусственности языка и стиля, к нарушению художественной убедительности. И то-

гда не спасает никакая литературная опытность!

В романе «Битва в пути», если говорить о нем в целом, отчетливо сказалась присутствующая Г. Николаевой манера письма. Еще в «Жатве», а позже в «Повести о директоре МТС и главном агрономе» была видна главная и определяющая тенденция творчества Николаевой. Ей свойственно свободное повествование, в котором автор не только стремится к пластическому изображению, но и открыто высказывает свои оценки, размышляя по поводу всего, что составляет действие романа. Иной раз, когда речь идет об очень любимых героях, Г. Николаева не чуждается романтической приподнятости, а иной раз она с беспощадной прямоотой рисует будничные и даже почти натуралистические детали (сравним, например, образ Алеши и сцену возвращения Василия Бортникова в «Жатве»).

Открытая повествовательная манера составляет основу и «Битвы в пути». В описании цехов, по которым впервые проходит Бахирев, в описании колхоза, в который приезжает Курганов, в изображении спорящих инженеров и участников заводского актива, в рассказе о первых шагах Даши на заводе и о конфликте молодых рабочих с Вальганом, в раскрытии той борьбы, которая развернулась вокруг «летающих противососов», в конфликте между Вальганом и Бахиревым писательница не стремится к внешнему блеску, а иногда даже слишком подчиняется задаче передать факты. Но — за вычетом досадных небрежностей — именно на пути точного, сдержанного и простого повествования Г. Николаева находит убедительные образы и яркие краски. Может быть, кое-где роман чуть-чуть перегружен техническими подробностями; впрочем, нельзя рассказать о производстве, не пояснив читателю некоторых его особенностей, и, думается, в этих пояснениях нет никакого греха. В романе, конфликт которого непосредственно связан с борьбой за новую технику, было бы просто невозможно обойтись и без разговора о противососах и без разговора о кокнльном литье. Но помимо таких «служебных» описаний техники в романе есть и отличные картины заводской жизни, работы литейщиков и «земледелки», описание «покалеченных» тракторов. Написаны эти страницы и стро-го, и точно, и вместе с тем зримо.

Просто, точно и взволнованно написаны люди завода и колхоза. Достаточно проследить эпизоды зарождающейся любви между чистой, прямолинейной и искренней Дашей и Сережей Сугробиним, достаточно прислушаться к речам на заводском активе, проследить за сумбурными мыслями, которые проносятся во встревоженном мозгу Бликина и Вальгана, окончательно разоблаченных на совещании в Центральном Комитете, и к тем серьезным и важным раздумьям, которые не покидают Бахирева на всем протяжении романа, чтобы увидеть, каким немалым психологическим мастерством обладает Галина Николаева, как расширился диапазон ее знания людей и жизни, насколько богаче стала ее палитра.

Тем досаднее, что роман написан очень неровно. В нем иногда ощущаются странные провалы, когда появившийся персонаж вдруг надолго или совсем уходит из поля зрения читателя. В нем встречаются куски, написанные небрежной скороговоркой, безвкусные, а порой и пошловатые эпизоды и реплики.

Диву даешься, что один и тот же художник написал и реалистически-точный эпизод собрания заводского актива и натуралистические сцены в хибаре, что одним и тем же пером создана картина ночной Москвы с трагическим звучанием одинокой скрипки, передающей большую человеческую скорбь, и скучный рассказ о том, как и почему «директорскую столовую временно пере-

несли во Дворец культуры, в комнату под буфетной», и о том, что «в первом этаже помещались пионерские комнаты дворца, частое местопребывание Ани и Рыжика».

Эти чужеродные элементы появляются иной раз и на лучших страницах романа, но особенно часто они встречаются там, где писательница отступает от правды характеров, искусственно и произвольно придумывает сюжетные ходы, нарушает жизненную правду. Тогда появляются сентенции о «золотистых» и «розовых» чувствах, тогда писательница говорит о «черной ночной сорочке с серебристым кружевом», тогда возникают нелепые фразы о «счастье в пещере» или «любви на задворках», а авторская речь теряет гибкость и естественность.

В романе «Битва в пути» писательница обратилась к изображению современного этапа нашей жизни, она стремилась осмыслить в нем ту борьбу и тот труд, те успехи и неудачи, те победы и поражения, из которых состоит наше сегодня. Произведение это возбуждает желание оглянуться вокруг, подметить в окружающей действительности явления, сходные с теми, что изображены в книге, разобраться для себя, для своей работы, для своего будущего в тех вопросах, которые стояли перед героями романа. Тем самым книга становится действенной, становится участницей нашей общей борьбы на пути к коммунизму.



С. МАШИНСКИЙ

★

В БОРЬБЕ ЗА КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Политические бури в различной мере влияют на историю разных наук. Литературоведение — наука, чрезвычайно крепко связанная с общественной жизнью. Естественно, что такой переворот, как Великий Октябрь, стал в литературоведении рубежом, за которым, по сути дела, началась его новая история.

Прежде всего у старой науки появился новый теоретический фундамент — марксизм-ленинизм. Учение Маркса — Энгельса о познавательной, преобразующей роли искусства, о природе и своеобразии реалистического творчества, ленинская теория отражения, учение Ленина о партийности искусства, об отношении к культурному наследию — эти и многие другие идеи марксистско-ленинской теории стали незыблемой основой нашего литературоведения.

Вооружив литературоведение совершенно новым теоретическим оружием, революция заставила проверить, пересмотреть, обновить или совсем изменить многие истины, казавшиеся прочно доказанными. Начиная с крупнейших общественно-литературных течений и кончая деталями творчества отдельных писателей — все требовало пересмотра, все становилось полем борьбы. Диапазон переоценки был необъятен.

Но это не значит, что старое литературоведение и критика выбрасывались за борт. Новое оружие давало возможность разобраться в старом. Отрицалось то, что мешало строить сегодняшний день. Оставлялось то, что помогало.

Советская наука о литературе унаследовала немало хороших традиций. Она находила их прежде всего в критическом наследии революционных демократов, во многих

работах дореволюционных исследователей-марксистов — Плеханова, Ольминского, Воровского, Луначарского. Нельзя было игнорировать и те плодотворные результаты, которых порой достигали в конкретном исследовании различных историко-литературных явлений лучшие представители дореволюционного, так называемого академического литературоведения.

Крупнейшей победой новой методологии было единство эстетического и социально-исторического подхода при анализе художественного творчества. Борьба с вульгарным социологизмом вовсе не предполагала отказа от широкого социологического взгляда на литературные явления — взгляда, без которого вообще невозможно никакое научное литературоведение.

Революция, необычайно поднявшая культурный уровень масс, дала литературоведению аудиторию, о которой раньше немислимо было мечтать. Резко расширилась сфера общественного воздействия литературной науки. Это приумножало ее силы, но вместе с тем требовало и большей политической ответственности и нахождения новых ракурсов исследования. Возникали новые темы, вопросы, проблемы. Например, одним из серьезных завоеваний нашего литературоведения явилось исследование вопроса о влиянии народных движений на формирование личности и творчества художника.

Революция потребовала от, казалось бы, кабинетной науки органической близости с современностью. Изучение прошлого должно быть спаяно с боевыми задачами советской литературы — таково было требование сегодняшнего дня. Наука сближалась с жизнью.

Наша тема ограничена рамками исследований в области новой русской литературы, то есть двумя столетиями ее исторического развития — XVIII и XIX. Кроме того, мы преимущественно оперируем работами литературоведов, вышедшими в центральных издательствах. Но и в этих

поневоле суженных границах видно, что за сорок лет своего существования советская наука в изучении литературного наследия проделала колоссальную работу, лишь отдельные элементы которой могут быть отмечены в этой статье.

* * *

Издание на высоком научном уровне произведений классиков — одна из важнейших задач нашего литературоведения. Актуальность этой задачи определилась сразу же после революции.

Своим знаменитым декретом от 11 января 1918 года Советское правительство создало Государственное издательство, обязав его «в первую очередь» организовать «дешевое народное издание русских классиков». Указывалось, что издание классиков должно быть налажено «по двум типам»: один из них — «полное научное издание» и другой — «издание избранных сочинений». Особо подчеркивалась необходимость издавать произведения классиков литературы по льготной цене или даже бесплатно.

Эти «два типа» изданий до сих пор являются основными в нашей издательской практике. Разумеется, на первых порах речь могла идти о подготовке лишь избранных сочинений. Но одновременно литературно-издательский отдел Наркомпроса переиздавал по сохранившимся матрицам «полные собрания сочинений» — Чернышевского, Шедрина, Г. Успенского, Гончарова и некоторых других писателей.

В действительности это не были полные собрания. Таких собраний до революции почти не существовало. «Полными» они значились лишь на титуле. В 1905—1906 годах, например, было издано «полное собрание сочинений Шедрина» — самое полное из всех вышедших до революции. О степени «полноты» этого издания можно судить по тому, что двадцатитомник Шедрина, выпущенный в 1933—1941 годах, по своему объему превосходил издание 1905—1906 годов более чем на тридцать процентов.

До революции классики издавались неравномерно: одних печатали часто, других почти вовсе не издавали. И это регулировалось отнюдь не читательским спросом, а реакционной политикой господствующих классов. Не удивительно, что писатели революционно-демократического лагеря оказы-

вались в наиболее неблагоприятном положении. Литературное наследие многих из них осталось до революции не только не изученным, но даже не собранным.

Октябрьская революция открыла возможность издания полных собраний сочинений великих деятелей революционной демократии: Шедрина, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского. Каждое из этих изданий становилось существенным событием в культурной жизни страны, хотя в научном отношении, по качеству текстологической работы и уровню научного аппарата, они не равноценны.

С первых же дней Великой Октябрьской социалистической революции перед молодым советским литературоведением встала задача — издать подлинные тексты классиков, освободить их от различных цензурных и по возможности автоцензурных, а также иных искажений. Возникла проблема подлинно научной подготовки текста и его комментирования. Это была задача необычайной сложности, тем большей, что прежние текстологические приемы устарели. По существу надо было заново выработать методологию и методику текстологической работы. Вначале ощупью, неуверенно и нередко допуская серьезные ошибки, развивалась советская текстология, прежде чем она достигла своего современного научного уровня.

Необходимо было все тексты заново сверить по рукописям. Революция открыла секретнейшие цензурные и многие другие архивы, сделала достоянием исследователей все рукописные фонды писателей и огромное количество ранее не известных документов о них. Прежде значительная часть автографов была рассеяна по разным лицам и становилась предметом коммерческих сделок. Переходя из одних рук в другие, эти автографы нередко оказывались практически недоступными для изучения. А сколько драгоценных страниц в процессе этих бесконечных кочевий безвозвратно утеряно! Революция объявила произведе-

ния классиков национальным достоянием. Была создана система государственного хранения писательских рукописей. Концентрация рукописных фондов открыла возможность для их планомерного и более глубокого, всестороннего изучения.

Щедрин, например, был в истории литературы долгое время известен почти исключительно как автор сатирических произведений. Но имелись указания друзей писателя на то, что он нередко выступал анонимно на страницах «Современника» и «Отечественных записок» в качестве публициста и литературного критика. Г. Елисеев рассказывал в своих воспоминаниях: «Русская публика знает Михаила Евграфовича Салтыкова как талантливого сатирика... Но она не знает того, что он был вместе с тем человек замечательно сильный по мысли, что когда было нужно по обстоятельствам написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию на вышедшую в свет книгу, он брался и за это, и все подобные статьи, которых немало наберется в «Современнике» и «Отечественных записках» и которые до сих пор остаются неизвестны публике, были в своем роде шедевры, сообразно с теми щекотливыми обстоятельствами, по которым они писались». Но как определить авторство Щедрина в огромных массивах публицистики и критики, как правило печатавшихся в обоих журналах без подписей? Долгие поиски советских исследователей в конце концов увенчались успехом. В 1931 году вышел подготовленный С. С. Борщевским сборник «Неизвестные страницы» Щедрина, содержащий значительное количество статей — тех самых, которые имел в виду Г. Елисеев. Путем очень сложной аналитической работы, с помощью тщательно разработанного метода тематических и стилистических сопоставлений коллективу советских исследователей — С. С. Борщевскому, В. В. Гиппиусу, Н. В. Яковлеву и другим — удалось установить авторство Щедрина в отношении значительного количества новых работ и тем самым серьезно расширить наше представление об объеме литературной деятельности великого писателя. Среди этих работ Щедрина есть такие замечательные статьи, как «Напрасные опасения», посвященная проблеме положительного героя в современной русской литературе,

«Уличная философия» — о романе «Обрыв», «Человек, который смеется» и т. д.

За три десятилетия, прошедших с момента окончания двадцатидвухтомного собрания сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке, было опубликовано много новых и важных текстов писателя. Стали известны десятки законченных и незавершенных его произведений. Обнаружены рукописи крупнейших произведений, таких, например, как «Былое и думы», «Долг прежде всего», письма «К старому товарищу» и т. д., печатавшихся ранее с ошибками и искажениями. Материалы так называемых пражской и софийской коллекций, опубликованные недавно в трех томах «Литературного наследия», пролили новый свет на различные стороны революционной деятельности Герцена в эмиграции. Впервые произведения Герцена из этих коллекций войдут в собрание его сочинений.

Только в наши дни стало возможным издание полного собрания сочинений Чернышевского. Хотя революция 1905 года сняла запрет с имени Чернышевского и его литературного наследия, однако предпринятое сыном писателя, Михаилом Николаевичем Чернышевским, издание десятитомного «полного собрания сочинений» своего отца не было даже в отдаленной степени полным, да и не могло таковым быть. Для этого, во-первых, недостаточно было усилий одного человека, а во-вторых, — это самое главное — не было объективных условий. Формальное разрешение издавать собрание сочинений Чернышевского еще не означало санкции печатать все его произведения. Именно так и случилось.

Усилиями советских литературоведов (Н. А. Алексеева, А. П. Скафтымова, Н. М. Чернышевской и других) был существенно расширен текстовый фонд Чернышевского. Все вновь найденные и в разное время опубликованные произведения были включены в шестнадцатитомное полное собрание его сочинений, выпущенное Гослитиздатом в 1939—1953 годах. Сюда вошли отсутствовавшие в предшествовавшем собрании многие работы по эстетике, предназначавшиеся в свое время для «Отечественных записок», но так и не появившиеся там («Критический взгляд на современные эстетические понятия», «Возвышенное и комическое»), художественные произведения («Повести в повести», «Алферьев», «Отблески сияния» и другие),

тринадцать обзоров «Журналистика», напечатанных анонимно в «Отечественных записках», множество других статей на политические темы, наконец, письма. Ряд известных ранее статей Чернышевского теперь появился в более полном виде — например, «Губернские очерки» Щедрина, «Не начало ли перемены?» и т. д. Восстановленные купюры существенно углубляют революционный смысл этих статей.

В первый том были включены знаменитые дневники Чернышевского (1848—1853), написанные чрезвычайно сложным, специально им изобретенным шифром. Дневники эти представляют собой документ огромной важности, они превосходно рисуют картину духовного развития молодого Чернышевского, процесс формирования его революционной мысли. Лишь небольшая часть дневниковых записей была опубликована до революции. Целиком же они стали достоянием читателя лишь после Октября.

Шестнадцатитомное собрание сочинений Чернышевского не просто обогатило нас рядом новых страниц из его литературного наследия. Значение этого издания гораздо более существенно, оно прежде всего в том, что здесь во всей своей силе и моральной красоте предстал духовный облик великого революционера-демократа.

Это же надо сказать о двенадцатитомном полном собрании сочинений Некрасова, осуществленном Гослитиздатом в 1948—1953 годах. Октябрьская революция сделала возможным подлинно научное издание его сочинений. Подготовка к нему началась с первых же дней революции. В 1920 году был выпущен под редакцией К. И. Чуковского однотомник стихотворений Некрасова, в который было включено около трех тысяч строк, никогда ранее не входивших ни в одно из некрасовских изданий. Двадцатые годы — замечательный период в истории изучения Некрасова. Только что был уничтожен прогнивший режим. Открылись заветные сейфы царских архивов. Бурно начал расти фонд некрасовских текстов. Одна находка следует за другой. В руках исследователей — масса новых стихотворений, новые строки из поэм «Кому на Руси жить хорошо», «Несчастные», «Русские женщины». Каждое последующее издание однотомника произведений Некрасова отличается от предшествующего множеством новых текстов. Параллельно идет процесс сложной работы по критической проверке текстов произведений, печатавшихся до ре-

волюции, и очищению их от искажений. Публикуются никому ранее не известные прозаические, драматургические его произведения. В конце двадцатых — начале тридцатых годов выходят из печати романы «Тонкий человек», «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». В последующие годы открывается новая страница деятельности Некрасова, связанная с его сотрудничеством в «Отечественных записках» в качестве соратника Белинского на критическом поприще. Исследователям удастся открыть ряд анонимно напечатанных в свое время статей Некрасова о литературе и театре.

Так, шаг за шагом, готовились условия для осуществления первого полного собрания сочинений Некрасова, которое стало истинным праздником советской культуры. Это издание явилось прекрасным итогом работы советских исследователей-литературоведов — прежде всего К. И. Чуковского, В. Е. Евгеньева-Максимова, А. Я. Максимовича и других, — итогом их многолетних разысканий и изучения некрасовских текстов. Со страниц двенадцатитомника впервые предстал во всем своем великолепном многообразии и блеске подлинный Некрасов.

Собрания сочинений классиков дошли до нас не только неполными. Многие произведения искажались цензурой. Порой и сами авторы под давлением извне были вынуждены увечить свои произведения настолько, что они приобретали смысл, диаметрально противоположный первоначальному. Достаточно, например, вспомнить драматическую судьбу гоголевской «Повести о капитане Копейкине». Герой этой повести — обаятельный, смелый и гордый человек, страстно отстаивающий свое право на жизнь, не желающий склонить голову перед самим министром, — во второй, цензурной редакции превращается в пьяницу и нахала. Так требовал цензор, стремясь лишить образ Копейкина ореола трагической жертвы деспотического бюрократизма. И автор был вынужден идти на уступки.

Тургенев с горькой иронией сравнивал русских писателей с контрабандистами, которые должны были с опасностью для собственной жизни перевозить через цензурную границу свой литературный товар. Из великих русских поэтов прошлого никто не подвергался столь систематическим цензурным преследованиям и искажениям, как Некрасов. Кажется, не много имеется таких его

произведений, которые не пострадали бы от цензурного вмешательства, или от автоцензуры, или от нелепых вставок, которыми поэт иногда бывал вынужден откупаться от цензоров.

В дореволюционных изданиях стихи Некрасова пестрели многочисленными отточиями, стыдливо прикрывавшими своеволие цензора, обрубками строк, а то и просто нелепостями, обесмысливавшими все произведение. Вспомним, например, ныне известное каждому школьнику место из стихотворения «Отрывки из путевых записок графа Гаранского»:

...Вот памятное место:
Тут славно мужички расправились
с одним...—
«А что?»—Да сделали из барина-то
тесто.—
«Как тесто?»—Да в куски
живого изрубил
Один мужик...

Выделенные разрядкой строки и несколько следующих за ними вовсе отсутствовали в старых изданиях, и, таким образом, вопрос «А что?» повисал в воздухе.

Или еще. Знаменитый монолог Якима Нагого:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!

Вот эта-то последняя строка, которая является сердцем всего монолога, никогда до революции не печаталась.

Эти и многие другие несообразности были устранены К. И. Чуковским.

Крупнейшим достижением советской текстологии является шестнадцатитомное (в двадцати книгах) полное собрание сочинений Пушкина. Никогда, ни в одной стране произведения классика не издавались с такой полнотой и с такой степенью научной добросовестности. Перед этим изданием стояла исключительной сложности задача. дать читателю все, написанное Пушкиным. Для этого необходимо было произвести колоссальную работу по розыску, расшифровке и изучению рукописей поэта.

Первый том вышел весной 1937 года, последний — летом 1949 года. Двенадцать лет — не очень большой срок для такого издания. И осуществление его стало возможным потому, что оно опиралось на весь большой предшествующий опыт рабо-

ты советских пушкинистов — текстологов и исследователей: Д. Д. Благого, С. М. Бонди, Г. О. Винокура, Т. Г. Зенгер, Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского и многих других. В 1931 году С. М. Бонди писал в своей книге «Новые страницы Пушкина»: «Мы стремимся исчерпать до конца все пушкинское рукописное наследие, выскрести его дочиста, не оставляя не разобранными, не приведенными в известность ни одной строчки, ни одного слова». Книга С. М. Бонди явилась новым свидетельством того, какие сокровища таятся в пушкинских черновиках и какими блестящими результатами может быть увенчана кропотливая и трудная работа над их расшифровкой. Теперь можно сказать, что эта работа завершена. Коллективным итогом ее и явилось полное академическое собрание сочинений Пушкина.

Оно отличается от всех предшествующих изданий поэта прежде всего полнотой собранных текстов. В собрание включены две юношеские поэмы — «Монах» и «Тень Фонвизина», ставшие известными лишь после революции и открывшие некоторые новые грани в творчестве раннего Пушкина. Сюда вошли полные тексты «Гавриилиады», тексты многих политических эпиграмм, все тридцать с лишним тетрадей подготовительных работ Пушкина к истории Петра и т. д.

Академическое собрание Пушкина дает также полный свод не только законченных произведений, но и вариантов, редакций, черновых набросков. Из черновых рукописей извлечена масса ранее не известных стихов, раскрывающих картину предварительной работы поэта над «Кавказским пленником», «Евгением Онегиным», «Полтавой», «Медным всадником».

«Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства», — заметил однажды Пушкин. Открытие большого количества его черновых текстов имеет огромное значение для науки. Исследование этих текстов позволяет воссоздать процесс творческой работы поэта, с поразительной наглядностью представить себе, как от одного наброска к другому, от варианта к варианту вызревал каждый пушкинский шедевр. Никогда еще так ярко не раскрывалась перед нами лаборатория гениального художника, его школа мастерства. Кроме того, изучение черновых вариантов дает возможность глубже осмыслить некоторые давно известные произведения

поэта. Достаточно напомнить, что и знаменитая строка: «...вослед Радищеву восславил я свободу» — вариант из черновой рукописи. Пушкин хорошо знал, сколь бдительно надзору он подвергался со стороны Бенкендорфа. Формально освобожденный от цензуры, он не мог напечатать ни одной строки без ведома Николая или шефа жандармов. Вот почему ему часто приходилось подвергать себя автоцензуре. Обращение к черновикам поэта помогает не только изучить все случаи вынужденного искажения им своих произведений, но в определенных случаях и устранять их.

Академическое собрание Пушкина обладает еще одной замечательной особенностью, делающей это издание в известном смысле образцом советской текстологической школы. Тексты всех произведений, включенных в собрание, с предельной тщательностью критически проверены. В руках исследователей теперь почти исчерпывающий свод произведений гениального поэта, являющийся надежной основой дальнейшего развития науки о Пушкине.

О размахе и громадных возможностях советской текстологической школы свидетельствует другое, еще более грандиозное издание — полное собрание сочинений Льва Толстого.

Это уникальное, рассчитанное на девяносто томов издание близится к концу. С 1928 года вышло уже восемьдесят девять томов. Это издание является беспрецедентным с точки зрения объема публикуемых материалов — основных текстов, вариантов и редакций. Достаточно, например, сказать, что целых два тома занимают важнейшие черновые редакции и варианты лишь к одному роману «Война и мир». Это издание дает почти исчерпывающее представление о гигантском, подвижническом труде Толстого, неутомимо перерабатывавшего рукописи своих произведений в поисках предельной точности поэтического звучания слова.

Художественные произведения занимают только треть литературного наследия Толстого. Большую же часть полного собрания составляют публицистика, дневники, письма. Эти материалы открывают новые перспективы в изучении творчества писателя. Можно быть уверенным в том, что издание в целом является предпосылкой для развертывания широкого фронта исследовательских работ о Толстом.

Наш краткий обзор не может быть до-

статочно полным. Однако приведенные примеры свидетельствуют о серьезных достижениях советской текстологии. Главное из них в том, что впервые она стала наукой.

Но история советской текстологии менее всего напоминает «аллею побед». Она знавала и неудачи, и поражения. Многие текстологические проблемы еще не разрешены до сих пор.

Порой очень произвольно решаются у нас вопросы, связанные с составом собраний сочинений. В отношении академических изданий эти вопросы приобретают, естественно, особое значение. Но вот перед нами серьезное, вполне научное издание — полное собрание сочинений Белинского. Из него исключена статья «Китай в гражданском и нравственном отношении», соч. монаха Иакинфа, хотя авторство Белинского никогда ни в ком не вызывало сомнений. Много лет назад В. С. Спиридоновым была установлена принадлежность Белинскому большой статьи «Кесари». Сочинение Ф.-де-Шампаньи». Но и она не вошла в состав академического собрания критика. Почему? В примечаниях весьма глухо сказано на сей счет — дескать, вопрос о принадлежности данной статьи Белинскому «не является решенным». А это неверно. Авторство Белинского в отношении названной статьи доказано весьма убедительно и во всяком случае аргументировано не менее, чем это можно было бы сказать о многих других статьях критика, безоговорочно включенных в собрание его сочинений. Еще пример. В свое время двумя исследователями независимо друг от друга была установлена принадлежность Белинскому статьи «Московские записки» (1836), содержавшей принципиально важную оценку «Ревизора». Но и этой статьи не оказалось в данном издании, как не оказалось в нем и некоторых других бесспорных произведений критика. С другой стороны, в это собрание включается рецензия о «Кобзаре» Шевченко, принадлежность которой Белинскому представляется в высшей степени сомнительной.

Вызывает удивление еще одно обстоятельство. Наличие исчерпывающего свода вариантов является характерной и необходимой особенностью академических собраний сочинений классиков. Между тем в издании Белинского варианты даются выборочно, лишь «наиболее существенные». В одних томах этого собрания варианты вы-

делены в особый раздел, в других — рассыпаны в примечаниях.

Не лишены недостатков и другие издания, которые в целом заслуживают весьма положительной оценки, даже такое образцовое, как академическое собрание Пушкина. В статье «От редакции», напечатанной в первом томе, было обещано, что ничего не будет изъято из того, «что было бы написано рукою Пушкина». Это обещание не выполнено. В собрание не включены принадлежащие Пушкину записи текстов народных сказок и песен, хотя ранее они предполагались к изданию; не включены в издание и обещанные рисунки поэта, во многих случаях представляющие собой своеобразные иллюстрации к его произведениям.

Вообще редакции собраний сочинений довольно беззаботно относятся к своим обещаниям и часто нарушают принцип полноты издания. Разве можно, например, понять мотивы, которыми руководствовалась редакция академического полного собрания сочинений Гоголя, отказавшись включить замечательное гоголевское собрание народных песен, в котором есть уникальные образцы!

В еще большей степени не соответствуют своим титульным обозначениям полные собрания сочинений, выпускаемые Гослитиздатом. Разумеется, эти собрания не могут отличаться академической полнотой. Но как можно объяснить издание «полного собрания сочинений» Добролюбова без его писем? Они были впервые в большей своей части собраны Чернышевским в 1890 году в «Материалах для биографии Добролюбова» и с тех пор ни разу не переносились. Собрание сочинений Островского, заверщенное несколько лет назад Гослитиздатом, является наиболее полным сравнительно со всеми предшествующими изданиями. Наиболее полным, но далеко не «полным», как это обозначено на титульном листе каждого из шестнадцати томов. В собрание не включены многие переводы, сделанные Островским. Мы не находим здесь также отрывков некоторых незавершенных произведений драматурга, например фрагментов двух задуманных им исторических пьес — «Лиса Патрикеевна» и «Александр Македонский». Всего этого печатать в массовом издании, вышедшем тиражом в 100 тысяч экземпляров, вероятно, и не нужно было. Но в таком случае не нужно и противоречие

между титулом и действительным характером издания.

В издательской практике существует разницей в определении типов собраний сочинений. С одной стороны, в полное собрание сочинений Чехова, вышедшее тиражом в 53 тысячи экземпляров, включены вещи, явно необязательные для такого типа издания, например альбомные стихи, не имеющие ни малейшей художественной ценности, или школьное сочинение, «выправленное двумя преподавателями». А с другой — из полного собрания сочинений Щедрина исключается значительное число деловых писем писателя, например к Некрасову, Лазаревскому, Гаевскому и т. д.

В издательской практике еще допускаются нарушения научных принципов советской текстологии, причем нарушается порой и главный из них — принцип соблюдения последней авторской воли. Так, в четырнадцатитомном академическом издании Гоголя при подготовке отдельных произведений редакторы произвольно контаминировали куски текста из черновых рукописей с белыми редакциями, не всегда достаточно мотивированно устанавливали окончательную редакцию текста и т. д. Конечно, это не зачеркивает большого труда, вложенного авторитетными учеными-текстологами в это издание. Оно гораздо полнее лучшего в до-революционные годы знаменитого десятого издания сочинений Гоголя под редакцией Н. Тихонравова, выше по уровню научного аппарата. Но именно потому, что существовало это десятое «тихонравовское» издание, советское академическое собрание должно было готовиться с большей осмотрительностью и более точной выверенностью исходных научных принципов.

Ряд серьезных критических замечаний вызывает недавно изданное шеститомное академическое собрание сочинений Лермонтова.

В этом издании поражают по крайней мере два странных обстоятельства. Во-первых, одни и те же произведения печатаются рядом в разных редакциях. Например, во втором томе помещены одна вслед за другой две редакции стихотворения «Тебе, Кавказ, суровый царь земли», прежде печатавшиеся как посвящение к поэме «Демон». В примечаниях редактор отмечает, что сделано это вполне сознательно, ибо обе редакции имеют самостоятельное значение. В том же томе знаменитое стихотворение «Прощай, немытая Россия» также

напечатано дважды, на одной странице. Но на этот раз одна из редакций помещена внизу, под строкой. Думается, что такой принцип расположения произведений едва ли может найти себе оправдание. Редактор-текстолог в данном случае как бы отказывается установить, какая редакция является основной, и решение этого вопроса оставляет на усмотрение читателя.

Другой недостаток этого же издания можно было бы назвать фетишизацией хронологического принципа в расположении произведений. Неукоснительно придерживаясь хронологии, редакторы-текстологи помещают рядом с гениальными шедеврами Лермонтова его экспромты, альбомные, шуточные, да и просто незавершенные стихи, которым, разумеется, место не здесь. Например, между двумя замечательными стихотворениями — «Ребенка милого рождение» и «Не верь себе» — помещен альбомный мадригал «Ах! Анна Алексевна», не имеющий художественного значения. И таких примеров много. Думается, что подобные стихи должны быть отделены от основных произведений поэта.

А бывает и так, что строгие научные принципы, лежащие в основе советской текстологии, иногда приносятся в жертву ложным, конъюнктурным соображениям. Так открывается дорога редакторскому произволу. Из многотомных собраний иной раз без достаточных оснований исключаются широко известные произведения, как это имело место, например, в тридцатитомнике Горького (мемуарные очерки о Леониде Андрееве, Савве Морозове, сказка «Про Иванушку-дурачка» и другие). Еще хуже, когда в публикации иных произведений допускаются купюры, вызываемые желанием редакции «улучшить» деятелей прошлого и сгладить свойственные им противоречия. Так было, например, в собрании сочинений Стасова, выпущенном несколько лет назад издательством «Искусство». Купюры сделаны также в письмах Чернышевского, Чехова. Подобные факты редакторского самоуправства не имеют никакого оправдания — ни научного, ни морального.

Не уделяется у нас достаточного внимания изданию эпистолярного наследия классиков. Выше уже говорилось о письмах Добролюбова. А как можно объяснить столь неоправданно долгую задержку с публикацией драгоценнейших писем Тургенева? Нашему читателю неизвестны даже

те его письма, которые опубликованы за границей — например, во Франции. И только сейчас Институт русской литературы приступает к изданию полного собрания писем Тургенева. До сих пор не издана значительная часть эпистолярных фондов Гончарова, Писарева, С. Аксакова, Короленко. А сколько драгоценных для истории русской литературы и общественной мысли материалов содержится в неопубликованных письмах Плещеева, Михайлова, В. Курочкина!

Не все благополучно обстоит с научным аппаратом в собраниях сочинений. Подавляющее большинство полных собраний сочинений выходит без вступительных статей, а часто и без историко-литературных комментариев. Мотивируют в подобных случаях тем, что вступительные статьи быстро устаревают. Но в издательской практике нет последовательности. Иногда собрания сочинений, выпускаемые и Гослитиздатом (например, полное собрание сочинений Чернышевского) и Академией наук (например, полное собрание сочинений Гоголя), сопровождаются статьями, а в некоторых случаях статья прилагается почти к каждому тому (например, полное собрание сочинений Щедрина или полное собрание сочинений Толстого).

Мне представляется, что ссылка на недолговечность вступительных статей не является аргументом против них. Ведь мог же В. В. Гиппиус около двух десятилетий назад написать статью к академическому полному собранию сочинений Гоголя, которая и сегодня почти не устарела, хотя в трактовке творчества Гоголя за эти годы произошли весьма существенные изменения.

Нам кажется, что речь должна идти о типе и характере статьи. Конечно, тот стандарт юбилейной статьи, который с некоторых пор стал почти нормой, никого уже удовлетворить не может. Он себя изжил.

Издание полного собрания сочинений подводит определенный итог научному изучению писателя. Теоретически осмыслить и обобщить этот итог — одна из главных задач вступительной статьи. Другая, и еще более важная, состоит в том, чтобы определить направление дальнейшего исследования творчества писателя, сформулировать проблематику этого исследования, наметить возможные пути решения определенных вопросов и т. д.

Точно так же должен решаться и вопрос о комментариях — текстологических и историко-литературных. Надо полагать, что в принципе и те и другие необходимы. Но при этом не следует забывать «меру вещей», которой пренебрегали редакторы первых томов полного собрания сочинений Толстого, забив эти тома второстепенным, нисколько не проясняющим текста материалом. Особенно важно обоснование в комментариях выбора основного текста, нового прочтения его и прочее. Эти, казалось, элементарные требования игнорируются в некоторых изданиях. Игнорируются даже в академическом собрании сочинений Пушкина.

Все эти более или менее частные недочеты или просчеты в значительной степени объясняются слабой разработанностью теоретических принципов советской текстологии. Теория текстологии явно отстает от практики. В двадцатые годы, когда еще только формировалась советская текстологическая школа, вопросы теории

обсуждались очень интенсивно. То было время горячих споров и острых полемических схваток. В работах М. Л. Гофмана, Г. О. Винокура, Б. В. Томашевского, написанных в ту пору, далеко не все положения выдержали испытание временем. Но на смену одним теоретическим взглядам не всегда приходили другие. В последние два десятилетия текстологическая мысль развивалась медленно, менее интенсивно. Только сейчас начинается здесь известное оживление.

Опыт, накопленный советской текстологией, нуждается в обобщении и теоретическом осмыслении. Можно сказать, что текстология ныне переживает период поисков теоретических идей. И хотя они еще далеко не сформулированы, не выработаны, но настоятельная необходимость в них уже всеми осознается. Выпущенный недавно Институтом мировой литературы сборник «Вопросы текстологии» является в этом отношении добрым вестником.

* * *

После Октябрьской революции наше литературоведение было поставлено перед грандиозной задачей: на основе марксистско-ленинской методологии заново «прочитать» и осмыслить всю историю отечественной литературы. В чрезвычайно трудных условиях, в обстановке острой идейной борьбы, при отсутствии опыта и достаточного количества марксистски подготовленных кадров эта задача тем не менее планомерно осуществлялась.

В дореволюционном литературоведении сложилось совершенно неверное представление о характере и путях развития литературы XVIII века. Эпоха, ознаменовавшаяся великими свершениями в различных областях культуры, — «свидетель славы россияна», по слову Пушкина, — оставила глубочайший след во всех областях художественного творчества. Между тем литературу этого периода третировали, как подражательную, лишенную национальной самобытности, оторванную от почвы русской действительности. В первые полтора десятилетия после революции такого рода взгляды широко бытовали и в работах советских ученых. Из одной статьи в другую кочевали легенды, смысл коих состоял в том, что литература XVIII века бедна по своему общественному содержанию, не-

выразительна в художественном отношении и что вообще вся допушкинская литература представляет собой нечто малооригинальное и является «младенческим периодом» в истории отечественной культуры. Даже такой тонкий ценитель и знаток искусства, как А. В. Луначарский, отражая общее поветрие, писал: «Конечно, русская классика (то есть классицизм.— С. М.) представляла собою нечто в высшей степени жалкое... Классицизм наш был так же завозный, как меблировка дворцов императриц и вельмож, позаимствованная в Париже».

Советскому литературоведению предстояло проделать громадную работу, чтобы развенчать подобные взгляды и доказать их полную несостоятельность.

Эта работа началась сравнительно поздно — в тридцатые годы. В 1933 году по инициативе Горького стала выходить «Библиотека поэта», открывавшаяся книгой стихов Державина. За ней последовали сборники произведений Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова. Эти книги были отлично подготовлены в текстологическом отношении и сопровождалась добротным научным аппаратом. В том же 1933 году вышел специальный том «Литературного наследства», посвященный изучению литературы XVIII века. В этой книге была напечатана

статья Г. А. Гуковского «За изучение восемнадцатого века», содержащая страстный призыв к советским ученым показать литературу этого периода во всей ее значительности и яркости. «Мы должны открыть XVIII век для широкого читателя...— писал он,— довольно прятать целую эпоху русской литературы в архивах, в письменных столах профессиональных ученых, в научных книжных собраниях; надо вынести ее в массовую библиотеку, на витрину книжного магазина, в школу».

Безвременно ушедшему от нас автору этих строк, человеку разносторонней культуры, большого и яркого таланта, советская наука о литературе XVIII века обязана многим.

В следующие два с половиной десятилетия положение дел с изучением литературы XVIII века коренным образом изменилось. Дух конкретного историзма, проникший в эту область науки, позволил заново осмыслить многие явления. Прежде всего был установлен глубоко национальный характер русской культуры и просвещения XVIII века. С неопровержимой убедительностью была доказана оригинальность русского классицизма, было вскрыто его своеобразие и существенное отличие от классицизма западноевропейского. Конкретное изучение материала показало идейное и художественное богатство нашей литературы этой эпохи, ее патриотический пафос, глубину и многообразие тех общественных проблем, которые она решала. Публикация не известных ранее архивных материалов позволила проследить чрезвычайно важное явление — как в литературу прорывался голос закрепощенных крестьянских масс.

Старое, академическое литературоведение явно недостаточно занималось исследованием прогрессивной литературы XVIII века. Конечно, оно не могло игнорировать таких писателей, как Фонвизин, Новиков или Радищев. Но, во-первых, идейное содержание их произведений выхолащивалось и получало совершенно неправильное истолкование, а во-вторых, и это самое главное, творчество названных писателей отсекалось от национальных традиций русской литературы и изображалось как нечто им противостоящее. Совсем не изучались анонимные произведения XVIII века, проникнутые в большинстве случаев оппозиционным духом к помещичьему строю. Памятники такого рода если изредка и публиковались, то почти никогда не становились

предметом исследования, к ним относились с крайним пренебрежением. В советские годы впервые началось планомерное соби- рание и изучение памятников подпольной поэзии XVIII века, среди которых оказа- лось немало замечательных произведений искусства, сильно и глубоко отразивших ненависть народа к своим угнетателям.

Совершенно по-новому раскрылся харак- тер русского просвещения XVIII века, его революционная и демократическая основа, нашедшая наиболее полное выражение в деятельности Радищева. Впервые в работах советских литературоведов (Д. Д. Благого, Г. А. Гуковского, Г. П. Макогоненко, В. Н. Орлова, К. В. Пигарева и других) изучена деятельность Радищева, Новикова, Фонвизина, а также их современников и ближайших преемников. Гораздо значитель- нее вырисовываются ныне литературная деятельность Ломоносова и ее значение в истории национальной художественной культуры.

Литература XVIII века предстала во всем многообразии своих связей с явлениями общественной жизни страны, с предше- ствующими этапами в развитии литературы, в своих отношениях со смежными видами искусств — театром и музыкой, живописью и архитектурой. Литература этой эпохи раскрылась не только в ее великом истори- ческом значении, но и как явление искус- ства во всей своей живой эстетической ценности.

Наряду с бесспорными успехами в изуче- нии литературы XVIII века становятся еще более очевидными и недочеты, имеющиеся в этой области.

Первый и, пожалуй, главный из них состоит в том, что слишком мало издаются сочинения писателей этой эпохи. Завершено издание полного собрания сочинений Ради- щева, близится к концу аналогичное собра- ние Ломоносова. Эти два издания, выпол- ненные на уровне высоких научных требо- ваний современной текстологии, знаменуют собой важную веху в изучении культуры XVIII века. Но собрания сочинений выхо- дят слишком долго. Если такими темпами будут и впредь осуществляться подобные издания, неизвестно, сколько еще пройдет десятилетий, прежде чем основные писатели XVIII века дождутся своих собраний сочи- нений. Между тем некоторые из них дождаются очень давно. Сумароков, на- пример,— ровно 170 лет. Последнее собра- ние его сочинений вышло в 1787 году.

Наследие многих выдающихся писателей XVIII века не собрано, и не только широкому читателю, но и специалисту далеко не всегда представляется возможным иметь под руками необходимые ему тексты. Давно назрела необходимость в издании собраний сочинений, например, Фонвизина, Державина. Уникальное для своего времени гротовское издание сочинений Державина в девяти томах во многом уже сейчас устарело с точки зрения и полноты собрания и текстологических принципов, не говоря уже о научном его аппарате, в основе которого лежало представление о Державине как о поэте, прославлявшем дворянскую, екатерининскую Россию. Такое представление оказалось слишком односторонним и узким для этого большого художника.

Интересы углубленного изучения литературы XVIII века требуют значительно большего внимания к изданиям сочинений крупных публицистов этой поры: Д. С. Аничкова, С. Е. Десницкого, Я. П. Козельского. Двухтомник избранных произведений этих публицистов, изданный в 1952 году Госполитиздатом, должен явиться началом большой и систематической работы в этом направлении. То же самое относится и к произведениям журналистики XVIII века, составлявшим очень важный элемент духовной культуры русского общества. Журналистика этой поры богата многосторонними связями с художественной литературой. Эта тема обстоятельно прослежена в «Истории русской журналистики XVIII века» П. Н. Беркова, для создания которой потребовалась значительная систематизаторская и исследовательская работа.

Казалось бы, с XIX веком дело обстоит более благополучно. Однако и здесь очень многое пришлось пересматривать.

Пушкиным, например, дореволюционное литературоведение занималось гораздо больше, чем любым другим русским классиком. Тем не менее советским пушкинистам пришлось многое исследовать заново. Их крупнейшим достижением явилось изучение органической связи поэта с современной ему общественной жизнью России и Запада.

Образ Пушкина в исследованиях советских ученых стал значительнее, масштабнее. Его творчество очищено от различных реакционных и либеральных инсинуаций. В частности, развеяна версия о якобы свершившемся после катастрофы 1825 года примирении поэта с самодержавием. Этот оши-

бочный взгляд, не учитывавший всей сложности и противоречивости позиций Пушкина после разгрома декабризма, долго держался в научной литературе. Он оказывал иной раз влияние даже на таких людей, как Чернышевский, который при всем своем высочайшем уважении к Пушкину — по его словам, «отцу нашей поэзии» — склонен был недооценивать идейное содержание его творчества, критический характер его реализма.

За многие годы советской наукой накоплен и проанализирован большой фактический, документальный материал, по-новому рисующий напряженную, полную трагизма борьбу Пушкина против деспотизма и мракобесия николаевского режима, рисующий его как человека, стоявшего на самых передовых для своего времени идейных позициях. Пушкин и проблемы народного, освободительного движения, отношения Пушкина с декабристами, Гоголем и Белинским, Пушкин и народное творчество, эстетические взгляды Пушкина, своеобразие его реализма, его стиля и языка, Пушкин и театр — эти и многие другие крупные темы привлекали к себе больше всего внимание советских исследователей: М. П. Алексеева, Д. Д. Благого, А. И. Белещкого, С. М. Бонди, Н. Л. Бродского, В. В. Виноградова, Б. П. Городецкого, Л. П. Гроссмана, С. Н. Дурылина, А. З. Лежнева, Б. С. Мейлаха, Ю. Г. Окмана, Н. К. Пиксанова, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, М. А. Цявловского и многих других.

В ряду исследователей Пушкина должно быть названо еще одно имя — А. М. Горького. Его многочисленные высказывания о творчестве поэта, собранные и опубликованные в советские годы, содержат в себе очень тонкие и существенные наблюдения, открывшие возможность широких теоретических обобщений и выводов.

Советское пушкиноведение знавало и трудности в своем развитии. Оно порой сходило с больших, магистральных путей на боковые тропинки мнимонаучного крохоборчества, придавая различным мелким семейно-бытовым фактам пушкинской биографии не соответствующее им значение; оно переболело и теми болезнями, которые в разное время пришлось преодолевать нашему литературоведению, — формализмом, эстетством, вульгарным социологизмом. Исследование мировоззрения и, в частности, политических позиций Пушкина иногда от-

рвалось от их специфического, художественного выражения в произведениях поэта.

«Белые пятна» затемняли литературную карту не только XVIII, но и XIX века. Явления литературы, тесно связанные с идеями освободительного движения, были в опале у дореволюционного, буржуазного литературоведения. В немногих случаях допускались исключения, но лишь для того, чтобы исказить и фальсифицировать творчество того или иного писателя.

Выдающейся заслугой советских ученых является изучение литературного наследия поэтов-декабристов (работы В. Г. Базанова, Б. С. Мейлаха, Ю. Г. Оксмана, В. Н. Орлова, А. Г. Цейтлина), писателей и критиков революционно-демократического направления. Можно сказать, что в этой области советской науке приходилось во многих случаях работу начинать совершенно заново.

Характерна в этом отношении история изучения Белинского.

Самым крупным итогом дореволюционного академического литературоведения в изучении Белинского была монография А. Н. Пыпина и обильно комментированное полное собрание сочинений критика, издававшееся С. А. Венгеровым с 1900 года и не законченное им. Последние два тома — XII и XIII — были выпущены уже в советские годы В. С. Спиридоновым.

Оба эти издания были значительным явлением для своего времени. В монографии Пыпина содержался большой и ценный фактический материал, в ней были впервые опубликованы многие письма критика, использованы различные печатные и рукописные источники, позволившие уточнить те или иные обстоятельства его биографии. Однако общая концепция Белинского была у Пыпина неверна. Либерально-буржуазная методология автора монографии оказалась бессильной раскрыть истинный облик великого критика и истинный смысл его дела.

Эту задачу предстояло выполнить советской науке. Ключом к ее решению явилось несколько коротких, но в высшей степени важных замечаний Ленина, сформулированных в таких работах, как «Что делать?», «Из прошлого рабочей печати в России», «О «Вехах». Белинский рассматривается здесь как предшественник полного вытеснения дворян разночинцами в истории русского освободительного движения, как

один из предшественников русской социал-демократии, в деятельности которого отразился революционный протест закрепощенных масс крестьянства против самодержавия и крепостничества.

Эти положения Ленина, имевшие принципиальное и общетеоретическое значение, советская наука положила в основу своей концепции Белинского. Кроме того, она, разумеется, широко использовала ценнейшие высказывания Герцена и Чернышевского о Белинском, учла и те положительные стороны, которые содержались в работах о нем Плеханова.

Из наиболее значительных работ, изданных в первые годы после революции, должен быть отмечен вышедший в 1924 году сборник материалов и исследований «Венок Белинскому» (под редакцией Н. К. Пиксанова), а также «Летопись жизни Белинского» (составители Н. Ф. Бельчиков, П. Е. Будков и Ю. Г. Оксман). Последняя работа явилась одним из первых опытов в обширной серии аналогичных книг-летописей, созданных советским литературоведением. Конечно, многое в «Летописи жизни Белинского» ныне уже устарело, в ней недостаточно раскрыты факты, относящиеся к идейной борьбе вокруг Белинского, далеко не полно использованы архивные источники (например, материалы архива Московского университета, цензурных ведомств). Этот существенный пробел теперь восполнен в новой и значительно более обширной «Летописи», подготовленной к печати Ю. Г. Оксманом. В последующие годы изучение Белинского становилось все более интенсивным (работы Н. Л. Бродского, А. М. Лаврецкого, П. И. Лебедева-Полянского, Н. И. Мордовченко, В. С. Спиридонова и других).

С 1948 года, когда отмечалось столетие со дня смерти великого критика, начался новый этап в изучении его деятельности. Были пересмотрены многие традиционные точки зрения на вопросы, связанные с оценкой философской и эстетической эволюции Белинского, подверглась резкой критике ранее довольно распространенная компаративистская схема, которая вела к недооценке Белинского как самостоятельного и оригинального мыслителя, были намечены пути дальнейшего изучения наследия великого критика. По существу многие аспекты его философской и эстетической позиции пришлось решительно переосмысливать.

Вышел ряд ценных книг о Белинском. Назовем три тома «Литературного наследства», сборник «В. Г. Белинский и его корреспонденты», представляющий собой собрание впервые публикуемых писем современников к Белинскому. К числу интересных исследований принадлежит работа М. Я. Полякова «Студенческие годы Белинского» и его же книга «Белинский в Москве», содержащая новые данные о так называемом «литературном обществе 11-го номера», о взаимоотношениях Белинского с Надеждиным, Станкевичем, а также первые два тома капитальной монографии В. С. Нечаевой, посвященные детству и юности Белинского, годам его работы в «Молве» и «Телескопе». Следует отметить еще ценную работу Ю. Г. Оксмана о зальцбрунском письме Белинского к Гоголю, опубликованную в одном из томов «Литературного наследства» и «Ученых записках» Саратовского университета. Важным теоретическим проблемам эстетики Белинского, а также вопросам его историко-литературного изучения были посвящены работы Д. Д. Благого, Б. И. Бурсова, А. М. Лаврецкого и других.

Советскими исследователями раскрыто огромное количество не известных ранее материалов о деятельности Некрасова и Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Им посвящены десятки книг, сотни журнальных статей. Различные стороны политической биографии деятелей революционной демократии, их художественное творчество и эстетические взгляды, их влияние на развитие русской общественной мысли и литературы — все это предстало во многих отношениях совершенно по-новому.

Весьма успешно поработала советская наука над исследованием творчества Салтыкова-Щедрина. Дореволюционное литературоведение не проявляло особого интереса к его наследию.

Поэтому изучение щедринского творчества советской науке пришлось начать почти с нуля. Тем более разительны результаты, достигнутые в этой области. Обстоятельно исследована идейная проблематика творчества Щедрина в работах М. С. Ольминского, Н. Л. Мещерякова, С. А. Макашина, Я. Е. Эльсберга, Д. И. Заславского, В. Я. Кирпотина, А. М. Лаврецкого, С. С. Борщевского и многих других. Широкое использование архивных, да и многочисленных печатных источников позволило советским ученым совершенно по-иному

осветить многие проблемы литературной и политической биографии Щедрина. Одной из примечательных новинок такого рода явился, например, документально установленный в свое время факт публикации произведений Щедрина, в последнее десятилетие его жизни, в зарубежной вольной печати — органах русской политической эмиграции. Выявление не известных ранее щедринских публикаций дает возможность более углубленного изучения текстов произведений писателя, печатавшихся в России с цензурными купюрами и искажениями.

Видную роль в изучении наследия революционных демократов и в развитии советской науки о литературе вообще сыграли работы А. В. Луначарского. Его острые про мысли и блестящие по форме статьи и речи, посвященные Белинскому и Чернышевскому, Некрасову и Щедрина, Пушкину и Толстому — почти всем самым значительным явлениям нашего классического наследства, обладали тем драгоценным чувством современности, которое придавало каждому выступлению А. В. Луначарского широкий общественный резонанс. Следует отметить также заслуги этого ученого в серьезной разработке наследия Ленина и особенно той его части, которая имеет непосредственное отношение к проблемам истории литературы.

Говоря о серьезных достижениях советского литературоведения, нельзя не упомянуть о таком замечательном новаторском издании, как «Литературное наследство», равного которому нет нигде в мире. Тщательно разработанная методика публикации материалов сочетается здесь с подлинно научными принципами их комментирования и исследования. Шестдесят к лишним томов «Литературного наследства» колоссально расширили наше представление о различных явлениях истории русской литературы и общественной мысли.

Как видим, изучение творчества отдельных писателей двинуто советскими литературоведами далеко вперед.

Жанр обширного монографического исследования с характерным для него обстоятельным и всесторонним анализом идейной и художественной проблематики творчества писателя занял среди литературоведческих работ в послевоенные годы почти ведущее место. Появились книги о Пушкине (Д. Д. Благого и Б. В. Томашевского), Гоголе (В. В. Ермилова, М. Б. Храп-

ченко, Н. Л. Степанова, Г. Н. Поспелова), Рылеев и Гончарове (А. Г. Цейтлина), Герцене (Я. Е. Эльсберга, Л. Я. Гинзбург, В. А. Пугинцева), Грибоедове (М. В. Нечкиной), Чехове и Достоевском (В. В. Ермилова), Щедрина (С. А. Макашина, Я. Е. Эльсберга, В. Я. Кирпотина), русских просветителей конца XVIII—начала XIX века (В. Н. Орлова) и т. д. Эти монографии весьма наглядно свидетельствуют о возросшем уровне нашей историко-литературной науки. Но, отмечая это важное обстоятельство, нельзя не обратить внимания и на оборотную сторону явления.

Монография стала ныне едва ли не единственным (если не считать популярную серию критико-биографических очерков) жанром литературоведческой книги. А такая «монополия» едва ли правомерна. Монография по природе своей является работой итоговой. Она обобщает результаты изучения писателя за определенный период, она вместе с тем и намечает пути дальнейшего исследования в этой области. Естественно, что появлению монографии должно предшествовать значительное количество работ, посвященных специальным и более частным проблемам наследия данного писателя. Между тем именно такие работы в последние годы почти перестали у нас появляться. Издательства относятся к ним с известным предубеждением, не будучи в состоянии определить, в какую «серию» такие книги должны быть включены. А науке этим наносится ущерб.

Характерно, к примеру, положение, создавшееся в изучении Гоголя. Юбилей 1952 года принес значительное количество общих работ о творчестве писателя — работ интересных и содержательных, но в какой-то степени между собой соприкасающихся и часто как бы дублирующих одна другую. Вместе с тем очень немного появилось исследований на конкретном материале. После известного двухтомника «Материалов и исследований», выпущенного в 1936 году Институтом русской литературы под редакцией В. В. Гилинуса, наше гоголеведение не обогатилось ни одним изданием подобного рода.

А ведь необходимо поднять и осмыслить новые пласты материалов. «Проблема Гоголя» содержит в себе много сложных и недостаточно изученных аспектов, нуждающихся в конкретном и специальном изучении. Отнюдь не все до конца исследова-

но, например, в истории отношений Гоголя с Пушкиным, художником Ивановым; следует подвергнуть изучению гоголевский кружок в Петербурге, связи писателя с московскими друзьями; почти совершенно не изучены годы заграничных скитаний Гоголя, первым шагом в этом направлении является только что вышедшая в Гослитиздате содержательная книга М. Гуса «Гоголь и николаевская Россия»; мы все еще очень мало знаем о своеобразии исторических взглядов Гоголя и о том, как они соотносились с современным писателю уровнем исторической мысли в России и на Западе; давно ожидаются исследования и такие интереснейшие темы, как Гоголь и Герцен, деятельность Гоголя в пушкинском «Современнике», Гоголь-критик. Это далеко не полный перечень вопросов, изучение которых сопряжено с трудоемким поиском новых фактических данных, обследованием обширных фондов документально-архивных материалов. А без всего этого наука не может двигаться вперед. Надо сказать, что далеко не полностью изучена и общая проблематика гоголевского творчества. Нужны работы об эстетических взглядах Гоголя, в частности о его театральной эстетике, об особенностях его сатиры и своеобразии его реализма.

Необходимо, таким образом, ликвидировать жанровый стандарт в издании литературоведческих книг. Помимо монографий и популярных критико-биографических очерков, следует выпускать работы, посвященные отдельным, конкретным вопросам литературного наследия. Недаром наша печать и общественность положительно оценили такие «внесерийные» книги, как «Незавершенные работы Пушкина» И. Л. Фейнберга, «Щедрин и Достоевский» С. С. Борщевского, «Лермонтов» И. Л. Андроникова, «Лермонтов. Вопросы творчества и биографии» С. А. Андреева-Кривича. Полезно было бы восстановить традицию малообъемных литературоведческих книг (в четыре — шесть листов), посвященных исследованию конкретных и важных для науки историко-литературных проблем.

Хорошую репутацию завоевала серия «Жизнь замечательных людей», представленная уже целой полкой добротных в научном отношении книг — о Ломоносове (А. А. Морозова), Добролюбова (В. В. Жданова), Чернышевском (Н. В. Богословского), Шевченко (Л. Ф. Хинкулова) и т. д.

Одним из серьезных признаков «возмужалости» нашей литературоведческой науки является ее возросшая способность проникать в художественную природу произведения, умение рассматривать идейное содержание искусства и его поэтическую форму совокупно, в органической связи. Правда, иной раз еще и сейчас выходят монографии, в которых изучение вопросов стиля, композиции, принципов сюжетостроения, языка ведется обособленно от общей проблематики творчества писателя. В таких случаях анализ элементов формы заменяется их простым описанием или регистрацией, недостаточно осмысленной и не включенной в общую концепцию книги. Но таких книг становится все меньше, и не они характеризуют современный уровень литературоведческой науки.

В двадцатые годы работы, специально посвященные исследованию вопросов художественной формы, носили по преимуществу формалистический характер. И это обстоятельство породило иллюзорное представление о том, что понимание специфики искусства и умение анализировать художественную форму являются монопольным достоянием формалистов. В последующие годы представления эти были развеемы. Стало ясно, что формализм, рассматривающий форму самодовлеюще и узкотехнологически, отрывая ее и изолируя от содержания, всего менее способен анализировать художественную форму в истинном ее значении. Марксистско-ленин-

ская методология создает предпосылки для наиболее широкого и плодотворного исследования проблем специфики художественного творчества и, в частности, проблем формы, мастерства. Редкие работы на эту тему (книга К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова», исследование Д. Д. Благого о мастерстве Пушкина, «Заметки о прозе русских классиков» В. Б. Шкловского, книга Н. Л. Степанова о мастерстве Крылова-баснописца) вызвали большой читательский интерес. Изучению проблем стиля и языка крупнейших писателей XIX века посвящены многочисленные работы академика В. В. Виноградова, имеющие существенное значение для развития этой важной области филологической науки.

Следует вернуть литературоведам право на издание сборников своих работ, затерянных в различных периодических изданиях и ставших практически недоступными широкому читателю. Чтобы представить себе, какими возможностями располагает наше литературоведение в этом отношении, достаточно вспомнить, помимо уже упоминавшихся выше ученых, работы и таких исследователей новой русской литературы, как И. Я. Айзеншток, Н. Ф. Бельчиков, Г. А. Бялый, Н. К. Гудзий, В. А. Десницкий, Б. П. Козьмин, Л. А. Плоткин, А. И. Ревякин, С. А. Рейсер, А. Л. Слонимский, Л. И. Тимофеев, Б. М. Эйхенбаум, И. Г. Ямпольский и многие другие.

* * *

В условиях советской действительности в полной мере раскрылась народность великих писателей прошлого. Их произведения стали в подлинном значении слова достоянием всего советского общества. Одним из примечательных явлений культурной жизни нашей страны стали торжественно и всенародно отмечаемые юбилеи классиков. Этой традиции положили начало пушкинские юбилейные торжества в 1937 году, которые приобрели грандиозный размах и знаменовали собой крупную веху не только в истории пушкиноведения, но и в развитии советской культуры вообще. Так же широко отмечались годовщины Белинского, Гоголя, Радищева, Достоевского.

Юбилеи возбуждали широкий общественный интерес к классической литературе,

сопровождались изданием большого количества популярных статей, а порой и серьезных научных монографий. Но в этих юбилеях были и некоторые издержки. Атмосфера праздника и торжества настраивала иных авторов критических работ на восторженный, панегирический лад. Объективный, вдумчивый, научный анализ творчества классиков в таких работах нередко уступал место акафисту. Односторонним подбором фактов и тенденциозным препарированием цитат иной раз выхолащивалось конкретное своеобразие писателя. Он чудодейственно освобождался от свойственных ему противоречий и становился удивительно похожим на многих других классиков — своих предшественников или преемников, а все они вместе оказывались одинаково безликими...

Отдельные рецидивы юбилейного, «бесконфликтного» литературоведения порой еще дают себя знать и ныне.

Резкая критика догматизма и начетничества, прозвучавшая на XX съезде партии, помогла вскрыть много аналогичных явлений и в историко-литературной науке. Еще встречаются в иных работах отвлеченно-догматические построения, попытки подчинить живое и сложное развитие литературы тощим умозрительным схемам. Еще не перевелись среди литературоведов и те «буквоеды-цитатчики», о которых упоминал в своих выступлениях перед писателями Н. С. Хрушев. Еще не изгнаны из нашей науки тенденции лакировки, юбилейного пышнословия — всего того, что вызывается поиском облегченного пути в науке. Чехова у нас еще иногда подтягивают к Горькому, Гоголю — к Белинскому, даже Пушкина порой «улучшают», пытаясь представить его человеком, в идейном отношении шагнувшим далеко вперед от декабристов.

Такого рода антиисторические манипуляции, конечно, мало помогают уяснению конкретного своеобразия творчества писателя. А в отдельных случаях они граничили с прямой фальсификацией. Достаточно, скажем, вспомнить книгу В. Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского».

Еще порой встречаются у нас книги, в которых под видом ученых исследований преподносятся поверхностные компиляции. В таких сочинениях скороспелые обобщения сочетаются с легкомысленным жонглированием историческими фактами, которое иной раз переходит в прямую профанацию науки.

В этой связи следует назвать работы члена-корреспондента Белорусской Академии наук И. В. Гуторова, которые на протяжении последних лет справедливо подвергались резкой критике на страницах нашей печати. В этих работах — о Маяковском, о Пушкине — чрезвычайно наглядно обнаружилась научная несостоятельность того способа изучения, который основан на подчинении конкретного, живого и сложного историко-литературного материала заранее заданной схеме. И, может быть, наиболее вопиющим примером тому является последняя книга этого автора — «Философско-эстетические взгляды А. С. Пушкина» (издание Белорусского государственного университета, 1957).

Исследование этой многотрудной проблемы явно не удалось И. В. Гуторову. Книга открывается главой, многозначительно названной: «О философской мудрости и поэтической гениальности А. С. Пушкина». Но было бы напрасно искать в этой главе, как, впрочем, и во всей книге, серьезного исследовательского разговора, мыслей, анализа. Книга представляет собой набор школьных прописей, сдобренных обильным количеством широко известных цитат. Там же, где автор пытается что-то обобщить, подытожить, получается нечто очень странное. Приведем несколько взятых наудачу примеров:

«До Пушкина дворянские писатели и историки не касались ни вопросов освободительной борьбы крестьян, ни их интересов, а говорили только о своих «возмущениях» и «негодованиях».

А куда же, спросит в недоумении читатель, девался Радищев?!

«Пушкин первым стал обрисовывать характеры исторических лиц и художественных персонажей, исходя из учета их отношений к труду».

Стало быть, Татьяна Ларина тоже описана, «исходя из учета ее отношения к труду»?

Вот образец социологического анализа:

«Не ускользнуло от философской мудрости Пушкина и то, что некоторые, наиболее смысленные (!) и чуткие к духу времени, помещики-крепостники в погоне за хлебо-товаром в целях приобретения денег и предметов роскоши в нечерноземных областях наскоро видоизменяли форму эксплуатации крестьянского труда, заменяя барщину оброком».

А вот и связь с современностью:

«В области литературных стилей, направлений, объединений Пушкин считал себя скептиком, то есть в каждом из них он видел выгодные и невыгодные стороны, что особенно важно учитывать в наших современных дискуссиях».

Приведенные нами рассуждения, как говорят, не нуждаются в комментариях. Эти рассуждения, кроме того, сопровождаются в книге бесчисленным количеством фактических ошибок. Автору, например, ничего не стоит высказывания одного исторического деятеля приписать другому. Читатель с удивлением узнает, что в пушкинском «Современнике» участвовал Дельвиг, умерший за пять лет до основания журнала, или что Пушкин «приблизил» к тому

же изданию Белинского, хотя в действительности критик не успел напечатать в нем при жизни поэта ни единой строки; альманах «Мнемозина» назван журналом, Загоскин упомянут как один из «виднейших мастеров» романа «до Пушкинских пор» и т. д. Речь идет не о случайных ошибках или оплошностях, которые возможны в любой работе. Нет, здесь создается впечатление поразительной беззаботности ее автора в отношении точности тех сведений, которые он сообщает. Фактическая недостоверность и вульгарно-примитивный подход к литературе, которыми отмечена работа И. В. Гуторова, — это один из тех недостатков, борьба с которыми должна быть беспощадной, ибо он резко диссонирует с общим уровнем нашей литературоведческой науки.

Литературоведение — наука, имеющая свою специфику. Литературовед должен обладать художественным чутьем, чтобы правильно понимать произведение искусства и, что не менее важно, уметь перевести на язык науки, теоретических обобщений конкретно-чувственную, образную природу искусства. На Втором съезде советских писателей приводились примеры того, какие прискорбные результаты дает отсутствие у историка литературы и критика художественного чутья, к каким чудовищным вульгаризациям приводит неспособность отдельных литературоведов и критиков анализировать явления художественной формы.

Для успешного изучения историко-литературного процесса необходимо расширить, так сказать, радиус научных исследований. Русская литература замечательна не только своими корифеями. Между тем узок круг изучаемых да, кстати, и издаваемых авторов. Полный перечень «забытых» писателей был бы слишком обширен. У нас нет книг — не только монографий, но даже отдельно изданных критико-биографических очерков — о таких писателях, как Огарев, Тютчев, Жуковский, Батюшков, Баратынский, Языков, А. К. Толстой, Решетников, Слепцов, Михайлов, Плещеев и т. д. А ведь их творчество тоже достояние русской национальной культуры! Ни разу за советские годы не выходили отдельными книгами художественные произведения прозаиков Панаева, Даля, Букова, Мачтета и т. д. Подавляющее большинство названных писателей совершенно

не изучено. О них лишь изредка и мельком вспоминают иные авторы диссертаций.

Так же, если не хуже, обстоит дело со многими значительными явлениями в истории русской критики. Упомянем, например, такую яркую и сложную фигуру, как Н. И. Надеждин. Чернышевский называл Надеждина «образователем» Белинского, заложившим «прочные основания нашей критики». Он писал: «Когда исполнится высказанное многими желание, чтобы издано было полное собрание сочинений Надеждина, почти каждый из наших ученых, чем бы ни занимался он, найдет, что многие важные вопросы его специальной науки лучше, нежели кем-нибудь у нас, объяснены Надеждиным, и будет изучать его труды...» Сто лет прошло с тех пор, как были написаны эти строки. Но и поныне нет не только полного собрания сочинений Надеждина, но даже маленького сборника его статей. А в примечаниях к вышедшему несколько лет назад третьему тому полного собрания сочинений Белинского имя Надеждина упомянуто в одном ряду... с Булгариным! Так черным по белому и сказано — о «реакционных продажных журналистах и критиках типа Булгарина, Греча, Сенковского, Надеждина...» Не издаются и почти не изучаются критические работы Веневитинова, Полевого, Валериана Майкова, Аполлона Григорьева и т. д. Все они, сыграв в свое время видную роль в истории русской литературы и критики, оказались затем почти вычеркнутыми из нее, что, безусловно, неправильно.

И еще одно замечание в этой связи. Вполне естественно, что внимание исследователей сосредоточено на изучении наиболее важных прогрессивных и демократических явлений русской литературы. Но, анализируя идейную борьбу, которую вели прогрессивные силы русской общественной мысли против реакции или либералов, надо ясно отдавать себе отчет и в том, что собой представляли те деятели литературного движения, которые противостояли демократическому лагерю. Авторы же иных литературоведческих работ чаще всего поступают так: они предают анафеме, скажем, Дружинина, Боткина, Анненкова, но при этом не дают себе труда конкретно выяснить существо их идейной и эстетической позиции. Или так: они подробно излагают борьбу революционных демократов против так называемого антинигилистического романа шестидесятых годов, но что

конкретно собой представляет этот самый роман — остается тайной за семью печатями.

Нужно ли говорить о том, что такой способ научного анализа ничего общего с наукой не имеет!

Все это мешает исследованию процесса развития русской литературы во всем его сложном и противоречивом многообразии. А это сейчас одна из важнейших задач нашей науки. Прошлогоднее обсуждение макета нового трехтомника истории русской литературы в Институте мировой литературы показало, сколь многотрудной является эта задача.

Но решать ее обязательно надо.

От наших литературоведов требуется не только монографическое исследование творчества отдельных писателей, но и разрешение общих вопросов литературного процесса, раскрытие закономерностей этого процесса, изучение реализма в его развитии.

Недавняя дискуссия о реализме, проведенная Институтом мировой литературы, при всех ее недостатках, создала основу для углубленного исследования более конкретных аспектов этих проблем.

В работах последних лет все скольконбудь значительные писатели прошлого объявлялись реалистами. Реализм стал комплиментом и превратился из категории эстетической в эмоциональную, или, точнее, юбилейно-номенклатурную. В свете минувшей дискуссии чрезвычайно важно для историков русской литературы заняться исследованием эволюции реализма, то есть конкретным осмыслением своеобразия реалистического метода в творчестве Пушкина, Гоголя, Тургенева и т. д. Следует при этом иметь в виду, что поступательное развитие реализма не было абсолютным. Конечно, каждый крупный писатель своим художественным опытом чем-то обогащал искусство сравнительно со своими предшественниками. Но было бы неверно представлять себе дело таким образом, что развитие русского реализма от Пушкина до Чехова протекало во всех своих элементах как процесс, который лишь непрерывно обогащался и ничего не утрачивал. Например, реализм «натуральной школы» знаменует собой следующий и очень важный после Пушкина этап в развитии русской литературы. Но вместе с тем нельзя забывать и того, что реализм писателей гоголевской школы какие-то черты, свойствен-

ные пушкинскому реализму, утратил — скажем, черты универсальности, всесторонности, энциклопедизма в изображении действительности, а также то светлое, оптимистическое восприятие жизни, которым был проникнут пушкинский реализм. Или еще пример. Л. Толстой в огромной степени расширил возможности реалистического искусства. Мощью своего художественного гения он оказывался способным преодолеть узость и ограниченность своих теоретических взглядов. Но усиление в Толстом религиозно-моралистических тенденций все-таки не прошло бесследно для него как художника, в каких-то моментах и обеднив его искусство сравнительно с творчеством некоторых наиболее выдающихся художников предшествующих десятилетий.

Все это настоятельно предостерегает нас от слишком суммарного и общего исследования реализма. Это исследование необходимо вести с максимальным учетом индивидуального своеобразия тех крупных художников, творчество которых двигало вперед реалистическое искусство.

Вместе с тем один из наиболее распространенных недостатков наших историко-литературных работ состоит в том, что анализ того или иного автора ведется по «замкнутому кругу». В книге об одном писателе мы редко находим обобщения, которые проясняли бы какие-то элементы в творчестве других, исследование идейной проблематики и стиля произведений одного художника редко расширяет наше представление об историко-литературном процессе вообще.

Серьезным событием в жизни нашего литературоведения явилась в свое время публикация «Истории русской литературы» Горького (1939), представляющей собой, как известно, черновые записи материалов к лекциям, которые автор читал в 1909 году в Каприйской партийной школе.

Эта острая, полемичная, воинствующая книга вся была повернута к политическим задачам современности. Отнюдь не все наблюдения Горького могут быть сегодня приняты, некоторые из них представляются слишком односторонними, категоричными, а иные и вовсе неверными. Методологическая основа этого курса лекций далеко не безупречна. На ней лежит известный отпечаток идеалистических убеждений, свойственных в то время Горькому. Тем не менее его превосходные по силе и точности характеристики Фонвизина, Пушки-

на, Лермонтова, Шевченко, Толстого, а также отдельные его теоретические формулировки стали классическими.

Но есть в этой книге сторона, особенно поучительная для нашего литературоведения. Лекции Горького насыщены мыслями, теоретической проблематикой, глубоким анализом различных явлений русской литературы. Это острая, «концептуальная» книга. Горький не описывает историю литературы, но «анатомирует» ее, сопоставляет, спорит, убеждает. Автор словно погружает читателя в сложную лабораторию аналитической мысли. И это поучительно для авторов, работающих над курсами истории русской литературы.

Полтора десятилетия работал большой коллектив ученых над десятитомником истории русской литературы, изданным Академией наук СССР. Создан монументальный труд, по широте охвата изучаемого материала не имеющий прецедентов в русском литературоведении. Это первый опыт марксистского исследования истории русской литературы от момента ее возникновения до Великой Октябрьской социалистической революции. Но сейчас, когда труд завершен, особенно ясны некоторые его серьезные недостатки. Главная беда десятитомника в том, что единая точка зрения на историко-литературный процесс в нем не выдержана последовательно. В «Истории» нет единого стержня, поэтому она часто разламывается на главы, в сущности между собой никак не связанные. От иных разделов отдает духом позитивистской всеядности.

В этой связи следует сказать вот о чем. В прошлом коллективные формы работы над многотомными книгами имели большое значение, ибо помогали преодолеть разобщенность литературоведов и направить их усилия на решение единой плановой задачи. Но одностороннее увлечение такими формами вряд ли плодотворно, хотя при определенных условиях они могут быть, конечно, полезны и ныне — особенно тогда, когда коллективы немногочисленны, объединены одной концепцией и связаны общностью взглядов по важнейшим вопросам исследуемой темы. Опыт, как нам кажется, свидетельствует о том, что, когда эти условия отсутствуют, коллективно-бригадные формы научной деятельности отнюдь не всегда венчаются должными результатами. Книга, написанная одним автором, имеет много преимуществ, так как

она рождается единым дыханием и более органична по своему замыслу и исполнению, более целостна в теоретическом отношении. Это можно сказать также и про общие курсы истории литературы.

Существенная особенность советского литературоведения состоит в том, что оно изучает историко-литературный процесс в неразрывной связи с историей жизни народа, с многообразными явлениями, характеризующими развитие общества. Но наша наука исходит из понимания того, что искусство и литература обладают и своей относительной самостоятельностью. Развитие искусства управляют не только внешние закономерности, но и внутренние. Какова же природа, специфика одних и других? Как они между собой соотносятся? Каков характер их воздействия на развитие литературы? Эти и многие другие вопросы, связанные с общей проблемой закономерностей, должны стать предметом серьезного исследования.

Разумеется, успешное решение этой проблемы мыслимо в пределах не одной русской литературы, но в масштабах общемирового литературного процесса. Непрерывно расширяющиеся экономические и культурные связи между народами, взаимозависимость исторических судеб разных народов — это определяет необходимость искать теоретические выводы о закономерностях развития художественной литературы, выходя за национальные рамки одного народа.

Успешное исследование русской, как и любой другой национальной литературы возможно лишь при условии, что она будет осмыслена как часть общемирового литературного процесса. Отсюда — необходимость широкого сравнительно-исторического изучения литератур различных народов. Эта область историко-литературной науки в последние годы находилась в загоне. Любое слово о влиянии того или иного зарубежного писателя на русского объявлялось проявлением компаративизма и низкопоклонства. Теперь ясно, что такая постановка вопроса была проявлением конъюнктурщины и в корне противоречила марксизму. В предисловии к первому изданию «Капитала» Маркс подчеркивал, что «всякая нация может и должна учиться у других»¹. Еще в «Коммунистическом мани-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVII, стр. 8.

фесте» основоположники научного социализма писали о «всестороннем обмене и всесторонней взаимной зависимости народов как в области материального, так и в области духовного производства», а также о том, что «плоды умственной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием»¹.

Эти суждения Маркса и Энгельса не только указывают на то, какое большое значение имеет исследование взаимосвязей различных литератур, но и намечают правильную методологию этого исследования.

Великий опыт русской классической литературы, на протяжении многих десятилетий глубоко связанной с идеями освободительного движения, был драгоценен для духовного развития других народов и имел подлинно международное значение. С другой стороны, русская литература в своем развитии не могла игнорировать политические и эстетические идеи многих зарубежных литератур, отразивших исторический опыт своих народов.

Сравнительно-историческое изучение русской и зарубежных литератур имеет определенные традиции в русской науке. Надо внимательно и критически присмотреться к тому, что было уже ею сделано в свое время, и оценить это с точки зрения современных научных требований. Многие представители сравнительно-исторической школы в русском литературоведении допускали серьезные методологические ошибки. Но критика этих ошибок не должна иметь ничего общего с тем нигилистическим перехлестом, который позволяли себе некоторые авторы поверхностных статей и речей в отношении, например, такого крупного ученого, как Александр Веселовский.

Одновременно следует усилить изучение взаимосвязей русской литературы и литератур народов, населявших царскую Россию. А здесь еще непочатый край работы. Чрезвычайная актуальность этой задачи была еще раз справедливо подчеркнута на недавнем IV пленуме Союза писателей.

В интересах более всестороннего изучения историко-литературного процесса и управляющих им закономерностей следует создать работы по истории отдельных литературных жанров — например, по истории русского романа XIX века, так высоко

ценного Энгельсом, по истории русской лирики.

Необходимо разработать новую схему научной периодизации русской литературы XIX века. Теперь уже всем ясно, что механическое перенесение ленинской периодизации русского освободительного движения в область истории литературы — неправильно. При той схеме, которая ныне принята, неизвестно, где оказывается литература первой четверти XIX века, вовсе утрачивается значение такого важного этапа в развитии литературы, как сороковые годы. По существу за пределами этой схемы оказываются и пятидесятые годы. Не случайно это десятилетие прошло «незамеченным» в десятитомнике истории русской литературы, а писателей, творческий расцвет которых падает на пятидесятые годы, — например С. Т. Аксакова — поместили в раздел... сороковых годов!

Опираясь на ленинскую схему, надо создать такую периодизацию, которая учитывала бы специфику и внутренние закономерности историко-литературного процесса.

Разрешение всех этих вопросов прежде всего зависит от общего теоретического уровня нашей науки, от развития теории литературы. Речь идет не только о создании специальных теоретико-литературных работ — это тоже необходимо, но и о том, чтобы разработка конкретных историко-литературных проблем велась в неразрывной связи с постановкой общих теоретических вопросов. Без теории не может развиваться никакая наука, и тем более такая, как литературоведение.

Можно было бы привести много примеров, свидетельствующих о том, как недопустимо отстает у нас разработка теоретических вопросов. Но примером, пожалуй, едва ли не самым показательным является то, что наша наука о литературе еще недостаточно осваивает наследие Ленина. Необходимо более всесторонне исследовать связь общетеоретических идей ленинизма с проблемами русской литературы и культуры в целом. Основываясь на соответствующих трудах Ленина, следует заново осмыслить некоторые явления в истории нашей отечественной литературы — например, литературу семидесятых годов. Та односторонняя оценка народничества, которая долгое время господствовала в исторической науке, мешала объективно оценить и сильные и слабые стороны творчества писате-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс: Сочинения, т. V, стр. 487.

лей-народников. Следовало бы обстоятельнее и более творчески изучить ленинские высказывания по различным вопросам русской литературы, осмыслить их конкретно-историческое и особенно теоретическое значение. Очень важным представляется изучение методологии и анализа Лениным литературных явлений — скажем, творчества Толстого, Герцена, Чернышевского, а также принципов использования им образов классической литературы в борьбе против идейных врагов социализма. Более глубокое и всестороннее изучение ленинского наследия принесет неоценимую пользу нашему литературоведению, поднимет его идейный и теоретический уровень, поможет ему стать наукой, вполне отвечающей современным требованиям.

Наука о литературе — важная область идеологической борьбы. Советские литературоведы не могут забывать, что у них есть идейные противники. Одна из актуальнейших задач состоит ныне в том, чтобы вести наступательную борьбу против реакционной буржуазной идеологии, нередко протаскиваемой в издаваемых за рубежом книгах о русской литературе.

Вместе с тем за пределами нашей Родины — в странах народной демократии, да и в капиталистических странах — среди ученых все более растет интерес к изучению русской литературы. За последнее десятилетие было опубликовано много книг, посвященных проблемам русского критического реализма, творчеству Чехова, Толстого, Достоевского. Назовем для примера несколько вышедших в Англии и Франции книг: Дороти Брустер, профессор Колумбийского университета, «Путь с Востока на Запад» (Лондон, 1954; исследование, посвященное вопросу о влиянии русской литературы на литературу США и Англии); Гилберт Фелпс «Русский роман в английской художественной литературе» (Лондон, 1956); В. Бучик «Русская литература во Франции» (Париж, 1947); две книги Дэвида Магаршака — о Чехове-драматурге (Лондон, 1952) и о Гоголе (Лондон, 1956). Перечень этот можно было бы продолжить. Разумеется, идейные методологические основы названных книг далеко не бесспорны, а порой и прямо ошибочны. Но быть в курсе этих работ необходимо. Особенно интересны для нас наблюдения зарубежных исследователей, касающиеся влияний того или иного русского писателя на их отечествен-

ную литературу. Между тем в наших литературно-художественных журналах совершенно не публикуются обзоры, посвященные этим книгам. Научная информация в этой области поставлена из рук вон плохо. Правда, в самое последнее время редакция «Вопросов литературы» стала восполнять пробел. Но одних ее усилий оказывается явно недостаточно. Давно назрела необходимость в издании реферативного журнала по языку и литературоведению, аналогичного тем, которые Институт научной информации издает по различным отраслям естественных и технических наук. Это очень нужно и для того, чтобы советские ученые имели возможность своевременно реагировать на вражеские выпады против нашей культуры, нередко имеющие место в зарубежных исследованиях о русской литературе, а также и для того, чтобы учитывать то полезное, что в этих исследованиях содержится.

Справедливо критикуя недостатки и ошибки дореволюционного литературоведения, мы позволяем себе иной раз неправильное, граничащее с нигилизмом, отношение к нашей отечественной, старой русской историко-литературной науке. Литературоведение едва ли не единственная область науки, в которой труды дореволюционных ученых почти не переиздавались в советские годы. Исключение было сделано, кажется, лишь в отношении одного А. Веселовского. Преданы забвению работы Тихонравова, Сухомлинова, Пыпина, Венгерова, Трубицына, Чешихина-Ветринского — книги, которые при всех свойственных им недостатках не потеряли своего значения для современного читателя. Интересная и содержательная книга Н. К. Гудзия о Тихонравове, недавно опубликованная Московским университетом, должна положить начало целой серии аналогичных работ. Следует всячески форсировать давно задуманную и слишком медленно продвигающуюся вперед работу по истории филологической науки, в которой немаловажное место займет литературоведение.

Одним из самых слабых участков нашей науки является библиография. Хорошо поставленная библиография — верный признак культуры умственного труда в стране. Каждый ученый и писатель знает, как много сил и времени тратится на розыски нужной книги или статьи. А эти силы и время могли бы быть сэкономлены. В области

библиографии — общей и частной — мы отстали от многих зарубежных стран. И это тем более присорбно, что русская библиография имела в прошлом немалые достижения. До сих пор у нас нет ясно-го представления о количестве изданных в нашей стране книг с начала XVIII века до 1917 года. Статистические данные колеблются от шестисот—семисот тысяч до миллиона названий. Задолго до революции поднимался вопрос об издании единого библиографического свода. Но осуществить такое грандиозное мероприятие усилиями отдельных энтузиастов было невозможно. Эта задача, имеющая общегосударственное значение, должна быть решена ныне.

Библиография по литературоведению чрезвычайно запущена. В последнее время она носила исключительно выборочный, рекомендательный характер. Думается, что сейчас у нас есть все условия для нормального развития этой важной области культуры. Необходимо создавать исчерпывающую библиографию. Отсутствие ее тормозит развитие науки.

В Институте русской литературы в Ленинграде хранятся драгоценные картотеки Б. Л. Модзалевского и С. А. Венгерова. Это уникальные справочные материалы, необходимые каждому литературоведу. Но они приходят в ветхость, и пользоваться ими вскоре станет невозможно. Пора поставить вопрос об издании этих материалов. Вообще назрела необходимость организовать при одном из академических институтов специальный сектор библиографии.

Существенным подспорьем для изучения литературного прошлого являются воспоминания современников. Усилиями советских литературоведов и историков было издано и научно прокомментировано немало ценных памятников мемуарной литера-

туры. В свое время эту работу интенсивно осуществляло издательство Academia. По качеству текстологической работы и уровню научного аппарата большинство советских изданий мемуарной литературы значительно превосходит соответствующие дореволюционные издания. Помимо персональных мемуаров, широкое распространение получили издания сборников воспоминаний современников о том или ином писателе, например, о Пушкине, Гоголе, Герцене, Толстом, Чехове.

И все же за бортом остается до сих пор огромный неизданный и неиспользованный материал. В различных архивных хранилищах страны хранится немало ценнейших рукописей произведений этого жанра, которые никак не дождутся издателя. До сих пор не опубликованы хотя бы частично, в извлечениях, громадные по объему интереснейшие дневники М. П. Погодина и Ф. В. Чижова, воспоминания М. А. Дмитриева, А. В. Дружинина. До сих пор не разысканы рукописи некоторых мемуаров, о существовании которых имеются указания современников. Мы имеем в виду, например, записки А. Ф. Воейкова, дневники В. В. Измайлова. Незадолго перед смертью П. П. Свиньин писал в эпитафии к одной своей статье: «Более 30 лет, именно с похода моего в Адриатику, на эскадре адмирала Сенявина, я веду постоянно свой дневник, замечая бегло все необыкновенное, со мной случившееся, все странное и удивительное, мною виденное и слышанное». В качестве издателя «Отечественных записок» Свиньин встречался со множеством писателей. Его записки могли бы представить несомненный интерес. Но где они?

Думается, что публикации мемуаров должно гораздо больше уделять внимания Издательство Академии наук.

* *

За четыре советских десятилетия наше литературоведение прошло большой путь. Его история сопряжена с непрерывной борьбой за утверждение марксистско-ленинской методологии. Дискуссии вокруг проблем реализма и народности, метода и мировоззрения, стиля и языка, разоблачение идеалистической методологии компаративизма и рецидивов новорапповского ниглизма в отношении классического наследия — таков далеко не полный перечень событий лишь последних двух десятилетий,

в процессе которых подверглись испытанию идейная зрелость и партийность науки о литературе.

Один из самых острых моментов идейной борьбы нашей науки был связан с вопросом об отношении к классическому наследию. Советскому литературоведению приходилось защищать классическое наследие русской литературы от различных нигилистов и псевдоноваторов, от всех догматиков и сектантов, какое бы обличье они ни принимали. Наша наука о литературе росла

вместе с советской культурой, мужала в борьбе против формализма, вульгарной социологии, беспринципной теории «единого потока», тех или иных проявлений ревизионизма и т. д.

Различные перипетии этой борьбы полезно время от времени вспоминать. И отнюдь не для того лишь, чтобы ворошить прошлое. История нередко оказывается лучшим учителем и помогает отчетливее понять самые животрепещущие вопросы современности.

Не следует забывать, что в напряженной борьбе, которая сейчас идет в мире между силами прогресса и реакции, участвуют все виды идеологического оружия. Среди них не последнее место принадлежит науке о литературе. Некоторые существенные аспекты тех дискуссий, которые в последнее время развернулись в области литературы, живописи, эстетики в таких странах, как Польша или Югославия, становятся гораздо яснее в свете исторического опыта нашей критики и историко-литературной науки. Идеология ревизионизма, под каким бы флагом она ни выступала, имеет общий корень.

В первые годы после Октябрьской революции вопрос об отношении к классическому наследию явился предметом необычайно страстных споров в среде художественной интеллигенции. И это было естественно. Новый мир, рождавшийся в муках, в огне революции, настоятельно требовал заново осмыслить всю историю человечества и созданной им культуры. В ту пору появилось немало горячих голов, «именем революции» призывавших сбросить «с корабля современности» Рафаэля и Пушкина, искусство которых якобы безнадежно устарело и во всяком случае утратило свое живое значение для современного общества. С подобными призывами выступали люди, представлявшие разные группировки — и Пролеткульт, и Леф, и РАПП. И хотя аргументация этих призывов звучала всякий раз по-иному, их полная несостоятельность — эстетическая и политическая — обнаруживалась очень скоро и притом с предельной очевидностью.

Нет необходимости напоминать здесь о том, как высоко ценил Ленин художественное наследие классиков, как неутомимо работал над тем, чтобы оно стало подлинным достоянием всего народа. В 1921 году, в самый разгар гражданской войны, в усло-

виях страшной нищеты и разрухи, какие переживала тогда молодая Советская республика, Владимир Ильич предложил, чтобы в течение одного года каждая из имевшихся в стране пятидесяти тысяч библиотек и читален была обеспечена по крайней мере двумя экземплярами «всех необходимых классиков всемирной литературы»¹. Хорошо известно нетерпимое отношение Ленина к легкомысленному, нигилистическому отрицанию творчества великих русских писателей, которое проявлялось у иных сторонников «левого» искусства.

И удивительно, что в некоторых странах народной демократии имеются писатели, которые, вероятно, искренне считают себя марксистами и в то же время легко предаются забвению исторические уроки. Среди этих товарищей распространено представление о том, что реализм XIX века давно изжил себя и не может иметь никакого благотворного влияния на развитие современного искусства.

Отзвуки этих идей можно услышать, например, у отдельных польских литераторов и художников, которым границы реалистического искусства стали казаться слишком «тесными». На состоявшейся в 1956 году XIX сессии культуры и искусства — той самой, на которой Ян Котт выступил со своим «программным» докладом «Мифология и правда», — художник Тадеуш Кантор пытался теоретически обосновать необходимость разрыва современного искусства с «устарелыми» традициями реализма. Знамя передового искусства отныне, по его словам, принадлежит кубизму, абстракционизму, сюрреализму — тем течениям, которые «блещут в себе великий поход современности».

Нигилистическое отношение к классическому наследию закономерно совмещается с пренебрежением к традициям народно-поэтического творчества, якобы тоже уже устаревшего и не представляющего интереса для современного искусства и современного читателя.

Подобные голоса особенно часто раздаются в Югославии среди тех писателей, которые именуют себя приверженцами «модерна» — некоего «новейшего» направления в искусстве.

Итак, «реализм безнадежно устарел». Ему на смену пришли гораздо более сложные и утонченные формы искусства, для

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 32, стр. 110.

анализа которых уже бессильны те критерии и методы, которыми руководствовались в прошлом столетии, — например, критики революционно-демократического направления. Эти идеи югославского критика Коса, с которым, кстати, справедливо полемизировал его соотечественник, критик Борис Зихерл, отражают программу всего современного югославского «модерна». В минувшем году в июньском номере сараевского журнала «Израз» напечатана характерная «Анкета о модерне». Один из ее участников, известный поэт и прозаик Оскар Давичо, заявил, что во имя «нового содержания» современные писатели Югославии «почувствовали себя вынужденными, вследствие недостаточности унаследованных литературных методов, найти новые, более близкие восприятию мира, о котором они хотели бы сообщить даже ценою того, что вызовут негодование и будут непонятыми».

Теоретической предпосылкой всех подобных выступлений является мысль о необходимости «революционизировать форму». В этом сторонники «модернизма» видят главную задачу современного искусства. Так отказ от традиций классического реализма закономерно смыкается с позицией, носящей по существу формалистический характер.

И здесь снова полезно вспомнить историю борьбы советского литературоведения.

Одним из первых и наиболее опасных идейных противников марксистско-ленинского литературоведения был формализм, выступавший во множестве разновидностей. Уходя своими корнями еще в дореволюционную эпоху, «формальный метод» в советские годы значительно активизировался и стремился занять монопольное положение в литературной критике и историко-литературной науке. Формалисты провозгласили войну «философской эстетике» и «идеологическим формам искусства», находившимся, по их мнению, во власти «субъективно-эстетических принципов», пытались выдать свое направление за единственно возможный «объективно-научный» метод изучения литературного наследия прошлого. Смысл этого метода состоял в том, что литература выключалась из сферы идеологии, а созданные на этой основе историко-литературные построения оказывались совершенно изолированными от общенсторических и общеполитических предпосылок. Во внут-

реннем, «имманентном» развитии художественной формы сторонники «формального метода» видели главную закономерность историко-литературного процесса.

Идейный разгром формализма явился серьезной победой молодого советского литературоведения. Об этом тем более уместно напомнить сейчас, что реакционная буржуазная идеология на Западе (и, кстати, особенно в США) старается не только выдать запоздалую индульгенцию «формальному методу» и, в частности, такой воинствующей его разновидности, как ОПОЯЗ, но и, подняв на щит, представить его чуть ли не самым крупным достижением литературоведческой науки в Советской стране...

Значительный вред развитию нашего литературоведения принес в свое время вульгарный социологизм. Он появился как своего рода реакция против буржуазной методологии, отрицавшей какую бы то ни было социальную обусловленность литературного явления, игнорировавшей исторические, социальные и национальные закономерности в развитии искусства, рассматривавшей литературное произведение лишь как выражение тех или иных особенностей индивидуальности писателя, творящего по собственному произволу. Но, выступая против одной формы субъективизма, вульгарные социологи по существу утверждали другую. Игнорируя ленинскую теорию отражения, они в своих построениях становились на позиции субъективной социологии. Усвоив одно положение марксизма о решающем значении в развитии искусства социально-исторических факторов, вульгарные социологи отрывали это положение от другого, не менее важного, смысл которого состоял в том, что развитие искусства обладает и своей относительной самостоятельностью. Представляя себе связь между общественными явлениями и искусством слишком непосредственной и прямолинейной, они предавали забвению специфическую природу искусства. Прикрываясь фальшивой псевдомарксистской фразеологией, они творили инквизиторский суд над художественным творчеством классиков. От писаний вульгарных социологов веяло холодным и тупым равнодушием к искусству, неспособностью понять его душу, его поэзию и красоту.

Вульгарный социологизм давно посрамлен и разбит. Но он — не только история.

Различные его пережитки еще заявляют о себе в том или ином высказывании, в статье, а порой даже и в книге. Особенно живучи отдельные проявления догматизма, а то и просто вульгарного подхода к решению сложных вопросов искусства. Совсем недавно, например, перед самой дискуссией о реализме, одна из московских газет издателя статью критика В. Залесского, в которой можно было прочитать следующее: «Разве кончилась борьба с влияниями и чуждой идеологией? Взять хотя бы совсем свежие факты. Еще недавно на страницах некоторых наших газет и журналов бралось под сомнение само понятие социалистического реализма. Реализм же сводился только к историческому периоду развития искусства XIX века, как будто бессмертные произведения античного искусства, эпохи Возрождения не были по-своему реалистическими, как будто в них не оразилась великая правда жизни» (подчеркнуто мною.— С. М.). Итак, если вы не согласны с тем, что реализм начинается от Гомера,— вы проводник «чуждой идеологии»... Конечно, столь явная вульгаризация сейчас уже в диковину. Но в более осторожной и завуалированной форме это явление встречается еще нередко.

Советское литературоведение бережно хранит наследие классиков от различных покушений на него. Но хранить наследство — значит не только ограничиваться наследством. Эта мудрая, звучащая чеканным афоризмом мысль Ленина определила и другое важное направление нашей историко-литературной науки. Изучение прошлого русской литературы не должно быть оторвано от интересов современности и, в частности, от боевых задач советской литературы. Это одна из самых важных заповедей нашей науки, это один из тех главных критериев, которым определяется ценность литературоведческого исследования.

Некоторые представители старого «академического» литературоведения возводили в принцип свое пренебрежение к современной им литературе. Считалось, что чем менее предмет исследования связан с интересами сегодняшнего дня, тем более объективным и «научным» может быть его изучение.

Советское литературоведение с первых дней своего существования борется за сближение с современностью, и все же литера-

туроведческие работы оказывают еще слабее влияние на развитие текущей литературы. Об этом также вполне резонно напомнил последний пленум Союза писателей.

До сих пор внутри литературоведения продолжают сосуществовать два обособленных цеха: историки литературы и критики. Конечно, определенное разграничение, так сказать, «сфер интересов» не только правомерно, но и необходимо. Каждая из этих сфер имеет свои профессиональные особенности, овладение которыми требует времени и больших усилий. Совершенно естественно, что определенная часть работников сосредоточивает свои усилия преимущественно на изучении истории литературы, другая — преимущественно на изучении современной литературы. Но такое вполне естественное «разделение труда» не имеет ничего общего с той цеховой замкнутостью, которая иногда все еще создается внутри каждой из этих «курий».

Критик оперативно откликается на явления текущей литературной жизни. Он непосредственно вмешивается в литературный процесс и в известном смысле сам является его участником. Но и историк литературы не может быть чужд интересам современного ему литературного процесса, хотя у литературоведа отношения с ним, конечно, несколько более опосредствованы. Представление о литературоведении как области знания, обращенной лишь в прошлое и не имеющей никаких контактов с современностью, стало уже анахронизмом. История литературы решает сложные научные проблемы, непосредственно связанные с злободневными явлениями современной идейной жизни. Может быть, еще не перевелись отдельные историки литературы, готовые с необычайным темпераментом спорить по какой-нибудь частной, третьестепенной подробности литературы XVIII или XIX века, но способные сохранять величавую незаинтересованность в отношении самых животрепещущих вопросов развития современной советской литературы. Однако такой историк литературы, если он еще и существует, становится уже ископаемым...

Лет восемь назад в Союзе писателей было создано несколько необычное собрание. Его участниками были литературоведы Москвы и Ленинграда, к которым А. А. Фадеев обратился со страстным призывом стать ближе к интересам и судьбам современной литературы. Речь шла о том, что критикам и историкам литературы следует стать ближе

друг к другу. Историк литературы должен быть и критиком, то есть должен иметь вкус к изучению современной литературы, если он действительно проникнут стремлением изучать процессы развития литературы в большой исторической перспективе. С другой стороны, критик обязан быть и историком литературы, иначе он не может всерьез, научно анализировать, скажем, вопросы мастерства в свете исторического опыта отечественной и мировой литературы.

Старая «академическая» историко-литературная наука пренебрежительно относилась к критике. Она искусственно возводила стену между двумя областями литературоведения. Вопрос этот однажды сделал предметом специального обсуждения академик В. М. Истрин в книге «Опыт методологического введения в историю русской литературы XIX века», вышедшей в 1907 году. Задача критики, по его словам, ограничивается лишь тем, чтобы «разъяснить, что сказал тот или другой автор в своем произведении, разъяснить смысл произведения независимо от пространства и времени». Между тем как задачей историка литературы является разъяснение «того внутреннего процесса, который происходил в душе художника, когда он создавал свое произведение». Критик берет произведение «само по себе», как «готовое явление», он судит лишь о впечатлении, какое оно производит на читателя; историк литературы же обязан анализировать, почему сказал автор так или иначе. Иными словами, задача критика — чисто описательная, а историка литературы — более сложная, аналитическая.

Такого же рода демаркацию пытались устанавливать и в советские годы представители так называемого «формального метода». Метод истории литературы, по их словам, основан на науке, между тем как критика в основе своей импрессионистична.

Все эти рассуждения давно опровергнуты жизнью. Можно назвать ряд литературоведов, сочетающих историко-литературные занятия с активным интересом к современной советской литературе, — например, Б. И. Бурсова, А. Г. Дементьева, В. В. Ермилова, Б. С. Мейлаха, Т. Л. Мотылеву, Л. А. Плоткина, Б. С. Рюрикова, Л. И. Тимофеева, В. Р. Щербину, Я. Е. Эльсберга. И все-таки упрям историкам литературы в том,

что они еще мало оказывают влияния на современную литературную практику, достаточно справедлив. Надо сказать, что формы контакта между историко-литературной наукой и современным литературным процессом могут быть гораздо более многообразны и действенны. И этот контакт становится реальным не только в случае «переклечения» историков литературы на темы современности (что, разумеется, тоже важно), но и в их собственной, так сказать, коренной сфере деятельности. Речь идет о том, что разработка любой значительной историко-литературной темы может и должна быть повернута к современным задачам советской литературы и соотнесена с ее историческим опытом.

Советское литературоведение в большом долгу перед народом. Оно обязано еще глубже и ярче раскрывать величие русской классической литературы, проследить развитие ее традиций в советской литературе. В Приветствии ЦК КПСС Второму съезду писателей указывалось: «Все еще серьезно отстают литературная критика и литературоведение, которые призваны разрабатывать богатейшее наследие классики и обобщать опыт советской литературы, содействовать идейно-художественному росту нашей литературы». И это не две, а одна общая задача, стоящая перед двумя отрядами литературоведения — критиками и историками литературы.

Как и другие общественные науки, советское литературоведение переживает сейчас большой подъем. Десятки томов превосходно изданных классиков русской литературы, обширное количество отличных монографических исследований, капитальные издания «Литературного наследства», целая серия замечательных «летописей» жизни и деятельности писателей — вот что определяет нынешний уровень нашей науки о литературе. За четыре десятилетия своего существования советское литературоведение выросло в большую силу идейного и эстетического воспитания народа. И вместе с тем оно еще только в начале своего исторического пути. Глубоко связанные с политической жизнью своей страны, убежденно и страстно отстаивая партийные взгляды, советские литературоведы уверенно идут к новым творческим свершениям.



К 90-летию со дня рождения А. М. Горького

М. ГОРЬКИЙ

★

С ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ

...Мы перелистываем пожелтевшие страницы «Одесских новостей». Чуть ли не в каждом номере — корреспонденция из Нижнего Новгорода с подписью «А. П.-взъ». «А. П.-взъ» — это псевдоним М. Горького, который был корреспондентом «Одесских новостей» на Всероссийской промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. 28 мая 1896 года в «Одесских новостях» был напечатан первый очерк Горького, а 11 октября того же года в газете появилась заключительная статья. Шестьдесят девять статей Горького из «Одесских новостей» составили отдельный цикл «С Всероссийской выставки». Впервые Горький выступил с большим, единым законченным циклом очерков. Судьбы капитализма в России и развитие сельского хозяйства, кустарная промышленность и художественное ремесло, живопись и горное дело, трагическая участь личности в условиях эксплуататорского строя и вопросы литературы — трудно перечислить многочисленные вопросы, определившие содержание горьковских очерков. Впервые в своем творчестве Горький говорит в них о положении пролетариата, о жестокой эксплуатации рабочих на капиталистических предприятиях.

Злободневно звучат сегодня те места из очерков Горького, где писатель поднимает свой голос против войны, против чудовищных средств истребления людей.

В середине девяностых годов Горький лишь находился на путях к марксизму, он еще не мог поэтому вскрыть с такой глубиной природу империалистических войн, как он это делал впоследствии. Но уже и в этих выступлениях слышно биение сердца писателя-гуманиста, восстающего против того строя, при котором война рассматривается как извечный и естественный общественный инструмент. Это и роднит в какой-то мере ранние выступления Горького против войны с его более поздними статьями, в которых он, уже возглавляя ряды «мастеров культуры», так страстно разоблачал факельщиков империализма.

В очерках о павильонах Красного Креста и военно-морского отдела Горький с едкой иронией передает свою беседу с инженером-экскурсоводом, специалистом по военной технике, который утверждает, что «военная техника имеет целью гуманизацию войны». Однако ирония автора была далеко не безобидной, как это может показаться на первый взгляд. Иронизируя над рассуждениями доморощенного военспеца, Горький тем самым выступал против официальных кругов самодержавной России, бряцавших оружием и готовых для удовлетворения своих appetитов ввергнуть народы в кровопролитные войны. В противовес реакционным журналистам, которые в шовинистическом экстазе прославляли военную мощь самодержавия и восторженно писали о военно-морском отделе выставки, Горький в своих очерках из «Одесских новостей» решительно осудил средства уничтожения людей.

И в наши дни, когда человечество ведет грандиозную битву за мир, эти очерки Горького не утратили своей злободневности. Вот, например, автор приводит слова своего собеседника-военспеца о том, что «задача техники — создать один убар, такой, который бы начал и кончил войну», что «цивилизаторское» значение войны громадно, ибо производство вооружения обеспечивает работу миллионам людей. Нечто подобное можно услышать и теперь из уст твердолобых поборников гонки вооружений и апологетов водородной бомбы. А как свежо звучат и сегодня слова Горького, разоблачающие вымыслы о «просвещенности» английских колонизаторов или о «гуманности» американцев, придумавших способ умерщвления людей посредством электричества!

Многие впечатления, почерпнутые Горьким на выставке, были впоследствии использованы им в различных произведениях: от этих очерков тянутся нити к «Фоме Гордееву», к «Жизни Клима Самгина», к публицистике позднейших лет.

В «Беседах о ремесле» Горький сам подчеркивал, какой глубокий след оставила выставка в его жизни. «Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96 год.

В этом году в Нижнем-Новгороде была Всероссийская выставка и заседал «Торгово-промышленный» съезд. В качестве корреспондента «Одесских новостей» и сотрудника «Нижегородского листка» я посещал заседания съезда...».

Без всякого преувеличения можно сказать: нельзя представить правильную и полную картину творческого развития Горького в середине девяностых годов без учета его очеркового цикла «С Всероссийской выставки». А между тем до сих пор эти очерки, за исключением нескольких, не изданы, не включены в сборники его произведений и остаются неизвестными широкому кругу читателей.

Ниже публикуется несколько никогда не переиздававшихся статей Горького из цикла «С Всероссийской выставки».

Кандидат филологических наук
О. Семеновский.

С Всероссийской выставки

(От нашего специального корреспондента)

Ярмарка и Канавино¹

Вы спускаетесь с «Верхнего базара» на Софрониевскую площадь, и маленький винтовой пароходик Финляндского общества быстро перебрасывает вас из города через Оку, на Ярмарочный берег. Это стоит 3 или 5 к., как вам будет угодно поехать — на корме или на носу парохода.

Ярмарку выбелили. Ее корпуса, ранее напоминавшие собой об арестантских ротах и других казенных зданиях желтого цвета, ныне смотрят — особенно издали — такими новенькими, чистенькими, приспособленными для вмещения в себе людей и деяний тоже новеньких и чистеньких. Но это, конечно, одна иллюзия, ибо торговые приемы на Макарьевской и ее полуторамесячная пьяная и буйная жизнь достаточно хорошо известны и никаких надежд на исправление к лучшему еще не подали.

Ярмарка пустынна, хотя до открытия ее осталось восемь дней — она открывается в один день с выставкой.

Товаров пришло еще мало, оптовых торговцев совсем нет, розничники тоже не торопятся съезжаться.

По отзывам нижегородских торговцев, им и некуда торопиться и незачем. Предполагается, что ярмарка будет бледна, тиха, съезд мал, и розничная торговля будет совершенно убита выставкой.

— Почему?

— А видите ли, сударь мой, — объясняет мне дело сведущий человек, — на выставке будет товар образцовый, и по цене он пойдет по низкой — потому выставка, дело идет сначала о чести и славе фирмы, а потом уже о барыше. На ярмарке розничное дело стоит иначе — товар везут лежалый, дают его по высокой цене, ставят, прежде всего, барыш. Иначе нельзя — на выставке торгует фабрикант, сам производитель, ему надо оправдать цену сырья, обработку, провоз, витрину, и тут все. Ярмарочный розничник должен оправдать все это, с процентом фабриканту и с процентом на свой капитал. А выставочник за медаль, за рекламу — процента на свой капитал не возьмет. Он даже в убыток продаст — ярмарочному торговцу этого нельзя. Это нам, нижегородцам, больно на руку. Жали они нас до слез, даже розничники-то ярмарочные, теперь для них самих наступили кислые дни. Будут сложа ручки сидеть. А не приехать — тоже нельзя: боязно, раззнакомиться со старыми покупателями можно. Покупатель приехал: «Где фирма?» Нет ее. Он — в другую.

— А вам почему их неудача на руку?

¹ Канавино — пригород Нижнего Новгорода, неподалеку от которого находилась Всероссийская выставка, состоявшаяся одновременно с Нижегородской ярмаркой. (Примеч. ред.)

— Конкуренция... Всякая соседская неудача весьма приятна торговому человеку, ежели он с соседом по одной стезе идет — по мануфактурной или по галантерейной там. Опять же и то — мы, провинциалы, покупаем на ярмарке товар. Видим — образцы. «Больше ничего новенького нет?» «Все тут!» А коли все, давай! Купишь партийки, привезешь, иногда еще по полкам не разложишь — хвать, новые образцы колеров и рисунков вышли, ну, ты и сел, потому публика твоего товару не хочет брать — новый вышел и у соседа продается. Последние годы то и дело так нарываешься. А теперь мы все увидим своими глазами и все узнаем. Разоблачение фабричных тайн произойдет.

И сведущий человек, хитро сощутив свои заплывшие жиром глазки, слезил в задний карман своего долгополого сюртука, вытащил платок, громогласно высморкался и крякнул.

У торговца-розничника нижегородца во всем заметна вражда к ярмарочному торговцу, и первый всегда с большим удовольствием готов «подсидеть» последнего. Конкуренция, — или, как здесь говорят, «конкоренция», — между ярмаркой и городом носит весьма острый характер, но, конечно, больше всех от нее терпит мелкий потребитель. Ярмарочник его надувает старомодными и лежалыми вещами, свой нижегородец — накидывает лишнюю против Москвы копейку.

Несколько гостиниц на ярмарке уже открыты и бойко торгуют в виду обилия рабочего люда, архитекторов, инженеров и всяких строителей и устроителей. Но все ж таки на ярмарке пустынно — уныло смотрят длинные белые ряды, двери лавок заперты, кое-где хлопает вода, выкачиваемая из подвалов, гулко разносятся в пустых зданиях удары топоров плотников. Общая неприбранность и хаос наводят скуку, и как-то не верится, что через две-три недели в этих пустых и скучных рядах каменных зданий, на этих засоренных и сырых улицах разгорится жизнь — алчная, хищная, страстная, шумная, — головокружительная оргия различных увеселений и напряженная погоня за рублем.

* * *

В Канавине уже «началось».

«Развеселое село», хотя ныне и именуется заречной макарьевской частью, усиленно и упорно поддерживает свою репутацию грандиозного увеселительного заведения и при всероссийском торжище. Здесь уже и теперь шумно и пьяно. По вечерам гостиницы залиты огнями и полны народа, на эстрадах поют разные хоры, упражняются фокусники и акробаты, куплетисты и солисты.

И «погибшие, но милые создания», десятками расхаживая по улицам и залам гостиниц, ищут добычи, щедро сея направо и налево ласковые улыбки, — ищут добычу и находят ее.

Вечером с выставки в Канавине является масса трудящегося люда разных категорий; одни идут туда, где подороже и почише, другие туда, где подешевле и грязнее, — в результате и там и тут — полно.

Выставка создала много легкого и сравнительно хорошо оплачиваемого труда — и вот дешевые деньги идут на поддержание оборотов дорогих гостиниц. Расходы содержатели гостиниц сделали крупные и соблазны завели у себя великие.

Увеселительным предприятиям на ярмарке, в Канавине и вокруг выставки нет числа. Почти каждая сносная гостиница имеет или непременно будет иметь «певичек», будет, конечно, знаменитая труппа Бен-Бай, исполняющая «пляску живота», премированные красавицы, просто красавицы, дамы-фурор и т. д.

Развивающее и поучающее влияние выставки, несомненно, будет сильно затушевано выставкой всех видов разврата, ежегодно устраивае-

мой на ярмарке, а в настоящем году предположенной в размерах, поражающих своей грандиозностью. Мне привелось говорить кое с кем из ярмарочных увеселителей, и поистине — их затраты и их программы увеселений поражают своей широтой.

— Вы не боитесь убытка?

— С моей-то труппой?

— Но ведь у вас сильные конкуренты.

— На всех хватит!

Тон — самоуверенный, вид геройский, блеск взгляда — многозначительно-острый, и на всей молодцеватой фигуре собеседника, в каждом его жесте, в каждом движении рукой лежит колорит этакой, знаете, грации культурного разбойника.

— Я, батенька мой, сорок тысяч в месяц на труппу кладу... Поняли? Устрою в одном скромном месте бассейн с.. этукую гигантскую ванну, черт побери, и дамы, настоящие парижанки, — понимаете? — купаться там при публике будут! Ага?

Так вот чем будут угощать выставочных гостей рядом с разными диковинками промышленной техники. Ах, если бы можно было высчитать влияние на массу выставки с ее чудесами и выставочно-ярмарочных увеселений с их диковинками!

Я думаю, что получилось бы нечто в высокой степени поучительное, но едва ли веселое.

Пока на выставку лучше всего смотреть из «Слуды», с высокого берега Оки за городом. Вы подходите к краю шестидесятисаженного обрыва, круто опускающегося к реке, покрытого пышным ковром кустарника, и там, в луговой стороне, за широкой лентой сияющей на солнце воды, перед вашими глазами разворачивается картина, поистине поражающая своей красотой и фантастичностью.

Легкий, точно из кружев сплетенный главный отдел блестит на солнце стеклами своих куполов; острый золотой шпиль Царского павильона бросает от себя яркие лучи. Средне-азиатский отдел сверкает пышностью своих красок и кажется весь вытканным из разноцветной шелка, ряд других строек, красиво разбросанных на громадной ровной площади, воздушное, рвущееся в небо здание художественного отдела — все это вместе с какими-то колоннадами, мачтами, острыми шпицами являет собой красочную фантазмагорию, изящную, навевающую на все странные думы, вызывающую в памяти те дивные, богатые фантазией картины, которые так щедро рассыпаны в Шехеразде.

* * *

Хороший полевой бинокль намного приближает к действительности. В него вы видите массу черненьких фигурок, снующих по всей территории выставки, между этими красивыми зданиями, торчащих на крышах зданий, приклеившихся к их стенам. В одном месте длинная вереница этих фигур идет, согнувшись в три погибели, и двигает перед собой какие-то ящики, объемом превышающиедвигающую их силу; в другом медленно топчется целая группа людей, несущих на себе громоздкую вещь странных очертаний, и всюду стремительно бегают одинокие фигурки.

Целый муравейник, суетливый и нервный, производящий издали странное впечатление беззвучностью этого лихорадочного движения. Вслушиваешься упорно и долго, а между тем, чем более смотришь туда, в этот странный кусок сказочной жизни, тем более видишь в ней энергии, тем обширнее рисуется ее движение.

(«Одесские новости», 29 мая 1896 г. № 3644).

С Всероссийской выставки

(От нашего корреспондента)

15 июня.

Эти два колоссальные инструмента смерти и разрушения поданы публике под гарниром из самых разных пушек и пушечек, среди которых есть очень миленькие игрушечные вещицы вроде пушки Барановского, выглядывающей из-за стального щита скорее с задором кокетки-женщины, чем с холодным гневом орудия смерти. Помещенная на самодвижущемся станке, она вращается во все стороны вместе со щитом, в который смотрит ее дуло и который защищает прислугу от выстрелов неприятеля. Она отличается от своих подруг «скоропалительностью» и всячески может нанести вреда более, чем они. Оригинальна 75-мм. пушка береговой обороны — длинная, чуть не в две сажени, тонкая, изящная. Орудия 6-дюймовые, орудия десятидюймовые — их так много, и — господи! — как красив этот металл, отлитый и выкованный для убийства! Ах, какие мы эстетики! Даже и убиваем друг друга — если убиваем на законном основании, — из орудий художественно сделанных. Представлена также пушка, разрезанная вдоль, дабы показать плотность частиц металла. И среди всей этой роскоши орудий разрушения на полу лежит неуклюжая грязная штука с надписью на ней: «Лил пищал Семен Тювски», а ниже надписи год 16... дальше стерто. Знаете, приятно видеть эту вещь такой некрасивой и никуда уже не годной.

Всюду странные блестящие вещи, понимание которых доступно только специалистам. Здесь зарядное отделение подводной мины — стальной конус в 3500 руб. ценой, длинный, до полутора аршин. Тут самодвижущийся поворотный минный аппарат, помещаемый на миноноске, всюду лаги, протракторы и другие премудрые детали военно-морского дела. Стоит модель трубчатого цилиндрического парового котла с обратным ходом дыма; он предназначается для машин Компоунд, и от него ждут экономии топлива и увеличения силы движения. Кронштадтский завод представил целую витрину блоков для тросов, кат-блоков и других блестящих вещей, имена их ты же, господи, веши! Стоит шестивесельный вельбот — весь, как игрушка, легкий, стройный, блестящий. Всюду компасы... Приборы для уничтожения девиации — внутри компаса помещаются бруски из мягкого железа, а в нактоузе — прибор инженера Доброва для уничтожения влияния динамо-машины на показания стрелки. На стене за стеклами — Енисейская эскадра, три крейсера — «Скуратов», «Овцын», «Малыгин» — в изящных моделях; под ними стол, и на нем роскошная модель эскадренного броненосца «Полтава», построенного в 94 г. Нов. Адмир. в СПб.

А кронштадтская минная мастерская выстроила из стальных пластин чудесную модель колокольни Ивана Великого с показанием расположения на ней электрических лампочек, которыми она была украшена в день коронавания императора Александра III. Она поднесена от морского ведомства государю императору и во время посещения им выставки будет иллюминирована электричеством. Вещь большого художественного и технического значения. Около нее — царь-колокол, выточенный из одного куска стали — прекрасный пресс для бумаг. Модель колокольни около полутора аршин вышиной — колокол взят в соответствующем ей масштабе.

Но уйти, не узнав о принципах, успехах и целях военной техники нельзя, — читатель рассердится на меня за неполноту корреспонденции. И вот я ищу «сведущего человека». Он тут, — это усталый, хмурый, полуседой инженер в очках, человек, которому, очевидно, давно уже

осточертела и публика, и ее дилетантское любопытство, и эти надоедливые овода — корреспонденты, к которым приказано относиться внимательнее. Вот мы сидим с ним на скамье пред павильоном, и он одно-тонно, может быть, в тридцатый раз сегодня, говорит мне:

— Цель военной техники — удешевление войны...

— А как она может быть достигнута?

Он не ожидал вопросов, не привык к ним и бросает на меня искося злой взгляд.

— Она достигается посредством применения к делу войны всех тех научных открытий и изобретений, которые могут увеличить и развить разрушительную силу снаряда, скорость выстрела, движение судна и т. д. Чем шире район действия данного снаряда — бомбы, картечи, мины, — чем значительнее сила его взрыва и степень его влияния на массу неприятеля — тем решительнее удар, нанесенный ему, тем значительнее его потеря, и, значит, это сокращает продолжительность войны. Семи-летние войны при данных условиях и приемах — анахронизм, даже двухлетняя война способна разрушить любое государство, и задача техники — создать один удар, такой, который бы начал и кончил войну...

— Удар, способный уничтожить целую армию?

— Именно. Эдисон, недавно выступивший со своим предложением правительству разрушительных аппаратов такой страшной силы, стоит как нельзя более в курсе дела. Помимо дешевизны, военная техника имеет целью гуманизацию войны...

— Это посредством уничтожения целой армии с одного удара?

— Нет, конечно. Трата людей при современной постановке военного дела будет менее траты в прежнее время, когда человека нужно было непременно убить или изувечить, чтобы вынуть его из строя. В настоящее время предполагается, что людей будет выбивать из строя паника более, чем смерть. Бездымный порох посылает невидимую смерть, смерть, падающую в строй неизвестно откуда, и психическое влияние этого факта может быть таково, каково в старое время было влияние кавалерийских атак на пехоту, больше даже... Затем — современное учение о пуле имеет в виду сделать ее такой, чтобы она или выбивала человека из строя навсегда, или нанесенная рана была бы легко излечима.

Тут мне вспомнились гуманные пули англичан, употреблявшиеся в войне с ашантиями¹. Тогда только что были введены в армию удлиненные и оцинкованные пули, пробивавшие семь тел подряд. Они, действительно, не дробили кости, а прободали ее, выбивали в ней фистулу, — это было хорошо, но они слишком долго сохраняли в себе теплоту — и это уже было не хорошо, ибо раны сопровождалась ожогом. Но последствия ожога проявлялись после, а пока, как заметили это просвещенные колонизаторы, дикарь, защищавший свою землю и пробитый пулей навывлет, тем не менее не падал, не покидал строя, а продолжал мчаться в атаку на солдат и вынуждал их работать штыком. Это было не выгодно — бой холодным оружием почти уравнивал силы дикарей и солдат просвещенной нации. Тогда просвещенная нация, отложив в сторону гуманизм, снова дала своим солдатам новые пули. Эти уже дробили кость, и раз ашантий получал такую пулю — он обязательно

¹ Ашанти — народность, обитающая в Западной Африке, в бывшей британской колонии Золотой Берег и по соседству с ней. В XVII веке ашанти образовали независимое государство. В XIX столетии, отстаивая свою свободу, ашанти неоднократно сражались с английскими колонизаторами. В 1895 году Великобритания объявила страну ашанти своим протекторатом, а после кровавого подавления освободительного восстания ашанти в 1900 году — своей колонией. В настоящее время ашанти входят в состав населения независимого государства Гана. (Примеч. ред.)

падал. Я напомнил эту совсем еще не старую историю специалисту, беседовавшему со мной с неохотой.

Я сказал ему, что гуманизм и экономика в военном деле едва ли уживутся в ладу друг с другом.

— Пока все, что сделано в этом направлении, не удовлетворительно,— это факт. Но, во всяком случае, идет деятельная работа, и никто не забывает о том, что до XX столетия осталось всего четыре года. Раз война необходима — наша обязанность, поскольку возможно, гуманизировать ее...

Мне вспомнился опыт гуманного умерщвления людей в Америке. Помните — там пробовали применить электричество к смертной казни, и оказалось, что умерщвляемые жили еще четверть часа после того, как экспериментаторы решали, что они совершенно научно лишены жизни... Жили... и пятнадцать минут без звука и движения боролись со смертью. Какая, должно быть, это была мучительная борьба, если нельзя было ни кричать, ни двигаться!

— Вы, очевидно, против войны,— говорил мне человек-специалист, по-немногу превращаясь просто в специалиста,— но ведь это, извините, абсурд, восставать против института, столь необходимого. Значение его — цивилизаторское и промышленное неизмеримо громадно. Для содержания и вооружения армии работают миллионы народа: льют пушки, дубят кожи, ткнут сукно, куют штыки... Уничтожьте армию, — и эти миллионы лишатся заработка...

«И много, много» он говорил, «и всего припомнить не имею силы». Я, видите ли, предпочитаю красивые софизмы древних — вроде классического «критянина Клита», — современным софизмам, всегда построенным крайне грубо, неумело и как-то скучно...

(«Одесские новости», 20 июня 1896 г. № 3666).

С Всероссийской выставки

(От нашего корреспондента)

24 июня.

Отдел «Красного Креста» производит настолько приятное и такое своеобразное впечатление, что хочется воевать и быть раненым, для того только, чтобы испытать на себе все удобства, предоставляемые современной наукой для изувеченных на поле битвы людей. Как блестящи и изящны все эти пинцеты, ланцеты и разных причудливых форм щипчики и щипцы, употребляемые для извлечения из живого человеческого тела засевших в него пуль и раздробленных ими костей! Какое удовольствие должен испытывать раненый, когда в его мышцы вонзается и расковыривает их одна из этих прелестных штучек. А как должно быть удобно лежать с пробитым пулей животом или простреленной грудью на этих удобных, элегантных носилках или на этих мягких койках, покрытых таким тонким и чистым бельем.

Сколько прекрасных и до педантизма тщательно сделанных приспособлений для сломанных рук и ног, какие легкие и хорошенькие костыли есть для хромых! Клянусь вам — я искренно пожалел о том, что давно уже исковеркав себе всю душу, до сего дня еще не сломал себе ни одной ноги и, вот, в силу своей недогадливости, лишен удовольствия употребить эти прекрасные костыли. А какие изящные механические ноги — или скорее ножки видел я! Боже мой, почему я не родился с механическими ногами изделия Квель и Остер в Петербурге. Фидий, Пракситель, Торвальдсен и Канова были хорошими скульпторами — да! но они ничего не смыслили в ортопедии, и ног, которые творит фирма Квель и Остер, не сотворил никто из них. От таких ног не отказалась бы сама

Терпсихора. Родись я с этими ногами, я одел бы велосипедный костюм и, гуляя в нем по улицам, наверное, прекрасно устроил бы свою карьеру в наши дни, когда ноги ставят выше головы и когда велосипедисты пользуются у дам таким же успехом, каким в старые годы пользовались военные.

Вообще в «Красном Кресте» все чудодейственно и все достойно изумления. Компрессная клеенка, линолин, креалин — все это включительно до бинтов и гигроскопической ваты так хорошо, чисто, мягко, так ласкает глаз... И так неисчислимо много их — этих приспособлений для удобств изувеченных людей: предусмотрены все виды увечий, все, что может случиться с человеком на поле битвы. Есть приборы для устройства переправы людей с разбитого вражьем ядром судна на ближайший берег, вполне способные замедлить переправу их в горние селения. Есть носилки, устроенные на хребте лошади, есть все, что надо для того, чтоб облегчить страдания раненого. О наука и гуманность! С восторгом восклицаю я и с торжеством смотрю в сторону военноморского отдела, где собраны внушительные коллекции приборов для дробления, коверкания и уничтожения людей. Поскольку усердно один из моих ученых ближних изобретает инструменты для нанесения увечий и смерти человеку, постольку же усердно другой ученый ближний старается изобрести приборы для починки и ослабления результатов деятельности своего коллеги...

И сей и оный дают работу тысячам рук... О жизнь! Недостигаема глубина смысла твоей путаницы, если в ней, этой путанице, есть смысл, в чем иногда сильно сомневаешься.

«Гвоздь» «Красного Креста» — громадная коллекция человеческих черепов и костей, на которых показана сила ударов пуль из трехлинейной русской винтовки системы 1891 года. Черепа подвергались пробе действия на них пуль не тогда, когда они болтались на головах живых людей, как вы, быть может, думаете, нет, они были просто черепами, без глаз и носа... Их набивали тестом вместо мозга, и в них стреляли из винтовок на расстоянии от 12 до 200 шагов и т. д. Пули влетали в них, дробили их, пронизывали тесто и, пробивая выходное отверстие в кости, пробивали еще несколько дюймовых досок, поставленных сзади черепов.

Но отложим в сторону философию и поговорим о человеческих костях, раздробленных пулями. Это кости из ног и рук, отрезанных от людей за негодностью к употреблению. Работа пуль чистая, кость дробится мелко и, глядя на ее осколки, нельзя не порадоваться успехам человеческого ума, сотворившего такую маленькую вещь, как пуля, для того, чтоб вызвать ею такой большой эффект, как смерть человека. Пуль, бывавших в человеке и своевременно причинивших ему смерть, тоже представлена целая коллекция. Большинство из них сильно пострадали от ударов в человеческие кости — расплюснулись, разорвались на части, согнулись. Они лежат у вас перед глазами, эти маленькие исковерканные штучки и вызывают большое недоумение — это они убили человека, живого человека, который двигался, говорил, чувствовал, думал? Они, такие жалкие? Странно... В конце концов гуманность, холодно и свирепо поглядывающая на вас из всех витрин «Красного Креста», наводит на вас тоскливое уныние, и вы уходите из отдела «Красного Креста» с таким чувством, как будто бы вас несколько изувечили, хотя и не куском свинца, но чем-то не менее тяжелым...

(«Одесские новости», 29 июня 1896 г. № 3675).



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Серго Чилая. Из недавнего прошлого Грузии. — **Ю. Либединский.** На жизненном пути. — **Н. Бабин.** Свет в джунглях. — **Лариса Исарова.** Один год. — **В. Жданов.** Повесть об Иване Никитине. — **Вл. Лидин.** В гостях у Смирдина. — **Геннадий Фиш.** Повести и рассказы Пентти Хаанпяя. — **Р. Орлова.** Быль, ставшая легендой.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Доктор географических наук **Э. Мурзаев.** Молодость древней столицы. — Доктор географических наук **Д. Лебедев,** кандидат географических наук **Л. Наманин.** История географических открытий. — **В. Шрагин.** Арабы в борьбе за независимость. — **Ф. Молон.** Рассказ о Курте Конраде — друге Фучика. — **Б. Боссарт.** Книга о книге.

Литература и искусство

Из недавнего прошлого Грузии

Тот, кто жил в селах и городах Грузии, кто много путешествовал по ней, безусловно встречал в различных ее уголках замечательных стариков, немало повидавших на своем веку и умеющих хорошо рассказать о виденном. Если поближе познакомиться с такими людьми, душевно сойтись с ними, они сообщат вам много интересного о прошлом своей родины, о бурных революционных днях Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Рассказы их увлекательны и романтичны...

И вот, читая роман Ш. Дадияни «Семья Гвиргвилиани», начинаешь думать, будто один из таких собеседников рассказывает вам историю из недавнего прошлого Грузии. Это ощущение возникает, очевидно, потому, что в авторе романа соединились в одном лице крупный беллетрист, старейшина современной грузинской литературы, и непосредственный очевидец и участник описываемых событий. Его роман пропитан той же романтикой и так же увлекателен, как и повествования замечательных народных рассказчиков. Но в то же время произведение это принад-

лежит к классике грузинской литературы, развивая и углубляя лучшие ее традиции, заложенные в XIX веке.

Своей гуманистичностью и народностью, разработкой социальных проблем, великолепным языком «Семья Гвиргвилиани» заставляет вспомнить прозу Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Вместе с тем в романе своеобразно, с присущей социалистическому реализму глубиной выявлено мощное кипение революционного духа новой эпохи.

Первые раскаты надвигающейся революционной грозы — вот внутренняя тема, что лежит в основе «Семьи Гвиргвилиани».

Описание того исторического периода, когда революционное влияние рабочего класса проникало в деревню и тем самым преобразовывало там всю обстановку, издавна, еще с девятисотых годов, было темой художественного творчества Ш. Дадияни. Сильно прозвучала эта тема в его пьесе «Из искры». Еще более обобщенно и волнующе представлена она в новом романе.

Грозные революционные дни 1905 года и наступившая затем мрачная эпоха реакции не раз были отображены в грузинской литературе. Вспомним хотя бы «Та-

Ш. Д а д и а н и. Семья Гвиргвилиани. «Литературная Грузия» №№ 1—5, 1957, №№ 1—2, 1958. Тбилиси.

риэль Голуа» и «Кровь» Л. Киачели, «С тропинок на рельсы» Н. Лордкипанидзе, «Чикори» Д. Сулиашвили. Но революционное движение девятисотых годов, период подготовки революции 1905 года, — эта тема до сего времени мало привлекала внимание грузинских писателей. «Семья Гвиргвилиани» в некоторой степени заполняет этот пробел.

Рисую общественную жизнь начала двадцатого столетия, Даднани подчеркивает новое, характерное для этого времени явление — единство главных революционных сил: рабочего класса и крестьянства.

С большой любовью и знанием дела нарисовал Даднани передовые силы грядущей революции. Именно в этом главное достоинство романа.

С особенной душевностью писатель нарисовал образы крестьян — Парны Бжалава, Обишхиа, Челы и Микэ. Чутко прислушиваются они к каждому новому слову, стараются найти правильные пути борьбы с угнетателями, трудной, но верной дорогой идут они к революции.

Вместе с народом идет и молодой Тайя Гвиргвилиани — выходец из старой аристократической семьи, порвавший со своей средой. Он в одних рядах с передовыми, революционно настроенными людьми. Тайя — участник демонстрации батумских рабочих 1902 года. Он один из тех, кто решает создать в селе Бертеми кружок «из верных и самоотверженных людей», чтобы готовить из них борцов за дело революции. Вначале Тайя руководит этим революционным кружком, а затем из Кутаиси снабжает его участников прокламациями и политической литературой. В Кутаиси Тайя становится членом марксистского кружка Рижинашвили. Он настолько захвачен идеей революции, настолько предан ей, что даже отказывается от личного чувства, от любви к девушке Толискавами, ибо боится, что эта любовь может помешать его боевой работе. Крестьяне с большим сочувствием и симпатией относятся к молодому Тайе. Крестьянин Микэ характеризует Тайю как человека, заслуживающего уважения, не похожего на других князей.

С особенной теплотой рисует автор образ Марины Рябинной — образованной русской девушки, сторонницы всего прогрессивного, революционного, большой поклон-

ницы грузинской культуры, глубоко верящей в ее прошлое и будущее, — и образ русского революционера Славского. Славский и Рябинина — члены революционного кружка Рижинашвили. Вместе с молодым Тайей они с увлечением изучают марксистскую литературу, готовят себя к будущим боям, несут свет социалистических идей в народ.

В книге широко показаны не только передовые представители народа, но и противоположные им силы — грузинская аристократия, буржуазия, купечество.

В центре романа стоит семья Гвиргвилиани, переживающая дни своего распада. Все запутано и сложно в этой семье. Цепко держится за свои аристократические привилегии Нектарина — невестка старого Гвиргвилиани, день и ночь думает она о том, как бы сохранить былое величие семьи. Хитрая, жестокая и развратная, она изобретает все новые и новые способы борьбы с теми, кто стоит на ее пути. Образ Нектарины не только сильнейший в романе, но, пожалуй, один из самых колоритных образов женщин феодальной Грузии в нашей литературе.

Но в этой же семье зреют и те новые силы, которые несут гибель старому обществу. Представитель этих сил — Тайя Гвиргвилиани, о котором мы уже говорили. Немалое место в романе занимает и образ Вамеха Гвиргвилиани. Его, как и Тайю, увлекает идея революции. Но если Тайя целиком отдался борьбе за счастье народа, то Вамех стоит как бы на полпути. Он был в ссылке в Сибири, но многое в революции для него неясно. Он полуплиберал, полуреволюционер, полунинтеллигент-книжник, у которого нет революционной выдержки, огня и решительности. Он сочувствует крестьянам, советуется с ними, доказывает им свою верность; но, несмотря ни на что, крестьяне относятся к словам Вамеха с недоверием, видят в нем прежде всего отпрыска аристократической фамилии.

В образах Барамы, Экоцимили и Беги писатель изобразил и других членов семьи Гвиргвилиани — либеральных мякотельных аристократов. Таким образом, на примере одной только семьи писатель, как в фокусе, показал характерную картину дореволюционной Грузии, разложение древнего феодального мира. Многочисленность героев не помешала писателю нарисовать каждого из

них сугубо индивидуализированно, во всем богатстве характеров, наклонностей, стремлений, духовных интересов.

Эта старая аристократия, ранее так высокомерно отгораживавшаяся от иных социальных групп, ныне уже смыкается с буржуазией, в чьих руках теперь сосредоточено все богатство. Купцы, ростовщики теперь приняты в салоне «светлейшей» Нектарины, которая даже выдает замуж за потийского купца Квизиния свою воспитанницу Толскавами.

Господствующие классы, стремясь удержать свои прежние позиции, пользуются различными средствами. Они пытаются разъединить народ, привлечь часть его на свою сторону. Иногда им это удается. В романе есть хорошо написанный образ крестьянина Анто, который предает интересы своего класса. Его использует в качестве наущника управляющий семьи Гвиргвилиани — Гутати. За полученные сведения Гутати жалуется Анто своим обносками и обедами с барского стола.

Картины из сельской жизни перемежаются в этом широко задуманном романе с картинами жизни города девятидесятих годов. В Кутаиси бурно растет революционное движение. Марксистские кружки, нелегальные собрания, манифесты, демонстрации ярко нарисованы писателем. С другой стороны, он изображает и жизнь кутаисской аристократии с характерным для нее внешним блеском, кутежами, балами, кутаисскую интеллигенцию в ее различных разновидностях.

Среди кутаисских персонажей писатель особенно отчетливо нарисовал две фигуры. Это представитель высшей феодальной аристократии князь Мито Павленишвили, любитель женщин, скандалов и драк, и выдающий себя за интеллигента и даже одевающийся в студенческую форму Константин Хвития, карьерист и славолюбец, внешне привлекающий внимание заученными наизусть звонкими фразами о свободе, но внутренне враг прогресса и революции. Потому-то его так сильно ненавидят передовые молодые люди — революционеры, и потому он так нравится и с ним так считаются кутаисские аристократы и царские чиновники.

Особое место в романе занимает образ черносотенца Волкова, который высмеивает все передовое и революционное, издевается над грузинским народом и его

культурой. Этому махровому реакционеру, олицетворившему в своем лице темные силы старой России, автор противопоставляет передовых людей революционного русского народа — Марину Рябинину и Славского, о которых шла речь выше.

«Семья Гвиргвилиани» Ш. Дадiani безусловно крупное достижение современной грузинской литературы. Глубокое раскрытие движущих сил эпохи, ярко описанные, художественно завершенные характеры героев, типичность обстановки того времени, богатый язык делают этот роман примечательным явлением. Особо следует остановиться на языке произведения.

В «Семье Гвиргвилиани», на наш взгляд, с новой силой оживает чудесный грузинский язык с его богатым звучанием и напевностью.

Как известно, одно время грузинские декаденты — символисты, импрессионисты, футуристы — стремились исказить ясный язык нашей классической литературы всякими изысками, ввести в моду туманный, непонятный, напыщенный стиль. И хотя они часто включали в свою лексику древнегрузинские слова, это не делало их речь понятнее народу. Дадiani не только сохранил верность классическому грузинскому литературному языку, но и развил его и обогатил. Правда, в отношении нового романа писателя хотелось бы поспорить с автором по поводу правомерности введения в текст больших публицистических кусков, которые, на наш взгляд, не всегда органически включены в ткань произведения. Эти публицистические пассажи входят в роман по двум направлениям. Во-первых, это лирические отступления, озаглавленные «Притоки», где автор выражает свой взгляд на тот или иной предмет или событие. Это оригинальный прием, и в нем, безусловно, есть свой резон: читатель в этих лирических отступлениях словно находит себе отдых от длинного повествования. Но необходимо чувство меры. Этих отступлений так много, что они мешают общему развитию повествования. Во-вторых, это большие цитаты, которые автор вложил в уста исторических личностей Ладо Мехкишвили, Абашидзе и других. Правда, иногда они помогают автору точнее передать политический смысл речей героев, но чаще всего эти цитаты

слишком велики и мешают художественному раскрытию образа.

Но эти художественные просчеты не умаляют, на наш взгляд, значения «Семьи Гвиргвилиани» как крупного художественного явления современной грузинской про-

зы. Роман Ш. Дадвани согрет патриотизмом, горячей любовью к своему народу, к своей родине и, несомненно, с интересом будет встречен широким читателем.

Серго ЧИЛАЯ.

Тбилиси.

★

На жизненном пути

Знакомство с первоначальными источниками писательского творчества всегда интересно и поучительно. Проникать в процесс творческой работы, присутствовать при зарождении замыслов, знакомиться с жизненным материалом, который ложится в основу творчества художника, сталкиваться с непосредственным и прямо выраженным взглядом писателя на жизнь — разве это не увлекательно?

Большую часть книги Анны Караваевой «По дорогам жизни» занимают путевые впечатления, являющиеся итогом поездок по самым различным маршрутам. Здесь и Франция, и Германия, и Чехословакия, и Финляндия, и Урал... В этих путевых очерках, так же, впрочем, как и в других произведениях, собранных в книге, сказывается и разносторонняя образованность автора и писательский талант.

Книга открывается путевыми заметками «Июнь в Париже», в которых писательница рассказывает о своей поездке на Антифашистский конгресс деятелей культуры, созванный в июне 1935 года. Наиболее значительными главами этих «заметок» являются те, в которых показан самый конгресс. Здесь целая галерея наших замечательных современников: Анри Барбюс, Лион Фейхтвангер, Луи Арагон, Жан Ришар Блок. Здесь Анна Зегерс и Генрих Манн — немецкие писатели-антифашисты, которых Гитлер лишил родины.

Незабываемое впечатление оставляет описание «человека в черных очках», коммуниста-подпольщика, живущего и борющегося в фашистской Германии. Он приехал на конгресс, рискуя жизнью, чтобы сказать слово правды о своем несчастном, порабожденном фашистами народе. Мы так и не узнаем имени этого человека, как не узнали его и делегаты конгресса, но он

остается в нашей памяти как воплощение свободного духа, живущего в немецком народе, духа, который нельзя убить и задушить.

Тревожное ощущение надвигающегося на Европу фашизма и противостоящий ему протест смелых, прогрессивных сил пронизывают страницы этой книги.

И как бы для того, чтобы еще резче подчеркнуть весь ужас существования в капиталистическом мире, находящемся под зримым и незримым фашистским игом, встают в записях писательницы воспоминания о Родине, о могучем Советском Союзе, куда устремлены взгляды всех прогрессивных людей человечества, воспоминания о встречах с замечательными советскими людьми, жизнь которых так не похожа на жизнь людей в предвоенной Европе.

Поэтично описан у А. Караваевой Париж, легендарный город великих революций, город Бальзака, Золя, Стендаля, Гюго...

И где бы ни находилась писательница — в маленьком ли парижском кафе, в номере ли гостиницы, в купе ли вагона или даже на Эйфелевой башне, — ее прежде всего интересуют люди, самые обыкновенные люди, к какой бы национальности они ни принадлежали.

Мы узнаем, что под красавцами мостами, нависшими над Сеной, живут сотни бездомных парижан, у которых нет средств, чтобы платить за квартиру. По утрам ветер носит по набережным стан газетных и бумажных листов — они служат простынями и одеялами для этих несчастных, лишенных крова. Что может быть выразительнее такой детали! А старичок, в одном из пролетов Эйфелевой башни вырезающий силуэты туристов? По возрасту ему давно пора на покой, но нужда заставляет работать... А постоянная посетительница кафе, красивая девушка, живущая впроголодь и тратящая весь свой скудный заработок на туалеты в надежде найти богатого жениха?

Анна Караваева По дорогам жизни. Дневники, очерки, воспоминания. Редактор В. Раковская. 792 стр. «Советский писатель». М. 1957.

Эти люди — такие разные — объединены одним: все они жертвы капитализма. Судьбы их ярче любой агитационной статьи вопиют о необходимости коренной ломки основ капиталистического мира.

А вот другая капиталистическая страна — Чехословакия — осенью того же 1935 года. Она совсем не похожа на Францию. Но есть нечто общее, роднящее ее и с Францией и с другими странами Европы перед лицом надвигавшейся в ту пору фашистской угрозы.

И передовые люди Чехословакии так же, как и Франции, в эти предвоенные годы тяготели к Советской России и требовали мира. «...Каждому из нас, советских гостей и путешественников по этой стране, со всей ясностью видно, что народ маленькой, стиснутой многими границами Чехословакии не желает войны. И в Пльзене, одном из центров военной промышленности, нас встречали криками: «Мир! Мир!»

1935—1945 годы. Десять лет — срок, казалось бы, для истории небольшой. Но какими поистине грандиозными событиями насыщено это десятилетие!

.. Снова Франция. Франция 1945 года.

Пусть высохли замечательные фонтаны Лувра, пусть гол и ободран Версаль, пусть страшным памятником нечеловеческой жестокости стал сожженный Орадур-сюр-Глан, пусть еще отсиживаются в замках благополучные буржуа, — Франция жива, гроза, разразившаяся над этой великой страной, пробудила в душах лучших ее людей такие чувства патриотизма, благородства и смелости, о которых многие и не подозревали. Дорогой ценой заплатил французский народ за свое прозрение, но он прозрел, и теперь уже ничто не заставит его снова быть ввергнутым в обман!

Трогательно звучат произносимые французами слова любви к России — к стране, избавившей мир от фашизма. Кое-кому и сейчас будет бесполезно перечитать эти страницы и вспомнить о той роли, которую сыграла наша Советская страна в освобождении Европы от фашизма. Французский народ ничего не забыл, он ценит и помнит все.

Пройдет еще семь лет, и мы вместе с А. Караваевой приедем «На возрожденную польскую землю» — так называется цикл очерков, посвященных описанию поездки в Польшу на Гоголевские торжества 1952 года.

В прошлое ушла война, встала из руин красавица Варшава, возвращены к жизни и другие города Польши. Польша стала неузнаваемой, и это свершилось в очень короткие сроки, потому что польский народ стал полновластным хозяином своей страны. Весь свой созидательный разум, весь свой добровольный труд он направил на восстановление и возрождение родной страны...

В начале войны А. Караваева начала печатать в «Правде» очерки о трудовом подвиге уральских рабочих. Включенные в книгу «По дорогам жизни», эти очерки называются сейчас «Уральские мастера».

Когда в первый год войны происходило грандиозное переселение заводов на Урал, А. Караваева тут же, по горячим следам, рассказывала стране и фронту об этих эпического размаха событиях. Ее мало назвать свидетельницей, она была деятельной участницей этих событий.

«И послушай меня, товарищ, друг, даже если ты прочтешь эти строки уже в дни счастья и мира, прошу тебя, запомни накрепко: делай все от тебя зависящее для того, чтобы никогда и нигде что-либо, даже отдаленно напоминающее фашизм, не смело поднять голову и дохнуть на людей своим омерзительным дыханием!»

В таком эмоциональном ключе написаны все очерки. Портреты героических представителей советского рабочего класса следуют один за другим.

Вот «бригада смелых» — очерк о девушках-электросварщицах во главе с их замечательным командиром Феликсой Гржибовской. Здесь что ни девушка, то свой характер, своя судьба. Это умение выделить индивидуальные черты характерно для портретного мастерства А. Караваевой. Они, эти портреты, реалистичны в полном смысле этого слова не только потому, что раскрывают судьбу человека, но также и потому, что, вместе взятые, дают, если можно так выразиться, биографию нашей страны.

Разве не типичен жизненный путь Феликсы Гржибовской, выросшей в Орджоникидзеграде! До войны она только успела закончить школу и поступить на завод. Когда началась война, Гржибовская вместе со своим заводом оказалась на Урале. Заводу нужны были сварщики, и Феликса с подругами решает овладеть этой профессией. Поначалу было трудно. Не хватало опыта, сно-

ровки, но прошло немного времени — и бригада Гржибовской стала лучшей на заводе.

Совсем по-особенному определяется жизненный путь ученика портняжной мастерской Ибрагима Валева (очерк «Два сталевара»). Он чувствует в себе талант актера и становится превосходным исполнителем роли хана в самодеятельном спектакле татарского театрального кружка. Ему прочат артистическое будущее, но... «Хочу варить стальные!» — говорит Валева, ознакомившись с металлургическим заводом, и тут-то на производстве и раскрывается его подлинное призвание.

Непосредственно к «Уральским мастерам» примыкает большой очерк «Книги и люди». В нем рассказано о том, как в первые годы существования Советской власти создавался в Симбирске Дворец книги. Об энтузиастах-библиотекарях, создателях и работниках дворца, А. Караваева пишет с таким же волнением и так же ярко, как о мастерах металлургии!

В литературно-публицистический дневник писательницы включен ряд ее высказываний о книгах, о задачах литературы.

...Дороги, по которым идет читатель вместе с автором, проходят по большим и малым странам, по всемирно известным столицам и по мало кому известным деревушкам. На этих дорогах встречаются люди с именами, знакомыми каждому, и безыменные люди. Жизнь писательницы и ее книга насыщены людьми, событиями.

Писательница стремится глубоко осмыслить встречи и впечатления, четко выразить свое личное отношение к встречающемуся и происходящему. Но иногда эти встречи слишком кратковременны, и тогда трудно проанализировать их глубоко. Оттого, возможно, некоторые размышления автора кажутся упрощенными, ненужно прямолинейными. Хорошее стремление к ясно-

сти и доступности оценок оборачивается порой схематичностью суждений (так, на мой взгляд, эта упрощенность дает себя знать в рассказе о Пикассо). Видимо, отсюда и возникает кое-где ощущение, что факты скорее иллюстрируют продуманные мысли автора, чем сами являются источником этих мыслей. А это, в свою очередь, приводит к неубедительности.

И другое. Мне кажется, что путевые очерки несколько перегружены историческими, географическими, биографическими сведениями. Личные впечатления, которые бывают наиболее непосредственными, неповторимыми и которые поэтому наиболее интересны для читателя (тем более, что Анна Караваева умеет рассказать о них очень живо и с большим чувством), теряются иногда в перечне сведений, которые можно почерпнуть и в других источниках. Анне Караваевой не всегда удается достичь того органического сочетания общеизвестных фактов и личных впечатлений, которое присутствует, например, в ее отличном очерке об обувном «короле» Бате.

Большая книга А. Караваевой завершается разделом «Воспоминания». Она пишет о Матэ Залке, о П. Бажове, о Николае Островском. В жизни Бажова и Островского А. Караваева сыграла благороднейшую роль. Поэтому, когда она рассказывает о своей дружбе с ними, о духовной близости, связывавшей ее с этими людьми, мы знаем, что она имеет на это особое право.

Книга А. Караваевой покоряет пафосом интернационализма, пафосом, пропитывающим ее всю от первых строк парижских впечатлений до последних строк — воспоминаний о легендарном генерале Лукаче. Эта книга написана советским патриотом, неутомимым борцом за дело коммунизма.

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ.

★

Свет в джунглях

«6 часов 55 минут. Командир броневой французской колонны говорит что-то в микрофон рации. Подняв руку в кожаной перчатке с раструбом, он подает команду своей колонне бронетранспортеров. Зары-

чав, машины трогаются и, набирая скорость, устремляются к северу.

Через несколько минут, ровно в семь часов, машины с вьетнамской пехотой пересекают перекресток и трогаются за бронетранспортерами. Вслед за машинами по середине мостовой идут цепи вьетнамских солдат.

Р. Кармен. Свет в джунглях. Заметки кинооператора. Редактор Б. Леонтьев. 328 стр. «Советский писатель». М. 1957.

И здесь происходит чудо — безлюдные, вымершие улицы оживают. Еще не утих шум удаляющихся бронетранспортеров, как тысячи алых флагов взвиваются в окнах, дверях, на крышах домов. И сразу становится тесно на улицах от ликующих, кричащих, машущих руками... плачущих от радости, поющих, сменяющихся людей...»

Так завершилась одна из страниц истории борьбы вьетнамского народа за свою свободу и независимость. После восьми лет оккупации французские войска покинул Ханой. А на другой день под звуки гимна над седой цитаделью Ханоя взвился в синее небо алый стяг с желтой звездой — флаг Демократической Республики Вьетнам.

Так завершаются последние страницы книги Р. Кармена «Свет в джунглях» — книги о последних днях военного ненастья и первых днях мира на древней вьетнамской земле.

Книгу «Свет в джунглях» можно по праву назвать вторым (после фильма о Вьетнаме) творческим отчетом Кармена о поездке в далекую «страну Юга». Страну, где советских людей принимали как самых близких, самых дорогих друзей и братьев. Автор прибыл во Вьетнам, когда битва за Дьен Бьен Фу, сыгравшая столь важную роль в победе вьетнамского народа, была уже завершена. Под ударами вьетнамской Народной армии территория, занятая врагом, сокращалась, по образному выражению «Юманите», словно «шагреновая кожа». Но бои продолжались с прежним ожесточением.

С первых же строк этой книги вы ощущаете дыхание могучих, напоенных влагой, полных таинственных ночных голосов джунглей, покрывающих теплые долины и суровые горы Вьетнама. Эти джунгли полны опасностей. Здесь и тигры, что вышли на ночную охоту, и вражеские парашютисты, более коварные, чем самые дикие звери лесов. Джунгли горят от напалма, а в небе над ними рскают истребители колонизаторов, охотясь за каждым человеком, за каждым буйволом на рисовом поле.

Однако джунгли — это и надежный кров, защита вьетнамских патриотов. «Пройдут десятилетия, — пишет Р. Кармен, — ливни, зной, годы сравняют с землей хрупкие бамбуковые строения, возведенные в джунглях. Но навеки останутся в памяти народной эти места, опорные пункты сопротив-

ления вьетнамского народа, центры управления страной, воинские штабы, университеты, заводы, научные лаборатории, типографии, библиотеки».

При помощи множества точных деталей показывает нам джунгли Кармен. И тем яснее мы понимаем великий подвиг вьетнамского народа, сражавшегося в этих дебрях против сильного, озлобленного врага, не останавливавшегося ни перед чем, уничтожавшего тысячи мирных жителей, сжигавшего целые поселения.

Лучшие страницы этой правдивой книги те, что посвящены людям борющегося Вьетнама.

Все, что рассказывает автор о людях, помогает читателю глубже узнать движущие силы народного сопротивления, понять сердце, душу смелых и мужественных патриотов, отстаивших землю предков.

Становится понятным, почему реактивные самолеты, огонь напалма и артиллерия оказались бессильными перед «деревнями сопротивления», этими бамбуковыми крестьянскими крепостями — центрами партизанского движения в дельте Красной реки.

Так рассказать о Вьетнаме мог только человек, хорошо узнавший жизнь страны, ее обычаи, традиции, искренне гордящийся народным героизмом и самопожертвованием.

И хотя необходимость все время передвигаться с места на место, чтобы запечатлеть на пленку как можно больше событий, обуславливает некоторую отрывистость «заметок кинооператора», автору помогает его наметанный глаз наблюдателя, многолетний опыт, умение отбирать главное из окружающего его мира событий.

Вот душевные строки о «дядюшке Хо» — президенте Демократической Республики Вьетнам. Его можно было видеть в дни войны и на горной тропе, и в бамбуковой хижине, беседующим со стариками, женщинами, и в воинской части или полевом госпитале, наконец, на заседании правительства в джунглях.

Читателю запоминается образ легендарного Тон Дук Тханга, старейшего революционера Вьетнама, человека, который еще в 1920 году был одним из инициаторов восстания матросов на крейсере «Вальдек Руссо» у берегов Одессы. Семнадцать лет пробыл после этого Тон Дук Тханг на самой страшной колониальной каторге — острове Пуло Кондор.

Мы знакомимся с такими слабенькими на вид, смуглолицыми вьетнамскими девушками-патриотками. По ночам при свете факелов работали они в воде рисового поля, а потом, через крутые горы и джунгли, преодолевая сотни километров, несли на гибких бамбуковых коромыслах снаряды и рис для армии.

Автор стремится охватить как можно более широкий круг людей вьетнамского Сопротивления. Здесь и партийные работники, что делают с бедняками кров и еду. Здесь и молодые полководцы такой же молодой Народной армии. И ученые, в труднейших условиях дикого леса вырабатывающие из кукурузы пенициллин, спасший жизни сотен тысяч бойцов и партизан Вьетнама...

Думается, совершенно правильно поступает Кармен, обильно вводя в свои «заметки» документальный материал или совершая исторические экскурсии. Он проследживает судьбы борцов Сопротивления, стремится глубже проникнуть в суть явлений, разобраться в процессах вьетнамской деревни, где пахари получают помещицью землю, буйволов, сельскохозяйственные орудия из рук народной власти.

Бесспорно, велико познавательное значение книги. Многое здесь ново или, во всяком случае, мало знакомо широкому советскому читателю. С большим интересом, например, читаются страницы, посвященные развитию национальной литературы и искусства, чудесным сокровищам фольклора Вьетнама, отражающим вековые стремления народа к светлым идеалам, к свободе и независимости. Лучшие представители вьетнамской интеллигенции вместе со своим народом ушли в тропические леса, где делили все трудности военных лет. Годы сопротивления закаляли людей, подняли их творчество на новую ступень. Многих из них Августовская революция переродила, вывела из творческого тупика. И они говорят: «Сопротивление нас спасло».

Запоминаются страницы, посвященные французским военнопленным, сценки мирных бесед вьетнамских жителей с захваченными в Дьен Бьен Фу солдатами. Сколько благородного гуманизма к обезвреженному, повергнутому врагу, сколько нравственной чистоты!

Столь же интересны и главы о встречах автора с пленными французскими офицерами, о его попытках разобраться в их мировоззрении. Многие из них основательно запутались в своих идеях, потерпели моральный крах. Другие начинают понимать, что их просто обманывали. Разве не показательны в этом отношении слова генерала де Кастри, которые, кстати, звучат весьма актуально и по сей день. Зло ухмыльнувшись, он с резкой прямоотой воскликнул: «Наши политики! Они не хотели и сейчас не хотят ничего знать. За последние пять лет все французы требуют прекращения войны. Раньше многие думали, что это война во имя интересов Франции. Трагическая ошибка!»

Не столь ли «трагической ошибкой», говоря словами этого генерала, является и нынешняя, тоже «грязная война», которую Франция ведет против вольнолюбивого алжирского народа?!

Р. Кармену и его советским товарищам пришлось нелегко во время их семимесячных странствий во Вьетнаме. Недаром в записи об одном из очередных ночных переходов под непрерывным тропическим ливнем, по узкой глинистой тропинке, сквозь заросли бамбука, деревьев и лиан у автора вырывается: «Шестнадцать часов пути! Тридцать метров пленки!.. Поймете ли вы, дорогие мои москвичи, цену одного метра пленки, снятой в тропиках?!»

Содержательная и интересная книга. Тем досаднее, что к концу ее — там, где речь идет о завершающих днях войны и первых днях мира, — появляется скороговорка. В кульминационный момент победы, когда читателю особенно хотелось бы видеть события и людей, Кармен становится скупым, события начинают сменяться с калейдоскопической быстротой.

Но это только в конце... Будем благодарны автору за то, что он дал нам увидеть прекрасное и мужественное лицо сражающегося Вьетнама. Многое, написанное в книге, переключается и с недавней борьбой народов Египта и Сирии против попыток империализма поставить их на колени и с сегодняшней борьбой алжирского народа за свою свободу.

Н. БАБИН.

Один год

Зинаида Шишова — поэтесса, но ее поэмы и стихи, к сожалению, сейчас почти не переиздаются. А ведь поэму «Блокада», изданную небольшим тиражом и перепечатанную потом с сокращениями в сборнике «Русская советская поэзия. 1917—1947», по-настоящему любили во время войны. Ее переписывали и посылали на фронт и с фронта. Ее просили читать вслух раненые в госпиталях. До сих пор встречаешь людей, запомнивших ее наизусть.

Шишова — прозаик, но ее первая книга — «Великое плавание» — ждет внимания Детгиза с довоенных времен, став библиографической редкостью, а вторая — «Джек-Соломинка», выпущенная маленьким тиражом и переизданная затем в «Школьной серии», была мгновенно раскуплена: ведь дети ею зачитываются, в школьных библиотеках на нее нетерпеливые очереди.

Эти две повести действительно увлекательны и необычны. Писательница, собрав скрупулезно точно, как не всякий диссертант, огромный исторический материал, сумела создать романтическую книгу о смелом путешествии Колумба («Великое плавание») и страстную повесть о бурном всплеске народного возмущения — о восстании Уота Тайлера («Джек-Соломинка»).

Шишова не историк-популяризатор, а историк-художник. Вот почему она не боится полемичности при воссоздании исторических портретов. В ее книгах историческая личность, например сам Колумб или Джек-Соломинка, поэт, вдохновитель восстания, никогда не превращается в монумент, заслоняющий других, вымышленных героев. Не найти у нее и бледно выписанных фигур служебного назначения. Все они как бы увиденны сквозь века писательницей и освещены таким гуманистическим светом, что становятся близки и дороги читателям со всеми своими ошибками, наивностями, утопическими надеждами и фанатичной верой. Они настоящие люди и озарены изнутри огнем гордых человеческих чувств.

Совсем недавно вышла в свет новая книга З. Шишовой «Год вступления 1918» — повесть об одном годе гражданской войны в Одессе, об одном годе в жизни трех подростков.

З. Шишова. Год вступления 1918. Повесть. Редактор С. Боярская. 416 стр. Детгиз. М. 1957.

Три мальчика жили в пансионе Ольги Ивановны Веде. Учились в гимназии. Застенчивый Сережа Кульчицкий, вспыльчивый Вадя Шалыгин и практичный Женья Гребенюк. Озорные, фантазеры, совсем разные.

И вот за один год Сережа и Вадя распрощались с детством, сознательно приняли участие в гражданской войне, страстно поверили в революцию, хотя и остались еще задиристыми, отчаянными, взрывающимися, как порох, мальчишками. А Женья ушел от них, вернувшись на мельницу своей богатой мамы.

Событий в жизни героев происходит так много, что современная молодежь может усомниться — да неужели у наших отцов и матерей была такая сложная, трудная, счастливая жизнь?! Но эта кажущаяся перегруженность книги вовсе не каприз писательницы, это — подлинное отражение той нелегкой, богатой событиями эпохи.

Вот в книге Шишовой возникает советская Одесса первых месяцев Октябрьской революции: в городе нет продовольствия, не работает водопровод, вырублены деревья, роятся, как навозные мухи, спекулянты, город окружен гайдамаками, к нему идут немцы, но Одесса для честных людей сейчас «точно один большой дом, а все живущие тут — это свои, близкие люди. Не все, конечно, но «буржуев» на улицах почти не видно — все больше бушлаты, кепи, платочки... Встречные заговаривают друг с другом, словно все они давным-давно знакомы между собой».

Не менее ярко запечатлена в повести и деревня, в которой революционный ветер оголил перепутанные корни классовых противоречий. А карательные отряды немецких оккупантов! Страшная сцена порки крестьян врезается в память читателя надолго.

Обилие лаконичных и точных деталей не заслоняет в повести главного — народной борьбы подпольщиков и партизан со всеми, кто пытался «огнем и мечом» уничтожить недавние завоевания Октября.

Романтично и реалистично показывает писательница и замечательную подпольную печатню (под вывеской булочной), и лесную коммуны — партизанский госпиталь в самом сердце петлюровского окружения, и мужественную работу большевиков, «разлагающих» (по терминологии того времени) оккупационные войска.

Стремительная, страстная по ритму книга Шишовой очень своеобразна, определить жанр ее — не просто...

Это не приключенческая повесть, хотя герои ее переживают много приключений. Это и не хроника, хотя события одного года даются последовательно, в хронологическом порядке.

Собственно, и обаяние книги отчасти в том, что ее нельзя втиснуть в готовые формочки жанровых определений.

И несмотря на энергичный, нарастающий темп повествования, «Год вступления 1918» скорее можно назвать книгой философской, книгой раздумий. Раздумий о судьбах, о внутреннем росте, о формировании характера молодежи, будущего страны. Недаром так много внимания уделяет писательница отношениям «отцов и детей», в первую очередь Сережи, сына погибшего революционера, и его матери, сельской учительницы, в самое трудное время вступающей в большевистскую партию. Несмотря на взаимную глубокую любовь, они причиняют много горя друг другу. Мать старается уберечь сына от опасностей, а он возмущается ее заботой: ведь он — подросток 1918 года — уже не ребенок. И настоящими друзьями они становятся лишь тогда, когда Кульчицкая, подавив в себе слепой материнский инстинкт, посылает сына на опасное дело.

Книга З. Шишовой интересна и тем, что в ней — в обширной и многонациональной (как многонационально в действительности население юга Украины) галерее персонажей — нет или почти нет проходных, эпизодических фигур. Даже показанные совсем мельком в конце книги жена и мать раненого руководителя подпольщиков Рудаковского надолго запоминаются благодаря точному изображению их глубоко человеческих переживаний. А прислуга Франия и солдат (потом командир партизан) Пава с их нелегкой судьбой и верной любовью, песенно-поэтичной, как молдавская дойна... А Анна-Мария, немка-большевичка, полюбившая лжематроса, оказавшегося шпионом...

И во всех героях Шишовой явственнее всего проступает не их национальное, а классовое сознание. Когда кулачка фрау Гетекемер упрекает Анну-Марию, что та якобы «не немка», девушка страстно кричит: «...Я беднячка, вот кто я! А ты спишь и видишь, чтоб буржуи вернулись. Хоть немцы, хоть цыгане — только бы буржуи».

Писательница, собственно, не дорисовывает до конца, до полной ясности, судьбы своих героев. Читателю предоставляется возможность додумывать, догадываться, какими станут после победы все эти горячие подростки, их родители и друзья, отыскивать их черты в знакомых людях нашего поколения.

Повесть Шишовой интересна не только своей идейной насыщенностью, не только необычной композицией, но и своеобразием индивидуального почерка писательницы.

Она умеет воссоздать толпу, шум голов, панораму города самыми неожиданными приемами, не только «на глаз», но и «на слух», «на вкус» героев.

Сережа и его мать любили играть в «поводыря». Выигрывал тот, кто по запаху, по звукам мог определить с закрытыми глазами, куда его ведут: «Екатерининскую Сережа узнавал по запаху: от Дерibasовской до бульвара она с мая месяца до ноября пахла розами. Нескончаемыми рядами на маленьких скамейках вдоль тротуаров располагались цветочницы. Перед каждой — голубой таз, а в тазу плавают розы... На Греческом бульваре слышно было то и дело: «так-так, так-так-так, так-так» — это в кофейнях играли в домино греки за вынесенными на улицу столиками. Дерibasовская пахла настоящим кофе — его продавали в магазине «Дементьева и сыновья».

Хороши и диалоги этой повести. Собственно, она на них во многом построена, сочетая в себе элементы прозы и драматургии. На редкость конкретны и многие красочные детали обстановки — не просто штрихи декорации, но как бы ключи к характерам героев. Возьмем хотя бы описание постели Франия, прислуги пансиона, где жили мальчишки: «Когда-то Франия кровать носила громкое название «Фрегат сокровищ». Ее низкие, подламывающиеся назад ножки и многоярусные паруса подушек действительно сообщают ей стремительность фрегата. Из-за парусов лезут красные пиратские морды наперников. Но дело, конечно, не в этом: в трюме «фрегата», то есть у Франия под тюфяком, когда-то хранилось все, что не должно было попадать Ольге Ивановне на глаза».

Чувствуется в этой зарисовке многое: и давняя страсть мальчишек к приключениям, и их уже юмористическое отношение к книжной экзотике.

Художественные детали повести, как и характеры ее героев, как и ее философия, раскрываются постепенно, обогащаются самыми неожиданными нюансами.

Вот почему эта книга — не только для детей, любителей романтики подвигов

гражданской войны. И взрослый увлечется ею: горячий революционный гуманизм, мастерство словесной живописи дадут и «большому» читателю настоящую оптимистическую зарядку.

Лариса ИСАРОВА.

★

Повесть об Иване Никитине

Вслед за многими художественно-биографическими произведениями, посвященными крупнейшим русским писателям, появилась повесть о поэте Иване Никитине. Его недолгая и трудная жизнь еще не была предметом художественного повествования. Поэтому даже искушенный читатель может узнать кое-что новое и важное из книги воронежской писательницы Ольги Бубновой. В ней показана жизнь старого купеческого Воронежа, подробности провинциального быта, косная мещанская среда, окружающая талантливого поэта-самоучку. Именно в этом живом и конкретном изображении быта и среды состоит наиболее сильная сторона повести.

Достоверно рассказано в книге о наиболее значительных событиях жизни Никитина — об открытии им книжного магазина, об участии поэта в известном второвском кружке, о выходе его стихотворных сборников и т. д. Довольно полное представление получит читатель об истории создания первого сборника стихов Никитина и о той борьбе за поэта, которую вели воронежские деятели либерально-буржуазного толка, стремясь привлечь его на свою сторону. Их влиянием в повести исторически верно противопоставлена позиция «Современника», стремившегося оказать воспитательное воздействие на Никитина, привлечь его в лагерь революционной демократии.

Окружение поэта показано достаточно широко. Однако, если облик литераторов-либералов, как Де-Пуле и Нордштейн, охарактеризован в книге убедительно, то этого нельзя сказать о таком деятеле, как Второв, хотя фигура его гораздо более интересна. Второв, изображенный в повести, оказывает довольно сильное влияние на Никитина, но каков характер этого влияния и какова вообще общественная позиция

Второва — это остается неясным. С одной стороны, он старается расширить кругозор Никитина во вполне определенном плане, подбирая для него «кое-что о 14-ом декабря», а с другой — советует поэту считаться с мнением воронежского губернатора графа Д. Н. Толстого, известного реакционера, и даже называет его «горячим сторонником народности». Столь противоречивые поступки одного и того же лица могут удивить читателя. Мы понимаем, что в данном случае задача автора была сложна, ибо облик Второва и его просветительская деятельность недостаточно изучены. Но это как раз и обязывало писательницу к более тщательному изучению материала и более продуманной характеристике персонажа.

Образ самого Никитина нашел в повести во многом верное и художественно убедительное воплощение. В этом отношении О. Бубновой удалось избежать весьма распространенного недостатка биографических повестей и романов, герои которых нередко выглядят мелкими, лишенными духовной значительности; их жизнь изображается главным образом в бытовых связях, что наносит прямой ущерб изображению главного, то есть творческой деятельности, благодаря которой писатель или художник вошел в историю нашего искусства.

Иван Никитин в повести О. Бубновой предстает перед нами как незаурядная личность, стоящая много выше окружающей среды. Правда, бытовые сцены занимают много места в повести, но это понятно, поскольку речь идет о человеке, жизнь которого протекала в заботах, очень далеких от поэзии; и автор показывает, как настойчиво рвался Никитин из своего затхлого мира, как мучительно стремился к тому, что было его призванием. Мы с интересом следим за эпизодами, рисующими стремление Никитина к здоровому народному началу в поэзии.

К сожалению, не все страницы, посвященные Никитину-поэту, написаны с рав-

О. Бубнова. Повесть о поэте. Редактор М. Сергеев. 198 стр. Воронеж. 1956.

ной убедительностью. Например, пытаюсь изобразить поэтическую натуру своего героя, автор прибегает к банальным красотам: «В душе беспрерывно звучало что-то мелодичное, стройное. Порой рождались целые строфы». В другом месте возникновение стихотворения «Пали на долю мне песни унылые» непосредственно связано с присутствием Никитина на похоронах бедняка, и более того — с ударом комьев земли о крышку гроба («И вдруг из них начали возникать слова»). Думается, что такая сложная тема, как рождение стихов, требовала применения более тонких приемов, более тщательной словесной разработки.

Не все благополучно и в некоторых других сценах, где говорится о стихах Никитина и их первых ценителях. Вот, например, беседы Никитина с крепостным кучером Николаем. Трудно поверить автору повести, когда Никитин начинает читать Николаю свои стихи, а Николай — комментировать их. Особенно коробит финал этой сцены, где кучер спрашивает поэта: кто же написал стихи? Прежде чем ответить на прямой вопрос, Никитин стоит с опущенной головой, потом глаза его загораются, он шагает к Николаю, кладет ему руку на плечо и патетически восклицает:

«Народ кровью да слезами писал!»

Быстро поняв все, что за этим кроется, кучер реагирует на это так:

«— Ты написал... — в упор глядя на Никитина, сказал Николай, быстро повернулся и вышел».

Почему так поспешно вышел Николай? Зачем этот мелодраматический тон, каким завершается и без того малоубедительный эпизод?

Кучеру Николаю вообще суждено играть немалую роль в повести, так как он помогает автору решить некоторые композиционные задачи. Николай появляется в самой последней главе книги уже не в качестве кучера, а в качестве бурлака; сидя у костра на берегу Дона вместе с другими бурлаками, он запекает песню на слова только что умершего Никитина, причем «дружный хор» бурлаков тут же подхватывает очевидно всем давно знакомые стихи, и «могучая русская песня» несется над Доном.

«— Силища-то какая! — глубоко вздохнул кто-то из бурлаков. — И кто же такую песню сложил?»

Нельзя отделаться от ощущения неестественности этих сцен. Они много проигрывают при сопоставлении с теми страницами повести, где речь идет о самом Никитине, о его мыслях и переживаниях, где показано его общение с реально существовавшими людьми.

Натянутым представляется и эпизод ночной встречи Никитина с незнакомым юношей, который, впервые видя поэта, подходит к нему и тут же декламирует на память его стихотворение.

Плодотворно стремление автора создать широкий народный фон, на котором яснее видно развитие жизненной судьбы главного героя повести. В ней появляются и действуют крепостные, кучера, бурлаки. И жаль, что не везде автору удалось избежать известной надуманности, искусственности при изображении связей Никитина с народом. При доработке повести автору следует подумать и над тем, как избежать слащавости и нарочитости в обрисовке персонажей из народа.

Существенный недостаток повести состоит в обилии действующих лиц, не получивших необходимой индивидуальной характеристики. Закрыв книгу, трудно вспомнить, как выглядят и чем примечательны такие лица, как Рубцов, Павлов, Средин, Курбатов. Неясно, зачем введена французженка Матильда Ивановна. Кстати, вызывают улыбку следующие слова этой последней: «Вы вот, русские, любите нашего Гюго, Беранже, любите и Вольтера. А у нас Пушкина любят. Очень любят...» Увы, в те времена Пушкина слишком мало знали во Франции, и заявление Матильды Ивановны, таким образом, целиком остается на ее совести.

В заключение — одно замечание о языке книги. Язык исторической повести, конечно, представляет немалые трудности для автора. Чтобы передать достоверно речь людей, живущих в определенное время и принадлежащих к известному общественному слою, надо быть не только художником, но и лингвистом, историком, надо глубоко проникнуть в изображаемую эпоху. Не останавливаясь на довольно многочисленных мелких языковых погрешностях, допущенных автором «Повести о поэте», следует сказать, что недопустимо приписывать персонажам прошлого века современный бытовой жаргон, некото-

рые словечки и обороты речи, которые приобрели незаконное хождение в последние годы. Например, Никитин говорит в повести: «Я сейчас подойду» (вместо того, чтобы сказать «приду»). Или: «Ну, и что ж с того...» Второв говорит так: «Если ты, брат, каждую статью так переживать будешь, то скоро опять с ног свалишься». По-русски нельзя сказать «переживать статью». Граф Толстой заявляет: «Председательствовать в вашем... обществе я не возражаю». А сам Никитин сообщает семинаристам: «Скоро свежого «Современника» получу...» Это звучит так, будто речь идет о свежем судачке.

Подобными ходовыми оборотами современного просторечия нельзя засорять литературный язык, нельзя вводить их в литературу. И тем более недопустимо вкладыв-

ать их в уста действующих лиц исторической повести.

Есть в книге также и небрежности другого рода. Например, сообщая, что граф Толстой устроил для актеров великолепный обед (стр. 166), автор забывает, что дело происходит поздно вечером, даже ночью — после представления «Грозы». На странице 164 одно и то же произведение названо сначала драмой, затем повестью. Эти и другие неувязки оставляют впечатление недоработанности книги.

В целом же повесть О. Бубновой о Никитине представляет несомненный интерес как первый опыт художественной биографии поэта-воронежца, опыт во многом ценный, хотя еще и несовершенный, подлежащий серьезной творческой доработке.

В. ЖДАНОВ.

★

В гостях у Смирдина

Просвещенные русские издатели сыграли немалую роль в истории нашей литературы и общественной мысли. Без имени Н. И. Новикова, например, не представишь себе развития русской передовой литературы XVIII века. Говоря о русской литературе первой половины XIX века, нельзя не упомянуть имени замечательного издателя А. Ф. Смирдина.

Если до Смирдина занятие литературой было своего рода любительством, то именно Смирдин узаконил оплату писательского труда, установил основы авторского права и широко пустил книгу в народ, сделал ее общедоступной. По существу со смирдинских общедоступных изданий и начинается понятие тиража, ибо печатание дотоле книг в нескольких сотнях экземпляров лишь подтверждало, как ограничен был круг читателей и каким любительским делом являлось издание книг. Так, первый биографический словарь русских писателей, выпущенный Н. И. Новиковым в 1772 году, был напечатан всего в 606 экземплярах.

Смирдин начал свою деятельность в глухую пору николаевской России. На многих стихах Пушкина, Лермонтова, Полежаева

лежал запрет. Ряд передовых писателей был под подозрением. Смирдин начал свое дело широко, с размахом человека, страстно любящего литературу и верящего в ее великое назначение. Общедоступная серия сочинений русских писателей должна была, по его замыслу, глубоко проникнуть в народ, книге предназначено было стать спутником многих тысяч людей, а не предметом любования узкого круга ценителей литературы. Мы знаем требовательность Пушкина и Белинского к высокому уровню общественной деятельности человека. И Пушкин и Белинский ценили Смирдина, понимая ту роль, какую он играет для развития литературы, а Белинский прямо назвал целый период литературы «смрдинским».

Н. П. Смирнов-Сокольский в выпущенных им за последние два года книжках «Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв.» и «Книжная лавка А. Ф. Смирдина» обнаружил несомненный дар литературоведа. С большим тщанием и добросовестностью проследил он всю историю возникновения издательского дела Смирдина до печального и одинокого заката жизни его основателя. Смирнов-Сокольский не ограничился издательской деятельностью Смирдина, он описал и историю его библиотеки с ее печатным каталогом «Роспись», который до сих пор является неоценимым справочником по старой

Н. И. Смирнов-Сокольский. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. Редактор Ю. М. Санов. 80 стр. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1957.

русской книге. Описывая деятельность Смирдина, Смирнов-Сокольский широко охватил и ряд литературных событий того времени.

Мне кажется, что здесь уместно будет сказать о любви к книге. Любовь к книге бывает двоякая, как это показывают примеры собирательства. Для одних собирание книг является коллекционерством, ревнивой жадностью собрать все редкое. Эти гарпагоны уносят в свое хранилище собранное и любят его наедине, не принося ни малейшей пользы людям в такой сложнейшей и интереснейшей области, как история книги. В свое время библиограф Г. Геннади выпустил описание редких книг, создав своего рода «толк» геннадиевцев, которые задалась единственной целью: собрать по возможности все описанные Геннадии книги, безотносительно к их содержанию.

Вторая категория собирателей — это люди, глубоко чтящие книгу, знающие ее историю и исполненные желания приохотить к книге возможно большее число людей, заинтересовать их ее судьбой, приучить уважать и любить книгу. Собирательство Н. П. Смирнова-Сокольского именно такого рода. Он не устает делать сообщения о редких книгах, освещать их судьбы и обогащать одну из самых позабытых у нас культурных дисциплин — библиографию. Ведь если о книгах, выпущенных в XVIII или XIX веках, существуют классические справочники Сопикова, Межова, Битовта, Мезьер, Обольянинова, то пер-

вые годы нашего столетия, а отчасти и вторая половина XIX века, столь обездолены на этот счет, что не по чему учить и не по чему учиться молодому поколению наших книжников.

Работа Н. П. Смирнова-Сокольского напоминает о том, как важно уметь ценить книгу и какую роль в этом отношении сыграла в свое время книжная лавка А. Ф. Смирдина. В библиотеке А. С. Пушкина в Ленинграде или в библиотеке В. Г. Белинского, приобретенной в свое время И. С. Тургеневым и ныне хранящейся в музее его имени в Орле, можно найти немало книг с пометками книжной лавки или библиотеки Смирдина. На полках у многих собирателей книг увидишь аккуратные, отлично изданные томики сочинений большинства лучших русских писателей XVIII или начала XIX века, изданных Смирдиным и составивших целую классическую библиотеку.

Н. П. Смирнов-Сокольский проследил в своей книжке весь этот «смирдинский» период русской литературы и воздал дань уважения и благодарности последующего поколения одному из просвещенных русских издателей. Его книга подходит на познавательную повесть; думается, что такой путь литературоведения наиболее доступен широкому читателю, вовлекая его в круг тем, которые обычно интересуют только специалистов.

Вл. ЛИДИН.

★

Повести и рассказы Пентти Хаанпяя

Мы мало знаем современную финскую литературу. Многие из того, что имеет право на наше внимание, до сих пор остается не переведенным. Вот почему следует приветствовать издание книги Пентти Хаанпяя, в которую вошли повести «Хозяева и тени хозяев» и «Мука», а также тринадцать небольших рассказов.

Творческий путь Пентти Хаанпяя при всем его своеобразии во многом характерен для ряда финских писателей.

На одном из бульваров города Лахти высится статуя лесоруба. Статный, мускулистый, он спокойно смотрит на гуляю-

щих. К ноге его прислонен длинный топор. Глядя на скульптуру, я подумал, что это памятник и писателю Пентти Хаанпяя. Ведь немало сосен было срублено им в молодости на делянках разных акционерных обществ. И разве мог бы он написать «Последний путь», «Последнее дерево» и многие другие прекрасные, словно пропитанные запахом сосновой смолы рассказы, если бы сам вместе с товарищами не валил деревья, не раскряжевывал их, не сплавлял, не грелся у ночного костра на лесном болоте?

Пентти Хаанпяя писал рассказы и повести и о земледельцах, в упорных трудах возделывающих свои каменистые участки, страдающих от заморозков, входящих в долги, разоряющихся, но даже в самой

Пентти Хаанпяя. Повести и рассказы. Редакторы М. Марфин и В. Федоров. Перевод с финского. 274 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

тяжкой беде любящих и умеющих пошутить. Сам Хаанпяя, как герой одного из его рассказов старый Перну, «всегда отличался веселым нравом, и плечи его чаще дрожали от смеха, чем от холода». Нельзя сказать, что он был среди земледельцев «как дома», потому что он был среди них дома. Сын крестьянина, он работал в хозяйстве отца, а затем, окончив народную школу, сам занимался земледелием. Его любовь к родной суровой природе скрашивала дни тяжелого труда.

Он писал не только о лесорубах и земледельцах, но и о солдатах, потому что его самого среди других муштровали на плацу. Немало пришлось передумать и пережить ему в казарме мирного времени и затем, много позднее, на фронте в Карелии.

Пентти Хаанпяя был подлинным поэтом простых тружеников земли и леса, которые по-настоящему были близки душе писателя. Необычайно поэтичен образ лесоруба Ансу Рёттё («Последний путь»), с которым читатель знакомится только в час его смерти и который «носил тяжести и многое испытал в жизни. Только смерть сделала его баринном: теперь другие несли его». Хаанпяя противопоставляет этот образ образу господина Юудруса, который «уже не работал, ел, что хотел, получал почти все, что хотел, стал богатым». Даже самоубийство Юудруса, несправедливо нажившего свои богатства, не может примирить с ним читателя. Насколько же симпатичнее писателю обедневший крестьянин Эса Туликоура, бывший «король лыжников», который, чтобы кушить борону, вынужден продать серебряный кубок, полученный им на международных соревнованиях (рассказ «Борона и серебряный кубок»), чем Абрами Кайр, удачливый золотоискатель, вернувшийся с Аляски («Хозяева и тени хозяев»).

Писателю близки не только заботы, но и радость и поэзия сельской жизни. «Великолепное зрелище являл собой этот полуобнаженный человек на болоте под солнцем. Напряженные движения мускулов, верные и хорошо рассчитанные взмахи лопатой, легко выбрасывающие черные, пропитанные влагой пласты земли. Было наслаждением ходить за тянущими борону лошадьми, видеть, как прямо и красиво ложится первая борозда, как постепенно сглаживаются неровности почвы».

Любовь к простому труженику, близость к горестям народным, поэзия земледельческого труда стали традицией классической финской литературы. Проникновенные страницы, передающие эти эмоции, можно найти и в произведениях Алексиса Киви и Юхани Ахо.

Но Пентти Хаанпяя не подражатель — он продолжатель. Он развивает традиции финской литературы на новом этапе исторического развития, отражая действительное положение крестьянства в стране. В повести «Хозяева и тени хозяев», вышедшей в 1935 году, писатель нарисовал картину разорения финского крестьянства в годы мирового капиталистического кризиса тридцатых годов. Хаанпяя показал, что все разговоры о независимости, самостоятельности крепкого крестьянского хозяйства — это миф. «Крепкие» крестьяне, хозяйствующие с помощью батраков на хуторах и сами мнящие себя хозяевами, — лишь подставные лица, тени настоящих хозяев. Настоящими же хозяевами их земли являются банки и крупные акционерные общества...

В традициях прогрессивной финской литературы, как и в традициях русской литературы (вспомним хотя бы выступления Максима Горького и многих других), всегда было утверждение и проповедь братской дружбы финского и русского народов.

Дружба и больше чем дружба — братство с советским народом — написано сейчас на знамени «Кийла» («Клин»), ведущей демократической организации писателей и деятелей культуры Финляндии. В эту литературную группу входят Эльви Синерво, известная далеко за пределами своей страны писательница — прозаик, поэт и драматург, автор волнующей повести «Товарищ, не предавай!», и Армас Эйкия, выдающийся поэт, сатирик, публицист, переводчик стихов и поэм Пушкина, Блока, Маяковского. В ней состоят писатели Кайсу-Мирьями Рюдберг, Арво Туртиайнен, Ярно Пеннанен и другие. Активнейшим участником группы был и Пентти Хаанпяя.

Во время второй мировой войны Пентти Хаанпяя находился в рядах финской армии, воевавшей за чуждое финскому народу дело. После демобилизации, когда Хаанпяя по-настоящему осмыслил все виденное и пережитое на фронте, он решительно примкнул к демократическому лагерю

Финляндия. Говоря о всей послевоенной творческой деятельности писателя, начиная от романа «Сапоги девяти солдат», изданного сразу после войны (1945 год), и кончая последней книгой, «Китайские рассказы»¹, повествующей о поездке в народный Китай и вышедшей за год до смерти Хаанпя, можно повторить слова О. Куусинена о творчестве Армаса Эйкия: муза его «служит великому делу борьбы за мир и прогресс, делу укрепления дружбы и сотрудничества между финским и советским народами».

Избранный Пентти Хаанпя после войны путь явился дальнейшим развитием тех творческих тенденций, которые в той или иной форме проявлялись в его ранних произведениях. Еще в 1928 году, когда после двух первых сборников рассказов вышла в свет книга «Плац и казарма» с подзаголовком — «Рассказы об армии республики», буржуазная пресса, незадолго до этого превозносившая Хаанпя — «славного сплавщика», стала решительно требовать его осуждения. Буржуазные издательства на много лет объявили бойкот произведениям Пентти Хаанпя.

С чуткостью настоящего художника увидел он уже тогда, что в республиканской армии господствует «пруссаческий дух». С большой любовью показывая простого солдата, труженика, одетого в военную форму, он в смелых, острых и впечатляющих рассказах разоблачал антинародную, профашистскую ориентацию офицерства, которая впоследствии и привела финскую армию в стан гитлеровских сателлитов.

Уже в повести «Хозяева и тени хозяев» Хаанпя показывал, как в начале тридцатых годов правители Финляндии с помощью церковников толкали разоряемых мировым капиталистическим кризисом крестьян на войну против Советского Союза. Антисоветскую авантюру они думали использовать для разрешения всех внутренних противоречий — это было ясно писателю. И, когда его протест против отдельных несправедливостей общества, протест, еще далекий от признания необходимости революционной борьбы, перерастает в прямое обвинение капиталистического строя в целом, когда антимилитаристские настроения в послевоенные годы

вырастают в активную борьбу за мир, на палитре Хаанпя появляются все новые и новые краски, мастерство его становится все отточнее.

Последние его произведения, к примеру повесть «Мука» на тему о голоде в деревне конца прошлого века, а также книга злободневных рассказов «Исследователь атома», — живое свидетельство обретения писателем идейной концепции, помогающей ему создавать полноценные, художественно зрелые произведения.

В 1953 году, вскоре после поездки в народный Китай, Пентти Хаанпя посетил Советский Союз. Он находился в расцвете творческих сил, много и плодотворно работал. Можно было ожидать, что после «Китайских рассказов» появится книга его впечатлений и о Советской стране. Но 30 сентября 1955 года, за две недели до того дня, когда ему должно было исполниться пятьдесят лет, Пентти Хаанпя трагически погиб. Он утонул в одном из воспетых им озер любимого Севера. Мне довелось услышать в Финляндии много рассказов о том, какой это был честный, бескорыстный и бесстрашный человек, влюбленный в скалистые и болотистые края своей родины. Мне рассказывали о том, как была близка его жизнь жизни народа в его радостях и горестях, каким тонким юмором он обладал, какой большой утратой для современной финской литературы является его безвременная гибель.

В последнее время в Петрозаводске были изданы книги финских классиков, рассказы Минны Кант и сказки Захарияса Топелнуса. Госиздат Карельской АССР и Гослитиздат выпустили в свет массовым тиражом книги замечательного финского писателя-революционера Майю Лассила «За спичками» и «Воскресший из мертвых» в превосходных переводах Михаила Зошенко. В журналах «На рубеже» (Петрозаводск), «Звезда», «Молодой колхозник» были опубликованы переводы произведений Эльви Синерво «Товарищ не предавай!», «Десятка за урок», «На пристани». Появляются рассказы финских писателей и в других журналах. Издательство иностранной литературы недавно выпустило в свет избранные стихи Армаса Эйкия, наконец вышла рецензируемая книга избранных произведений Пентти Хаанпя. Все это можно приветствовать как развитие традиционных связей великой русской литературы с литературой финской.

¹ Один из этих рассказов, «Фоцзылин», включен в рецензируемую книгу.

Мы помним, что деятели русской передовой демократической литературы были первыми из тех, кто за рубежами Финляндии откликнулся на появление в свет «Калевалы». Вспомним также, что еще в 1917 году в Петрограде вышла составленная основоположником советской литературы Максимом Горьким образцовая антология финской литературы. В создании антологии принимали участие своими переводами такие выдающиеся поэты, как А. Блок и В. Брюсов. Русский читатель знает в переводе Блока песню Рунеберга «Наш край», ставшую ныне государственным гимном Финляндии. И мне думается, что читателям небезынтересно будет узнать, что первое исследование, посвященное творчеству Пентти Хаанпя, принадлежит советскому литературоведу А. Мантере. Она же написала

содержательное послесловие к «Повестям и рассказам».

Как хорошо, что каждый народ имеет в отношении искусства свое лицо, писал в свое время Стендаль, сумма наслаждения всего мира от этого увеличивается. И, перечитывая сборник произведений Пентти Хаанпя, гуманиста и борца, произведений, проникнутых национальным своеобразием, испытывая эстетическое наслаждение, мы одновременно думали о том, что глубоко правдивое изображение Финляндии, которое в этой книге найдет читатель, поможет советским людям лучше понять жизнь небольшого трудолюбивого и талантливого народа, исторические судьбы которого так тесно связаны с судьбами его великого соседа.

Геннадий ФИШ.

★

Быль, ставшая легендой

В маленькой станице в Сальских степях провел свое детство Володя Дегтярев. Поссорившись с отцом, беспризорничал, учился, пробивался в жизнь. Стал врачом, ветеринаром, научным работником. Война, фронт, тяжкий плен, польско-советский партизанский отряд. Обычная, во всяком случае весьма распространенная советская биография, рассказанная однажды на лагерных нарах Майданека другому заключенному, поляку Игорю Неверли. И вот в 1947 году в Польше вышла книга, где эта повседневная правда, оставаясь правдой, стала героической былиной, легендой, искусством. Книга вошла в программу польских школ, передавалась по радио; и сколько молодых поляков полюбило Советский Союз, полюбив героя повести, этого упорного, несогласного, резкого парня, «доктора Вову», русского доктора, командира партизанского отряда.

Книга зажила своей жизнью, герой ее, которого писатель считал убитым, — своей. Он вернулся домой. Снова — ветеринар, очень уважаемый у себя в районе человек.

Переводчица Зинаида Шаталова не ограничила свою задачу переводом повести польского писателя на русский язык; она решила отыскать героя этой книги. И на-

шла, и выступила на партийном собрании, где Дегтярева восстанавливали в партии, и аргументировала переведенной ею книгой. Или правдой жизни, которая отразилась в книге. Как видим, благородный почин Сергея Смирнова, разыскавшего героев Брестской крепости, находит продолжателей.

Вот я пишу критическую рецензию, где полагается говорить о достоинствах и недостатках литературного образа. А «образ» живет в городе Шахты, читает лекции фельдшерам, делает удивительные операции коровам, едет в Польшу, чтобы встретиться с автором книги о себе и с новыми друзьями, которых дала ему эта книга... Литература и жизни!

Уже давно замечено, что в переломные моменты истории, и особенно в наше бурное время, сама жизнь как бы проделывает за писателя значительную часть его труда. Чапаев, Кожух, Павел Корчагин, молодогвардейцы, Зоя, — в них еще до написания книг были как бы отобраны самые характерные черты народа. На первый взгляд писателю здесь и делать почти нечего. Общество диктует — записывай под диктовку общества. Но так кажется только на первый взгляд. Создание «Чапаева», «Железного потока», «Как закалялась сталь», «Зои», «Молодой гвардии» и, не побось прибавить к славному списку. «Паренька из Сальских степей» — это всегда и подвиг писателя, это

Игорь Неверли. Паренек из Сальских степей. Повесть. Перевод с польского З. Шаталовой. «Москва». №№ 7, 8. 1957. Детгиз. М. 1958.

огромный особый труд, преодоление сложного материала. Чтобы достоверность одной, пусть выдающейся, человеческой жизни стала достоверностью десятков и сотен тысяч жизней, такой труд непременно предполагает и определенное внутреннее родство с героем. И это тоже литература и жизнь.

...Владимир Дергачев — будем уже называть Дегтярева тем литературным именем, которое дано ему в повести, — не сразу стал прославленным, дерзко смелым и умно расчетливым героем. В поворотный момент его жизни сказалось все, что было в нем заложено с детских лет, проявился характер, становление которого умело и убедительно показывает писатель. Владимир с первых сознательных шагов начал строить свою жизнь, то есть не отдаваться течению, а действовать, и часто наперекор обстоятельствам. Он, совсем еще мальчишкой, стал уже известным и уважаемым в станице лицом. Хорошо зная арифметику, он помог подсчитать урожай, но, когда отец не пустил его учиться и ударил по лицу, ушел из дому, не обернувшись. Ему было трудно учиться, голодно, но он отказался от помощи раскаявшегося отца: «Пробьюсь сам!»

Все это мелкие детали, подробности, но это все ростки характера — цельного, сильного, непокоряемого, сложного. В этом характере — и кровь свободолюбивого прадеда, объявившего когда-то в Сальске «республику» (не эта ли кровь взыграла, когда Дергачев, не дрогнув, зарубил изменника, назвавшегося полковником Красной Армии?), и годы Советской власти, поднимающей наннижайшие низы к человеческому достоинству, к творчеству новой жизни.

В повести есть эпизодический персонаж — начальник уездной милиции. Когда стрелочник презрительно назвал Владимира «гнидой на теле рабочего класса» и мальчик от обиды (тоже деталь немаловажная — не от боли, не от голода, а от обиды) хотел броситься под поезд, его приводят к начальнику милиции. Происходит отличный разговор — умный, остроумный и очень человеческий, в значительной степени решивший судьбу Владимира.

Вот первое внешнее впечатление: «От комнат пахло свежей краской, а от начальника — свежим назначением. Такие хуже всего: из всякого вздора делают великое дело, допрашивают долго, мелочно, по всем

правилам, потом пишут, пишут, пишут... тупым пером по живому человеку, без всякой анестезии!» Но вот появляется сам начальник и опровергает это первое впечатление. Он говорит: «Ты что ж, каналья этакая, в обеденное время вздумал самоубийства устраивать? Чтобы милиция на голодный желудок протоколы писала? Дураков нет!»

Этот сердитый и шустрый, добрый без капли сентиментальности разговор стал поворотным — с запиской начальника Владимир отправляется в детдом. Поступок начальника по отношению к Владимиру — не частная филантропия, а проявление нового общественного строя, и это хорошо передает Неверли.

Живая, сердечная и деловитая забота о другом человеке, душевная общность людей, как и другие черты советской жизни, увидены глазами нашего друга — умного, доброго польского писателя. Детство и самая ранняя юность Владимира изображены, пожалуй, лучше, чем зрелость. О предвоенных годах рассказано скороговоркой, здесь как-то теряются контуры образа. Но дальше — на войне, в плену, в партизанском отряде — характер героя вновь обретает жизненность.

Война, плен. Как много уже об этом написано, и все-таки в книге Неверли есть свой взгляд, свой угол зрения, то самое лица необщее выражение, без которого нет искусства. Неверли рассказывает о страшном — о крови, убийствах, истязаниях, о том, как людей пытались заставить перестать быть людьми. А книга — светлая, оптимистичная, заражающая верой в жизнь.

Неверли рассказывает и об ошибках и о неудачах своих героев, но каким-то шестым чувством, особым душевным тактом он находит необходимую меру; благодаря этой мере и создается общий светлый колорит повести.

В этой славной, честной книжке много разных глубоко индивидуализированных образов хороших людей, людей, которые «излучают сияние в самых нечеловеческих условиях». А отрицательные герои, негодяи получились у автора стандартными, незапоминающимися, они просто как бы служат неотъемлемыми деталями войны и лагеря.

Однако не только галерея положительных героев, таких, как сам Дергачев, его ближайшие друзья Ленька и Кичкайлло, доктор Клюква, Гжелякова — мать двух детей, вопреки смертельной опасности приютившая

Дергачева и Кичкайлло, придают повести оптимистический характер. Всей повести в целом присущ, говоря словами Дергачева, «такой моральный климат, в котором могла бы развиваться известная романтика долга, в котором больной и замученный человек, человек с душой, промерзшей до основания, снова оттаял бы и поверил в то, что есть еще люди на свете».

Один из центральных эпизодов книги — спор Дергачева с эсэсовцем о том, прав ли Горький, утверждая: «Человек — это звучит гордо!»

На стороне эсэсовца сила ничем не ограниченной власти, он пускает в ход «кнул и пряник», чтобы доказать продажность, развращенность человеческой природы. У Дергачева — только великая вера в Человека, в свой народ, в свою партию. И Дергачев побеждает. И побеждает писатель, создав свою повесть.

В мае 1956 года, будучи в Варшаве, я встретила с писателем Игорем Неверли. Позади остались бурные споры о социалистическом реализме, подлинные и фальшивые страсти «кофейных» политиков. Я увидела не похожего на других писателя, в котором чувствовалась большая внутренняя сила, самостоятельность мысли, угловатость и за всем этим затаенная, застенчивая нежность к людям.

Это отнюдь не было равнодушием. Неверли, как и все, был глубоко взволнован XX съездом, ему хотелось осмыслить, понять происшедшее, многое казалось неясным, но громко звучавшие уже тогда поверхностные, а иногда и злобные выступле-

ния иных польских литераторов были ему не по сердцу. Было в Неверли что-то прочное, незыблемое.

Я вспомнила об этой встрече, когда прошла позже, в Москве, повесть «Паренек из Сальских степей».

Польско-советские отношения прошли через многие испытания и трудности.

Это и не могло быть иначе. Взаимоотношения между странами социалистического лагеря строятся на новых принципах, беспримерных в долгой истории человечества. И создаются они, как и социализм внутри стран, не в лаборатории, а в живой действительности, создаются не ангелами, а людьми, делающими ошибки, окруженными врагами, которые не устают злорадствовать по поводу наших действительных и мнимых ошибок. И все же главное во взаимоотношениях Советской России и новой Польши не в этих ошибках. В фундаменте нашей дружбы слишком много крови, крови людей, погибших в борьбе против общего врага. Эту дружбу не удастся поколебать ни ревизионистам и нигилистам, ни догматикам и сектантам.

Понятие «польско-советская дружба» для читателей книги «Паренек из Сальских степей» наполняется теплым, живым, конкретным содержанием; остаются в сердце и в памяти русский Владимир Дегтярев и поляк Игорь Неверли, славные подвиги русско-польского партизанского отряда, воплощение действенной нерушимой дружбы двух народов.

Р. ОРЛОВА.

★

Политика и наука

Молодость древней столицы

Эту книгу о Пекине трудно отнести к определенному жанру — она не путеводитель, и не справочник, и не историко-географическое описание древнего города. В книге Ху Цзя есть и то, и другое, и третье.

Автор знакомит читателя с историей и развитием города, с его славными революционными традициями, рассказывает о достопримечательностях города. Отдельные главы посвящены городскому строи-

тельству, производственной и культурной жизни Пекина.

Мне приходилось много и подолгу бродить и ездить по Пекину. Первое впечатление — зеленые магистрали, запруженные велосипедистами. Пекин — большой город, но его коммунальный транспорт еще не полностью удовлетворяет потребности горожан. Может быть, поэтому велосипед так крепко вошел в жизнь пекинцев.

Бросается в глаза и удивительное сочетание памятников прошлого с новым, что рождено в последние несколько лет. Можно говорить о древности и молодости Тянь-

Ху Цзя. Пекин. Издательство литературы на иностранных языках. Пекин. 1957.

аньмыня — одного из огромных сооружений Пекина, в феодальную эпоху бывшего местом «издания императорских указов золотым фениксом»; во время этих церемоний свиток с императорским указом вкладывали в клюв вырезанного из дерева и окрашенного золотом феникса, а затем через бойницу спускали вниз для распространения по всей стране. После образования КНР Тяньаньмынь стал народным достоянием.

Революция вдохнула новую жизнь в старые императорские дворцы и парки Гугун и Ихюань с их неповторимыми архитектурными ансамблями. Эти парки теперь стали любимыми местами отдыха пекинцев и популярными музеями.

Кто побывал в Пекине, тот, конечно, посетил оживленную улицу Ванфуцзин, осмотрел торговые ряды знаменитого пассажа «Дуньаньшичан», в котором помещается шестьсот магазинов. Он напоминает пчелиные соты. Здесь продается все — от коллекционных почтовых марок до мебели. На этой же улице, напротив пассажа, построен новый шестизэтажный государственный универмаг, сверкающий стеклами многочисленных витрин и рассчитанный на одновременное пребывание десяти тысяч покупателей.

К востоку от Тяньаньмыня расположен Дворец культуры, открытый 1 мая 1950 года. Раньше здесь был храм Таймяо, где хранились списки умерших предков императора.

Пекин — древний город. Более двух тысяч лет назад он был впервые упомянут в письменных документах. За это время город, конечно, многократно менял свой облик, расширялся, застраивался, но сохранял свои традиции. В Восточной Азии передней стороной считается южная. На юг смотрят фасады царских дворцов и юрты кочевников, трибуна Тяньаньмынь. При строительстве новых рабочих поселков в Китае дома выстраиваются в линии, обращенные на юг.

Все старые китайские города имеют форму квадрата либо прямоугольника, который под прямыми углами пересекается улицами, протянувшимися строго с юга на север и с востока на запад. Так построен и Пекин. Вот почему в этом городе легко ориентироваться даже человеку, впервые ступившему на его улицы. Четыре храма, расположенные на юге, востоке, севере и

западе города, носят имена неба, солнца, земли и луны.

С интересом знакомимся с разделом книги, где говорится о городском благоустройстве, об улучшении санитарного состояния города.

Новая жизнь Пекина началась с 1949 года, когда он был объявлен столицей государства (при гоминдане ею был Нанкин). К тому времени город нуждался в значительной реконструкции. Крайне запущена и мала была водопроводная и канализационная сеть. Не хватало воды, электроэнергии. Проезды были неблагоустроены, дворы и улицы страшно загрязнены.

Городские организации провели громадные работы по очистке. «Тысячи тележек,— пишет Ху Цзя,— вывозили мусор и нечистоты, которые накопились в городских кварталах за много лет. Система водосточных сооружений, почти полностью пришедшая в негодность, восстановлена и частично создана заново. Огромные водоемы с гнилой водой, представлявшие прямую угрозу населению, осушены. Пустыри и заболоченные участки города превращены в озера и парки». Значительное удлинение водопроводных путей, строительство канала, подводящего хорошую воду из реки Юньдинхэ, решили проблему водоснабжения столицы.

Город продолжает непрерывно строиться, растет его жилой фонд. Мне довелось посетить несколько высших учебных заведений (а их всего около тридцати) и научно-исследовательских институтов. Почти всюду видны новые учебные и лабораторные корпуса, общежития, столовые. Особенно много больших домов построено в западном пригороде Пекина, за которым пекинская равнина упирается в Шишань — Западные горы. Здесь создан большой академический городок, комплекс зданий народного университета, великолепный ансамбль гостиницы «Дружба». В Китае, говорится в книге Ху Цзя, пользуется популярностью песенка, содержание которой посвящено большим переменам в жизни трудящихся: «В старые, мрачные дни стоило только дождю пойтн — вмиг наши дома затоплены... Теперь, живя в настоящих, новых домах, получили мы то, о чем стои т песни слагать...» Автор приводит факты, свидетельствующие о росте благосостояния населения,

Пекин — литературный и художественный центр Китая. Здесь находится Всекитайская федерация работников литературы и искусства. В этом городе зародилась знаменитая пекинская музыкальная драма (Пекинская опера). В Пекине выходит свыше двадцати газет, около двухсот пятидесяти журналов, альманахов и бюллетеней.

Славен Пекин своими художественными промыслами. После Освобождения, рассказывает Ху Цзя, кустари постепенно вступили на путь кооперирования. Выпуск продукции возрос, в огромной мере улучшилось ее качество. В начале 1956 года кооперативы кустарей насчитывали сто тысяч членов. Кустарное производство в Пекине многообразно. На первом месте стоит художественная резьба по яшме, слоновой кости и дереву. Затем следуют изделия из перегордчатой эмали (клуа-

зонне), изделия из лака и резьба по лаку, инкрустация перламутром и драгоценным камнем, вышивки, стеклянные и металлические изделия и так далее.

Жители города очень гостеприимны, и каждый, кто побывал в Пекине, вспоминает его с теплым чувством. Он особенно хорош осенью, когда нет летней жары и духоты муссонного климата, нет и сухих, пронзительных зимних ветров, приносящих пыль из Гоби. Осенний Пекин — солнечный, по-ласковому теплый и нарядный своей желтеющей листвой. Утренняя дымка мягкой вуалью одевает улицы, дома, парки, аллеи города, населенного приветливым, трудолюбивым народом. «Живя в Пекине, трудно покинуть его. Гускинув Пекин, нельзя забыть его», — так гласит китайская пословица.

*Доктор географических наук
Э. МУРЗАЕВ.*

★

История географических открытий

География, или «землеописание», как ее называли ранее, уходит своими корнями в глубокое прошлое. Это одна из наиболее старых областей знания в истории человечества. Обнаруженные учеными древние изображения картографического характера отдельных небольших территорий Земли относятся ко второму и даже третьему тысячелетию до нашей эры, то есть насчитывают около четырех-пяти тысяч лет.

Можно представить себе, с какими огромными трудностями сталкивается исследователь истории географических открытий от древнейших времен до наших дней. Поэтому надо приветствовать попытку И. П. Магидовича дать оригинальный обобщающий обзор такого рода.

Предмет своего исследования автор делит на семь исторических периодов. Периодизация истории мировой культуры, частью которой являются географические открытия, — задача очень сложная. Невозможно сколько-нибудь точно установить одинаковые рамки периода. Они будут неизбежно условны и несколько отличны для разных наук в разных странах. С этой существенной оговоркой можно при-

нять взятые автором и с приближенностью выдерживаемые им в работе периоды.

В первой части книги кратко рассказывается об открытиях древних народов. Следует заметить, что в работах подобного рода обычно игнорировались открытия, сделанные неевропейскими народами старой культуры, правда, за исключением тех, которые были осуществлены финикийцами, вавилонянами и египтянами.

Автор начинает свой обзор с открытий китайцев. Он знакомит читателя с путешествиями Чжан Цзяна (II столетие до нашей эры), доставившего ряд ценнейших для того времени сведений о территориях, соседних с северными и западными границами Китая, а также с путешествиями в Индию в IV—VI веках нашей эры.

Следующий раздел — «Средневековые открытия (до Колумба)». Период этот характеризуется многочисленными и гораздо более далекими путешествиями, сильно расширившими географический кругозор людей. Сюда относятся замечательные плавания норманнов в северной Атлантике, открытия арабов, дальнейшее проникновение европейцев в Азию (включая путешествия Маэко Поло в Китай и Афанасия Никитина в Индию) и в прибрежные районы Западной и Южной Африки. Автор подчеркивает видную роль русских исследователей севера

Европы, говорит об их открытиях в Арктике и начале походов в Западную Сибирь.

Особое внимание — и это закономерно — уделено автором географическим открытиям, начиная с Колумба и до середины XVII века. Открытие обеих Америк и многочисленные походы в их внутренние области, открытия в Австралии и Океании, первое кругосветное плавание Магеллана — все это резко изменило представление людей о поверхности Земли и ее размерах, оказало глубокое влияние на всю хозяйственную жизнь Европы. Замечательные экспедиции наших соотечественников в Сибирь и на Дальнем Востоке открыли обширные страны Северо-Восточной Азии.

В последующих частях книги рассматриваются географические исследования и открытия, относящиеся к 1650—1800 и 1801—1917 годам. В эти периоды усилиями множества путешественников, принадлежащих к различным национальностям, достигнуто дальнейшее значительное уточнение представлений как о внутренних частях, так и о размерах, очертаниях и взаимоположении материков. Расширяются сведения об островах, лежащих в океанских просторах. Люди узнают о существовании нового, никому до того не известного материка — Антарктиды.

Книга заканчивается описаниями новейших открытий, сделанных в период с 1917 по 1955 годы.

Естественно, что обширность темы потребовала от автора особого подхода и к отбору материала и к его освещению. Как видно из предисловия, И. Магидович ограничивает свою задачу показом того, как на протяжении ряда веков уточнялось и углублялось представление о карте мира. Таким образом, вне рамок его труда осталась характеристика развития географических идей. Книга в подавляющей своей части содержит описание маршрутов и важнейших перипетий путешествий. Лишь иногда, в начале некоторых глав или частей, встречается изложение исторической обстановки, в которой происходила организация некоторых крупнейших экспедиций.

Капитальный и весьма ценный труд И. Магидовича не свободен от некоторых недостатков.

Прежде всего следует упрекнуть автора в том, что он уделил относительно меньше внимания разделу, посвященному открытиям, сделанным в промежутке между 1917

и 1955 годами. Эта часть книги очень схематична. Советские открытия, особенно в Сибири, Средней Азии, Казахстане, освещены недостаточно. Ничего, например, не сказано о многочисленных путешествиях по пустыням и горам Средней Азии наших замечательных современников — академиков А. Е. Ферсмана и В. А. Обручева. То же можно сказать и об исследованиях Антарктики зарубежными учеными ряда стран.

В большинстве случаев в книге отсутствуют оценки результатов научных экспедиций, вкладов их в изучение того или иного района. Не хватает также и кратких обобщающих выводов о характере изменений в представлениях о карте мира, существовавших к концу каждого периода, сравнительно с предыдущим. Нет также конкретных ссылок на использованную и цитированную литературу. Общий список литературы не восполняет этого пробела.

Из отдельных фактических ошибок и неточных формулировок укажем на следующие.

Нельзя говорить, что Полярков или его спутники видели Сахалин, так как его собственные показания (они опубликованы Н. Н. Оглоблиным еще в 1886 году) такого утверждения не содержат. Точно так же нет оснований считать Пояркова первым русским, совершившим плавание в юго-западные части Охотского моря. Еще до него, в конце тридцатых годов XVII века, к югу от реки Ульи до устья Уды плывал Нехорошко Колобов, участник первого похода русских казаков к берегам Тихого океана.

Автор начинает историю русских кругосветных плаваний без всякого исторического вступления, прямо с плавания Крузенштерна и Лисянского. Между тем следовало указать, что неоднократно, начиная с 1732 года (проект президента адмиралтейств-коллегии Н. Ф. Головина), в русских правительственных сферах обсуждалась проблема кругосветных экспедиций. В 1787 году была начата даже подготовка такого плавания под начальством Г. И. Муловского, непосредственного начальника Крузенштерна. Больше того, Муловский принял в состав этой экспедиции и Крузенштерна и его друга Лисянского. Оба молодых офицера были посвящены Муловским в эти планы и после его смерти осуществили их.

Неправильно дана в книге оценка происхождения горных хребтов Южной Сибири,

которые Черский называл складчатыми. Соглашаясь с этим мнением Черского, автор впадает в противоречие с современным мнением науки, считающей, что эти хребты отнюдь не складчатого, а глыбового происхождения, но сложены породами, собранными в складки, что совсем не одно и то же.

Ошибки и неточности, встречающиеся в книге, носят частный характер и не являются настолько существенными, чтобы изменить общую положительную оценку ре-

цензируемого труда. Книга И. Магидовича содержит гигантский фактический материал, помогающий читателю получить целостное представление о том, как на протяжении тысячелетий изменялось и уточнялось изображение на картах лика Земли.

Доктор географических наук

Д. ЛЕБЕДЕВ,

кандидат географических наук

Л. КАМАНИН.

★

Арабы в борьбе за независимость

У индийского писателя Кришана Чандра есть сказка «Черное солнце». В ней рассказывается о том, как алчный сардар — повелитель людей, населяющих богатую и плодородную долину, — приказал ради своих корыстных интересов вымазать солнце сажей. Этот приказ был выполнен, и жители долины не увидели утренней зари. Не стало света, не было и тепла. Люди постепенно забыли, как prospаается природа и распускаются цветы, как плещутся волны и как счастливые глаза озаряются лучезарной улыбкой. В долине воцарилась печаль.

Так проходили дни, месяцы и годы. Казалось, что эта ночь никогда не кончится, а солнце никогда уже больше не появится.

Но случилось так, что жители долины узнали о причине своей беды. Они собрались все вместе и, взобравшись на крутую высокую скалу, стали тереть, мыть, скрести солнце. И скоро оно снова засияло ослепительным блеском. На землю полился свет...

В этой напоенной восточной мудростью сказке как будто отражена судьба народов Азии и Африки. На протяжении многих веков колонизаторы закрывали от них солнце свободы. Долгая, темная ночь висела над двумя континентами.

Но вот, как говорил президент Республики Индонезии Сукарно, ураган национального пробуждения и возрождения пронесся по земле, потрясая и изменяя ее, изменяя к лучшему.

Академия наук СССР. Институт востоковедения. Арабы в борьбе за независимость. (Национально-освободительное движение в арабских странах после второй мировой войны). Редактор Ю. Георгиев. 416 стр. Госполитиздат. М. 1957.

Ураган этот сорвал цепи колониального рабства со многих народов. Только за последние двенадцать лет, кроме Китайской Народной Республики, Демократической Республики Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республики, свыше семисот миллионов человек завоевали свободу и подняли над своими странами флаг национальной независимости. Народы, еще не разбившие оков колониализма, все выше поднимают голову, решительнее и упорнее ведут борьбу за право на самостоятельное существование, за право самим распоряжаться своей судьбой.

В послевоенные годы приобрел исключительно широкий размах процесс освобождения народов Востока от колониального гнета, процесс, в свое время гениально предвиденный В. И. Лениным. О национально-освободительном движении арабских народов рассказывается в сборнике статей «Арабы в борьбе за независимость», подготовленном Институтом востоковедения Академии наук СССР.

На обширной территории, простирающейся от Атлантического побережья Северной Африки до Персидского залива и по размерам равной примерно половине площади СССР, раскинулись арабские страны. Здесь живет 76 миллионов человек. Авторы сборника рисуют картину социально-экономического положения этих стран, знакомят читателя с ходом борьбы против попыток империалистов вновь надеть на арабские народы ярмо чужеземного владычества. В книге приведены интересные сведения об успехах арабских народов в развитии национальной экономики и культуры, об укреплении их сотрудничества со

многими странами мира, в том числе со странами социалистического лагеря.

Все арабские страны — аграрные. Большинство населения занято здесь сельским хозяйством, общественно-экономический строй основан на сочетании капиталистических отношений с феодальными пережитками, которые долго сохраняли и культивировали английские и французские империалисты.

Хозяиничанье чужеземных порабощателей, жестокая эксплуатация создали невыносимое положение для широких масс коренного населения. Вот несколько красноречивых примеров. В Египте — крупнейшей по значению и численности населения арабской стране — до освобождения средний доход феллахов (крестьян) был в три-четыре раза ниже элементарного прожиточного минимума. Заработная плата египетского неквалифицированного рабочего, по данным 1951 года, составляла 9 пиастров в день, а килограмм пшеничного хлеба стоил 5,7 пиастра. Хроническое недоедание, антисанитарные жилищные условия, непосильный труд, постоянные эпидемии подрывали здоровье миллионов людей. Характерно, что из каждых 100 призывавшихся на военную службу египтян 80 оказывались непригодными к ней по состоянию здоровья. До 40 процентов детей в Египте умирало, не дожив до шестилетнего возраста.

Нечего и говорить, что положение широких масс трудящихся в других арабских странах было не лучше, а во многих отношениях еще хуже, чем в Египте.

В результате мощного национально-освободительного движения на Арабском Востоке нет теперь французских и почти нет английских колоний. Большая часть стран в этом районе земного шара добилась политической самостоятельности и решает сейчас задачу освобождения от экономической зависимости, от иностранного капитала. В Египте и Сирии, в частности, разрабатываются долгосрочные планы экономического развития, создания крупной промышленности, передового сельского хозяйства, широкого использования имеющихся энергетических ресурсов. Планы строительства в Египте плотины «ас-Садд аль-али» и на ее базе ряда заводов тяжелой промышленности, национализация компании Суэцкого канала, передача египтянам иностранных банков и страховых об-

ществ — все это яркое выражение борьбы против засилья империалистических монополий.

Несомненно, развитию египетской и сирийской экономики во многом будут способствовать соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве СССР с Египтом и Сирией, основанные на принципах полного равноправия и взаимной выгоды.

Национально-освободительное движение арабских народов наталкивается на ожесточенное сопротивление империалистов. В сборнике рассказывается о разнообразных средствах, которые используют колонизаторы для того, чтобы сохранить свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке. Соперничая, когда речь идет о грабеже арабских стран, они объединяются для борьбы с национально-освободительным движением народов. Так было во время преступной агрессии Англии, Франции и Израиля против Египта, так было в период провокационной кампании Соединенных Штатов Америки против Сирии.

В последние годы особенную активность на Ближнем Востоке развивают американские монополии. Используя ослабление позиций старых колониальных держав, они хотят прочно, со всеми удобствами устроиться в этом районе, имеющем огромное стратегическое значение и обладающем несметными запасами «черного золота». Соединенные Штаты Америки контролируют в настоящее время приблизительно 65 процентов добычи нефти на Ближнем Востоке. Эксплуатация природных богатств арабских стран приносит баснословные барыши нефтяным монополиям Америки. Достаточно сказать, что валовой доход одной только американской нефтяной компании АРАМКО в 1956 году составил 749 миллионов долларов.

Естественно, что хозяева нефтяных трестов требуют, чтобы им были обеспечены «надежные условия» на Ближнем и Среднем Востоке. Стремлением оградить их интересы и продиктовано, в частности, появление «доктрины Эйзенхауэра». Эта доктрина позволяет в любой момент вмешаться во внутренние дела арабских стран и пресечь всякие действия, которые, по мнению американских нефтяных магнатов, создают угрозу их барышам, их праву беззастенчиво грабить чужие богатства.

Но не только нефтяными интересами об-

условлена американская экспансия на Ближнем Востоке. Американский империализм, замышляющий войну против социалистических стран, рассматривает Арабский Восток как исключительно важный стратегический плацдарм. «Военно-воздушные базы Ближнего Востока, — писал американский журнал «Форин Афферс», — находятся ближе к основным советским промышленным центрам в Баку, вдоль Дона, на Урале и в Южной Сибири, чем территория любой другой некоммунистической страны».

Для осуществления своих агрессивных планов американские, а также английские империалисты хотят связать арабские страны участием в военных блоках и превратить их территории в свои военные плацдармы. Особые надежды в этой связи они возлагают на Багдадский пакт — агрессивную группировку, фактически возглавляемую Соединенными Штатами Америки.

Подлинная сущность военного Багдадского блока особенно ясно выявилась на последней сессии его Совета, которая состоялась 27—30 января 1958 года в Анкаре. Присутствовавший на этой сессии государственный секретарь США Даллес добивался размещения на территории арабских стран ракетного и ядерного оружия. Под его нажимом Советом было принято решение о сотрудничестве трех военных группировок, созданных под эгидой США, — НАТО, СЕАТО и Багдадского пакта. Таким образом, Вашингтон стремится заставить страны Ближнего и Среднего Востока нести ответственность за любую агрессивную авантюру, начатую американскими генералами. «В каком бы отдаленном. — говорится по этому поводу в Заявлении ТАСС от 21 января, — от государств этого района месте земного шара, будь то в Центральной Европе или на Тихом океане, ни вспыхнула искра военного конфликта, страны, входящие в Багдадский пакт, оказались бы перед прямой угрозой того, что в силу военных обязательств, связывающих участников этих трех военных блоков, пожар ракетно-атомной войны перекинется на их территорию».

Арабские народы решительно выступают против агрессивных действий империалистов на Ближнем Востоке. Характерно, что в Багдадский пакт не вступила ни одна арабская страна, кроме Ирака. Да и в Ираке широкие круги общественности все

решительнее выступают против империалистических затей США и Англии.

Народы Арабского Востока отвергли колониалистскую «доктрину Эйзенхауэра». Они выразили гневный протест против вмешательства США во внутренние дела независимых, суверенных государств. «Мы отвергаем предложение Эйзенхауэра потому, что оно призывает к войне, а мы не хотим войны», — заявил Мухаммед Тагут, феллах из египетской деревни Зу амаль. «Американцы предавали нас всегда. Эйзенхауэр и его люди не хотят уважать наши интересы», — сказал Ахмед Шама ад-Дин, рабочий текстильной фабрики в Фаюме.

Уже после выхода в свет рецензируемого сборника в Каире состоялась конференция солидарности стран Азии и Африки. В ней были представлены 45 стран, или более половины населения земного шара. Развив идеи Бандунгской конференции, участники форума в Каире приняли ряд решений, осуждающих «доктрину Эйзенхауэра» и Багдадский пакт, зовущих к пересмотру политики Запада в отношении стран Азии и Африки, к прекращению испытаний ядерного оружия, к разоружению, к миру, дружбе и сотрудничеству народов. Говоря о том, что народы не могут жить в безопасности в таком мире, которому угрожает война, председатель конференции глава египетской делегации Анвар Садат добавил: «Нам достаточно вспомнить о нашей многочисленности, наших ресурсах, наших обширных территориях и о наших стратегических позициях, чтобы понять, что война будет невозможной, если мы решим сохранять мир. Но наша решимость не должна быть пассивной. Ее следует претворить в определенные действия в пользу мира».

В результате плебисцита, который был проведен в Египте и Сирии, в феврале 1958 года создана Объединенная Арабская Республика. Появление нового суверенного государства на Ближнем Востоке, несомненно, послужит укреплению единства арабских народов в борьбе за независимое развитие, против происков колонизаторов.

В своей борьбе за мир и независимость арабские народы всегда встречают горячее сочувствие и поддержку со стороны Советского Союза, Китайской Народной Республики, других стран социалистического лагеря. С каждым днем крепнут взаимовыгодные экономические связи СССР и государств Арабского Востока, расширяются

культурные связи между ними, крепнет их дружба, основанная на принципах мирного сосуществования.

Сборник «Арабы в борьбе за независимость» с интересом будет воспринят советским читателем. Содержащийся в нем обширный фактический материал поможет

ему разобраться в сложных процессах, происходящих на Ближнем и Среднем Востоке, позволит по достоинству оценить мужественную борьбу арабских народов за мир, свободу и национальную независимость.

В. ШРАГИН.

★

Рассказ о Курте Конраде — друге Фучика

Будьте мужественны и терпеливы. «Жизнь — это борьба. Люблю ее за это. И верю, что одно из самых сильных средств помочь людям — это дать им пример мужа, который остается твердым до самого конца».

Эти пламенные слова Романа Роллана были обращены к юному чеху Курту Конраду и оказали большое влияние на формирование его взглядов и характера. Не случайно, что уже много лет спустя, сидя в гитлеровской тюрьме, чешский коммунист Конрад часто вспоминал эти слова.

Курту Конраду — отважному борцу антифашистского сопротивления, журналисту, другу и соратнику Юлиуса Фучика — посвятил свою первую книгу чешский историк Яромир Янушек.

Детство Курта-Беера Конрада, родившегося в 1908 году в мелкобуржуазной семье, протекало вначале в небольшом моравском городке Тřebичи, а позднее в городе Брно. В юношеские годы Конрад был увлечен произведениями Р. Роллана, результатом чего и явилась их переписка. Он вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, когда ему было двадцать лет, начал помогать антивоенной агитации в армии.

Много времени уделяет Конрад главному изучению классиков марксизма-ленинизма, чтению чешской и русской литературы. Гоголь, Толстой, Чехов и Горький становятся его любимыми писателями.

Вскоре появились первые журнальные статьи Конрада. Редактор журнала «Творба» Юлиус Фучик обратил внимание на талантливого журналиста; они быстро сблизились. Много дала Конраду эта дружба, она помогла ему лучше понять те задачи, которые стояли перед пролетарскими журналистами.

J. Janoušek. Kurt Konrad protifašistický bojovník, povídky a historik. „Naše vojsko“, Praha. (Я. Янушек. Курт Конрад, антифашистский боец, журналист и историк. Издательство «Наше войско». Прага).

Летом 1931 года, когда Фучик был арестован, Конрад заменил его в редакции. «Милый Курт! — писал Фучик из тюрьмы. — Мой отпуск (Фучик имел в виду свое пребывание в тюрьме. — Ф. М.) был неожиданно продлен. Не знаю еще насколько. Не знаю. Значит, и в дальнейшем ты будешь замещать меня, за что я перед тобой извиняюсь».

С живым интересом следил Конрад за растущей борьбой рабочего класса Чехословакии против его эксплуататоров. На происходившую весной 1932 года крупную Мостецкую забастовку чешских горняков он откликнулся в новом для него жанре открытых писем советскому шахтеру из Донбасса Льву Бабушкину. Активное участие принял Конрад в работе первого антивоенного конгресса в Амстердаме, который был создан по инициативе Барбюса и Роллана. К сожалению, в книге Янушека этому конгрессу и выступлению на нем Конрада отведено мало места.

После победы фашизма в Германии реакция перешла в наступление и в Чехословакии. Полиция закрыла журнал «Творба», компартия перешла на нелегальное положение.

Весной 1935 года правящие круги Франции и Чехословакии под давлением народных масс вынуждены были заключить с Советским Союзом договор о дружбе и военной помощи. Горячо приветствовал Конрад это важнейшее событие международной жизни. В статье «Семнадцатая годовщина» он писал: «Будем до последней капли крови защищать все буквы маленькой азбуки (имеются в виду параграфы договора. — Ф. М.), чтобы сохранить двери открытыми в большую азбуку социалистического будущего».

С волнением читаются страницы книги, посвященные участию Конрада в борьбе испанского народа за свою независимость.

Руководство Чехословацкой компартии

не разрешило Конраду поехать в Испанию, считая, что его острое перо журналиста больше нужно на родине. Но это не помешало ему мыслями и душой быть в рядах Интернациональной бригады. В статье «Испанская весна» Конрад писал: «Гвадалахара — как не запомнить это слово! Врезалось оно нам в сердце, как сияющая песня,— кто бы ее не запел? Кто не черпал силы из великих побед над мировым фашизмом, которые одержали наши испанские братья?»

С большой теплотой писал Конрад в статье «Испания в Париже» о своих встречах с защитниками Мадрида и о скромном, но привлекающем всеобщее внимание павильоне Испанской республики на Парижской международной выставке.

Весной 1938 года Конрад — на передний линии борьбы в Судетах. В этом пограничном районе он помогает местным коммунистам вести борьбу с фашистскими элементами. Там он подружился с известным французским журналистом коммунистом Габриэлем Пери, будущим героем Сопротивления.

Автор книги рассказывает о научной деятельности Конрада, о его исторических

работах, посвященных революционным войнам и ставящих своей целью способствовать сплочению народов Чехословакии в борьбе с фашизмом.

Заключительная глава книги рассказывает о последних годах жизни Конрада в оккупированной гитлеровцами Праге.

В марте 1941 года гестапо арестовало Конрада.

Находясь в Дрезденской тюрьме, Конрад, судя по его письмам к жене и дочери, сохранил твердость духа. Вот что он писал, например, 10 августа: «Мое настроение пусть тебя не беспокоит, у меня не было ни одной минуты слабости...» В том же письме Конрад говорил о своей непоколебимой вере в победу Советского Союза: «Думаю о великой стране, о ее борьбе, которая, как бы долго ни продолжалась, кончится в конце концов ее победой. За ее борьбу я готов отдать жизнь».

25 сентября 1941 года без всякого суда Курт Конрад был казнен.

В память о заслугах Конрада перед родиной правительство Чехословакии наградило его посмертно высшим орденом Белого Льва первой степени и Военным крестом 1939 года.

★

Ф. МОЛОК.

Книга о книге

Давным-давно привыкнув к книге, мы принимаем ее как нечто, без чего теперь и немислим наш быт. Но ведь книга является одним из самых удивительных открытий, сделанных когда-либо человеком. Она, по выражению М. Горького, «может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством на пути его к счастью и могуществу будущего».

Такое ощущение возникает, когда заканчиваешь чтение «Рождения книги» Е. Немировского и Б. Горбачевского.

Содержательных и в то же время просто и занимательно написанных книг о полиграфии до обидного мало. С тем большим интересом встречает наш читатель каждую новинку в этой области.

Рецензируемая работа — это рассказ о том, что такое книгопечатание и как

делается книга в наше время, живое повествование о прошлом, настоящем и будущем полиграфии. Е. Немировский и Б. Горбачевский как бы ведут непринужденную беседу с читателем. Странствуя из века в век, из страны в страну, мы узнаем о постепенном развитии наборного дела — от глиняных литер китайца Би Шеня, жившего в XI веке, и гравированных досок его соотечественника Ван Чи до электронных наборных машин, — следим за эволюцией печатного станка и превращением его в мощную ротационную машину.

Одной из достопримечательностей книги является то, что авторы дают в ней целую галерею людей, чьи имена неразрывно связаны с историей полиграфии. Многие читатели впервые узнают о творчестве таких новаторов книгопечатания, как Греков, Четвертухин, Тромонин, Княгининский.

Наиболее интересна, пожалуй, глава «Завтрашний день полиграфии». Авторы приводят ряд выразительных фактов. До 15 тысяч знаков за смену — такова производительность ручного наборщика. На ли-

Е. Немировский, Б. Горбачевский. Рождение книги. Под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР профессора А. А. Сидорова. 232 стр. Издательство «Советская Россия». М. 1957.

нотипе это же количество знаков можно набрать за час. А часовая производительность электронной фотонаборной машины «Карактрон» — 36 миллионов знаков!

Если бы всего лишь два десятилетия назад сказать старому печатнику, что процесс печатания возможен без соприкосновения бумаги с формой, то есть без давления, он наверняка поднял бы вас на смех. И все же это реальность. Уже построены первые промышленные аппараты для бесконтактной печати, что открывает перед полиграфией широчайшие перспективы.

Технический прогресс в полиграфии за последние годы развивается такими темпами, что вряд ли можно упрекнуть авторов рецензируемой работы в том, что они не познакомили читателей с рядом интересных новинок. Совсем недавно, когда их книга уже печаталась, в Англии появилась машина «Солартрон ЭРА», которая сама «читает» любые рукописи и может управлять наборной машиной.

Однако непонятно, почему из поля зрения авторов выпали новые советские строкоотливные машины: автоматическая — для управления набором на расстоянии — и машина «Н-4Ц», которые производятся Ленинградским заводом полиграфических машин. Известно, что во всем мире строкоотливные машины работают на типографском сплаве — гарте. Преимущество машины «Н-4Ц» состоит в том, что она отлиывает строки из цинка и таким образом исключается образование вредных для наборщика свинцовых паров.

Нельзя не упрекнуть авторов и в досадных неточностях. Так, например, они упоминают о некой автоматической наборной машине «Телетайпсеттер». Такой наборной машины в природе не существует, а есть буквопечатающий аппарат «Телетайпсеттер», который поставляется в комплекте с наборной машиной и позволяет автоматизировать процесс набора.

«Обидели» авторы глубокую печать. В книге совершенно теряется маленькая главка, рассказывающая о московском мастере Симоне Гутовском, построившем первый русский стан глубокой печати (1677

год). О современном же состоянии этого вида печати в книге нет ни строчки. Описание офсета сводится, в сущности, к изложению способа так называемой орловской печати. А ведь в настоящее время офсет бурно развивается, и сказать о нем так мало — значит ничего не сказать о самом перспективном из трех классических способов печати.

К недостаткам книги следует отнести и то, что в ней основным полиграфическим машинам — печатным — уделено относительно меньше внимания, чем, скажем, наборным и переплетно-брошюровочным. Неполным является рассказ о типографии-автомате без упоминания оригинального проекта такой типографии инженера Л. П. Теплова.

И, наконец, об оформлении книги. Казалось бы, что издание, посвященное вопросам полиграфии, должно быть образцом полиграфического исполнения. «Рождение книги» на первый взгляд таким и видится. Ее приятно взять в руки — броская суперобложка, скромный, но строгий и со вкусом оформленный переплет, отлично выполненные полосные рисунки, красивые буквицы. Но чем внимательнее знакомишься с книгой, тем больше находишь в ней полиграфических дефектов. Многие полустоновые иллюстрации отпечатаны грязно, нечетко. Иллюстрации часто размещены как попало: изображение советского электрогравировального автомата очутилось почему-то на 25-й странице, в то время как описание его помещено на 211-й странице; о первой печатной книге «Алмазная Сутра» рассказывается на 19-й странице, а фотография ее воспроизведена на вклейке после 40-й страницы; лист с изображением переплетно-брошюровочных машин попал в середину главы о печатных машинах. Технический редактор книги — Э. Розен. Не она ли вицовата во всех этих изъянах?

В целом же увлекательно написанная книга Е. Немировского и Б. Горбачевского доставит читателям немало приятных минут и обогатит их полезными и интересными сведениями.

Б. БОССАРТ.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

1928 год. Горький приехал в родной город. Нижегородские газеты ежедневно публиковали сообщения о пребывании своего знаменитого земляка. Печатались стенографические

отчеты о всех его выступлениях, и только одно выступление осталось фактически неизвестным читателям. Это выступление Горького 10 августа в помещении редакции «Нижегородской коммуны», где состоялась встреча писателя с редакционным коллективом, активом рабкоров и Нижегородской ассоциацией пролетарских писателей.

«После кратких приветствий от представителей редакции, рабкоров и НАПП, — говорилось в небольшом сообщении «Нижегородской коммуны» 11 августа 1928 года, — состоялось собеседование, преимущественно на темы современной советской литературы, рабкоровского движения, о задачах рабочей печати, жизни за границей и т. д.

М. Горькому было задано больше двадцати вопросов, ответ на которые вылился в форму интереснейшего двухчасового обзора о развитии советской общественности, литературного творчества и проч.

К моменту выхода М. Горького из помещения редакции улица была запружена тысячной толпой, горячо приветствующей любимого писателя. (Подробности о собеседовании с Горьким будут помещены в ближайшем номере газеты)».

При просмотре комплекта «Нижегородской коммуны» никаких дальнейших подробностей не оказалось. В 1932 году газета «Нижегородский рабочий» опубликовала статью об этом собеседовании и привела ряд ответов Горького, записанных, вероятно, одним из участников встречи. Стенограмма всего выступления до сего времени считалась утерянной. Сейчас она найдена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Горький уехал из города тотчас после выступления, и стенограмма осталась невыправленной. Сохранившаяся машинопись стенограммы содержит часть выступления неизвестного товарища с приветствием писателю и все выступление Горького.

Ниже мы приводим стенографическую запись выступления А. М. Горького с небольшими сокращениями.

Б. Земсков.

* *

ГОРЬКИЙ ГОВОРИТ С РАБКОРАМИ

Председательствующий. Слово имеет А. М. Горький. (Все встают, бурные, продолжительные аплодисменты).

А. М. Горький. Дорогие товарищи, если я правильно понимаю, комсомол — организация, в которой воспитываются, развиваются интеллектуальные силы настоящего и действительно революционного класса — пролетариата. Из тех вот поэтов, которые вышли из комсомола, и вот из тех стихов, которые я слышал, я уже вижу, и я давно уже знаю, что здесь, в вашей среде, начинают зарождаться в высшей степени талантливые люди. Несомненно, перед этими людьми, поэтами и прозаиками, встанет одна из величайших задач, которая когда-либо становилась перед литераторами.

Эта задача — отразить, поставить в жизнь во весь его рост действительного

героя — того совершенно нового, небывалого даже в сказках, небывалого человека. Это человек, который хочет перестроить весь мир.

Вот задача, которая стоит перед вами, молодые литераторы.

Нам, в частности мне, старику, с этой задачей не совладать и нельзя возлагать на меня ее. Не слажу. Я это знаю. Мое дело и дело литераторов моего поколения — это, видите ли, спеть панихиду, договорить, закончить историю того класса, который ушел, уходит, скоро уйдет совсем. Вам это надо знать. Вам надо знать все те хитрости, все те маски, которые надевали люди этого класса для того, чтобы так или иначе вас обмануть, для того, чтобы так или иначе отвести вас в сторону от той задачи, к разрешению которой поставила вас история.

Наше дело и дело литераторов моего поколения — это покончить с тем человеком,

который не хочет перестраивать мир. Не хочет. Он хочет устроить себе небольшой уютный домик с палисадником, где бы можно было есть пироги по воскресеньям, водки выпить немного и так себе, понимаете ли, спокойно, тихо, мирно пожить.

Вот, товарищи, тут два героя. Имейте в виду, что современная литература частично увлекается как раз героем вторым.

Некоторым из современных литераторов кажется, что мещанин — мещанин тот самый, который строит себе домик в три окна с палисадником, — уже герой. Почему? Потому, что он строит его в той стране, где может выйти такой случай, что могут его повесить на тех же воротах этого же домика. Поэтому кажется, что он герой. Герой потому, что вот, понимаете ли, знает, что ему могут голову свернуть, а все-таки строит... Трудно, дескать, а все-таки я одолею. Это очень хорошо. Но все-таки для чего одолею? Одно дело одолеть для того, чтобы всем было хорошо, а другое дело одолеть для того, чтобы мне было хорошо. Это, право, не стоит... Дело это недостижимое. С этим делом покончено. Дело не выйдет. (Смех, аплодисменты).

Не надолго можно, а надолго нет (смех), почвы нет.

Вот, дорогие товарищи, какая стоит задача перед литераторами, перед вами как литераторами. Эта задача — показать, понимаете ли, крупнейшего героя, того коллективного творца, образ которого надо как-то, понимаете ли, в одном человеке показать... Это будет фигура, вероятно, более крупная, чем те, которые создавал Шекспир. Но вы должны это сделать. И вы сделаете. Я глубоко уверен, что сделаете.

В такое трагическое время нельзя не создавать трагедий.

Столкновение этих двух героев, одного, который подтачивает мир, и другого, который хочет на развалинах его построить себе уютное гнездо, из этого столкновения получатся такие драмы, каких, вероятно, и не было.

Отношения обостряются, и люди становятся сильными. Вам не надо упускать из вида, что мещанин сейчас вовсе не тот мещанин, который был в дни моей юности. Теперь мещанин немножко похитрее будет и посильнее, с ним бороться надо очень серьезно. Но для того, чтобы хорошо побеждать, надо быть хорошо вооруженным. А для того, чтобы быть хорошо вооруженным, надо знать технику своего дела, нуж-

но знать литературную технику. Это совершенно необходимо, и к этому вы должны устремить все свои усилия, весь разум ваш, да и волю — тоже.

Вот тут один из ваших молодых товарищей читал свое стихотворение. Хорошее стихотворение. Вот, например, хотя бы там, где говорится о сестре и колыбели. Но перед этим было прочитано стихотворение «Труд»...

Человеческая рука строит великолепнейшие вещи — машины, она выговаривает те слова, которым не хватает человеческого языка. Итальянцы, например, великолепно говорят жестами, а тут вот... «зной трепыхается». Это неладно. Как это может «зной трепыхаться»? Курица трепыхается... (Смех). Нельзя также сказать «в упрямом бессилии». Ведь упрямство уже какая-то сила, напряжение, а раз есть напряжение, значит нет бессилия. Тут противоречие. Вот такие вещи недопустимы. Вы сами слышали, что писать человек может, но это никуда не годится. Чтобы писать, надо хорошо знать русский язык, от которого сейчас люди немножко оттиснуты. В язык вошло много технических выражений. Сюда, в центр, собираются люди со всех концов страны, привозят свои слова, часто даже слова эти не отвечают понятиям. Мы ведь живем сейчас уже в новых понятиях. У вас вот есть такие чувствования, такие мысли, которых в старых словах действительно полностью не скажешь. Но вы и должны создавать свои слова, и это неплохо. Например, у Артема Веселого можно встретить очень хорошие слова, у вас, у молодежи, это слышится. Вам надо взяться за упорнейшую учебу. Это вам необходимо совершенно. Совершенно необходимо учиться, учиться и учиться. Учиться своему делу так же, как учится слесарь, токарь. Вы так же, как они, должны учиться оттачивать ваш опыт... именно так, чтобы все было крепко, чтобы все слова были на месте, чтобы каждый образ был четок, чтобы это было так же, как писали старые мастера. И вы будете так писать. Будете. Это непременно.

А теперь я буду отвечать на поданные мне записки.

Вот спрашивают: «какая разница между тем представлением, какое было у меня о вас в Сорренто, и тем, которое я сейчас имею».

— Такое же, например, когда читаешь газетную статью, а потом видишь все это ближе. Очень естественно.

Второе. «Какие знания может почерпнуть начинающий писатель?»

— Нужна форма. Нужна форма построения рассказа, в которой должен быть изложен весь сюжет рассказа, его течение, его развитие. Этому лучше всего учиться у Стендаля, Бальзака, Флобера — у иностранных писателей. А языку надо учиться у наших писателей, например, у Лескова, хотя он и реакционный писатель, но ничего, зато он великорусской речью владел лучше других. Затем прекрасными учителями языка являются Чехов, Бунин. Бунин в своих рассказах с 1904 г. по 1912 г., за эти 8 лет, был всего лучше. Ну, затем, конечно, надо читать Толстого, например «Казак», и другие произведения. Да мало ли у нас писателей, которые прекрасно владели языком.

Тут вот спрашивают: «Как вы смотрите на бурные приветствия, или это слишком?»

— Слишком, слишком. (Смех, аплодисменты).

Почему я взял себе имя Максима Горького?

— Максим — был мой отец, а псевдоним «Горький» — мне дали. Я тут ни при чем. Почему я не числюсь в Коммунистической партии?

— Как-то не вышло, да и не надо. Лучше так, чтобы я был около партии, в качестве какого-то... партизана.

Как я отношусь к Шалапину?

— Об этом спрашивают меня на каждом собрании. Ну, как?.. Как я отношусь к Собинину, к Гельцер и другим, к Шалапину я отношусь очень хорошо. Правда, человек он шалый, но изумительно, не по-человечески талантливый человек. Спрашивать с него, собственно говоря, нечего. Все равно он не удовлетворит запросов.. Он, видите ли... поет. (Смех). Люди, которые слышали его в последнее время, говорят, что поет он совершенно изумительно. Рассказывают, что немцы, слушая оперу «Дон-Кихот», вызывали его одиннадцать раз, а опера эта ужасная, музыка скверная. А вот вызывали одиннадцать раз. Очевидно из этого, насколько он изумительно поет.

Тут спрашивают: уеду я или останусь?

— Вероятно, уеду в октябре, а затем весной вернусь. А если окажется необходимым, чтобы я остался здесь, то я останусь. (Аплодисменты, бурные, продолжительные).

Да. Приветствий много, много. Слишком, слишком.

Товарищи, покорнейше вас благодарю за привет, за встречу. Все это, видите ли... все это мне, всего этого возратить не смогу, но часть, вероятно, возвратится — уплачу по векселю. (Аплодисменты). Не банкрот. Теперь я должен идти. Мне нужно уходить. Пора уже. Еще раз спасибо вам. Будьте здоровы. Верьте, товарищи, что вы делаете прекраснейшее дело. Перед вами стоит совершенно изумительная задача. А самое изумительное это то, что вы с ней справитесь. Вы ее решите. И это, понимаете, потому изумительно, что вы люди страны, которая испытала такой гнет, с которым не знакома ни одна страна Европы, ни один народ.

Ведь, подумайте, 20 лет тому назад нельзя было представить, что вот люди, которые рождаются в том году... в 908 году, будут такими людьми, какими стали вы. Этого нельзя было представить. Это какой-то изумительнейший прыжок, чудеснейший прыжок. Вам это следует помнить. Есть что-то такое, что дает полную уверенность, что вы сотворите чудеса. Повсюду, во всех областях приложения труда — делаете. Таково ощущение. Я выражаю его нелепыми, неуклюжими словами — я не оратор, но говорю вам совершенно искренне. Я в таком чудесном состоянии, что... мне не верится, что я вижу так, как оно есть. Это что-то выше моего понимания. Это есть почти чудесное. И это вы. И это — вы. С тем я и ухожу.

(Все встают. Бурные, продолжительные аплодисменты).

★

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РУКОПИСИ

В 1918 году в Петрограде под руководством А. М. Горького было организовано одно из первых советских издательств — издательство «Всемирная литература». В первый же год Советской власти в исключительно тяжелых условиях военной блокады, когда в стране свирепствовали голод и разруха, Горький с группой литераторов приступил к изданию лучших произведений мировой литературы.

К этой большой и интересной творческой работе Горький привлек виднейших ученых и писателей: С. Ольденбурга, И. Крачков-

ского, А. Блока, М. Лозинского, К. Чуковского, М. Шагинян и многих-многих других. Горький стремился к тому, чтобы русский читатель получил как можно больше хороших книг зарубежных авторов в переводе мастеров отечественной литературы. Кроме того, предлагая интеллигенции работать в издательстве, Горький стремился втянуть ее в активную работу на благо своего народа, привлечь к сотрудничеству с Советской властью.

В 1919 году Горький пригласил А. И. Куприна принять участие в работе «Всемирной литературы» и предложил ему написать предисловие к собранию сочинений Дюма-отца, которое издательство намеревалось выпустить в свет. В своих неопубликованных воспоминаниях о Горьком А. И. Куприн писал: «Когда он (Горький. — А. Б.) создал «Всемирную литературу», он очень заботился о писателях и старался каждому дать работу — зная, что я люблю Дюма-отца, он поручил мне написать предисловие к собранию сочинений! на русском языке, что я и сделал. Алексей Максимович прочитал, улыбнулся и сказал: Ну, конечно, я знал, кому поручить это!»

Затем издательство предложило Куприну сделать перевод «Дон Карлоса». По поводу этой большой и интересной работы Александр Иванович писал в тех же воспоминаниях следующее: «Потом я перевел для «Всемирной литературы» Дона Карлоса по просьбе Горького (разрядка моя. — А. Б.) — он грустил, что единственный перевод, сделанный братом Достоевского, сильно устарел... Это и была последняя моя кропотливая, усидчивая и ответственная работа...»

Сделанный А. И. Куприным перевод был одобрен издательством, но остался неопубликованным. Как рассказывает В. А. Кюнер, бывший секретарь издательства «Все-

мирная литература», Куприн попросил рукопись для внесения в нее исправлений и дополнений. В дальнейшем рукопись в издательство не вернулась. Лишь многие годы спустя дочь писателя переслала сделанный А. И. Куприным перевод в Государственное издательство художественной литературы, где он и находится в настоящее время.

С большой теплотой вспоминал А. И. Куприн о своих встречах с А. М. Горьким и о сотрудничестве в издательстве «Всемирная литература». «Работать с Алексеем Максимовичем, — писал Куприн, — было легко и приятно». К сожалению, именно этот период — пусть кратковременный, но отнюдь не маловажный в жизни А. И. Куприна, — период сотрудничества его в издательстве «Всемирная литература» не получил должного освещения в исследованиях о жизни и деятельности писателя. И, может быть, именно поэтому был невольно введен в заблуждение Л. Никулин, который в заметке «Об одном очерке А. И. Куприна», опубликованной в тридцать четвертом номере журнала «Огонек» за 1957 год, писал: «Я услышал из уст дочери писателя рассказ о том, как в 1919 году, по совету ее преподавателя немецкого языка, Александр Иванович перевел трагедию Шиллера «Дон Карлос». На самом же деле, как свидетельствовал сам Куприн, перевод был сделан по личной просьбе А. М. Горького для издательства «Всемирная литература».

Широкий читатель хорошо знает и любит А. И. Куприна как замечательного писателя-реалиста. Было бы очень интересно познакомиться с ним и как с переводчиком. Весьма желательно, чтобы в собрании сочинений А. И. Куприна был дан и его перевод трагедии Шиллера «Дон Карлос».

А. БОДРОВА.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ГЕРЦЕН, КСАНФ И БАСНИ ОБ ЭЗОПЕ

Раскроем «Былое и думы» Герцена. Вы помните его рассказ о том, как в новгородской ссылке, в начале сороковых годов, он спорил с мистически настроенной Л. Д. (Ларисой Дмитриевной Филиппович), со «смешным немцем» — доктором-идеалистом.

Споры были о душе, о божестве, о «начале вечном и духовном» в человеке и т. д. В разгар этих страстных исканий, когда Герцену «истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее», когда он почти пришел уже к признанию того, что «нет ни личного духа, ни бессмертия души», в Новгород в 1842 году приехал Огарев. Герцен вспоминает:

«Он привез мне «Wesens des Christentums» («Сущность христианства.— И. Б.) Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычие и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облакать истину в мифы!»

Общий смысл этих слов Герцена ясен. Чтение уже «первых страниц» книги Фейербаха позволило ему четко сформулировать тот вывод, к которому он пришел самостоятельно еще до приезда Огарева. Этим выводом был атеизм.

Но все же современному читателю не все понятно в этой цитате.

Непонятно, кто такие «рабы Ксанфа», которые «облакали истину в мифы». Непонятно, почему речь идет о маскарадном платье, об иносказаниях.

Но ответ на это найти нетрудно, подумали мы. Во всех изданиях «Былого и дум» есть примечания и комментарии, а за последние годы книга издавалась несколько раз. К тому же XXV глава, в которой находится этот отрывок, неизменно включается в издания избранных философских произведений Герцена. Наверняка не совсем понятное место там разъяснено.

Мы раскрыли пятитомное издание «Былого и дум» (1937 года) и в комментариях прочли: «Рабы Ксанфа — по учению греческого философа Ксанфа (V в. до нашей эры) — люди, не способные мыслить самостоятельно, воспринимающие истину только тогда, когда она преподнесена в форме сверхъестественного, мифического». Значит, Ксанф — это философ, живший в пятом веке до нашей эры, заметили мы себе. Почему же все-таки он называл несамостоятельно мыслящих людей рабами?

Мы взяли другое издание «Былого и дум» (1946 года), но там нашли то же примечание. Еще одно издание — 1949 года — почти дословное совпадение. Следующее — то же самое, и т. д.

Почти во всех изданиях «Былого и дум», которые вышли в последние годы, повторялось, что «рабы Ксанфа — по учению греческого философа Ксанфа (V в. до н. э.) — люди, не способные...» и т. д.

Тогда мы заглянули во 2-й том Избранных философских произведений Герцена (М., Госполитиздат, 1948, стр. 340) и... несколько смутились, ибо здесь утверждалось, что философ Ксанф жил в третьем веке до нашей эры.

Это, наверное, опечатка, решили мы. Надо взять более солидное издание. И мы обратились к 30-томному изданию сочинений Герцена, которое осуществляется сейчас Институтом мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР. Нужная нам глава помещена в IX томе. К интересующему нас месту не имеется, к сожалению, никакого примечания (хотя вообще примечания довольно обширны), но зато в именном указателе стоит: «Ксанф (первая половина V в. до н. э.), древнегреческий историк».

Мы погрузились в раздумье... Не то философ, не то историк. Не то в пятом веке, не то в третьем веке. Кому же верить?

Мы запаслись всевозможными справочниками, и русскими и иностранными, и стали искать философа Ксанфа.

Поиски были тщетны. Имя Ксанф носила бессмертная лошадь, сидя верхом на которой Ахилл разил троянцев. Ксанф — главный город древнего государства Ликии, разрушенный персидским царем Киром. Ксанф — река...

Философа Ксанфа, философское учение которого хотя бы в отрывках дошло до нас, не было.

Правда, сын малоизвестного скептика Тимона (третий век до нашей эры) носил имя Ксанфа и разделял воззрения своего отца, но

никак не удалось установить, что он учил, будто «люди, не способные мыслить самостоятельно...» и т. д. Тогда мы обратились к установлению личности Ксанфа-историка. В отличие от философа, он не мифическая, а историческая личность. Это тем более нас поначалу порадовало, что не только в академическом издании утверждается, что Герцен имел в виду Ксанфа-историка. В комментариях к пятому тому девятого издания Герцена, выпускаемого Гослитиздатом, интересующее нас место авторитетно поясняется так:

«В своих исторических сочинениях логограф Ксанф Лидиец опирался главным образом на религиозно-мифические предания, принимая их на веру и не подвергая критическому анализу».

Мы установили, что все это абсолютно верно (хотя и не поняли, почему читатели, не знающие, кто такой Ксанф, должны знать без пояснения, что такое логограф. Им все же придется смотреть в словарь, чтобы узнать, что логографами называют предшественников древнегреческих историков).

Ксанф-историк действительно жил в пятом веке до нашей эры, он действительно «опирался на религиозно-мифические предания», действительно некритически пересказывал их.

Но... действительно ли Ксанфа-историка имел в виду Герцен, когда восклицал «мы... не рабы Ксанфа»? И при чем здесь иносказание?

Нельзя ли у самого Гер-

цена найти ответ на этот вопрос? *Ex ipso fonte bibere* (испить из самого источника), — как сказал сам Герцен, когда ему нужно было разобраться в философии Гегеля.

Оказывается, он не однажды вспоминал о «рабах Ксанфа». Оказывается, он употреблял это выражение не только в «Былом и думах», причем употреблял в такой форме, которая не оставляет никакого сомнения относительно того, что он имел в виду.

В пятом письме из цикла «Письма из Франции и Италии», написанном в Риме в 1847 году, Герцен характеризует первые письма этого же цикла. Он рассказывает о том, что в первых письмах «вылилось местами, рядом с шуткой и вздором, негодование, горечь, которая поневоле переполняла душу, ирония, к которой мы столько же привыкли, как Эзоп, раб Ксанфа, к аллегорин».

Не нужно подчеркивать последние слова, они и так бросаются в глаза. Рабом Ксанфа Герцен называет Эзопа, полулегендарного древнегреческого составителя басен. Кому не известно выражение «эзопов язык», означающее манеру выражать свои мысли не прямо, а путем иносказаний?

Существовал ли Эзоп исторически, — неизвестно. Но он является героем рассказов, дошедших до нас в виде занимательного древнегреческого романа «Жизнь Эзопа»¹. Безобразный

мудрый горбун, он, согласно этому жизнеописанию, долгое время был рабом, а одним из владельцев его был философ с острова Самос — Ксанф.

Если о самом Эзопе историки и филологи еще иногда спорят и находят ученые, которые считают, что он был исторической личностью, то о Ксанфе уж, конечно, никогда споров не возникало. Он, бесспорно, только персонаж древнегреческого романа. Он философ, но без своей философии, ибо в романе он замечателен прежде всего своей глупостью.

Умный и находчивый Эзоп будучи рабом, не мог, конечно, высказываться прямо, а вынужден был прибегать к басням, притчам, к иносказаниям. Вот почему об иносказаниях говорит Герцен.

Восклиная «мы... не рабы Ксанфа», Герцен отказывался от эзоповского языка, от иносказаний. Истина, которую знают свободные люди, не нуждается в аллегорических баснях для своей передачи, говорил он.

Басни Эзопа ожили в новое время в творчестве французского баснописца Лафонтена и нашего великого Крылова. Комментаторы же произведений Герцена, сами того не подозревая, создали новую басню — о Ксанфе, которая одновременно является и басней о самом Эзопе.

И. БЕЛЕНЬКИЙ.

ме Фигейредо «Лиса и виноград», с большим успехом идущей на сценах наших театров.

¹ Роман этот послужил материалом для пьесы браزيلского драматурга Гильбер-



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ. 1917—1957. Государственное издательство изобразительного искусства. М. 1957. Цена 93 р.

Сорок лет — от залпа «Авроры» до шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве — запечатлены в фотографиях, рисунках, кинокадрах на страницах этого большого красивого альбома. Документы раскрывают историю Советского государства, показывают людей — создателей и творцов новой жизни, отображают события трудных и героических лет.

Штурм Зимнего... Ленин, произносящий речь на Красной площади в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской революции, первые коммунистические субботники, первая лампочка Ильича в деревне, первая пятилетка. Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре... Днепргоэс... — этапы большого пути проходят перед глазами читателя.

Специальный раздел книги посвящен Великой Отечественной войне. Заключительные страницы иллюстрируют послевоенный период жизни советского народа.

В. ДРУЖИНИН. Тайна «Россомахи». Воениздат. М. 1957. 144 стр. Цена 2 р. 25 к.

В суровых заболоченных лесах, неподалеку от нашей границы, когда-то проходила вражеская линия обороны, именовавшаяся гитлеровцами «Россомахой». Кончилась война. Но «Россомаха» осталась, «как огромный распластавшийся по лесам гниющий скелет». Люди сторонились ее. Гнилые болота да предупреждающие надписи на стволах деревьев «Смертельно! Мины!» не располагали к прогулкам в этих местах. Но вот наши пограничники обнаружили, что «Россомаха» чрезвычайно интересует разведку одной иностранной державы. В чем дело? Почему на полузатопленную, разбитую, обвалившуюся «Россомаху» стремились, рискуя жизнью, пробраться опытейшие иностранные шпионы? Существовала какая-то тайна. Как же раскрыть ее? Осмотр старых траншей ни к чему не привел. Лишь с большим трудом, после проведения тщательно продуманной сложнейшей операции, наши пограничники сумели сделать очень важное и ценное для государства открытие... Тайны «Россомахи» больше не существовало. О том, что же это была за тайна, читатель может узнать из книги В. Дружинина, вышедшей в серии «Библиотека военных приключений».

ОТВАГА И МУЖЕСТВО. Военные рассказы. Издательство ДОСААФ. М. 1957. 400 стр. Цена 7 р.

«Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота», — так заканчивается рассказ Алексея Толстого «Русский характер».

Об этой человеческой красоте, о ярких примерах отваги и мужества советских воинов, об их беспредельной любви к Родине и ненависти к врагам повествует сборник «Отвага и мужество».

В первом, основном, разделе перед читателем заново встает ряд произведений, рисующих массовый героизм солдат, офицеров и простых советских людей в годы Великой Отечественной войны: уже упомянутый рассказ А. Толстого, рассказы «Руки», «Девушка на крыше» Н. Тихонова, «Все нормально» Л. Соболева, «Мы — советские люди» Б. Полевого, «Флаг» В. Катаева, «Слава» И. Эренбурга и ряд других.

Во втором разделе книги напечатаны произведения, посвященные воинам Советской Армии в мирной обстановке.

С. Г. СТРУМИЛИН. Из пережитого (1897—1917 гг.). Госполитиздат. М. 1957. 288 стр. Цена 5 р. 50 к.

За последнее время издательства стали чаще выпускать книги мемуарного жанра. Нельзя не порадоваться этому. Записки, воспоминания вызывают интерес у читателей самого разного возраста, но особенно для молодежи поучительны путь старших, их революционная борьба.

Воспоминания академика С. Г. Струмилина принадлежат к лучшим образцам подобных книг. Живо, образно, не впадая в излишнюю беллетризацию, порой с гневом, порой с юмором, автор повествует о своей юности, о своих университетах — в кавычках и без кавычек, — об институте и о тюрьмах. Он не замалчивает своих идейных колебаний, сложного пути, который его, участника двух зарубежных съездов РСДРП, лишь к сорока годам жизни привел на ленинские позиции. В книге ярко отразилась многогранная личность автора — его огромная эрудиция, любовь к труду, вкус к литературе и искусству. Книга богата мыслями о литературе, о воспитании, о педагогике.

Прекрасное предисловие к воспоминаниям С. Г. Струмилина написал один из старейших членов КПСС, академик Г. М. Кржижановский. Его высокая оценка книги уже сама по себе является для нее наилучшей рекомендацией.

МАКС ЗИНГЕР. Герой с высоких гор. Дагестанское книжное издательство. Махачкала. 1957. 116 стр. Цена 2 р. 75 к.

Герой этой книги — капитан второго ранга М. Гаджиев — часто повторял: «Командир подводной лодки должен обладать достоинствами старого рыбака, спокойствием следопыта, предприимчивостью охотника, хладнокровием опытного моряка, пылким воображением романиста и здравым смыслом дельного человека».

Именно таким показан в документальной повести Макса Зингера сын дагестанского народа подводник-североморец Герой Советского Союза Магомед Гаджиев, геройски погибший в неравном бою с превосходящими силами противника в мае 1942 года.

В. МЕЛЕНТЬЕВ. Тихий участок. Повесть. Читинское книжное издательство. 1957. 390 стр. Цена 5 р. 5 к.

На «боевом формуляре» только одной роты, занимающей «тихий участок», ее солдат и офицеров времен памятной зимы 1941/42 года, писатель создал повесть о ратных буднях воинов, о мужании и становлении характеров бойцов и командиров.

Автор не ограничивается показом только «тихого участка», он вместе с героиней повести Дусей Смирновой ведет нас в тыловой город, показывает госпиталь и завод, где все живут одним стремлением — поскорее выиграть войну.

И. В. ОМУЛЕВСКИЙ. Шаг за шагом. Роман. Государственное издательство художественной литературы. М. 1957. 432 стр. Цена 7 р. 20 к.

Имя Иннокентия Васильевича Федорова-Омулевского, известного демократического поэта и беллетриста 60—70-х годов XIX века, к сожалению, было незаслуженно забыто в наше время. Отрадно поэтому, что лучший роман писателя вновь выпущен Гослитиздатом (а до этого — Курским книжным издательством).

В романе «Шаг за шагом», написанном в 1869—1870 годах, Омулевский создал яркий образ молодого революционера-народника Александра Светлова. Главный герой романа (действие происходит в городе Ушаковске, под которым автор вывел современный ему Иркутск) — представитель «нового времени» и «нового поколения», активный атеист и материалист — тесно связан со ссыльными революционерами старшего поколения Варгуниным и поляком Жилинским.

Роман прямо продолжил не только политические традиции «Что делать?» Чернышевского, но и жанровые: «Шаг за шагом» принадлежал к новому типу романов — социально-публицистическим.

Сам Омулевский так объяснял название романа: «Идти шаг за шагом — не значит

плестись, напротив, это значит решительно и неуклонно идти к своей цели...»

Словами, полными веры в великое революционное будущее своей страны, но поневоле, по условиям цензуры, зашифрованными, заканчивает автор книгу: «Да, друг-читатель! Замена найдется, борьба не иссякнет... И не нам, разумеется, придется извиняться перед тобой, что мы не осмелились изобразить тебе того, что лежит еще в близком будущем и не существует пока в действительности. Поживем, увидим, — тогда и опишем. Светловых еще много будет впереди...»

А. СУРЧЕНКО. Героическая оборона Москвы. 1941 г. Госполитиздат, М. 1957. 104 стр. Цена 1 р 20 к.

Центральное место в гитлеровских планах военных действий занимала Москва. Для наступления на столицу нашей Родины была создана специальная группа армий «Центр». В состав ее входило не менее миллиона солдат и офицеров, 750 танков, столько же самолетов, то есть половина всех немецко-фашистских сил, действовавших на советско-германском фронте.

Книга А. Сурченко воскрешает облик Москвы в осенние дни 1941 года — суровый, гордый, мужественный. Она рассказывает о великом подвиге и массовом героизме советских людей, отстоявших Москву. О тех, кто отрыл 350 километров противотанковых рвов, возвел более 600 километров заграждений из колючей проволоки. О тех, кто вступил в коммунистические дружины, в ряды бойцов народного ополчения, истребительных батальонов, о матерях и женах, стариках и подростках, ставших к станкам на предприятиях столицы.

Генерал-полковник в отставке О. И. ГОРОДОВИКОВ. Воспоминания. Воениздат. М. 1957. 156 стр. Цена 3 р. 95 к.

Первая Конная... Она вписала в историю гражданской войны множество ярких, незабываемых страниц. Из отдельных партизанских отрядов формировались эскадроны, полки, бригады и дивизии легендарной армии. Полуголодные, полуголодные рабочие и крестьяне, бесстрашные и лихие буденновцы оказались сильнее вооруженных до зубов белогвардейцев, ее командиры оказались способнее белых генералов. «В свое время иностранцы, — рассказывает автор книги, один из ближайших сподвижников командарма Первой Конной, — были очень удивлены искусным решением С. М. Буденным стоявших перед ним тактических и оперативных задач. Разбирая его действия, специалисты неизменно именovali С. М. Буденного генералом. Этот «титул» так укоренился за рубежом, что потребовалось официальное сообщение Народного Комиссариата по военным и морским делам, в котором указывалось, что, «хотя товарищу Буденному приходилось и приходится бить русских, польских и французских генералов, сам он — бывший унтер-офицер, член Коммунистической партии».

Книга О. И. Городовикова представляет большой интерес для самого широкого читателя.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕХАНИЗАТОРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Сельхозгиз. М. 1957. 352 стр. Цена 7 р. 70 к.

«Если бы вы могли мгновенно перенестись на улицу любого из сел нашей страны,—говорится в предисловии к этому сборнику,—то каждый четвертый из повстречавшихся вам прохожих непременно оказался бы механизатором либо человеком, имеющим самое близкое отношение к сельскохозяйственной технике». Немало славных достижений отметил наш народ в сороковую годовщину Великого Октября. Но, несомненно, крупнейшее из них — рост советских людей, активных строителей коммунизма. О замечательном отряде передовиков сельского хозяйства — пятидесяти двух механизаторах колхозной деревни, в большинстве Героях Социалистического Труда — рассказывают помещенные в сборнике очерки. Кто имеет хоть малейшее представление о старом, дореволюционном селе с его темнотой и отсталостью, с его межами, сохой и кулацким засильем, тот увидит из этих очерков, как далеко шагнула наша деревня за годы Советской власти.

М. С. ДРАГИЛЕВ. Общий кризис капитализма. Очерк развития капиталистической системы за 40 лет. Госполитиздат. М. 1957. 304 стр.

Книга М. Драгилева — это политико-экономический очерк развития капитализма за последние четыре десятилетия. Автор выясняет основные моменты теории и истории общего кризиса капитализма, рассматривает причины обострения противоречий капиталистической экономики на современном этапе. Автор показывает рост рабочего движения в капиталистических странах, рассказывает о том, как народы мира протестуют против империалистической политики агрессии.

Империализму не остановить движения народов к свободе, к счастью, к свету — таков лейтмотив книги. «Победа будет на стороне эксплуатируемых, — учил Ленин, — ибо за них жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского запаса энергии и талантов так называемого «простонародья», рабочих и крестьян. За ними победа».

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ. Политико-экономический справочник. Госполитиздат. М. 1957. 992 стр. Цена 20 р.

Аден, Бахрейн, Гуам, Науру, Тонга... Что известно широкому читателю об этих странах? Где они расположены, каковы численность и занятия их населения, каковы политический строй и экономика этих государств? Впрочем, подобные сведения далеко не всегда известны читателю, даже если речь идет о больших странах. Ответы на все эти вопросы дает справочник «Зарубежные страны». Материал книги тщательно подобран, удачно систематизирован. Многочисленные таблицы дают представление не только об уровне развития народного хозяйства тех или иных стран, но и о его динамике на протяжении последних лет.

Специальные разделы сборника характеризуют положение трудящихся. В «Приложениях», опубликованных в конце книги, приведены сведения о промышленной и сельскохозяйственной продукции крупнейших стран за 1956 год, которые поступили уже после сдачи справочника в производство. Таким образом, читатель может познакомиться с последними статистическими данными.

ЧЕРЕЗ ОКЕАН НА ДРЕЙФУЮЩИХ ЛЬДАХ. Географгиз. М. 1957. 384 стр. Цена 8 р. 70 к.

В сборник вошли рассказы участников дрейфующих станций и высокоширотных экспедиций о покорении и освоении Арктики советскими исследователями.

В разнообразной форме — в виде очерка, статьи или дневниковых записей — ведут свой рассказ авторы, давая цельное представление о мужественном и самоотверженном труде людей, находящихся в суровых и опасных условиях океанских дрейфов и арктических полетов. По существу в этой книге изложена вся эпопея наших дрейфующих станций, начатая знаменитой четверкой папанинцев.

Предпоследняя книге статья начальника Главного управления Севморпути В. Ф. Бурханова вводит читателя в предысторию советских арктических исследований, открытую лутешествами отважных русских мореходов С. Дежнева, В. Беринга и А. Чирикова, Великой Северной экспедицией, организованной по замыслу Петра I и продолжавшейся десять лет, теоретическими трудами Ломоносова.

Книга хорошо иллюстрирована фотографиями, схемами, картами.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О международном рабочем коммунистическом движении. 352 стр. Цена 6 р.

Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета Министров Союза ССР к колхозникам, колхозницам, работникам МТС и совхозов, к партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, к советским и сельскохозяйственным органам, специалистам и ко всем работникам сельского хозяйства. 32 стр. Цена 35 к.

Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза ко всем избирателям — к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота. 24 стр. Цена 30 к.

О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций. Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 26 февраля 1958 года. Тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР. 64 стр. Цена 50 к.

Н. С. Хрушев. Речь на совещании передовиков сельского хозяйства Белорусской ССР 22 января 1958 года. 32 стр. Цена 40 к.

Н. С. Хрушев. О некоторых вопросах международного положения. Выступление на совещании передовиков сельского хозяйства Белорусской ССР 22 января 1958 года. 36 стр. Цена 40 к.

Н. С. Хрушев. За дальнейший подъем советского хлопководства. Речь на Всесоюзном совещании хлопководов 19 февраля 1958 г. 32 стр. Цена 30 к.

А. Г. Зверев. О государственном бюджете СССР на 1958 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1956 год. Доклад и заключительные слова на девятой сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва 19 и 20 декабря 1957 года.

Закон о государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 1958 год. 40 стр. Цена 40 к.

И. И. Кузьмин. О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1958 год. Доклад и заключительные слова на девятой сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва 19 и 20 декабря 1957 года.

Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1958 год. 48 стр. Цена 50 к.

Л. Безыменский. К западу от Эльбы. Очерки о Западной Германии. 104 стр. Цена 1 р. 30 к.

Война за колючей проволокой. 144 стр. Цена 1 р. 60 к.

Газета и советское строительство. 80 стр. Цена 1 р.

А. Горшенев, И. Челябин. Советская избирательная система. 48 стр. Цена 50 к.

Клемент Готвальд. Избранные произведения. В двух томах (1925—1938 годы). 580 стр. Цена 12 р.

Десять лет развития народного хозяйства и культуры Чехословацкой Республики (1945—1955). 208 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. А. Иванов. Пути ускорения строительства. 176 стр. Цена 2 р. 30 к.

В. О. Ключевский. Сочинения в восьми томах. Том III. Курс русской истории. Часть 3. 428 стр. Цена 11 р.

Ф. Лиходеев. Советское социалистическое государство. 128 стр. Цена 1 р. 40 к.
А. Озерский. Люди кузнечки. 64 стр. Цена 60 к.

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). 408 стр. Цена 8 р.

Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир. 352 стр. Цена 12 р.

В. Солодовников. Вывоз капитала. 248 стр. Цена 4 р.

Н. Спектор. Партия — организатор шефства рабочих над деревней (1923—1933 гг.). 200 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. А. Товмасын. Советская Армения — детище Великого Октября. 160 стр. Цена 2 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР».

М. П. Георгадзе. Четвертый созыв. Некоторые итоги деятельности Верховного Совета СССР за 1954—1958 гг. 64 стр. Цена 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Н. Абалкин.** Кругозор драматурга. 140 стр. Цена 2 р. 70 к.
С. Айни. Бухара. Перевод с таджикского. 240 стр. Цена 4 р. 65 к.
Н. Грибачев. Августовские звезды. 220 стр. Цена 4 р. 10 к.
Е. Гурвич. Рядовые. 164 стр. Цена 3 р. 35 к.
О. Досвитный. Избранное. Перевод с украинского. 417 стр. Цена 7 р. 45 к.
С. Киднашвили. Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 256 стр. Цена 4 р. 55 к.
В. Кучер. Прощай, море. Перевод с украинского. 472 стр. Цена 9 р.
М. Лифшиц. Из родника. Стихи. Перевод с еврейского. 144 стр. Цена 1 р. 80 к.
П. Павленко. Кавказская повесть. 320 стр. Цена 5 р. 65 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

- Павел Васильев.** Избранные стихотворения и поэмы. 487 стр. Цена 13 р. 85 к.
Валерия Герасимова. Избранные произведения. 463 стр. Цена 9 р.
А. Груздев. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Критико-биографический очерк. 184 стр. Цена 5 р. 85 к.
Иордан Йовков. Рассказы. Перевод с болгарского. 463 стр. Цена 5 р. 65 к.
Испанские повести и рассказы. 511 стр. Цена 11 р. 20 к.
Ганс Кирк. Поденщики. Роман. Перевод с датского. 287 стр. Цена 5 р. 85 к.
А. Котов. Статьи о русских писателях. 160 стр. Цена 3 р. 30 к.
Иван Нехода. Стихотворения. Поэмы. Авторизованный перевод с украинского. 354 стр. Цена 6 р. 70 к.
Максим Рыльский. Избранные произведения. В двух томах. Авторизованный перевод с украинского. Том 1. 427 стр. Цена 8 р. 40 к. Том 2. 335 стр. Цена 10 р. 35 к.
М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. 879 стр. Цена 15 р.
И. И. Старцев. Художественная литература народов СССР в переводах на русский язык. Библиография. 1934—1954. 751 стр. Цена 20 р. 45 к.
Николай Успенский. Повести, рассказы и очерки. 655 стр. Цена 10 р. 15 к.
Т. Л. Щепкина-Куперник. Избранные переводы. Том 1. 1957. 583 стр. Цена 15 р. 30 к. Том 2. 1958. 575 стр. Цена 15 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. В. Васильев.** Выросли мы в пламени... 136 стр. Цена 2 р. 20 к.
Поль де Крайф. Охотники за микробами. Борьба за жизнь. 487 стр. Цена 10 р. 40 к.
О. Куденко. Серебряное звено. Сборник очерков. 183 стр. Цена 3 р.
А. Левина. Прошу принять меня в строители... 128 стр. Цена 1 р. 10 к.
Алексей Марков. Михайло Ломоносов. Поэма. 80 стр. Цена 2 р. 75 к.

- В. Московский.** Родная армия. 128 стр. Цена 2 р. 20 к.
А. Никульков. Достойные счастья. Повесть. 216 стр. Цена 4 р. 75 к.
Эберхард Паниц. Кетэ. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.
Л. Почивалов. Если заглянуть за Гималаи... 46 стр. Цена 2 р. 65 к.
А. Таланов. В стране белых ночей. Очерки. 224 стр. Цена 5 р. 45 к.
Таймураз Тетцоев. У подножия Казбека. Стихи и поэмы. Перевод с осетинского. 96 стр. Цена 2 р. 65 к.
Александр Царукаев. Песнь тебе принес я. Сборник стихов. Перевод с осетинского. 96 стр. Цена 2 р. 15 к.
Мих. Ценципер. Человек будет жить. 496 стр. Цена 8 р. 70 к.
Григол Чиковани. Мая. Сборник рассказов. Перевод с грузинского. 240 стр. Цена 5 р. 50 к.
Борис Чирков. Про нас, про актеров. 120 стр. Цена 2 р. 5 к.
Ю. Шестакова. Серебряный ключ. Рассказы и очерки. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

ДЕТГИЗ

- Г. Аббасаде.** Белые палатки. Стихи. Перевод с азербайджанского. 32 стр. Цена 50 к.
А. Аким. Что говорят двери. Стихи. 64 стр. Цена 1 р. 30 к.
В. Бакинский. Ученнические годы Андрея Шабанова. 384 стр. Цена 7 р. 70 к.
Г. Бойко. Песню девочка поет. Перевод с украинского. 16 стр. Цена 2 р. 25 к.
Ю. Герман. С. Фарфель. Этих дней не смолкнет слава! 152 стр. Цена 7 р.
Го Сюй. Расправьте крылья! Сокращенный перевод с китайского. 96 стр. Цена 2 р. 60 к.
А. Голубева. Заря взойдет. Повесть. 240 стр. Цена 7 р.
А. Дейч. Гарри из Дюссельдорфа. Повесть о Генрихе Гейне. 320 стр. Цена 7 р. 50 к.
П. Дудочкин. Волжские ключи. Рассказы. 56 стр. Цена 95 к.
М. Ефетов. Горячие дни. 168 стр. Цена 3 р. 65 к.
Здравствуй, мир! Книга о странах мира. 176 стр. Цена 15 р.
У. Коллинз. Женщина в белом. Перевод с английского. 672 стр. Цена 13 р. 30 к.
А. Кононов. Зори над городом. 352 стр. Цена 8 р. 20 к.
П. Мариковский. Муравей-путешественник. 88 стр. Цена 2 р. 35 к.
Г. Мартынов. Каллисто. Научно-фантастический роман. 256 стр. Цена 6 р. 45 к.
Ф. Молнар. Мальчишки с улицы Пала. Перевод с венгерского. 192 стр. Цена 3 р. 70 к.
Октав Панку-Яш. Великая битва у Малого пруда. Сокращенный перевод с румынского. 224 стр. Цена 4 р. 45 к.
С. Полоцкая. Ученица 10 «А». Повесть. 284 стр. Цена 5 р. 45 к.

Рассказы о Ленине. 352 стр. Цена 6 р. 40 к.

В. Ржезач. Переполюх в Ковражском пе-реулке. Повесть. Перевод с чешского. 120 стр. Цена 2 р. 85 к.

У. Сароян. 60 миль в час. Рассказы. Пе-ревод с английского. 192 стр. Цена 3 р. 65 к.

Сказки Индии. Сборник. 200 стр. Цена 7 р. 10 к.

Г. Скребицкий. На новом море. 144 стр. Цена 2 р. 90 к.

Л. Успенский, К. Шнейдер. На 101 остро-ве. 96 стр. Цена 3 р. 15 к.

А. Шалимов. Пульс Земли. Очерки о зем-летрясениях. 88 стр. Цена 2 р. 65 к.

Е. Яхнина, М. Алейников. Разгневанная земля. 240 стр. Цена 6 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Борьба за установление и упрочение Со-ветской власти в Дагестане. 1917—1921 гг. Сборник документов и материалов. 539 стр. Цена 18 р. 90 к.

А. Р. Жебрак. Полиплоидные виды пше-ниц. 126 стр. Цена 4 р. 25 к.

С. Л. Зивс. Кризис буржуазной законно-сти в современных империалистических го-сударствах. 295 стр. Цена 10 р. 65 к.

Монополистический капитал США после второй мировой войны. 674 стр. Цена 27 р. 70 к.

В. Е. Пархоменко, Д. И. Менделеев и русское нефтяное дело. 268 стр. Цена 18 р.

Е. А. Поспелова. Основные вопросы раз-мещения молочной промышленности СССР. 166 стр. Цена 5 р.

Проблемы теории литературы. 334 стр. Цена 15 р. 25 к.

Ю. В. Ракитин, К. Е. Овчаров. Стиму-ляторы и гербициды в хлопководстве. 148 стр. Цена 2 р. 20 к.

С. Л. Рубинштейн. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимо-связи явлений материального мира. 328 стр. Цена 14 р. 60 к.

В. М. Шуршалов. Основания действи-тельности международных договоров. 232 стр. Цена 7 р.

ГЕОГРАФИЗ

Земля и люди. Географический кален-дарь на 1958 год. 292 стр. Цена 13 р.

Ю. Давыдов. Южный Крест. 88 стр. Цена 1 р. 35 к.

В. Г. Қалмыкова, И. Х. Овдиенко. Севе-ро-Западный Китай. Географический очерк. 192 стр. Цена 7 р.

Казахская ССР. Экономико-географиче-ская характеристика. 734 стр. Цена 24 р. 15 к.

Кэролайн Майтингер. Охота за головами на Соломоновых островах. 311 стр. Цена 5 р. 90 к.

Б. А. Маковский. Моря, созданные чело-веком. 135 стр. Цена 2 р.

А. Б. Марголин. Приамурье. 112 стр. Цена 1 р. 80 к.

Франко Проспери. На Лунных островах. 222 стр. Цена 3 р. 75 к.

МЕДГИЗ

Г. А. Бейлихес. Из истории борьбы за санитарную охрану труда в царской Рос-син (вопросы гигиены и охраны труда в дореволюционной большевистской печати). 196 стр. Цена 7 р. 35 к.

В. И. Великанова. Московская детская клиническая больница имени И. В. Русако-ва за 40 лет (1917—1957). 68 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Н. Великорецкий, А. С. Берлянд. Пер-вая помощь в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях. 160 стр. Цена 3 р. 40 к.

Р. Д. Габович. Фтор и его гигиеническое значение. 352 стр. Цена 9 р. 25 к.

А. В. Козлова. Последствия взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки и водородной бомбы в Бикини. 168 стр. Цена 6 р. 10 к.

Д. И. Ласс, М. Г. Поликарпова. Гиги-енические и косметические советы по уходу за кожей и волосами. 116 стр. Цена 1 р. 70 к.

Е. М. Лубоцкая-Россельс. Профилактика нервно-психических отклонений у учащихся. Опыт работы детского психоневролога. 124 стр. Цена 3 р. 35 к.

Пластмассы в медицине. Перевод с не-мецкого. 188 стр. Цена 7 р. 20 к.

Л. М. Старокадомский. Руководство по гигиене морского транспорта. 248 стр. Цена 7 р. 25 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Ленин в Москве. 261 стр. Цена 15 р.

К. Бойко. Хозрасчет на промышленном предприятии. 110 стр. Цена 1 р. 70 к.

Большие дела маленьких газет. Сборник статей. 203 стр. Цена 2 р. 40 к.

И. Гайтеров, Р. Еременко, Н. Попова, А. Штейнберг. Слово воспитателей. Из опы-та работы воспитателей молодежи в об-щежитиях строителей. 89 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ф. Генералов. Ежемесячная оплата в кол-хозах. 34 стр. Цена 45 к.

И. Зими. Модернизация оборудования— дело коллективное. Опыт новаторов москов-ских предприятий. 38 стр. Цена 60 к.

С. Кукушкин. Московский Совет в 1917 году. 170 стр. Цена 2 р. 10 к.

Москва. Спутник туриста. 306 стр. Цена 5 р. 20 к.

Н. Силантьев. Рабочий контроль и сов-нархозы. 166 стр. Цена 2 р.

1917 год в Москве. Сборник. 204 стр. Цена 3 р. 25 к.

МУЗГИЗ

И. Ф. Бэла. Витезслав Новак. 138 стр. Цена 2 р.

Д. В. Житомирский. Балеты П. И. Чайковского. 158 стр. Цена 6 р. 30 к.

В. Золотарев. Воспоминания о моих великих учителях, друзьях и товарищах. Автобиографический очерк. 234 стр. Цена 6 р. 60 к.

Ц. А. Кюи. Избранные статьи об исполнителях. 276 стр. Цена 8 р. 20 к.

Музыкальная культура автономных республик РСФСР. 408 стр. Цена 17 р.

В. Яковлев. Пушкин и музыка. 264 стр. Цена 6 р. 5 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Гражданское законодательство СССР и союзных республик. 780 стр. Цена 21 р. 75 к.

Гуго Гроций. О праве войны и мира. Три книги. Перевод с латинского. 868 стр. Цена 38 р. 75 к.

Ф. И. Калинычев. Государственная дума в России. Сборник документов и материалов. 648 стр. Цена 13 р. 5 к.

В. Г. Лебединский, Ю. А. Каленов. Прокурорский надзор в СССР. 332 стр. Цена 7 р. 70 к.

Е. А. Лукашева. Правосознание и укрепление законности в СССР. 108 стр. Цена 1 р. 30 к.

Н. Г. Старовойтов. Демократизм Советской Конституции. 64 стр. Цена 75 к.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов, С. Н. Голубов, А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора),
Б. А. Лавренев, М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 7/II-58 г.

Подписано к печати 15/III-58 г.

А 02941 Формат бумаги 70×108^{1/16}, 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Заказ 217.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.